



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

АРКАДИЙ
ГАЙДАР



СОЧИНЕНИЯ



Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР

Москва 1948 Ленинград

Рисунки, переплет, форзац и титул
А. М. ЕРМОЛАЕВА



АВТОБИОГРАФИЯ



АВГУСТЕ 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на германский фронт.

Забегал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые, кованые железом сапоги.

Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестренка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чем дело. Все тарасила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:

— Солдат папа! Папа солдат!

Когда пришла минута прощанья — все

заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы ее кипятком ошпарили. Я крепился.

За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец.

Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками, которых урсдилась в тот год неисчислимая сила.

И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на мостике через овраг.

Удивительным цветом горело в тот вечер небо.

Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизонтом блистали величаво-

багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернетесь?

И они вернулись назад через четыре года.

Те, кто не были искалечены, отравлены, засыпаны землей и убиты на полях Галиции, на Карпатах, под Трапезундом и под Ригой, — те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть.

Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.

Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное что я запомнил, — это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира.

Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное. «Если бы, — бормотал он, — на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте острее! И никогда, никогда... Вот и все! Нет... не все. Нет — все, товарищи!»

И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных огуречных и морковных грядок, мотал головой, шептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать, чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра, что Колчака прогнали

уже за Волгу, что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.

Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет», — вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и десять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но советская власть жива, живет, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.

В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окончил Киевские командные курсы и тут же в августе 1919 года был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.

Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз бывало закрутишься, посмотришь в окошко и подумает: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!

Частенько я оступался, срывался, бывало даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу.

Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел. Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка — в запас.

С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало.

Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем еще сла-

бые, то останутся: «Р.В.С.», «Школа», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».

Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война.

1937 г.

Арк Заидау





О ГАЙДАРЕ



НЕЗАДОЛГО до Великой Отечественной войны в Москве собрались на совещание писатели, работающие для детей и юношества, работники издательства, художники, педагоги, библиотекари.

Говорили о воспитании нашей детворы, о книгах, которые должны помочь этому делу, готовя молодого читателя к дням труда, творчества и борьбы.

И вот на трибуну поднялся высокий, плотно сложенный, круглолицый человек в костюме военного образца. Мягкие редущие волосы его были зачесаны назад, открывая просторный лоб. Озорное лукавство и застенчивая серьезность таились во взгляде светлых глаз, казавшихся сперва

наивными, а сам он всей крупной своей фигурой, ладной выправкой, военной гимнастеркой, ременным поясом, на котором висело нечто похожее на патронташ, всем своим своеобразным и сильным обликом напоминал коммуниста времен гражданской войны. Это и был Аркадий Петрович Гайдар — военный человек и превосходный писатель, только что написавший тогда книгу «Тимур и его команда» — одну из самых знаменитых книг, созданных в нашей стране за последние двадцать пять лет.

— Мне хочется, — говорил в тот день Гайдар, мечтательно прищуриваясь и глядя немного вверх и в сторону, — мне хочется, чтобы в будущем писали про нас так: «Жили-де в то время такие умелые, знающие люди, которые из военной хитро-

сти прикинулись детскими писателями и помогли ребятам вырасти хорошими, храбрыми солдатами».

В этой фразе был весь Гайдар — писатель и военный человек. Он-то сам каждой своей строкой помогал воспитанию в нашей детворе ощущения высокой романтики борьбы, сурового солдатского долга, фронтового товарищества.

Всем существом своим Гайдар предчувствовал, ощущал приближение жестоких и великих событий, которые проверят все, что написано в наших книгах, все, что вложили мы своими словами и делами в души зреющего поколения. Стремлением подготовить юношество наше к тяжелым испытаниям войны Гайдар сближался с Маяковским, который каждой своей строкой хотел подготовить нас ко дням грядущих битв.

Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) и как писатель и как человек был подлинным сыном революционной страны, твердо, раз и навсегда решившим ни за что, никогда и никому не отдать кровью оплаченного, слезами и потом просоленного, в труде и боях добытого народного счастья.

Он родился в 1904 году в городе Льгове, но все раннее детство свое провел в Арзамасе, который и принято считать родиной писателя.

Ему было десять лет, когда под рывканье военного оркестра и треск барабанов с маршевой ротой ушел на германский фронт его отец, солдат.

А через четыре года, когда утверждалось над нашей землей боевое красное октябрьское знамя, четырнадцатилетний Аркадий Голиков решил сам сражаться «за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть».

Был он широкоплеч, не по годам рослый. Когда спросили у него, сколько ему лет, сказался шестнадцатилетним и ушел в Красную Армию, на фронт.

«Что я видел, — писал он через несколько лет, — где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил, — это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сра-

жалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира».

Он пережил гибель многих друзей. Сквозь горе, разлуку, сквозь дым и огонь боев прошла ранняя юность Гайдара.

Шесть лет пробыл Аркадий Голиков, будущий писатель Гайдар, в Красной Армии. Он полюбил Красную Армию всем своим окрыленным, беспокойным существом, сроднился с военной семьей и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 1923 году Гайдар серьезно заболел — сказалась старая контузия головы. Ему пришлось взяться за лечение и в апреле 1924 года, когда Гайдару исполнилось двадцать лет, он был зачислен по должности командира полка в запас.

«С тех пор я стал писать, — рассказывает об этом периоде сам Гайдар. — Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало».

Так была написана для «новых мальчишек и девчонок» одна из лучших книг нашей детской литературы, «Школа» — большая автобиографическая повесть о суровой школе, через которую прошло молодое поколение революции, «о горячем грозном ветре времени», об отцах и детях, призвавших самих себя на справедливую войну, во имя загаданного всем сердцем радостного будущего. В первом издании книга называлась «Обыкновенная биография». Под таким заголовком вышла она в издании «Роман-газеты для ребят». На титульном листе была помещена фотография красного командира в лихо заломленной на затылок папаче, с шашкой на бедре, с красной звездой, нашитой на рукаве. Подпись под снимком гласила: «Аркадий Гайдар в 1920 году — командир шестой роты 303-го полка. Кавказский фронт». И в главном герое «Школы», от имени которого ведется повествование в книге, в Бориске Горикове — солдатском сыне — мы узнаем самого Аркадия Гайдара.

Книга сразу стала одной из любимейших в детских библиотеках. Сердечно, просто и честно написанная, правдивая и умная, она

выдержала испытание временем, переиздавалась множество раз, а последнее ее издание печаталось, когда уже гремели пушки 1941 года и многие из читателей Гайдара сами пошли воевать.

Гайдар успел написать не очень много, но такие книги, как «Р.В.С.», «Школа», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» и, наконец, завоевавшая громкую славу «Тимур и его команда», всегда будут любимым чтением тех, кто жадными глазами смотрит на мир, хочет поскорее разглядеть и понять его, чтобы найти своим молодым силам верное применение.

По книге Гайдара «Р.В.С.» был поставлен популярный фильм «Дума про казака Голоту», много лет не сходящий с экранов.

В повести «Дальние страны» Гайдар уловил жадный романтический интерес детей к великим делам, которые творил народ, перестраивавший страну. Новая бурная созидательная страсть, мечты о «дальних странах», где идет горячее строительство, вдохновляли самого писателя и его маленьких героев, живущих на маленькой и тихой станции и тянущихся к широкой деятельной жизни так же, как тянулись в свое время ровесники Гайдара к фронтовым грохочущим далям.

И новая жизнь из дальних, теперь ставших такими близкими, стран приходит на тихий полустанок вместе с шумом и горячей строительства.

В книге «Военная тайна», книге о братстве свободолюбивых народов, о высоких идеях революции, есть вставная сказка о Мальчише-Кибальчише. Несколько стилизованная под старые сказки, но рожденная азартным мальчишеским ощущением воинствующего мира, воспевающая суровую и нежную доблесть чистых сердец, которую так хорошо понимал и чувствовал Гайдар, сказка эта вышла за пределы книги и получила самостоятельную известность.

Гайдар всегда говорил с молодым читателем честно, прямодушно. Он обращался к ребятам с уважительной серьезностью, никогда не кривил душой и смело указывал на «самое главное» в жизни. Он не

уклонялся от трудных тем, плохо укладывающихся в старые рамки детской литературы. Многие сам испытывавший в жизни, он говорил в своих книгах о трудных сторонах ее.

Так была написана книга «Судьба барабанщика», как говорил сам Гайдар, «книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война». «Судьба барабанщика» — это повесть о мальчишке-пионере, барабанщике пионерского отряда, отец которого совершил преступление по службе и получил заслуженную кару. Мальчик остается сперва один, ему живется очень трудно, он попадает к дурным людям, сбивается с верного пути. Но маленький пионерский барабанщик живет в стране, где человек человеку друг, где начала добра, справедливости, труда и разума заложены в основу всего бытия. И сама жизнь приходит на помощь барабанщику, возвращая ему детство, счастье и отца, испутившего вину.

Для младших читателей Гайдар создал настоящий шедевр, превосходную книжку «Чук и Гек». Это — одна из самых лучших работ Гайдара. Занимательнейшая история о двух братишках Чуке и Геке, о потерянной ими телеграмме, об отце их, живущем у далеких Синих гор, о путешествии и приключениях рассказана с классической простотой и ясностью. Прозрачный, весь пронизанный светлым юмором язык, четкость интонаций и напряженность сюжета обеспечили успех книги у самого маленького читателя и слушателя. А за ласковой и лукавой усмешкой автора чувствуются огромная любовь его к большой нашей стране, к ее смелым и сильным людям, уважение к их мужеству и вера в добрую силу человеческого сердца. Люди в книжке Гайдара — это хорошие русские люди, умеющие крепко любить, мужественно сносить невзгоды и знающие тихие, умные слова для душевного разговора с детьми. Секрет этих чистых и мудрых слов лучше всего знал сам Аркадий Гайдар, писатель с сердцем воина, смотревший на жизнь, как на боевой поход. Недаром в одной из его книг даже лермонтовское стихотворение (из Гёте) «Горные вершины спят во

тьме ночной» поется как солдатская походная песня о трудном тяжелом марше: «Погоди немного, отдохнешь и ты»...

Талант Гайдара, вдумчивый и целомудренный, умел бережно касаться самых заветных чувств человека.

В поэтическом рассказе «Голубая чашка» есть как бы несколько разных слоев глубины. Чем взрослее читатель, тем дальше и глубже может заглянуть он в замысел гайдаровского рассказа. Дети увидят, может быть, лишь его зеркальную поверхность, залюбуются отраженной в ней картиной странствий отца и дочери, порадуются их лучистой дружбе. Кто постарше, тот сквозь хрустальное строение рассказа разглядит его до дна, уловит его подводное течение, сердцем почувствует скрытые, тихие струи, увидит, что рассказ Гайдара не так-то прост — он проникновенно и негромко повествует о больших, «взрослых» темах, толкуя про нелады в семье, горькую любовь, про славную дружбу больших и маленьких.

Гайдар был сам человеком необычайной цельности, и писатель в нем неотделим от человека. Что бы ни писал Гайдар — книгу, статью, сценарий, он никогда ни одним словом не изменил себе. Он сам глубоко верил в каждое слово, написанное им. Он органически не смог бы сфальшивить, поставить в строку слово, хотя бы на одну иоту не соответствующее его воззрениям и чувствам. Это сказалось на стиле Гайдара, на строе его фразы, скупой на слова и в то же время исчерпывающе ясной, как будто житейски простой, но романтически звучной, иногда приближающейся к ритму сказа, по-военному четкой, несмотря на почти песенный лиризм.

О том, как бережно работал Гайдар над каждым словом, можно судить хотя бы уже по тому, что он помнил наизусть все, только что им написанное, и, воспроизводя вслух на память страницу за страницей, сам взыскательно прислушивался еще и еще раз к звучанию отобранных им слов и интонаций. И тут происходило некое чудо, одинаково удивлявшее и поэтов и педагогов: простая, иногда чисто служебного назначения, подчас назидательная тирада,

обращенная к маленькому читателю, состоявшая как будто из очень обыденных слов, вдруг начинала светиться изнутри огнем поэзии, хитро укрытой, как костер разведчика в лесу... И читатель доверчиво тянулся на этот огонек, невидимо согревающий сердце, и тихо зовущий к строгим и славным делам. Вот в чем секрет гайдаровского языка. Гайдар не изощрялся в поисках диких слов. Фразам, которые у другого автора показались бы выпенными или банальными, Гайдар возвращал их благородную и суровую простоту. Простые слова становились у него крылатыми, ибо в них была мысль высокого полета. Потому что писал он всегда с горячим сердцем и, разговаривая с читателем напрямую, очень уважал своего юного собеседника.

Перемежающиеся приступы тяжелой болезни часто выводили Гайдара из строя, творческая деятельность прерывалась, но, оправившись, Гайдар возвращался к работе, каждый раз окрыленный новыми замыслами, которые целиком завладевали им. И болезнь уступала перед напором жизненной вдохновенной силы, непреодолимо увлекавшей Гайдара к творчеству.

Широкую и большую славу, раскатившуюся за пределы нашей страны, принесла Гайдару книга «Тимур и его команда» (так же называется известный фильм, поставленный по этой книге).

Книга эта не стоит особняком в творчестве Гайдара. Наоборот, в ней с наибольшей отчетливостью и силой отлилось в образе великодушного рыцаря Тимура все, что наполняло издавна творчество Гайдара: восхищенное внимание к тем, кто защищает нашу страну с оружием в руках, прекрасное мальчишеское великодушие, проявляемое не на словах, а на деле. Герой книги пионер Тимур придумал увлекательную форму помощи Красной Армии. Он со своими сверстниками окружил тайной заботой тех, кого должны были оставить отцы и братья, ушедшие в армию. Смелый, отзывчивый, решительный, благородный в своих побуждениях, неугомонный и хитроумный в достижении задуманного, обаятельный мальчуган Тимур стал обра-

зом, по которому захотели равняться, которому решили подражать миллионы советских ребят.

Гайдар сумел окружить деятельность своего маленького героя таким ореолом увлекательной таинственности, нашел для своего Тимура такие чудесные живые черты, что разом отпала всякая опасность скучной, навязчивой нравучительности.

Тысячи и тысячи советских школьников увидели в Тимуре самих себя. Да, каждый из них мог стать именно таким, как Тимур. Таким же честным, храбрым, полезным... Надо было только захотеть. И книга Гайдара сделалась не только любимейшей книгой советской детворы — она добила судьбы, которой еще не знала ни одна детская книга. Слава Тимура вышла за пределы литературы. Стихийно, по ребячьему почину, создалось широкое повсеместное благородное движение, названное именем гайдаровского героя, — движение «тимуровцев». Детский писатель Аркадий Гайдар указал ребятам простой и добрый путь, идя по которому маленькие патриоты смогли применить на деле свое искреннее тяготение к Красной Армии, нетерпеливый напор сердец, переполненных горячей любовью к военным людям, защитникам родины.

Гайдар написал своего Тимура до войны. Некоторые говорили, что Гайдар «придумал» мальчика, подобного которому еще нет в наших школах и пионерских лагерях. Но удача Гайдара и его огромная заслуга именно в том и заключалась, что писатель предугадал, рассмотрел, почувствовал образ своего Тимура, живущий в тысячах славных дел, творимых нашими школьниками и пионерами, и сумел собрать лучшие образы юного поколения в одном законченном, жизненно убедительном образе, повелительно притягивающем к себе сердца маленьких читателей.

В будущих летописях Великой Отечественной войны не раз будет упоминаться слово «тимуровцы». Это слово останется в языке нашего народа, это слово сохранится в истории как пример чудесного выражения детской любви к родине и деятельной заботы о ней молодых патриотов,

в трудные дни войны всеми силами стремившихся помочь народу в его титанической борьбе с врагом.

Движение тимуровцев возникло незадолго до войны, ибо военный человек Гайдар, «прикинувшийся, — как он сам говорил, — из хитрости детским писателем», давно уже искал слова, образы, темы, которые бы помогли молодым сыновьям и дочерям народа встретиться во всеоружии грозный час войны. И потому имя Гайдара всегда будет жить в благодарной памяти каждого, кто в будущем задумается о боевых днях, пережитых нашей страной. Имя Гайдара займет свое почетное место в списке славнейших имен героев Великой войны против фашизма, рядом с именами воинов, одержавших победы над немцами, в одном строю с передовыми учеными, изобретателями, инженерами, мастерами, своим трудом, своей мыслью вооружавшими народ в дни войны. Имя Гайдара отмечено особой светлой и скромной славой в списке павших героев.

Сама жизнь Аркадия Гайдара была похожа на добрую солдатскую песню, в которой суровую печаль последних слов утешает подхваченный дружными голосами, долго не смолкающий бодрый, широкий и душевный припев.

Так прижизненное общее признание, заслуженное писателем, перешло посмертно в прочную славу его. Творчество Гайдара, верность призванию художника и воспитателя останутся на долгие годы высоким примером деятельности писателя советской эпохи. Пример этот властно зовет следовать ему. Он будет перенят каждым, кто искренне стремится своей работой помочь нашему государству вырастить молодое поколение социалистического общества.

О жизни Гайдара будут написаны увлекательные повести. Героическая биография его и пленительная необыкновенность поступков, личная судьба, понятая им как постоянное добровольное выполнение боевого задания Родины и Революции, — вот тема будущих книг о писателе.

Не раз остановится будущий биограф Гайдара на коротких строчках его дневника. Аркадий Гайдар, сын русской револю-

ции, верный солдат ее, вдохновенный патриот и неутомимый поборник социализма, хорошо виден в этих записях.

Вот две из них:

«31 декабря 1940 г. Москва.

Все идет хорошо.

Меня опять берут на военный учет.

На земле тревожно, — но в новый год я вступаю твердым, не растерявшимся».

«6 марта 1941 г. Клин.

В 1941 г. должно быть нами заложено 2995 новых предприятий, шахт, заводов, ГЭС и т. д.».

«15-летний план развития промышленности СССР» — мне будет 52 года. Что же — увидеть еще можно...»

Но Гайдару не суждено было увидеть осуществление наших мирных планов и торжество нашей справедливой военной победы.

Как только началась война, он поехал специальным корреспондентом «Комсомольской правды» на фронт. И на страницах газеты печатались превосходные очерки, точные, глубокие и по-гайдаровски своеобразные. В этих очерках чувствовался бывалый военный человек, понимающий ход боя, суть событий, общее движение войны и хорошо знающий душу солдата.

Очерк Гайдара «Мост» перепечатывался много раз. Он вошел в военные сборники и хрестоматии. Это короткое, полное собранной силы произведение Гайдара воспевают «суровую славу часового», стоящего «между водой и небом» на пролете огромного железного моста, который, как «лезвие штыка», протянулся над прифронтовой рекой. Пафос и лирика, военное знание деталей и широкое обозрение военного горизонта слиты здесь воедино. Гайдар — военный корреспондент был прямым продолжением Гайдара — писателя, и очерк «Мост» стал подлинным литературным мостом, соединившим два этих берега гайдаровского творчества. Ласковое и твердое гайдаровское слово нашло себе верное приращение во фронтовых корреспонденциях.

Кто, кроме автора «Тимура», мог бы написать такие строки в очерке «У переправы»:

«...На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открыл глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

— Товарищи, а вы меня перенесете?»

— Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики.

— Слышишь? Это, обеспечивая тебе переправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу».

Самому Гайдару не пришлось увидеть, как сбылось это пророчество...

Мы еще не знаем всех подробностей гибели Гайдара, но, по письмам товарищей и по рассказам, дошедшим до нас, это произошло так...

Осенью 1941 года он был корреспондентом на Юго-Западном фронте. Во время отступления армии он остался в тылу врага и стал партизаном в приднепровских лесах. Несколько раз писателю настойчиво предлагали самолет, чтобы перебросить через линию фронта к своим. Гайдар отказывался покинуть отряд. Большая и сильная группа, пробивавшаяся на выход из окружения, звала с собой Гайдара. Гайдар отверг и это предложение: он не хотел оставить товарищей партизан.

Его любили и уважали в отряде: сильный, добрый, сердечный человек, и смелость у него была веселая. Он слыл отличным пулеметчиком. В бою у лесопильного завода Гайдар с двумя пулеметчиками храбро отразил натиск группы немцев.

В промежутках между боями, деля с партизанами постоянные опасности походной жизни в тылу у фашистов, Гайдар вел дневник отряда. Набросал он несколько лирических произведений. Они были написаны в форме писем жене и сыну Тимуру.

Гайдар читал эти письма вслух партизанам и всегда носил их при себе.

26 октября 1941 года Гайдар в сопровождении четырех партизан отправился на разведку в окрестностях села Лепляво, близ железной дороги Канев — Золотоноша.

Немцы устроили засаду и напали на маленький отряд Гайдара. Партизаны залегли. Но Аркадий Петрович решил пробиться. Он поднялся во весь рост, решительный, большой, грузный, и крикнул: «В атаку! За мной!»... Партизаны бросились за ним. Но первая же пулеметная очередь сразила Гайдара.

Немцы сняли с погибшего писателя его орден, верхнее обмундирование, взяли тетради, блокноты, записи и письма, которые так любили слушать в короткие минуты отдыха партизаны, — все забрали немцы.

Путевой обходчик нашел тело Гайдара, предал его земле, вырыв могилу у железнодорожного полотна. Ночью в будку обходчика пробрались опечаленные партизаны. Они рассказали обходчику, какого удивительного человека он похоронил днем, и тот обещал последить за могилой. А через несколько дней уже все село знало, что за полотном железной дороги похоронен писатель Аркадий Гайдар.

Так погиб он с оружием в руках, следуя по пути своих героев, до последней минуты жизнью своей подтверждая правду каждого написанного им слова.

Книгами Аркадия Гайдара зачитываются

сейчас ребята во всех городах, во всех школах нашей страны. Их знают и дети за рубежом нашей родины. Книги Гайдара приходили в числе первых книг, поступавших во вновь открываемые и восстановленные библиотеки, когда Красная Армия освобождала наши земли, гоня прочь врага.

Сельские комсомольцы и пионеры постоянно навешали могилу Гайдара и сберегли ее. А вскоре после окончания войны, по настоянию комсомольцев ближнего города Канева, прах Аркадия Гайдара был перенесен в каневский городской парк. Здесь, на высокой зеленой круче, над Днепром, захоронили его.

Отсюда, с могилы Гайдара, хорошо видны заднепровские дали, луга, леса, железнодорожный мост... И мимо этой могилы, как писал сам Гайдар в своей сказке о Мальчише-Кибальчише,

«Плывут пароходы — привет Мальчишу!

Пролетают летчики — привет Мальчишу!

Пробегут паровозы — привет Мальчишу!

А пройдут пионеры — салют Мальчишу!»

И, может быть, именно там поставят памятник замечательному писателю, военному человеку Аркадию Петровичу Гайдару.

Я уже сейчас вижу этот памятник под зелеными деревьями — и легконогую статую: крепкий мальчуган в пионерском галстуке и краснозвездной шапке, с доброй заботой озирающий горизонт большой страны, — Тимур, угаданный Гайдаром.

Лев Кассиль









ШКОЛА

I. ШКОЛА



Глава первая

ОРОДОК наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яб-

лок-скороспелок, терновника и красных пионов.

Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно передохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягува. Под горою текла речонка Теша.

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон, но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту.

Только и было слышно: то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон — ничего похожего.

Пронесся однажды слух, будто бы Митьке-цыгану, бродяге и известному пьянице,

ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби, было видение и бросил Митька пить, раскаялся и постригается в Спасскую обитель монахом.

Народ валом валил к монастырю. И точно — Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах и даже сознался, что в прошлом году спер и пропилил козу у купца Бебешина. Купец Бебешин умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидев, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни.

Так продолжалось целую неделю, но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение, в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется в овраге по Новоплотинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки.

На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин. Посланные скоро вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувственен, аки зарезанный скот; что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полбутылка, и когда его удалось растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи итти раздумал, потому что якобы грешен и недостойн.

Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно на пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в округности.

Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут и поэтому рывкал отрывисто, дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалям вторили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к общему нестройному хору.

Я любил взбираться на колокольни. По-

зволюясь это мальчикам только на пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных поворотов. Сверху виден весь город. Под горою — Теша, старая мельница, Козий остров, перелесок, а дальше — овраги и синяя каемка городского леса.

Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.

Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с бальником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой:

— Это что же такое?

— Я, мам, тут не виноват. Ну что же я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а чорт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе.

— Ну, а за чистописание почему? Дай-ка твою тетрадку... Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая!

— Клякса, мам, оттого, что нечаянно, а про таракана я вовсе не виноват. Ведь что это такое на самом деле — ко всему придираешься! Что, я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечаю! И подумаешь, какая наука — чистописание! Я в писатели вовсе не готовлюсь.

— А к чему ты готовишься? — строго спрашивает мать, подписывая бальник. — Лоботрясом быть готовишься? Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты — в трубочисты готовишься?

— Нет. Ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

— Почему же матросом? — удивляется озадаченная мать.

— Обязательно матросом... Вот еще... И как ты не понимаешь, что это интересно?

Мать качает головой.

— Ишь, какой выискался. Ты чтобы у меня двоек больше не приносил, а то не посмотрю и на матроса — выдеру.

Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала? Никогда еще не драла. В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и двугривенный на кино дала. Хорошо бы этак почаще!

Глава вторая

Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина — одноклассника, маленького вертлявого человечка.

Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, оставшиеся у товарищей, бегал в соседнюю лавчонку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собой никакой вины, испуганно затахал при приближении классного наставника.

У Тимки была одна страсть — он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с пичужками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западнями на кладбище.

Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидел на каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок — сетку с протянутой бечевой. По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель, отец Геннадий, во время урока закона божьего сказал неодобрительно:

— Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает — грешно и богохульно.

Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное бо-

гохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил.

Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понес еще в сей жизни заслуженное божеское наказание.

Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить — подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой.

— Тимка! А мы на урок опоздаем, — сказал я. — Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву — обязательно.

— Не заметят?! — сказал он испуганно и в то же время вопросительно.

— Обязательно заметят. Ну что же, без обеда оставят, только и всего. — умышленно спокойно поддразнивал я, зная, что Тимка беда как боится всяких выговоров и замечаний.

Тимка съежился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно:

— А я-то тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам — вон сколько. И все из-за молебна. По Вальке Спагине мать приезжала служить.

— Как по Вальке Спагине? — разинул я рот. — Что ты!.. Разве он помер?

— Да не за упокой молебен, а об отыскании.

— О каком еще отыскании? — с дрожью в голосе переспросил я. — Что ты мелешь, Тимка? Я вот тебя тресну... Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура...

— Пинь-пинь... тарарах... тиу... — засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я еще ничего не знаю, подпрыгнул на одной ноге.

— А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то, что было!..

— Да что же было-то?

— А вот что. Сидим мы вчера... Первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавала... Ле верб: аллэ, арривэ, антрэ, рестэ, томбэ... Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «рестэ, томбэ», как вдруг отворяется дверь и входит инспектор (Тимка зажмурился), директор (Тимка посмотрел на меня многозначительно) и классный наставник. Когда мы сели, директор и говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье: ученик вашего класса Спагин убежал из дому. Оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа...» — и начал, и начал, полчаса говорил.

У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто — ни Яшка Цукерштейн, ни Федька Башмаков — не зашел ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи!.. Когда Федьке нужны были пробки от пугача — так он ко мне... А тут — на-ка!.. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе, как идиот, сиди!

Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходящих из общего зала, где читалась молитва.

В следующие дни только и было толков, что о геройском побеге Вальки Спагина.

Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина. Ну положительно никто ничего не знал. Никому не могла даже притти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоня был, ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал, штаны с него всегда сваливались, ну, словом, размазня-размазней, и вдруг — такое дело!

Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо приготовлений. Не может же быть, чтобы человек вдруг, сразу, ни с того ни с сего вздумал, надел картуз и отправился на фронт.

Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог.

Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонаря. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли.

Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали невпопад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Прошло еще несколько дней. И вдруг опять новость — сбежал первоклассник Митька Тупиков.

Учищное начальство всполошилось всерьез.

— Сегодня на уроке закона божьего беседа будет, — по секрету сообщил мне Федька, — насчет побегов. Я, как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили.

Нашему священнику отцу Геннадию было этак лет под семьдесят. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе, был он тучен, и, для того чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шея у него не было заметна вовсе.

Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно: играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо ветхого завета запрещенного Ната Пинкертон или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук.

Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного:

— Царю небесный, утешителю, душе истинный...

Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже и ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито:

— Ну, ну... Что это? Ты читай, чтобы было благозвучно, а то ровно как бык ревьешь.

Отец Геннадий начал издалека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от свое-

го отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Потом рассказал притчу о талантах: как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни рабы занялись торговлей и получили от этого барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили.

— А что говорят сии притчи? — продолжал отец Геннадий. — Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой, — нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоялись они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудших юношей простят им всё и примут их с распростертыми объятиями.

В этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родные — не знаю, но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегаёт сына ремнем, — это уж наверняка.

— А притча о талантах, — продолжал отец Геннадий, — говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаетесь здесь всевозможным наукам. Кончите школу, каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой — доктором, третий — чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя: «Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Но что же, — тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу, — что же, спрашиваю

вас, выйдет из этих и им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы в теплой оранжерее заботливого садовника, вы не знаете ни бурь, ни тревожений и спокойно расцветаете, радуя взоры учителей и наставников. А они... даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью.

Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал:

— Федька!

— Ну?

— Ты как думаешь насчет талантов?

— Никак. А ты?

— Я?

Тут я замялся немного и добавил уже тише:

— А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что — коммерсантом либо чиновником!

— Я бы тоже, — чуть поколебавшись, сознался Федька. — Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он и завянет. Тернию, тому хоть все нипочем — ни дождь, ни жара.

— Федька, — сказал я, — а как же тогда батюшка говорил: «И ответите в жизни будущей». Ведь хоть и в будущей, а все одно отвечать неохота!

Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво:

— Ну, так ведь это еще не скоро... А там, может быть, что-нибудь и придумается.

Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать: его поймали через три дня в шестидесяти километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду.

Говорят, что дома не знали, куда его посадить, накопили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету

ружье монтекристо. Но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались: «Нечего сказать, этак и многие из нас согласились бы пробегать три дня вокруг города да за это в подарок получить настоящее ружье».

Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли «Жоля бешеный».

Вызывает Малиновский Тупикова к доске.

— Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

— Нет, — ответил, побагровев, Тупиков, — на германский.

— Тэк-с! — ехидно продолжал Малиновский. — А позвольте вас спросить, за каким же вас чортом на Нижний-Новгород понесло? Где ваша голова и где в оной мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву, — он ткнул указкой по карте, — через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский? А вы поперли прямо в противоположную сторону — на восток. Как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь. Ставлю вам два. И стыдно, молодой человек!

Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии, даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец». Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь.

Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину или щелчок по носу, смотря по уговору.

Глава третья

Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы.

После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.

Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни», все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель сказал мне однажды:

— Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.

Я обиделся. Что значит — чересчур?

А если у меня на пение таланта нет, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?

Дома я поделился с матерью своей обидой.

Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала:

— Мал еще. Подрости немного... Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?

— Как, мам, какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют — ни стариков, ни детей, а почему наш царь всех жалеет?

— Сиди! — недовольно сказала мне мать. — Все хороши... Как взбесились ровно — и германцы не хуже людей, и наши тоже.

Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут, разрушили Реймский собор и надругаются над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке.

Федька согласился со мной:

— Конечно, звери. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь — благородные. И французский президент — тоже. А их Вильгельм — хам!

— Федька, — спросил я, — а почему французский царь президентом называется?

Федька задумался.

— Не знаю, — ответил он. — Я слышал, что ихний президент вовсе не царь, а так просто.

— Как это — так просто?

— Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка — кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.

— Как же можно, чтобы царя убили? — возмущился я. — Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.

— А ей-богу же, убили. И его самого убили и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.

— Ну, уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, воров судит: вот у Плющихи забор сломали — он судил. Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер — опять он судил. Но царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.

— Ну, хочешь — верь, хочешь — нет! — рассердился Федька. — Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этаким был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ, и судили и казнили... — добавил он раздраженно. — И даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая — гильотина. Ее заводят, а она раз-раз — и отрубает головы.

— И царю отрубили?

— И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Интересно... Там про монаха одного... Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.

Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.

— Как по-твоему, Федька, — спросил я, — пленные в кандалах или нет?

— Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.

— Так ведь арестанты — они же воры, а пленные ничего не украли.

Федька сощурился.

— А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украд либо убил? Там, брат, за разное сидят.

— За какое еще разное?

— А вот за такое... За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Не знаешь — ну и помалкивай.

Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси — только не насчет уроков, — он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.

Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребяташки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартиру. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетку, ящички, западни. Летом бывало наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой.

Арестовали его совершенно неожиданно, за что — мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.

Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не подтянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало — семь человек команды с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле обыкновенные булочники.

Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырягиных к Басюгиным, а больше никаких передвижений и не было.

Что же касается того, что учитель был разбойником, — это была явная ложь. Выдумал Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль, и если попросит займы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилище без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.

Так мы добежали с Федькой до самого оврага.

Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:

— Федь, так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки: и про шпиона и про разбойника?

— Конечно, враки, — ответил он, замедля шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы. — Его, брат, за политику арестовали.

Не успел я подробнее выпросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.

Пленных было около сотни.

Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.

Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.

«Так вот какие они, — думали мы с Федькой, пропуская колоңну. — Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились — не нравится в плену. То-то, голубчики!»

Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:

— Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!

Возвращались домой мы немного подавленные. Отчего — не знаю. Вероятно, оттого, что усталые серые пленники не произве-

ли на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.

Глава четвертая

Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много. Во-первых, нужно было построить плот и, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.

У нас и до сих пор был маленький флот — спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имела половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.

Силы были явно неравны.

Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.

Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья.

На противоположном берегу неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного, за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом: семейный совет не одобрил самовольного расхищения материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы — Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков — были беспощадно выдраны отцами.

Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоздей ушло больше чем на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага.

Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в семьдесят копеек под залог двух учебников закона божьего, немецкой грамматики Глезер и Петцольд и хрестоматии по русскому языку.

Зато дредноут наш вышел на славу. Спустили мы его уже под вечер. Помогали спустить Тимка Штукин и Яшка Цуккерштейн. В качестве зрителей пришли все ребяташки сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчоқ, она же Шарик, она же Жучка — звал ее каждый, как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас раздалось громкое «ура», салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг.

Флаг у нас был черный с красными каемками и синим кругом посередине.

Развеваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался, — мы снялись с якорей.

Близился закат. Слышалось далекое звяканье бубенцов возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.

На дредноуте были я и Федька. Позади нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.

Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами — он не хотел принимать боя и постыдно прятался в бухте под полусгнившей веткой. В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в свой порт без всякого урона, если не считать легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.

— О-го-го! — закричали мы уплывая. — Что, слабо вам выйти навстречу?

— Подождите! Выйдем, не хвалитесь раньше времени, не испугались!

— То-то оно и видно, что не испугались. Трусые несчастные!

Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.

В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил передаться неприятелю.

Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди: день — он, день — я.

На этом мы и порешили.

Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько «лягушек». «Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали «лягушку» к концу стрелы, один натягивал бечеву, другой поджигал у «лягушки» шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо, и «лягушка» разрывалась высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон.

Перелесок примыкал к кладбищу. Был он густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник.

Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым шепотом укрывшихся в листве пташек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игрой настроение.

Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали вполголоса.

— Смотри, — сказал я Федьке, — сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только ее потом мать в печку выбросила — будто бы я камешком у Басюгиных стекло разбил.

— А нет, что ли?

— Ну так что ж, что я? Да ведь это же доказать надо было, а то никто не видел, и по одному только подозрению... Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня?

— Все равно бы, — согласился Федька. — Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают, а как мальчишкину игру заметят, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала да потом крышу из клетки вынула. А один раз еще круже было... Свинтил я шарик пустой. Знаешь, которые на кроватях для украшения привернуты. Мать как раз в церковь ушла. Сижу себе, достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в передеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очутилась. «Ты зачем, — говорит, — шар с кровати свернул? Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись?» Да как треснет меня по башке! Хорошо, что отец вступился. Спрашивает: «Зачем шар взял?» — «Разве, — отвечаю ему, — не видишь?.. Бомбу делать». Нахмурился он. «Брось, — говорит, — не балуй такими вещами. Ишь, какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил.

— Федька, — сказал я ему спокойно, — а я знаю, что такое террорист. Это — которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие — бедные или богатые?

— Средние, — ответил Федька подумав-

ши. — Чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям еще пироги мать стряпает да иной раз компот. Я беда как люблю компот! А ты любишь?

— И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средние. Вон у Бебешиных фабрика целая. Я один раз был у ихнего Васьки. У них одной прислуги сколько и лакей! А Ваське отец живую лошадь подарил... пони называется..

— У них, конечно, все есть, — согласился Федька, — у них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огро-о-омный! Как надоест ему все на земле, так и идет Синюгин на ту вышку, туда ему закуску несут, бутылку... И сидит он всю ночь да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уж не видать.

— Федька! А почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому — фига? Вон Сигов, который на его фабрике работает, так тому не то чтобы на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать.

— Почему?.. Вот еще... почему я знаю? Ты спроси у учителя или у батюшки.

Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина и потом добавил уже тише:

— Отец говорил, что скоро все будет наоборот.

— Что наоборот?

— Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно. Отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в пятом году, будут. Ты знаешь, что было в пятом году?

— Знаю, но только не особенно, — ответил я покраснев.

— Революция была. Только не удалась. Это значит, чтобы помещиков жечь, чтобы всю землю крестьянам, чтобы все от бога-

тых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услышал.

Федька умолк. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не писано. И никто про это со мной не разговаривает.

Дома уже, после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал:

— Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю.

Мать быстро повернулась, нахмурила брови, повидимому собиралась выругать меня, потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидала меня в первый раз.

— Про какой еще пятый год?

— Как про какой? Ты сама знаешь, про какой. Ты вон какая здоровая. Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил.

— Да чего же тебе рассказывать? Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не видела. Тоже... такой был деточка, что и не приведи бог... горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут бывало про белый свет и про себя позабудешь.

— А с чего же, мама, я орал? — спросил я, немного обидевшись. — Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была и казаки. Может, с перепугу?

— С какого там еще перепугу! Так просто, блажной был и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли, и чего искали — сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю как есть квартиру перерыли, ничего не нашли. Офицер этаким вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший, — говорит, — мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, прямо офицеру на мундир. Ах ты,

боже мой! Я тебя скорей схватила, ташу офицеру тряпку. Подумать только! Мундир новый — и весь насквозь, и на штаны попало, и на шапку. Всего как есть опрудил, шельмец этакий! — И мать рассмеялась.

— Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь, — совсем обидевшись, прервал я. — Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то...

— Да ну тебя... привязался еще! — отмахнулась мать.

Но тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала:

— Что я тебе рассказывать буду? Пойди отпри чулан... Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Пойщи... Если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про пятый год.

Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям.

— Да ежели ты, — крикнула мне вдогонку мать, — вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь или опять, как в прошлый раз, с кринок сметану поснимаешь, то я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь!

Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась эта наугад взятая книга «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского — была мне понятна; я прочел ее до конца и перечел снова.

В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционе-

ров. И мне обидно стало, что Арзамас такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Всякие люди жили в нашем городе, а вот революционеров-то и не было.

Глава пятая

Я, Федька, Тимка и Яшка Цуккерштейн только собрались играть в городки, как прибежал из сада сапожников мальчишка и сообщил, что к нашему берегу причалили тайно два плота Пантюшкиных и Симачковых; сейчас эти проклятые адмиралы отбивают замок с целью увести наши плоты на свою сторону.

Мы с гиканьем понеслись в сад. Заметив нас, враги быстро повскакали на свои плоты и отчалили.

Тогда мы решили преследовать и потопить неприятеля.

В тот день командовал дредноутом Федька. Пока он и Яшка отталкивали тяжелый, неповоротливый плот, мы с Тимкой на старом суденышке пустились неприятелю наперерез. Наши враги сразу сделали ошибку. Очевидно, не предполагая, что мы будем их преследовать, они, вместо того чтобы сразу направиться к своему берегу, взяли курс далеко влево. Когда же они заметили свою ошибку, то были уже далеко и теперь напрягали все свои силы, пытаясь проскочить, прежде чем мы успеем перерезать им дорогу. Но Федька и Яшка никак не могли отвязать большой плот. Нам с Тимкой предстояла героическая задача — на легком суденышке задержать на несколько минут двойные силы неприятеля.

Мы очутились без поддержки перед враждебной эскадрой и самоотверженно открыли по ней огонь. Нечего и говорить, что мы сами тотчас же попали под сильнейший перекрестный обстрел.

Уже дважды я получил комом по спине, а у Тимки сшибло фуражку в воду. Стали истощаться наши снаряды и мы были насквозь промочены водой, а Федька и Яшка еще только отчаливали от берега.

Заметив это, неприятель решил итти напролом.

Мы не могли выдержать столкновения с их плотами — наша калитка была бы безусловно потоплена.

— Ураганный огонь последними снарядами! — скомандовал я.

Отчаянными залпами мы задержали противника только на полминуты. Наш дредноут полным ходом спешил к нам на помощь.

— Держитесь! — кричал Федька, открывая огонь с далекой дистанции.

Однако вражьи суда были почти рядом. Оставалось только дать им уйти в защищенный порт или загородить дорогу, рискуя выдержать смертельный бой. Я решил на последнее.

Сильным ударом шеста я поставил свой плот поперек пути.

Первый вражеский плот с силой налетел на нас, и мы с Тимкой разом очутились по горло в теплой заплесневелой воде. Однако от удара плот противника тоже остановился. Этого только нам и нужно было. Наш могучий дредноут — огромный, неуклюжий, но крепко сколоченный — на полном ходу врезался в борт неприятельского судна и перевернул его. Оставался еще миноносец из свиного корыта. Пользуясь своей быстродностью, он хотел было проскочить мимо, но и его опрокинули шестом.

Мы с Тимкой забрались на Федькин плот, и теперь только головы неприятельской команды торчали из воды.

Но мы были великодушны: взяв на буксир перевернутые плоты, разрешили взобраться на них побежденным и с триумфом, под громкие крики мальчишек, усеявших заборы садов, доставили трофеи и пленников к себе в порт.

Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все одно и то же: «Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, конца-краю не предвидится».

Меня разочаровывали его письма. Что это такое, на самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги, а то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука

на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью.

Почему другие, вот, например, прапорщик Тупиков, брат Митьки, присылает письма с описанием сражений и подвигов и каждую неделю присылает всякие фотографии? На одной фотографии он снят возле орудия, на другой — возле пулемета, на третьей — верхом на коне, с обнаженной шашкой. а еще одну прислал, так на той и вовсе голову из аэроплана высунул. А отец — не то чтобы из аэроплана, а даже в окопе ни разу не снялся и ни о чем интересном не пишет.

Однажды, уже под вечер, в дверь нашей квартиры постучали. Вошел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать. Матери не было дома, но она должна была скоро притти. Тогда солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном полку, а сейчас едет навсегда домой, в деревню нашего уезда, и привез нам от отца поклон и письмо.

Он сел на стул, поставил к печке костыль и, порывшись за пазухой, достал оттуда замасленное письмо.

Меня сразу же удивила необычайная толщина пакета. Отец никогда не присылал таких толстых писем, и я решил, что, вероятно, в письмо вложены фотографии.

— Вы с ним вместе служили, в одном полку? — спросил я, с любопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо солдата, серую измятую шинель с георгиевским крестиком и грубую деревяшку, приделанную к левой ноге.

— И в одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю... Ты его сын, что ли, будешь?

— Сын.

— Вот что! Борис, значит? Знаю. Слыхал от отца. Тут и тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее и не трогал до тех пор, пока он не вернется.

Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из голенища; при каждом его движении по комнате распространялись волны тяжелого запаха иодоформа.

Он вынул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый. Я хотел вскрыть его, но солдат сказал:

— Погоди, не торопись. Успеешь еще посмотреть.

— Ну, как у вас на фронте, как идут сражения, какой дух у наших войск? — спросил я спокойно и солидно.

Солдат посмотрел на меня и прищурился. Под его тяжелым, немного насмешливым взглядом я смутился, и самый вопрос показался мне каким-то напыщенным и надуманным.

— Ишь ты! — и солдат улыбнулся. — Какой дух! Известное дело, милый, какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух. Хуже, чем в нужнике.

Он достал кисет, молча свернул цыгарку, выпустил сильною струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрасневшее от заката окно, добавил:

— Обрыдло все, очертенело все до горечи. И конца что-то не видно.

Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухватилась рукой за дверную скобку.

— Что... что случилось? — тихо спросила она побелевшими губами. — Что-нибудь про Алексея?

— Папа письмо прислал! — завопил я. — Толстое... наверное, с фотографиями. И мне тоже подарок прислал.

— Жив, здоров? — спрашивала мать, сбрасывая шаль. — А я как увидела с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось.

— Пока не случилось, — ответил солдат. — Низко кланяется, вот пакет просил передать. Не хотел он по почте... Почта ныне ненадежная.

Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было, только пачка замасленных, исписанных листков.

К одному из них пристал кусочек глины и зеленая засохшая травинка.

Я развернул сверток — там лежал небольшой маузер и запасная обойма.

— Что еще отец выдумал! — сказала недовольно мать. — Разве это игрушка?

— Ничего, — ответил солдат. — Что, у тебя сын дурной, что ли? Гляди-ка, ведь он вон уже какой, с меня ростом скоро будет. Пусть спрячет пока. Хороший пистолет. Его

Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодиться может.

Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув маузер, положил его в ящик.

Солдат пил у нас чай. Выпил стаканов семь и все рассказывал нам про отца и про войну. Я выпил всего полстакана, а мать и вовсе не дотронулась до чашки. Порывшись в своих склянках, она достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, долил спирт водой и, медленно выпив водку, вздохнул и покачал головой.

— Жисть никуда пошла, — сказал он, отодвигая стакан. — Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали месяцами. Такая тоска брала, что думаешь — хоть бы один конец. Замотались люди в доску! Бывало иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Эх, думаешь, была бы сила, плюнул бы и повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет, а я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен! Мы с Алексеем много про это говорили. Ночи длинные... Спать блоха не дает. Только вся и утеха, что песни да разговоры. Иной раз плакать бы впору или удавить кого, а ты сядешь и запоешь. Плакать — слез нету. Злость сорвать на ком следует — руки короткие. Эх, говоришь, ребята, друзья хорошие, товарищи милые, давайте хоть песню споем!

Лицо солдата покраснело, покрылось влагой, и по комнате гуще и гуще расходился запах иодоформа. Я открыл окно. Сразу пахнуло вечерней свежестью, прелью сложеного во дворах сена и переспелой вишней.

Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли, и эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо опьянев, продолжал:

— Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно. Это уж такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал, ты не выдумывал, он не выдумывал, а кто-то да выдумал. Так вот, кабы был господь бог всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того человека и сказал: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода? Выкладывай все начистоту, чтобы всем было ясно и понятно». Только... — Тут солдат покачнулся и чуть не уронил стакан. — Только... не любит что-то господь в земные дела вмешиваться. Ну что же, подождем, потерпим. Мы — народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей и ответчиков.

Солдат умолк, нахмурился, исподлобья посмотрел на мать, которая, опустив глаза на скатерть, за все время не проронила ни слова. Он встал и, протягивая руку к тарелке с селедкой, сказал примирительно и укоризненно:

— Ну, да что ты... Вот еще о чем заговорили! Пустое... Всему будет время, будет и конец. Нет ли у тебя, хозяйка, еще в бутылке?

И мать, не поднимая глаз, долила ему в стакан капли теплого пахучего спирта.

Всю эту ночь за стеною проплакала мама; шелестели перевертываемые листки отцовского письма. Потом через щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался, что мать молится. Отцовского письма она мне не показала. О чем он писал и отчего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда.

Солдат ушел от нас утром.

Перед тем как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал, точно я его о чем спрашивал:

— Ничего, милый... Твое дело молодое. Эх! Поди-ка, ты почище нашего еще увидишь!

Он попрощался и ушел, притопывая девчашкой, унося с собой костыль, запах

иодоформа и гнетущее настроение, вызванное его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.

Глава шестая

Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке, Яшка Цуккерштейн заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве.

Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты.

Про конец войны ничего не было слышно. В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев, в большинстве бедных многосемейных евреев, и беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска, за городом.

К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужики были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились. Работать в полях было некому, и в город потянулись нищие — старики, бабы и ребяташки.

Раньше бывало ходишь целый день по улицам — и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал, а теперь попадались на каждом шагу незнакомые, чужие лица — евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного креста.

Нехватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не на съестные продукты.

Говорили у нас, что один Бебешин за последний год нажил столько же, сколько за пять предыдущих. А Синюгин — тот и вовсе так разбогател, что пожертвовал шесть тысяч на храм; забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настояще-

го, живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн.

Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессию за крестный ход с Оранской иконой божией матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено тринадцатидневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделал это нарочно, из озорства. Мало ему покаяния, а надо бы для примера засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять — это еще куда ни шло, но чтобы такую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать — это уж смертный грех!

Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город, на кладбище, к Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал:

— Растешь, хлопец? Батько-то придет и не узнает. Ростом-то ты в отца вышел, во какой здоровенный! А мой Тимка, пес его знает, в деда, что ли, по матери пошел — хлопкий, как комар. И куда в его только жратва идет?! Отец-то здоров? Будете писать — от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним восемь лет в сельской школе проработали. Он — учителем, а я — сторожем... Только давно это... Ты вовсе сосуном был, не помнишь. Ну, ступай! Тимка тут где-нибудь, щеглов ловит. Пойщи в березах, там, в углу, за солдатскими могилами. Ближе он не ловит — староста, как увидит, ругается...

Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и заматал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился.

Большей дуры-птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилица ребята-птицело-

вы прикрепляют конский волос и делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щегла.

Тимка медленно подвел конец удилица к самой голове пичужки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. Высунув кончик языка, стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством поглядывал на Тимкино занятие. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхая крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятаком других пленных собратьев.

— Видал?! — заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге. — Во, брат, как ловко... целых шесть штук. Только щеглы всё. Синицу этак не поймашь... Ее западками надо или лучком... Хитрющая! А эти дураки сами башкой лезут...

Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его по леном по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом опять подпрыгнул и спросил:

— Что, слышал?

— Ничего не слышал, Тимка. Слышал, что паровоз на вокзале загудел.

— Господи боже мой! Он не слышал! — удивленно всплеснул руками Тимка. — Ма-линовка!.. Слышал ты, пересвистнулась?.. Настоящая, краснотазанка. Я уже по свисту слышу, я ее, голубушку, вторую неделю выслеживаю. Знаешь, где утопленника хоронили? Ну, так вот она там, в кленах, где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие... Пойдем посмотрим.

Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу прискакивая по-птичьи, он показывает мне:

— Здесь вот — пожарный лежит... в прошлом году сгорел, а здесь — Чурбакин сле-пой. Тут всё этакое, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена... Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут, — Тимка

ткнул пальцем на еле заметный бугорок, — тут удавленник похоронен. Батька говорил, что сам он, нарочно удавился... слесарь деповский. Вот уж не знаю, как это можно самому, нарочно?

— От плохой жизни, должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же?

— Ну-у, что ты! — удивленно и протестующе протянул Тимка. — От какой же плохой? Разве же она плохая?

— Кто она?

— Да жизнь-то! Беда, какая хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то — лежи!

Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разóm замер, точно его оглушили, и, постояв с минутку, сказал шопотом:

— Тише теперь... Она тут где-то, недалеко, хоронится... Только хитрая! Ну, да все равно я ее поймаю.

Только к вечеру я вернулся от Тимки. Станный мальчуган, он всего на полтора года моложе меня, а такой маленький, что ему не только двенадцать, а и десять лет нельзя было дать. Всегда он суегился, товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты; потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь.

На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики.

Через два дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провёл лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ — на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаньях и лошадях.

Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи.

Мать сшила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась «чортювой кожей».

Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с чорта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здорового инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались и я повис на заборе, благодаря чему инок успел вклепить мне пару здоровых оплеух.

Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю.

После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федыкин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом:

— Дядя Сергей! Нам нету от папы?

И тот отвечал неизменно:

— Нету, дочка, нету сегодня! Завтра, должно быть, будет.

Но и завтра тоже ничего не было.

Глава седьмая

Однажды, уже в сентябре, Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки.

Едва мы кончили и он сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь.

Я побежал закрывать окно, выходящее в сад.

Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды засохших листьев; несколько крупных капель брызнуло мне в лицо.

Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй, как внезапно порядочной величины кусок глины упал на подоконник.

«Ну и ветер! — подумал я. — Этак и все деревья переломать можно».

Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федыке:

— Буря настоящая. Куда ты, дурак, собрался? Такой дождь хлещет! Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло.

Федька посмотрел недоверчиво:

— Что ты врешь-то? Разве этакий ком зашвырнет?

— Ну вот еще! — обиделся я. — Я же тебе говорю: только я стал закрывать, как плюхнулось на подоконник.

Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто, на самом деле, нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал:

— Глупости какие! Некому бросать. Кого в этакую погоду в сад занесет? Конечно, ветер.

Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробыл у меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна; ветер начал стихать.

— Ну, я побегу, — сказал Федька.

— Ступай. Я не пойду за тобой дверь запереть. Ты захлопни ее покрепче, замок сам защелкнется.

Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь.

Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброненную и позабытую Федыкой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи,

«Вот дурной-то! — подумал я. — Завтра у нас алгебра — первый урок... То-то хватится. Надо будет взять ее с собой».

Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок.

— Кого еще это несет? — спросила удивленная мать. — Уж не телеграмма ли от отца?.. Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, пойдй отопрй.

— Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по дороге спохватился.

— Вот еще идол! — рассердилась мать. — Что он, не мог утром забежать? Где тетрадь-то?

Она взяла тетрадь, надела на босу ногу туфли и ушла.

Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок. И тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный, негромкий шопот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, поднимающихся вверх.

Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати, раздетый и с подсвечником в руке.

В дверях, с полными слез глазами, стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею — заросший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой отец.

Один прыжок — и я уже был стиснут его крепкими, зарубелыми лапами.

За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса:

— Не надо, Борис... не буди ее... и не шумите очень.

При этом он обернулся к матери:

— Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти три дня отправить?

Мать ответила:

— Мы отправим ее рано утром в Ивановское. Она давно просилась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шопотом, она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходят из больницы, так что она привыкла.

Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному.

«Как?.. Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое?.. Для чего же?»

— Боря! — сказала мне мать. — Ты ляжешь в моей комнате, а утречком, часов в шесть, соберешь Танюшку и отведешь к бабушке... Да не говори там никому, что папа приехал.

Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал.

Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, пробовал считать до пятидесяти, до ста — сон не приходил.

В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противоречивые мысли сталкивались и несуразные предположения, одно другого нелепей, лезли в голову. Начинало слегка давить виски, так же как давит голову, когда долго кружишься на карусели.

Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец.

Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, в носках, он подошел к Танюшкиной кровати и опустил свечу.

Так простоял он минуты три, рассматривая белокурые локоны и розовое лицо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись два чувства: желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержало верх. Быстро выпрямился, повернулся и вышел.

Дверь еще раз скрипнула — свет в комнате погас.

...Часы пробили семь. Я открыл глаза. Сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и заглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку.

— А где мама? — спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать.

— Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке.

Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем:

— Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе, мама не пустила.

— Вчера не пустила, а сегодня передумала. Одевайся скорей... Смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать.

Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила и, пока я помогал ей одеваться, защебетала:

— Так, значит, мама передумала? Ой, как я люблю, когда мама передумывает! Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лизку... Ну, не хочешь кошку, тогда Жучка возьмем. Он веселый... Он меня как вчера лизнул в лицо! Только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала, а она его хворостиной.

Сестренка соскочила с кровати и побежала к двери.

— Борька, открой мне дверь. У меня там платок в углу лежит и еще коляска.

Я оттащил ее и посадил на кровать.

— Туда нельзя, Танюшка, там чужой дядя спит. Вечером приехал. Я сам тебе принесу платок.

— Какой дядя? — спросила она. — Как в прошлый раз?

— Да, как в прошлый.

— И с деревянной ногой?

— Нет, с железной.

— Ой, Борька! Я еще никогда не видала с железной. Дай я в щелочку посмотрю тичо-ничко... Я на цыпочках.

— Я вот тебе посмотрю! Сиди смирно.

Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно.

— А коляску?

— Ну и выдумала еще! Зачем с коляской тащиться? Там тебя дядя Егор на настоящей телеге покатает.

Тропка в Ивановское проходила по берегу Теши. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь то затем, чтобы поднять хворостинку, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще зачем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков пасущегося стада — все это успокаивающе действовало на меня.

И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился отделаться от нее.

Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видала его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде... Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого...

Сомнений больше не было: мой отец де-зертир.

На обратном пути я неожиданно в упор столкнулся с училищным инспектором.

— Гориков, — сказал он строго, — это еще что такое?.. Почему вы во время уроков не в школе?

— Я болен, — ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа.

— Болен? — переспросил инспектор. — Что вы городите чушь? Больные лежат дома, а не шатаются по улицам.

— Я болен, — упрямо повторил я, — и у меня температура...

— У каждого человека температура, — ответил он сердито. — Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу...

«Вот тебе и на! — подумал я, шагая вслед за ним. — И зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придум-

мать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?»

Старичок, училищный доктор, приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз:

— Болен острым приступом лени. Вместо лекарства советую четверку за поведение и после уроков на два часа без обеда.

Инспектор с видом ученого аптекаря одобрил этот рецепт.

Он позвал сторожа Семена и приказал ему отвести меня в класс.

Несчастье одно за другим приходило ко мне в этот день.

Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна кончила спрашивать Торопыгина и, недовольная моим появлением среди урока, сказала:

— Гориков, кочмен зи хер! Спрягайте мне глагол «иметь». Их хабе, — начала она.

— Ду хаст, — подсказал мне Чижигов.

— Эр хат, — вспомнил я сам. — Вир... — тут я опять запнулся. Ну, положительно мне сегодня было не до немецких глаголов.

— Хастус, — нарочно подсказал мне кто-то с задней парты.

— Хастус, — машинально повторил я.

— Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слушать, что глупый мальчишка подсказывает. Дайте вашу тетрадь.

— Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна, приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене.

— Как можно забывать все книги и тетради? — возмутилась немка. — Вы не забыли, а вы обманываете. Оставайтесь за это на час после уроков.

— Эльза Францисковна, — сказал я возмущенно, — меня и так уже сегодня инспектор на два часа оставил. Куда же еще на час? Что мне, до ночи сидеть, что ли?

В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что леность и ложь должны быть наказуемы, и хорошо понял, что третьего часа отсидки мне не избежать.

На перемене ко мне подошел Федька.

— Ты что же это без книг и почему тебя Семен в класс привел?

Я соврал ему что-то. Следующий, последний урок — географии — я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали — все это прошло мимо моего сознания, и я очнулся, только когда задрезжал звонок.

Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один за другим вылетели за двери. Класс опустел. Я остался один.

«Боже мой, — подумал я с тоской, — еще три часа... целых три часа, когда дома отец, когда все так странно...»

Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уже сидели трое. Один первоклассник, оставленный на час за то, что запустил в товарища катышком из жеваной бумаги, другой — за драку, третий — за то, что с лестницы третьего этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика.

Я сел на лавку и задумался. Мимо, громяхая ключами, прошел сторож Семен.

Вышел дежурный надзиратель, время от времени присматривавший за наказанными, и, лениво зевнув, скрылся.

Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. Что такое? Прошло всего-навсего только полчаса, а я-то был уверен, что сижу уже не меньше часа.

Внезапно преступная мысль пришла мне в голову:

«Что же это, на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел два года и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке, а я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке?»

Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным, — это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений.

«Нет, подожду уж», решил я и направился к скамье.

Но тут приступ непонятной злобы овладел мной. «Все равно, — подумал я, — вон отец с фронта убежал... — тут я криво усмехнулся, — а я отсюда боюсь».

Я побежал к вешалке, кое-как накинул шинель и, тяжело хлопнув дверью, выскочил на улицу.

На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец.

— Папа, — спросил я, — а ведь, прежде чем бежать с фронта, ты был смелым, ты ведь не из страха убежал?

— Я и сейчас не трус. — Он сказал это спокойно, но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул.

С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно, вперевалку. Дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади, вдоль мостовой.

— Он... не... к нам, — сказал я отрывисто, чуть не по слогам, и учащенно задышал.

На другой день вечером отец говорил мне:

— Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче! Ты у меня вон уже какой взрослый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего, следи внимательней за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил.

— Мы увидимся еще, папа?

— Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас.

— А где же?

— Узнаешь. Когда надо будет, вам передадут.

Было уже совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармоникой, а возле него гомонила целая куча девок и ребят.

— Мне бы пора уже, — сказал отец, заметно волнуясь, — как бы не опоздать.

— Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота.

Отец нахмурился.

— Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка, подумай... Ты ведь должен все дыры знать.

— Нет, — ответил я, — через чужой сад нельзя. Слева, у Аглаковых, забор высочен-

ный и с гвоздями, а справа можно бы, но там собака, как волк, злоющая... Вот что. Если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду, там у меня плот есть, я тебя перевезу задами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое.

Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шест то и дело застревал в вязком, илистом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды.

Два раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно — дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду.

Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны.

Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться в овраг. Здесь мы распрощались.

Я постоял еще несколько минут. Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише...

Глава восьмая

Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку в том, что сведений «о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям».

Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец — дезертир.

На уроке закона божьего отец Геннадий произнес небольшую поучительную проповедь о верности царю и отечеству и ненарушимости присяги. Кстати же он рассказал исторический случай, как во время японской войны один солдат, решившись спасти свою жизнь, убежал с поля битвы, однако вместо спасения обрел смерть от зубов хищного тигра.

Случай этот, по мнению отца Геннадия, несомненно доказывал вмешательство провидения, которое достойно покарало беглеца, ибо тигр тот, вопреки обыкновению, не

сожрал ни одного куска, а только разодрал солдата и удалился прочь.

На некоторых ребят проповедь эта произвела сильное впечатление. Во время перемены Хрестька Торопыгин высказал робкое предположение, что тигр тот, должно быть, вовсе был не тигр, а архангел Михаил, принявший образ тигра.

Однако Симка Горбушкин усомнился в том, чтобы это был Михаил, потому что у Михаила ухватки вовсе другие: он не зубами, а рубит мечом или колет копьем.

Большинство согласилось с этим, потому что на одной из священных картин, развешанных по стенам класса, была изображена битва ангелов с силами ада. На картине архангел Михаил был с копьем, на котором корчились уже четыре чорта, а три других, задрав хвосты, во весь дух неслись к своим подземным убежищам.

Через два дня мне сообщили, что за самовольный побег из школы учительский совет решил поставить мне тройку за поведение.

Тройка обычно означала, что при первом же замечании ученик исключается из училища.

Через три дня мне вручили повестку, в которой говорилось о том, что моя мать должна немедленно полностью внести за меня плату за первое полугодие, от которой я был раньше освобожден наполовину как сын солдата.

Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «дезертиров сын» крепко укрепились за мной. Многие ученики перестали со мной дружить. Другие хотя и разговаривали и не чуждались, но как-то странно обращались со мной, как будто мне отрезало ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в игры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у товарищей.

Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина среди его птиц.

Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по голове и

уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова.

Наступило странное и оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди у лавок растянулись на кварталы. Повсюду, на каждом углу, собирались кучки. Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникли всевозможные нелепые слухи. То будто бы на озерах вверх по реке Сереже староверы уходят в лес. То будто бы внизу, у бугров, цыгане сбывают фальшивые деньги и оттого все так дорого, что расплодилось уйма фальшивых денег. А один раз пронеслось гревозное известие, что в ночь с пятницы на субботу будут «бить жидов», потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен.

Нивесть откуда появилось в городе много бродяг. Только и слышно стало, что там замок сбили, там квартиру очистили. Приехали на постой полсотни казаков. Когда казаки, хмурые, чубастые, с дикой, взвизгивающей и гикающей песней, плотными рядами ехали по улице, мать отшатнулась от окна и сказала:

— Давненько я их... с пятого года уже не видала. Опять орлами сидят, как в те времена.

От отца мы не имели никаких известий. Догадывался я, что он, должно быть, в Сормове, под Нижним Новгородом, но эта догадка была основана у меня только на том, что перед уходом отец долго и подробно расспрашивал у матери о ее брате Николае, работавшем на вагоностроительном заводе.

Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка Штукин и тихонько помянул меня пальцем. Меня скорее удивила, чем заинтересовала его таинственность, и я равнодушно пошел за ним в угол.

Оглянувшись, Тимка сказал мне шопотом:

— Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно велел притти.

— Зачем я ему нужен? Что ты еще выдумал?

— А вот и не выдумал. Приходи обязательно, тогда узнаешь.

Лицо у Тимки при этом было серьезное,

казалось даже немного испуганным, и я поверил, что Тимка не шутит.

Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель; тусклые фонари, залепленные снегом, почти вовсе не освещали улицы. Для того чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти небольшое поле. Острые снежинки покалывали лицо. Я глубже засунул голову в воротник и зашагал по заметенной тропке к зеленому огоньку лампадки, зажженной у ворот кладбища. Зацепившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалился в снегу. Дверь сторожки была заперта. Я постучал — открыли не сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверями слышались шаги.

— Кто там? — спросил меня строгий знакомый бас сторожа.

— Откройте, дядя Федор, это я.

— Ты, что ли, Борька?

— Да я же... Открывайте скорей.

Я вошел в тепло натопленную сторожку. На столе стоял самовар, блюдце с медом и лежала коврига хлеба. Тимка как ни в чем не бывало чинил клетку.

— Вьюга? — спросил он, увидев мое красное, мокрое лицо.

— Да еще какая! — ответил я. — Ногу я себе расшиб. Ничего не видно.

Тимка рассмеялся. Мне было непонятно, чему он смеется, и я удивленно посмотрел на него. Тимка рассмеялся еще звонче, и по его взгляду я понял, что он смеется не надо мною, а над чем-то, что находится позади меня. Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора, и своего отца.

— Он уже у нас два дня, — сказал Тимка, когда мы сели за чай.

— Два дня... И ты ничего не сказал мне раньше! Какой же ты после этого товарищ, Тимка?

Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего отца, как бы ища у них поддержки.

— Камень, — сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по плечу. — Ты не смотри, что он такой невидный, на него положиться можно.

Отец был в штатском. Он был весел, оживлен. Расспрашивал меня о моих учи-

листных делах, поминутно смеялся и говорил мне:

— Ничего... ничего... плюнь на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь?

Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании меня вышибут из школы.

— Ну и вышибут, — хладнокровно заявил он, — велика важность! Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком не останешься.

— Папа, — спросил я его, — отчего ты такой веселый и гогочешь? Тут про тебя и батюшка проповедь читал, и все-то тебя как за покойника считают, а ты вон какой!

С тех пор как я стал невольным сообщником отца, я и разговаривал с ним по-другому: как со старшим, но равным. Я видел, что отцу это нравится.

— Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хватит, поплакали!.. Ну, ладно. Кати теперь домой! Скоро опять увидимся.

Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной засов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях раздался топот, свистки, крики. Я вскочил и увидел перед собой городского Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился со мной еще в приходском.

— Постой, — сказал он, узнав меня и удерживая за руку. — Куда ты? Там и без тебя обойдутся. Возьми-ка у меня конец башлыка да оботри лицо. Ты уж, упаси бог, не ушибся ли головой?

— Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся, — прошептал я. — А как же папа?

— Что же папа? Против закона никто не велел ему итти. Разве же против закона можно?

Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них с шинелью, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал.

— Тимка, — строго сказал сторож, — пе-

ренишься у крестного, да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска чего не пропало.

Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были связаны за спиной. За-

метив меня, он выпрямился и крикнул мне подбадривающе:

— Ничего, сынка! Прощай пока! Мать поцелуй и Танюшку. Да не горюй очень: время, брат, идет... веселое!

II. ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

Глава первая

Двадцать второго февраля 1917 года военный суд шестого армейского корпуса приговорил рядового 12-го Сибирского стрелкового полка Алексея Горикова за побег с театра военных действий и за вредную, антиправительственную пропаганду к расстрелу.

Двадцать пятого февраля приговор был приведен в исполнение. А второго марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшим народом самодержавие свергнуто.

Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции было для меня зарево от пожара барской усадьбы Полутинных. С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки, дразнившие свежий весенний ветер. Тихонько поглаживая нагретую в кармане рукоятку маузера, самую дорогую память от отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяжелой утраты, радуясь, что «веселое время» подходит.

В первые дни Февральской революции школа была похожа на муравьиную кучу, в которую бросили горящую головешку. После молитвы о даровании победы часть ученического хора начала было, как и всегда, гимн «Боже, царя храни», однако другая половина заорала «долой», засвистела, заикала. Поднялся шум, ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безнаказанно пошуметь, дико завывали котами и заблеяли козами.

Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу. Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен

не снял царские портреты. С визгом и топотом разбежались взволнованные ребята по классам. Откуда-то появились красные банты. Старшеклассники демонстративно заправили брюки в сапоги (что раньше не разрешалось) и, собравшись возле уборной, нарочно, на глазах у классных наставников, закуривали. К ним подошел преподаватель гимнастики офицер Балагушин. Его тоже угостили папиросой. Он не отказался. При виде такого, доселе небывалого объединения начальства с учащимися окружающие закричали «ура».

Однако из всего происходившего поняли сначала только одно: царя свергли и начинается революция. Но почему надо было радоваться революции, что хорошего в том, что свергли царя, перед портретом которого еще только несколько дней тому назад хор с воодушевлением распевал гимны, — этого большинство ребят, а особенно из младших классов, не понимало.

В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники записывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки, и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком. Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола тридцати церквей гудели пасхальными перезвонами. Священники в блестящих ризах принимали присягу Временному правительству.

Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семинарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами. Появились люди и в черных рубахах, в большинстве воспитанники старших классов учительской и духовной семинарий, называвшие себя анархистами.

Большинство в городе сразу примкнуло к

эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди после многолетия Временному правительству соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом и революционером. А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сразу же прониклись сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет религии не особенно распространялись, а говорили больше про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну. Анархисты хотя насчет войны говорили то же самое, но о боге отзывались плохо. Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что бога нет, а если есть бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзлись, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту. Услышав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один толчок от богомолки Маремьяны Сергеевны, ехидной старушонки, продававшей целебное масло из лампад иконы Саровской божьей матери и сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков.

В общем, меня поразило, как удивительно много революционеров оказалось в Арзамасе. Ну, положительно все были революционерами. Даже бывший земский начальник Захаров нацепил огромный красный бант, сшитый из шелка. В Петрограде и в Москве хоть бои были, полицейские с крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам.

Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимофеевичем, тем самым гордовым, который участвовал в аресте моего отца.

В руках у него была корзина, из которой выглядывала бутылка постного масла и кочан капусты. Он стоял и слушал, о чем говорят социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо поклонился.

— Как живы-здоровы? — спросил он. — Что... тоже послушать пришли? Послушайте, послушайте... Ваше дело еще молодое! Нам, старикам, и то интересно... Вишь ты, как дело обернулось!

Я сказал ему:

— Помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арестовывать? Вы тогда говорили, что закон, что против закона нельзя идти. А теперь где же ваш закон? Нету вашего закона, и всем вам, полицейским, тоже суд будет.

Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки заколыхалось.

— И раньше был закон, и теперь тоже будет. А без закона, молодой человек, нельзя. А что судить нас будут, так это — пускай судят. Повесить — не повесят. Начальников наших и то не вешают... Сам государь император и то только под домашним арестом, а уж чего же с нас спрашивать!.. Вон, слышите? Оратор говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть братьями и теперь, в свободной России, не должно быть ни тюрем, ни казней. Значит, и нам не будет ни тюрем, ни казней.

И ушел вперевалку.

Я посмотрел ему вслед и подумал: «Как же так не нужно?.. Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы, он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не тронул бы его только потому, что все люди должны быть братьями?»

Я спросил об этом Федьку.

— При чем тут твой отец? — сказал он. — Твой отец был дезертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не хочет защищать родину.

— Мой отец не был трусом, — ответил я бледнее. — Ты врешь, Федька! Моего отца расстреляли и за побег и за пропаганду. У нас дома есть приговор.

Фелька смутился и ответил примирительно:

— Так что же, это я сам выдумал? Об этом во всех газетах пишут. Прочитай в «Русском слове» речь Керенского. Хорошая речь... Еще когда на общем собрании в женской гимназии читали, так ползала плакало. Там про войну говорится, что надо напрягать все силы, что дезертиры — позор армии и что «над могилами павших в борьбе с немцами свободная Россия воздвигнет памятник неугасимой славы». Так прямо сказано — «неугасимой!» А ты еще спишь!

На трибуну один за другим выходили ораторы. Охрипшими голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали желающих в партию и добровольцев на фронт. Были такие ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор, пока их не стаскивали. На их место вытаскивали новых ораторов.

Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышанного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Перепутывались речи отдельных ораторов. И никак я не мог понять, чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только одно слово:

— Свобода... свобода... свобода...

— Гориков, — услышал я позади себя и почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо.

Около меня стоял неизвестно откуда появившийся ремесленный учитель Галка.

— Откуда вы? — спросил я, искренне обрадовавшись.

— Из Нижнего, из тюрьмы. Идем, милый, ко мне. Я здесь неподалеку комнату снял. Будем чай пить, у меня есть булка и мед. Я так рад, что тебя увидел! Я только вчера приехал и сегодня хотел нарочно к вам зайти.

Он взял меня за руку, и мы стали проталкиваться через гомонливую толпу.

На соседней площади мы наткнулись на новую толчею. Здесь горели костры, и вокруг них толпились любопытные.

— Что это такое?

— А, пустое, — ответил, улыбнувшись,

Галка. — Анархисты царские флаги жгут. Лучше бы разодрали ситец да роздали, а то мужики ругаются. Сам знаешь, каждая тряпка теперь дорога.

Руки у Галки были худые и длинные. Заваривая чай, он говорил быстро, то и дело улыбаясь:

— Отец твой погиб рано. Мы с ним вместе сидели, пока его не отправили в корпусный суд.

— Семен Иванович, — спросил я за чаем, — вот вы говорите, что с отцом товарищами по партии были. Разве же он был в партии? Он мне про это никогда не говорил.

— Нельзя было говорить, вот и не говорил.

— И вы тоже не говорили. Когда вас арестовали, то про вас Петька Золотухин рассказывал, что вы шпион.

Галка засмеялся:

— Шпион! Ха-ха-ха! Петька Золотухин? Ха-ха! Золотухину простиительно, он глупый мальчишка, а вот когда теперь про нас большие дураки распускают слухи, что мы шпионы, — это, брат, еще смешнее.

— Про кого это про вас, Семен Иванович?

— А про нас, про большевиков.

Я покосился на него.

— Так вы разве большевики, то есть я хочу сказать, значит и отец тоже был большевиком?

— Тоже.

— И что это с отцом все не по-людски выходит? — огорченно спросил я, немного подумав.

— Как не по-людски?

— А так. Другие солдаты как солдаты, революционеры, так уж революционеры, никто про них ничего плохого не говорит, все их уважают. А отец — то дезертиром был, то вдруг оказывается большевиком. Почему большевиком, а не настоящим революционером, ну, хотя бы эсером или анархистом? А вот, как назло, большевиком. То хоть бы я мог сказать в ответ всем, что моего отца расстреляли за то, что он был революционером, и все бы заткнули рты и никто бы не тыкал в меня пальцем. а то если я скажу, что расстреляли отца как

большевика, так каждый скажет — туда ему и дорога, потому что во всех газетах напечатано, что большевики — немецкие наемники и ихний Ленин у Вильгельма на службе.

— Да кто «каждый»-то скажет? — спросил Галка, во время моей горячей речи смотревший на меня смеющимися глазами.

— Да каждый. Кто ни попадетя. Все соседи и батюшка на проповеди, вот и ораторы...

— Соседи! Ораторы!.. — перебил меня Галка. — Глупый! Да отец твой был в десять раз более настоящим революционером, чем все эти ораторы и соседи. Какие у тебя соседи? Монахи, выездновские лабазники, купцы, божьи странники, базарные мясники да мелкие обыватели. Ведь в том-то и беда, что среди соседей твоих редко-редко стоящего человека найдешь. Мы всю эту ораву и не агитируем даже. Пусть перед ними эти краснорубахие пустозвоны рассыпаются. Нам здесь времени тратить нечего, потому что монахи да лабазники все равно нашими помощниками не будут! Ты погоди, вот я тебя сведу, куда мы на митинги ходим. В бараки к раненым, в казармы к солдатам, на вокзал, в деревни. Ты вот там послушай! А тут — нашел судей... Соседи!

Галка рассмеялся.

Отца Тимки Штукина освободили еще в начале революции, но прежнего места ему не возвратили, и церковный староста Синюгин приказал ему немедленно освободить сторожку для вновь нанятого человека.

Никто из купцов не хотел принимать сторожа на работу. Ткнулся он к одному, к другому — нет ли места истопника или дворника, — ничего не вышло.

Синюгин, так тот прямо заявил:

— Я русской армии помогаю. Тысячу рублей на Красный крест пожертвовал да одних подарков, флажков и портретов Александра Федоровича Керенского больше чем на две сотни в лазареты роздал, а ты дезертиров разводишь. Нет у меня для тебя места.

Не стерпел сторож и ответил:

— Покорно вас благодарю за такие слова. А только дозвоьте вам заметить, что ни флажками, ни портретами вы не откупи-

тешь, придет и на вас управа. И ты на меня не гикай! — рассердился внезапно дядя Федор. — Ты думаешь, пузо нарастил, телескоп завел, крокодила говядиной кормишь — так царь и бог? Погоди, послушай-ка лучше, что на твоих фабриках народ поговаривает. Ударили, мол, да мало, не дать ли подбавки?

— Я тебя... я тебя укупеку! — забормотал ошеломленный Синюгин. — Вон оно что!.. Я на тебя жалобу... У меня завод на армию работает. Меня и теперешнее начальство ценит, а ты... Пошел вон отсюда!

Сторож надел шапку и вышел.

— Революцию устроили... Вся сволочь на прежнем месте. И упрекает еще, когда он и с воинским начальником и в городской думе. На них с гвоздями надо, чтобы продрали. Патриот... — бурчал он, шагая по улицам. — На гнилых сапогах тысячи нажил. Сына-то своего откупил от службы. Воинскому триста сунул да госпитальному доктору пятьсот — сам, пьяный, хвастался. Все вы хороши чужими руками воевать. Портреты Александра Федоровича купил. Взять бы вас с вашим Александром Федоровичем — на одну осину! Дождались свободы... С праздничком вас Христовым!

Все точно перебесились. Только и было слышно: «Керенский, Керенский...»

В каждом номере газеты помещались его портреты: «Керенский говорит речь», «Население устилает путь Керенского цветами», «Восторженная толпа женщин несет Керенского на руках». Член арзамасской городской думы Феофанов ездил по делам в Москву и за руку поздоровался с Керенским. За Феофановым табунами бегали.

— Да неужели же так и поздоровался?

— Так и поздоровался, — гордо отвечал Феофанов.

— Прямо за руку?

— Прямо за правую руку, да потряс еще.

— Вот! — раздался кругом взволнованный шопот. — Царь бы ни за что не поздоровался, а Керенский поздоровался. К нему тысячи людей за день приходят, и со всеми он за руку, а раньше бы...

— Раньше был царизм.

— Ясно... А теперь свобода.

— Ура! Ура! Да здравствует свобода!..

Да здравствует Керенский!.. Послать ему приветственную телеграмму!

Надо сказать, что к этому времени каждая десятая телеграмма, проходившая через почтовую контору, была приветственной и адресованной Керенскому. Посылали с митингов, с училищных собраний, с заседаний церковного совета, от думы, от общества хоругвеносцев — ну, положительно отовсюду, где собиралось несколько человек, посылалась приветственная телеграмма.

Однажды пошли слухи о том, что от арзамасского общества любителей куроводства «дорогому вождю» не было послано ни одной телеграммы. В местной еженедельной газетке появилось негодующее опровержение председателя общества Офендулина. Офендулин прямо утверждал, что слухи эти — злостная клевета. Было послано целых две телеграммы, причем в особой сноске редакция удостоверяла, что в подтверждение своего опровержения уважаемый М. Я. Офендулин представил «оказавшиеся в надлежащем порядке квитанции почтово-телеграфной конторы».

Глава вторая

Прошло несколько месяцев с тех пор, как я встретился с Галкой.

На Сальниковой улице, рядом с огромным зданием духовного училища, стоял маленький, окруженный садиком домик. Обыватели, проходя мимо его распахнутых окон, через которые виднелись окутанные мажорочным дымом лица, прибавляли шагу и, удалившись на квартал, злобно сплевывали:

— Здесь заседают провокаторы!

Здесь находился клуб большевиков. Большевиков в городе было всего человек двадцать, но домик всегда был набит доотказа. Вход в него был открыт для всех, но главными завсегдатаями здесь были солдаты из госпиталя, пленные австрийцы и рабочие кожевенной и кошмопальной фабрик.

Почти все свободное время проводил там и я. Сначала я ходил туда с Галкой из любопытства, потом по привычке, потом втянуло, завертело и ошарашило. Точно очист-

ки картофеля под острым ножом, вылетала вся шелуха, которой до сих пор была забита моя голова.

Наши большевики не выступали на церковных диспутах и на митингах среди краснорядцев — они собирали толпы у барачков, за городом и в измученных войной деревнях.

Помню, однажды в Каменке был митинг. — Пойдем обязательно! Схватка будет. От эсеров сам Кругликов выступает. А знаешь, как он поет, — заслушаешься, — сказал мне Галка. — В Ивановском после его речи нам, не разобравшись, сначала чуть было по шее мужики не наклали.

— Пойдемте, — обрадовался я. — Вы чего, Семен Иванович, никогда с собой свой револьвер не берете? Всегда он у вас где попало: то в табак засунете, а вчера я его у вас в хлебнице видел. У меня мой так всегда со мной. Я даже, когда спать ложусь, под подушку его кладу.

Галка засмеялся, и борода его, засыпанная махоркой, заколыхалась.

— Мальчуган! — сказал он. — Ежели теперь в случае неудачи мне просто шею набьют, то попробуй вынуть револьвер, тогда, пожалуй, и костей не соберешь. Придет время, и мы возьмемся за револьверы, а пока наше лучшее оружие — слово. Баскаков сегодня от наших выступать будет.

— Что вы! — удивился я. — Баскаков вовсе плохо говорит. Он и фразы-то с трудом подбирает. У него от слова до слова пообедать можно.

— Это он здесь, а ты послушай, как он на митингах разговаривает.

Дорога в Каменку пролежала через старый, подгнивший мост, мимо покрытых еще не скошенной травой заливных лугов и мимо мелких протоков, заросших высоким густым камышом. Тянулись из города крестьянские подводы. Шли с базара босоногие бабы с пустыми кринками из-под молока. Мы не торопились, но когда нас обогнала пролетка, доотказа набитая эсерами, мы прибавили шагу.

По широким улицам со всех концов двинулись к площади кучки мужиков из соседних селений. Митинг еще не начинался, но гомон и шум слышны были издали.

В толпе я увидел Федьку. Он шнырял взад-вперед и совал проходившим какие-то листовки. Заметив меня, он подбежал.

— Эгей! И ты пришел... Ух, сегодня и весело будет! На вот, возьми пачку и помогай раздавать.

Он сунул мне десяток листовок. Я развернул одну — листовки были эсеровские, за войну до победы и против дезертирства. Я протянул пачку обратно:

— Нет, Федька, я не буду раздавать такие листовки. Раздавай сам, когда хочешь.

Федька плюнул:

— Дурак ты... Ты что, тоже с ними? — и он мотнул головой в сторону проходивших Галки и Баскакова. — Также хорош... Нечего сказать. А я-то еще на тебя надеялся!

И, презрительно пожав плечами, Федька исчез в толпе.

«Он на меня надеялся, — усмехнулся я. — Что, у меня своей головы, что ли, нет?»

— До победы... — услышал я рядом с собой негромкий голос.

Обернувшись, я увидел рябого мужика без шапки. Он был босиком, в одной руке держал листовку, в другой — разорванную уздечку. Должно быть, он был занят починкой и вышел из избы послушать, о чем будет говорить народ.

— До победы... ишь ты! — как бы с удивлением повторил он и обвел толпу недоумевающим взглядом. Покачал головой, сел на завалинку и, тыкая пальцем в листовку, прокричал на ухо сидевшему рядом глухому старику:

— Опять до победы... С четырнадцатого года — и все до победы. Как это выходит, дедушка Прохор?

Выкатили на середину площади телегу. Влез неизвестно кем выбранный председатель — маленький, вертлявый человек — и прокричал:

— Граждане! Объявляю митинг открытым. Слово для доклада о Временном правительстве, о войне и текущем моменте предоставляется социалисту-революционеру товарищу Кругликову...

Председатель соскочил с телеги. С минуты на «трибуне» никого не было. Вдруг ра-

зом вскочил, стал во весь рост и поднял руку Кругликов. Гул умолк.

— Граждане великой свободной России! От имени партии социалистов-революционеров передаю вам пламенный привет.

Кругликов заговорил. Я слушал его, стараясь не проронить ни слова.

Он говорил о тех тяжелых условиях, в которых приходится работать Временному правительству. Германцы нападают, фронт, темные силы — немецкие шпионы и большевики — ведут агитацию в пользу Вильгельма.

— Был царь Николай, будет Вильгельм. Хотите ли вы опять царя? — спрашивал он.

— Нет, хватит! — сотнями голосов откликнулась толпа.

— Мы устали от войны, — продолжал Кругликов. — Разве нам не надоела война? Разве же не пора ее окончить?

— Пора! — еще единодушной отозвалась толпа.

— Что он говорит по чужой программе? — возмущенно зашептал я Галке. — Разве они тоже за конец войны?

Галка ткнул меня легонько в бок: «Помалкивай и слушай».

— Пора! Ну, так вот видите, — продолжал эсер, — вы все, как один, говорите эго. А большевики не позволяют измученной стране скорее, с победой, окончить войну. Они разлагают армию, и армия становится небоеспособной. Если бы у нас была боеспособная армия, мы бы одним решительным ударом победили врага и заключили мир. А теперь мы не можем заключить мир. Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что ваши сыновья, братья, мужья и отцы гниют в окопах, вместо того чтобы вернуться к мирному труду? Кто отдаляет победу и удлинняет войну? Мы, социалисты-революционеры, во всеуслышание заявляем: да здравствует последний, решительный удар по врагу, да здравствует победа революционной армии над полчищами немца, и после этого — долой войну и да здравствует мир!

Толпа тяжело дышала клубами махорки; слышались отдельные одобрительные возгласы.

Кругликов заговорил об Учредительном

собрании, которое должно быть хозяином земли, о вреде самочинных захватов помещичьих земель, о необходимости соблюдать порядок и исполнять приказы Временного правительства. Тонкой, искусной паутиной он оплетал головы слушателей. Сначала он брал сторону крестьянства, напоминал ему о его нуждах. Когда толпа начинала сочувственно выкрикивать: «Правильно!», «Верно говоришь!», «Хуже уж некуда!», Кругликов начинал незаметно поворачивать. Внезапно оказывалось, что толпа, которая только что соглашалась с ним в том, что без земли крестьянину нет никакой свободы, приходила к выводу, что в свободной стране нельзя захватом отбирать у помещиков землю.

Свою полтора часовую речь он кончил под громкий гул аплодисментов и ругательств по адресу шпионов и большевиков.

«Ну, — подумал я, — куда Баскакову с Кругликовым тягаться! Вон как все расхотелись».

К моему удивлению, Баскаков стоял рядом, пыхтел трубкой и не обнаруживал ни малейшего намерения влезать на трибуну.

Столпившиеся возле телеги эсеры тоже были несколько озадачены поведением большевиков. Посовещавшись, они решили, что большевики поджидают еще кого-то, и потому выпустили нового оратора. Оратор этот был намного слабее Кругликова. Говорил он запинаясь, тихо и, главное, повторял уже сказанное. Когда он слез, хлопков ему было меньше.

Баскаков все стоял и продолжал курить. Его узкие продолговатые глаза были прищурены, а лицо имело добродушно-простоватый вид и как бы говорило: «Пусть их там болтают. Мне-то какое до этого дело! Я себе покуриваю и никому не мешаю».

Третий оратор был не сильнее второго, и когда он сходил, большинство слушателей засвистело, заикало и заорало:

— Эй, там... председатель!

— Ты, чортова башка! Давай других ораторов!

— Подавай сюда этих, большевиков! Что ты им слова не даешь?

В ответ на такое обвинение председатель возмущенно заявил, что слово он дает

всем желающим, а большевики сами не просят слова, потому что боятся, должно быть, и он не может их заставить силой говорить.

— Ты не можешь, так мы сможем!

— Наблюдали и хоронятся.

— Тащи их за ворот на телегу! Пусть при народе выкладывают всё начистоту...

Рев толпы испугал меня. Я взглянул на Галку. Он улыбался, но был бледен.

— Баскаков, — проговорил он, — хватит. А то плохо кончиться может.

Баскаков кашлянул, как будто у него в горле разорвалось что-то, сунул трубку в карман и вперевалку мимо расступавшейся озлобленной толпы пошел к телеге.

Говорить он начал не сразу. Равнодушно посмотрев на толпившихся возле телеги эсеров, он вытер ладонью лоб, потом обвел глазами толпу, сложил огромный кулак дулею, выставил его так, чтобы всем он был виден, и спросил спокойно, громко и с издевкою:

— А этого вы не видели?

Такое необычайное начало речи смутило меня. Удивило оно сразу и мужиков.

Почти тотчас же раздалась негодующие выкрики:

— Это штой-то?

— Ты што людяи кукиш выставил?

— Ты, пес тебя возьми, словами отвечай, а не фиггой, а то по шее получишь!

— Этого не видали? — начал опять Баскаков. — Ну, так не горюйте, Они... — тут Баскаков мотнул головой на эсеров, — они вам почище покажут. — Па-а-ду-маешь!.. — протянул Баскаков, сощуривая глаза и качая головой. — Па-адумаешь!.. Развесили уши граждане свободной России. А скажите мне, граждане, какая вам есть польза от этой революции? Война была — война есть. Земли не было — земли нет. Помещик жил рядом — жил. А сейчас живет? Живет, живет. Что ему делается? Вы не гикайте, не храбритесь. Помещика и это правительство в обиду не даст. Вон спросите-ка у водоватовских: пробовали было они до барской земли сунуться, а там отряд. Покрутились, покрутились около — хоть и хороша земля, да не укусишь. Триста лет, говорите, терпели, так еще мало, еще тер-

петь захотели? Что ж, терпите. Господь терпеливых любит. Дождитесь, пока помещик сам к вам придет и поклонится: «А не надо ли вам землицы? Возьмите Христа-ради». Ой, дождетесь ли только? А слышали ли вы, что в Учредительном собрании, когда оно соберется, обсуждать вопрос будут: «Как отдать землю крестьянину — без выкупа либо с выкупом?» А нука, придете домой, посчитайте у себя деньжата, хватит ли выкупить? На то, по-вашему, революция произошла, чтобы свою землю у помещиков выкупать? Да на кой пес, я вас спрашиваю, такая революция нужна была? Разве же без нее нельзя было за свои деньги земли купить?

— Какой еще выкуп! — слышались из толпы рассерженные и встревоженные голоса.

— А вот какой... — Тут Баскаков вынул из кармана смятую листовку и прочел: — «Справедливость требует, чтобы за земли, переходящие от помещиков к крестьянам, землевладельцы получили вознаграждение». Вот какой выкуп. Пишут это от партии кадетов, а она тоже будет заседать в Учредительном. Она тоже своего добиваться будет. А вот как мы, большевики, по-простому говорим: неча нам ждать Учредительного, а давай землю сейчас, чтобы никакого обсуждения не было, никакой оттяжки и никакого выкупа! Хватит... выкупили.

— Вы-ыкупили!.. — сотнями голосов ахнула толпа.

— Какие еще могут быть обсуждения? Этак, может, и опять ничего не достанется.

— Да замолчите вы, окаянные!.. Хай большевик говорит! Может, он еще что-нибудь этакое скажет.

Раскрыв рот, я стоял возле Галки. Внезапный прилив радости и гордости за Баскакова нахлынул на меня.

— Семен Иванович! — крикнул я, дергая Галку за рукав. — А я-то думал... Как он с ними... Он даже не речь держит, а просто разговаривает.

«Ой, какой хороший и какой умный Баскаков!» думал я, слушая, как падают его спокойные, тяжелые слова в гущу взволнованной толпы.

— Мир после победы? — говорил Баскаков. — Что же, дело хорошее. Завоеем Константинополь. Ну, прямо как дозарезу нужен нам этот Константинополь! А то еще и Берлин завоеем. Я тебя спрашиваю, — тут Баскаков ткнул пальцем в рябого мужичка с уздечкой, пробравшегося к трибуне, — я спрашиваю: что у тебя немец либо турок взаймы, что ли, взяли и не отдают? Ну, скажи мне на милость, дорогой человек, какие у тебя дела могут быть в Константинополе? Что ты, картошку туда на базар продавать повезешь? Чего же молчишь?

Рябой мужичок покраснел, заморгал и, разводя руками, ответил негодующим голосом:

— Да мне же вовсе и не нужен... Да зачем же он мне сдался?

— Тебе не нужен, ну и мне не нужен и им никому не нужен! А нужен он купцам, чтобы торговать им, видишь, прибыльней было. Так им нужен, пускай они и завоевывают. А мужик тут при чем? Зачем у вас полдеревни на фронт угнали? Затем, чтобы купцы прибыль огребали! Дурни вы, дурни! Большие, бородатые, а всякий вас вокруг пальца окрутить может.

— А ей-богу же, может! — хлопая себя руками, прошептал рябой мужик. — Ей-богу, может. — И, вздохнув глубоко, он понуро опустил голову.

— Так вот мы и говорим вам, — заканчивал Баскаков, — чтобы мир не после победы, не после дождичка в четверг, не после того, когда будут изувечены еще тысячи рабочих и мужиков, а давайте нам мир сейчас, без всяких побед. Мы еще и на своей земле помещика не победили. Так я говорю, братцы, или нет? Ну, а теперь, пусть кто несогласен, выйдет на это место и скажет, что я соврал, что я неправду сказал, а мне вам говорить больше нечего!

Помню: заревело, застонало. Выскочил побледневший эсер Кругликов, замахал руками, пытаясь что-то сказать. Спихнули его с телеги. Баскаков стоял рядом и закуривал трубку, а рябой мужик, тот, у которого Баскаков спрашивал, зачем ему нужен Константинополь, тянул его за рукав, зывая в избу чай пить.

— С медом! — каким-то почти умоляющим голосом говорил он. — Осталось маменько. Не обидь же, товарищ! И они, ваши, пускай тоже идут.

Пили кипяток, заваренный сушеной малиной. В избе вкусно пахло сотами. Мимо окон по пыльной дороге прокатила обратно бричка, набитая эсерами. Наступал сухой, душный вечер. Далеко в городе гудели колокола. Черные монахи тридцати церковей возносили молитвы об успокоении бунтующейся земли.

Глава третья

Я пошел на кладбище проститься с Тимкой Штукиным. Вместе с отцом он уезжал на Украину к своему дяде, у которого был где-то возле Житомира небольшой хутор.

Вещи были сложены. Отец ушел за подвой. Тимка казался веселым. Он не мог стоять на месте, поминутно бросался то в один, то в другой угол, точно хотел напоследок еще раз осмотреть стены сторожки, в которой он вырос. Но мне казалось, что Тимка не по-настоящему веселый и с трудом удерживается, чтобы не расплакаться. Птиц своих он распустил.

— Всех... Все разлетелись, — говорил Тимка. — И малиновка, и синицы, и щеглы, и чиж. Я, Борька, знаешь, больше всего чижа любил. Он у меня совсем ручной был. Я открыл дверку клетки, а он не вылетает. Я шугнул его палочкой... Взметнулся он на ветку тополя да как запоеет, как запоет!.. Я сел под дерево, клетку на сучок повесил. Сижу, а сам про все думаю: и как мы жили, и про птиц, и про кладбище, и про школу, как все кончилось и уезжать приходится. Долго сидел думал, потом встаю, хочу взять клетку. Гляжу, а на ней мой чижик сидит. Спустился, значит, сел и не хочет улетать. И мне вдруг так жалко всего стало, что я... я чуть не заплакал, Борька.

— Ты врешь, Тимка, — взволнованно сказал я. — Ты, наверное, и на самом деле заплакал.

— И на самом деле, — дрогнувшим голосом сознался Тимка. — Я, знаешь, Борька, привык. Мне так жаль, что нас отсюда

выгнали. Знаешь, я даже тайком от отца к старосте Синогину ходил проситься, чтобы оставили. Так нет, — Тимка вздохнул и отвернулся, — не вышло. Ему что?.. У него вон какой свой дом...

Последние слова Тимка договорил почти шопотом и быстро вышел в соседнюю комнату. Когда через минуту я зашел к нему, то увидел, что Тимка, крепко уткнувшись лицом в большой узел с подушками, плачет.

На вокзале, подхваченные людской массой, ринувшейся к вагонам подошедшего поезда, Тимка с отцом исчезли.

«Раздавят еще Тимку, — забеспокоился я. — И куда это такая прорва народу едет?»

Перрон был набит доотказа. Солдаты, офицеры, матросы. «Ну, эти-то хоть привыкли и у них служба, а вот те куда едут?» подумал я, оглядывая кучки расположившихся среди вороха коробок, корзин и чемоданов. Штатские ехали целыми семьями. Бритые озлобленные мужчины с потными от беготни и волнения лбами. Женщины с тонкими чертами лица и растеряннo-усталым блеском глаз. Какие-то старинные мамашаи в замысловатых шляпках, ошарашенные сутолокой, упрямые и раздраженные.

Слева от меня на огромном чемодане сидела, придерживая одной рукой перетянутую ремнями постель, другой — клетку с попугаем, какая-то старуха, похожая на одну из тех старых благородных графинь, которых показывают в кино.

Она кричала что-то молодому морскому офицеру, пытавшемуся сдвинуть с перрона тяжелый кованный сундук.

— Оставьте, — отвечал он, — какой тут еще вам носильщик! О, чорт!.. Слушай! — крикнул он, бросая сундук и поворачиваясь к проходившему мимо солдату. — Эй, ты!.. Ну-ка, помоги втащить вещи в вагон.

Врасплох захваченный солдат, подчиняясь начальственному тону, быстро остановился, опустив руки по швам, но почти тотчас же, как будто устыдившись своей поспешней поднасмешливыми взглядами товарищей ослабил вытяжку, неторопливо заложил руку за ремень и, чуть прищуриив глаз, хитро посмотрел на офицера.

— Тебе говорят, — повторил офицер. — Ты оглох, что ли?

— Никак нет, не оглох, господин лейтенант, а не мое это дело — ваши гардеробы перетаскивать.

Солдат повернулся и неторопливо, вразвалку пошел вдоль поезда.

— Грегуар!.. — выкатив выцветшие глаза, крикнула старуха. — Грегуар, найди жандарма, пусть он арестует, пусть отдаст под суд грубияна!

Но офицер безнадежно махнул рукой и, обозлившись, внезапно ответил ей резко:

— Вы-то еще чего лезете? Что вы понимаете? Какого вам жандарма — с того света, что ли? Сидите да помалкивайте.

Тимка неожиданно высунулся из окошка:

— Эгей! Борька, мы здесь!

— Ну, как вы там?

— Ничего... Мы хорошо устроились. Отец на вещах сидит, а меня матрос к себе на верхнюю полку в ноги пустил. «Только, — говорит, — не дрыгайся, а то сгною».

Вспугнутая вторым звонком толпа загомонила еще громче. Отборная ругань смешивалась с французской речью, запах духов с запахом пота, переливы гармоники с чьим-то плачем — и все это разом покрыл гудок паровоза.

— Прощай, Тим-ка!

— Прощай, Борь-ка! — ответил он, высовывая вихор и махая мне рукой.

Поезд скрылся, увозя с собой сотни разношерстного, разноязычного народа, но казалось, что вокзал не освободился ни сколько.

— Ух, и прет же! — услышал я рядом с собой голос. — И все на юг, все на юг. На Ростов, на Дон. Как на север поезд, то одни солдаты да служивый народ, а как на юг, то господа так и прут.

— На курорт едут, что ли?

— На курорт... — послышалось насмешливое. — Полечиться от страха, нынче страхом господа больны.

Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пивших чай, щелкавших семечки, спавших, смеявшихся и переругивавшихся, я пошел к выходу.

Хромой газетчик Семен Яковлевич выскочил откуда-то и, пробегая с необычной для

его деревянной ноги прытью, заорал тонким, скрипучим голосом:

— Свежие газеты!.. «Русское слово»!.. Потрясающие подробности о выступлении большевиков! Правительство разогнало большевистскую демонстрацию! Есть убитые и раненые. Безуспешные поиски главного большевика Ленина!..

Газету рвали из рук — сдачу не спрашивали.

Возвращаясь, я взял чуть правее шоссе и направился по узкой тропке, пролегавшей меж колосьев спелой ржи. Спускаясь в овраг, я заметил на противоположном склоне шагавшего навстречу человека, согнувшегося под тяжестью ноши. Без труда я узнал Галку.

— Борис, — крикнул он мне, — ты что здесь делаешь? Ты с вокзала?

— С вокзала. А вы-то куда? Уж не на поезд ли? Тогда фьють... опоздали, Семен Иванович, поезд только что ушел.

Ремесленный учитель Галка остановился, бухнул тяжелую ношу на траву и, опускаясь на землю, проговорил огорченно:

— Ну и ну! Что же теперь делать мне с этим? — и он ткнул ногой в завязанный узел.

— А тут что такое? — полюбопытствовал я.

— Разное... литература... Да и так еще кое-что.

— Тогда давайте. Я вам обратно помогу донести. Вы в клубе оставите, а завтра поедете.

Галка затряс своей черной и, как всегда, обсыпанной махоркой бородой.

— В том-то, брат, и дело, что в клуб нельзя. Клуб-то, брат, у нас тютю. Нету больше клуба.

— Как нету? — чуть не подпрыгнул я. — Сгорел, что ли? Да я же только утром, как сюда итти, проходил мимо...

— Не сгорел, брат, а закрыли его. Хорошо, что нас свои люди успели предупредить. Там сейчас обыск идет.

— Семен Иванович, — спросил я недоумевая, — да как же это? Кто же это может закрыть клуб? Разве теперь старый режим?.. Теперь свобода. Ведь у эсеров есть клуб, и у меньшевиков, и у кадетов, а

анархисты всегда пьяные и вдобавок еще окна у себя снаружи досками заколотили, и то им ничего. А у нас все спокойно, и вдруг закрыли.

— Свобода! — улыбнулся Галка. — Кому, брат, свобода, а кому и нет. Вот что мне с узлом-то делать? Спрятать бы пока до завтра надо, а то назад в город тащить неудобно, отберут еще, пожалуй.

— А давайте спрячем, Семен Иванович! Я место тут неподалеку знаю. Тут, если оврагом немного пройти, пруд будет, а еще сбоку такая выемка, там раньше глину для кирпичей рыли, и в стенках ям много. Туда не только что узел, а телегу с конем спрятать можно. Только говорят, что змеюки там попадают, а я босиком. Ну, вам-то, в ботинках, можно. Да они если и укусят, то ничего — не помрешь, а только как бы обалдеешь.

Последнее добавление не понравилось Галке, и он спросил, нет ли где поблизости другого укромного местечка, но чтобы без змеюк.

Я ответил, что другого такого места поблизости нету и кругом народ бывает: либо стадо пасется, либо картошку перепалывают, либо мальчишки возле чужих огородов околачиваются.

Тогда Галка взвалил узел на плечо, и мы пошли по берегу ручья.

Узел спрятали надежно.

— Беги теперь в город, — сказал Галка. — Я завтра сам заберу его отсюда. Да если увидишь кого из комитетчиков, то передай, что я еще не уехал. Постой! — остановил он меня, заглядывая мне в лицо. — Постой! А ты, брат, не того... — тут он покрутил пальцем перед моим лицом, — не сболтнешь?

— Что вы, Семен Иванович! — забормотал я, съевшись от обидного подозрения. — Что вы! Разве я о ком-нибудь хоть что... когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез, а вы еще...

Не дав договорить, Галка потрепал меня по плечу худою цепкою пятерней и сказал улыбаясь:

— Ну, ладно, ладно... Катя... Эх ты, разговорщик!

Глава четвертая

За лето Федька вырос и возмужал. Он отпустил длинные волосы, завел черную рубаху-косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Федька — делегат от реального в женскую гимназию. Федька — выбранный на родительские заседания. Навострился он такие речи заворачивать — прямо второй Кругликов. Влезет на парту на диспутах: «Должны ли учащиеся отвечать учителям сидя или обязаны стоять?», «Допустима ли в свободной стране игра в карты во время уроков закона божьего?» Выставит ногу вперед, руку за пояс и начнет: «Граждане, мы призываем... обстановка обязывает... мы несем ответственность за судьбы революции...» И пошел, и пошел...

С Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились с каждым днем.

Я опять стал на отшибе.

Только что начала забываться история с моим отцом, только что начал таять холод между мной и некоторыми из прежних товарищей, как подул новый ветер из столицы; обозлились обитатели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала думская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым: зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним клубом на крыше флаг вывешивал, почему на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?

Листовки у нас все раздавали. Иной хватает и кадетских, и анархистских, и христианских социалистов, и большевистских — бежит и какая попала под руку, ту и сует прохожему. И этаким все ничего, как будто так и надо!

Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне Баскаков только что полную грудку своих прокламаций дал? Как же можно раздавать и те и другие? Ну, хоть бы сходные листовки были, а то в одной — «Да здравствует победа над немцами», в другой — «Долой грабительскую

войну». В одной — «Поддерживайте Временное правительство», в другой — «Долой десять министров-капиталистов». Как же можно сваливать их в одну кучу, когда одна листовка другую сожрать готова?

Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по клубам, явные монархисты подали в отставку. Половину школы заняли под Красный Крест.

— Я, мать, уйду из школы, — говаривал я иногда. — Учебы все равно никакой, со всеми я на ножах. Вчера, например, Корнев собирал с кружкой в пользу раненых; было у меня двадцать копеек, опустил и я, а он перекопился и говорит: «Родина в подачках авантюристов не нуждается». Я аж губы закусил. Это при всех-то! Говорю ему: «Если я сын дезертира, то ты сын вора. Отец твой, подрядчик, на поставках армию грабил, и ты, вероятно, на сборах раненым подзаработать непрочь». Чуть дело до драки не дошло. На днях товарищеский суд будет. Плевал я только на суд. Тоже... судьи какие нашлись!

С маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня никто еще не собирался нападать, но он дорог мне был как память об отце, его подарок — единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. И еще потому любил я маузер, что всегда испытывал какое-то приятное волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, мне было тогда пятнадцать лет, и я не знал, да и до сих пор не знаю ни одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь настоящий револьвер. Об этом маузере знал только Федька. Еще в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок.

На другой день после истории с Корневым я вошел в класс, как и всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания.

Первым уроком была география. Рассказав немного о западном Китае, учитель остановился и начал делиться последними газетными новостями. Пока споры да раз-

говоры, я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился.

После звонка, внимательно наблюдая за окружающими, я встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Около меня образовалось полукольцо; из середины его вышел Федька и направился ко мне.

— Что тебе надо? — спросил я.

— Сдай револьвер, — нагло заявил он. — Классный комитет постановил, чтобы ты сдал револьвер в комиссариат думской милиции. Сдай его сейчас же комитету, и завтра ты получишь от милиции расписку.

— Какой еще револьвер? — отступая к окну и стараясь, насколько хватало сил, казаться спокойным, переспросил я.

— Не запирайся, пошалуйста! Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой. И сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше добровольно, или мы вызовем милицию. Давай! — И он протянул руку.

— Маузер?

— Да.

— А этого не хочешь?! — резко выкрикнул я, показывая ему фигу. — Ты мне его давал? Нет. Ну, так и катись к чорту, пока не получил по морде!

Быстро повернув голову, я увидел, что за моей спиной стоят четверо, готовых схватить меня сзади. Тогда я прыгнул вперед, пытаюсь прорваться к двери. Федька рванул меня за плечи. Я ударил его кулаком, и тотчас же меня схватили за плечи и поперек груди. Кто-то пытался вытолкнуть мою руку из кармана. Не вынимая руки, я крепко впился в рукоятку револьвера.

«Отберут... Сейчас отберут...»

Тогда, как пойманный в капкан звереныш, я взвизгнул. Я вынул маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал спуск.

Четыре пары рук, державших меня, мгновенно разжались. Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, будто ватные лица учеников, желтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом, и пре-

вратившегося в библейский соляной столб застрявшего в дверях отца Геннадия. Не раздумывая, я прыгнул с высоты второго этажа на клумбы яркокрасных георгинов.

Поздно вечером по водосточной трубе, со стороны сада, я пробирался к окну своей квартиры. Старался лезть потихоньку, чтобы не испугать домашних, но мать услышала шорох, подошла и спросила тихонько:

— Кто там? Это ты, Борис?

— Я, мама.

— Не ползи по трубе... сорвешься еще. Иди, я тебе дверь открою.

— Не надо, мама... Пустяки, я и так...

Спрыгнув с подоконника, я остановился, приготовившись выслушать ее упреки и жалобы.

— Есть хочешь? — все так же тихо спросила мать. — Садись, я тебе супу достану, он теплый еще.

Тогда, решив, что мать ничего не знает, я поцеловал ее и, усевшись за стол, стал обдумывать, как передать ей обо всем случившемся. Рассеянно черпая ложкой перепревший суп, я почувствовал, что мать сбоку пристально смотрит на меня. От этого мне стало неловко, и я опустил ложку на край тарелки.

— Был инспектор, — сказала мать, — говорил, что из школы тебя исключают и что если завтра к двенадцати часам ты не сдашь свой револьвер в милицию, то они сообщат туда об этом, и у тебя отберут его силой. Сдай, Борис!

— Не сдам, — упрямо и не глядя на нее, ответил я. — Это папин.

— Мало ли что папин! Зачем он тебе? Ты потом себе другой достанешь. Ты и без маузера за последние месяцы какой-то шальной стал, еще застрелишь кого-нибудь! Отнеси завтра и сдай.

— Нет, — быстро говорил я, отодвигая тарелку. — Я не хочу другого, я хочу этот! Это папин. Я не шальной, я никого не задеваю. Они сами лезут. Мне наплевать на то, что исключили, я бы и сам ушел. Я спрячу его и не отдам.

— Бог ты мой! — уже раздраженно начала мать. — Ну, тогда тебя посадят и будут держать, пока не отдашь!

— Ну и пусть посадят, — обозлился я. —

Вон и Баскакова посадили... Ну что ж, и буду сидеть, все равно не отдам... Не отдам! — после небольшого молчания крикнул я так громко, что мать отшатнулась.

— Ну, ну, не отдавай, — уже мягче проговорила она. — Мне-то что? — Она помолчала, над чем-то раздумывая, встала и добавила с горечью, выходя за дверь: — И сколько жизни вы у меня раньше времени посожжете!

Меня удивила уступчивость матери. Это было не похоже на нее. Мать редко вмешивалась в мои дела, но зато уже когда заладит что-нибудь, то не успокоится до тех пор, пока не добьется своего.

Спал крепко. Во сне пришел ко мне Тимка и принес в подарок кукушку. «Зачем, Тимка, мне кукушка?» Тимка молчал. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет?» И она прокуковала — семнадцать. «Неправда, — сказал я, — мне только пятнадцать». — «Нет, — замотал Тимка головой. — Тебя мать обманула». — «Зачем матери меня обманывать?» Но тут я увидел, что Тимка вовсе не Тимка, а Федька — стоит и усмехается.

Проснулся, соскочил с кровати и заглянул в соседнюю комнату — без пяти семь. Матери не было. Нужно было торопиться и спрятать незаметно в саду маузер.

Накинул рубаху, сдернул со стула штаны — и внезапный холодок разошелся по телу: штаны были подозрительно легкими. Тогда осторожно, как бы боясь обжечься, я протянул руку к карману. Так и есть — маузера там не было: пока я спал, мать вытащила его. «Ах, вот оно... вот оно что!.. И она тоже против меня. А я-то поверил ей вчера. То-то она так легко перестала уговаривать меня... Она, должно быть, понесла его в милицию».

Я хотел уже броситься догонять ее.

— Стой!.. Стой!.. Стой!.. — протяжно запели, отбивая время, часы. Я остановился и взглянул на циферблат. Что же это я, на самом деле? Ведь всего только еще семь часов. Куда же она могла уйти? Оглядевшись по углам, я заметил, что большой плетеной корзины нет, и догадался, что мать ушла на базар.

Но если ушла на базар, то не взяла же

она с собой маузер? Значит, она спрятала его пока дома. Куда? И тотчас же решил: в верхний ящик шкафа, потому что это был единственный ящик, который запирался на ключ.

И тут я вспомнил, что когда-то, давно еще, мать принесла из аптеки розовые шаррики сулемы и для безопасности заперла их в этот ящик. А мы с Федькой хотели сгубить у Симаковых рыжего кота за то, что Симаковы перешибли лапу нашей собачонке. Порывшись в железном хламе, мы тогда подобрали ключ, вытащили один шарик и, кажется, бросили ключ на прежнее место.

Я вышел в чулан и выдвинул тяжелый ящик. Разбрасывая ненужные обломки, гайки, винты, я принялся за поиски. Обрезал руку куском жести и нашел сразу три заржавленных ключа. Из них какой-то подойдет... должно быть, вот этот.

Вернулся к шкафу. Ключ входил туго... Крак! Замок щелкнул. Потянул за ручку. Есть... маузер... Кобура лежит отдельно. Схватил и то и другое. Запер ящик, ключ через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Оглядевшись по сторонам, я заметил возвращавшуюся с базара мать. Тогда я завернул за угол и побежал по направлению к кладбищу.

На опушке перелеска остановился передохнуть. Бухнулся на ворох сухих листьев и тяжело задышал, то и дело оглядываясь по сторонам, точно опасаясь погони. Рядом протекал тихий, безмолвный ручеек. Вода была чистая, но теплая и пахла водорослями. Не поднимаясь, я зачерпнул горсть воды и выпил, потом положил голову на руки и задумался.

Что же теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу нельзя. Впрочем, домой можно... Спрятать маузер и вернуться. Мать посердится и перестанет когда-нибудь. Сама же виновата — зачем тайком вытащила? А из милиции придут? Сказать, что потерял, — не поверят. Сказать, что чужой, — спросят, чей. Ничего не говорить — как бы еще на самом деле не посадили? Подлец Федька... Подлец!

Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал.

У-у-у-у! — донеслось оттуда эхо далекого паровозного гудка. Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и черный, отсюда похожий на жука паровоз медленно выкатился из-за поворота.

У-у-у-у! — заревел он опять, здороваясь с дружески протянутой лапой семафора.

«А что, если...»

Я тихонько приподнялся и задумался.

И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня вокзал. Звал ревом гудков, протяжно-певучими сигналами путевых будок, почти что осязаемым запахом горячей нефти и глубиной далекого пути, убегающего к чужим, незнакомым горизонтам.

«Уеду в Нижний, — подумал я. — Там найду Галку. Он в Сормове. Он будет рад и оставит меня пока у себя, а дальше будет видно. Все утихнет, и тогда вернусь. А может быть... — и тут что-то изнутри подсказало мне: — может быть, и не вернусь».

«Будет так», с неожиданной для самого себя твердостью решил я и, сознавая всю важность принятого решения, встал, почувствовав себя крепким, большим, сильным.

Глава пятая

В Нижний-Новгород поезд пришел ночью. Сразу же у вокзала я очутился на большой площади. Под огнями фонарей поблескивали штыки новеньких винтовок, отвечивали повсюду погоны.

С трибуны рыжий бородатый человек говорил солдатам речь о необходимости защищать родину, уверял в неизбежности скорого поражения «проклятых империалистов-немцев».

Он поминутно оборачивался в сторону своего соседа — старенького, седого полковника, который каждый раз, как бы удостоверяя правильность заключений рыжего оратора, одобрительно кивал круглой лысой головой.

Вид у оратора был измученный, он бил себя растопыренной ладонью, поднимал вверх поочередно то одну, то обе руки. Он обращался к сознательности и совести сол-

дат. Подконец, когда ему показалось, что речь его проникла в гущу серой массы, он взмахнул рукой, так что едва не заехал в ухо испуганно отшатнувшегося полковнику, и громко запел марсельезу. Несколько десятков разрозненных голосов подхватили мотив, но вся солдатская колонна молчала.

Тогда рыжий оратор оборвал на полуслове песню и, бросив шапку оземь, стал слезать с трибуны.

Старик-полковник постоял еще немного, беспомощно развел руками и, наклонив голову, придерживаясь за перила, полез вниз.

Оказывается, маршевый батальон отправляли на германский фронт.

До вокзала солдаты шли с песнями, их закидывали цветами и подарками. Все было благополучно. И уже здесь, на станции, воспользовавшись тем, что благодаря чьей-то нераспорядительности нехватило кипятку в баках и в нескольких вагонах недоставало деревянных нар, солдаты затеяли митинг.

Появились не приглашенные командованием ораторы, и, начав с недостачи кипятку, батальон неожиданно пришел к заключению: «Хватит, повоевали, дома хозяйство рушится, помещичья земля не поделена, на фронт итти не хотим!»

Загорелись костры, запахло смолой расщепленных досок, махоркой, сушеной рыбой, сваленной штабелями на соседних пристанях, и свежим волжским ветром.

Так, мимо огней, мимо винтовок, мимо возбужденных солдат, кричавших ораторов, растерянно-озлобленных офицеров, я, взволнованный и радостный, зашагал в темноту незнакомых привокзальных улиц.

Первый же прохожий, которого я спросил о том, как пройти в Сормово, ответил мне удивленно:

— В Сормово, милый человек, отсюда никак пройти невозможно. В Сормово отсюда на пароходах ездят. Заплатил полтинник — и садись, а сейчас до утра никаких пароходов нету.

Тогда, побродив еще немного, я забрался в один из пустых ящичков, сваленных грудами у какого-то забора, и решил переждать до рассвета. Вскоре заснул.

Разбудила меня песня. Работали грузчики — поднимали скопом что-то тяжелое.

Эх-эй, ребятушки, да дружно! —

заводил запевала надорванным, но приятным тенором.

Остальные враз подхватывали резкими, тоже надорванными голосами:

По-оста-раться еще нужно.

Что-то сдвинулось, треснуло и заскрипело.

И-э-эх... начать-то мы начали,
А всю сволочь не скачали.

Я высунул голову. Как муравьи, облепившие кусок ржаного хлеба, со всех сторон окружили грузчики огромную ржавую лебедку и по положенным наискось рельсам втаскивали ее на платформу. Опять невидимый в куче запевала завел:

И-э-эх... прогнали мы Николку,
И-э-эх... да что-то мало толку!

Опять хрустнуло.

А не подняться ли народу,
Чтоб Сашку за ноги да в воду!

Лязгнуло, грохнуло. Лебедка тяжело села на крикнувшую платформу. Песня оборвалась, послышались крики, говор и ругательства.

«Ну и песня! — подумал я. — Про какое же это Сашку? Да ведь это же про Керенского!.. У нас бы в Арзамасе за такую песню живо сгребли, а здесь милиционер рядом стоит, отвернулся и как будто бы не слышит».

Маленький грязный пароходик давно уже причалил к пристани. Полтинника на билет у меня не было, а возле узкого трапа стояли рыжий контролер и матрос с винтовкой. Я грыз ногти и уныло посматривал на узенькую полоску маслянистой воды, журчащей между пристанью и бортом парохода. По воде плыли арбузные корки, щепки, обрывки газет и прочая дрянь.

«Пойти разве попроситься у контроле-

ра? — подумал я. — Совру ему что-нибудь. Вот, мол, скажу, сирота. Приехал к больной бабушке. Пропустите, пожалуйста, проехать до старушки».

Маслянистая поверхность мутной воды отразила мое загорелое лицо, подстриженную ежиком крупную голову и крепкую, поблескивавшую медными пуговицами учебническую гимнастерку.

Вздыхнув, я решил, что сироту надо оставить в покое, потому что сироты с такими здоровыми физиономиями доверия не внушают.

Читал я в книгах, что некоторые юноши, не имея денег на билет, нанимались на пароход юнгами. Но и этот способ не мог пригодиться здесь, когда всего-то навсего надо мне было попасть на противоположный берег реки.

— Чего стоишь? Подвинься! — услышал я задорный вопрос и увидел невысокого рябого мальчугана.

Мальчуган небрежно швырнул на ящик пачку каких-то листовок и быстро вытащил из-под моих ног толстый грязный окурок.

— Эх ты, ворона! — сказал он снисходительно. — Окурок-то какой проглядел!

Я ответил ему, что на окурки мне наплевать, потому что я не курю, и, в свою очередь, спросил его, что он тут делает.

— Я-то? — Тут мальчуган ловко сплюнул, попав прямо в середину проплывшего мимо полена. — Я листовки раздаю от нашего комитета.

— От какого комитета?

— Ясно, от какого... от рабочего. Хочешь, помогай раздавать.

— Я бы помог, — ответил я, — да мне вот на пароход надо в Сормово, а билета нет.

— А что тебе в Сормове?

— К дяде приехал. Дядя на заводе работает.

— Как же это ты, — укоризненно спросил мальчуган, — едешь к дяде, а полтинником не запасся?

— Запасаются загодя, — искренне вырвалось у меня, — а я вот нечаянно собрался и убежал из дому.

— Убежа-ал? — Глаза мальчугана с недоверчивым любопытством скользнули по

мне. Тут он шмыгнул носом и добавил сочувственно: — То-то, когда вернешься, отец выдерет.

— А я не вернусь. И потом, у меня нет отца. Отца у меня еще в царское время убили. У меня отец большевик был.

— И у меня большевик, — быстро заговорил мальчуган, — только у меня живой. У меня, брат, такой отец, что на все Сормово первый человек! Хоть кого хочешь спроси: «Где живет Павел Корчагин?» — всякий тебе ответит: «А это в комитете... на Варихе, на заводе Тер-Акопова». Вот какой у меня человек отец!

Тут мальчик отшвырнул окурок и, подернув сползавшие штаны, нырнул куда-то в толпу, оставив листовки возле меня.

Я поднял одну. В листовке было написано, что Керенский — изменник, готовит соглашение с контрреволюционным генералом Корниловым. Листовка открыто призывала свергнуть Временное правительство и провозгласить советскую власть.

Резкий тон листовки поразил меня еще больше, чем озорная песня грузчиков. Откуда-то из-за бочек с селедками вынырнул запыхавшийся мальчуган и еще на бегу крикнул мне:

— Нету, брат!

— Кого нету? — не понял я.

— Полтинника нету. Тут Симона Котылкина из наших увидал. Нету, говорит.

— Да зачем тебе полтинник?

— А тебе-то! — Он с удивлением посмотрел на меня. — Ты бы купил билет, а в Сормове взял у дяди и отдал бы: я, чай, тоже сормовский.

Он повертелся, опять исчез куда-то и опять вскоре вернулся.

— Ну, брат, мы и так обойдемся. Возьми вот мой листовки и кати прямо на пароход. Видишь, там матрос стоит с винтовкой? Это Сурков Пашка. Ты, когда проходишь по сходням будешь, повернись к матросу и скажи: с листовками, мол, от комитета, а с контролером и не разговаривай. При себе прямо. Матрос свой, он в случае чего заступится.

— А ты?

— Я-то, брат, везде пройду. Я здесь не чужой.

Старенький пароходик, замызганный шелухой и огрызками яблок, давно уже отчалил от берега, а моего товарища все еще не было видно.

Я примостился на груде ржавых якорных цепей и, вдыхая пахнувший яблоками, нефтью и рыбой прохладный воздух, с любопытством разглядывал пассажиров. Рядом со мной сидел не то дьякон, не то монах, притихший и, очевидно, старавшийся быть как можно менее заметным. Он украдкой озирался по сторонам, грыз ломоть арбуза, аккуратно выплевывая косточки в ладонь.

Кроме монаха и нескольких баб с бидонами из-под молока, на пароходе ехали два офицера, четыре милиционера, державшихся поодаль, возле штатского с красной повязкой на рукаве.

Все же остальные пассажиры были рабочие. Сгрудившись кучками, они громко разговаривали, спорили, переругивались, смеялись, читали вслух газеты. Было похоже на то, что все они между собой знакомые, потому что многие из них бесцеремонно вмешивались в чужие споры; замечания и шутки летели от одного борта к другому.

Впереди вырисовывалось Сормово. Было безветренное утро. Фабричный дым, собираясь нетающими клубами, казался отсюда черными шупальцами ветвей, раскинувшихся над каменными стволами гигантских труб.

— Эгей! — услышал я позади себя знакомый голос рябого мальчугана.

Я обрадовался ему, потому что не знал, что делать с листовками.

Он сел рядом на свернутый канат и, вынув из кармана яблоко, протянул его мне:

— Возьми. Мне грузчики полный картуз насыпали, потому что как новая листовка или газета, так я им всегда первым. Вчера целую связку воблы подарили. Им что! Сунул руку в мешок — только-то и делов. А я три воблы сам съел да две домой притащил: одну Аньке, другую Маньке. Сестры это у меня, — пояснил он и снисходительно добавил: — Дуры еще девчонки... Им только жрать подавай.

Оживленные разговоры внезапно умолкли, потому что штатский с красной повяз-

кой, сопровождаемый милиционерами, принялся неожиданно проверять документы. Рабочие, молча доставая измятые, замусоленные бумажки, провожали штатского враждебно-холодными замечаниями.

— Кого ищут-то?

— А пес их знает.

— К нам бы в Сормово пришли, там поискали бы!

Милиционеры шли как бы нехотя; видно было, что им неловко чувствовать на себе десятки подозрительно настороженных взглядов.

Не обращая внимания на общее сдержанное недовольство, штатский вызывающе дернул бровями и подошел к монаху. Монах еще больше съежился и, огорченно разведя руками, показал на висевшую у живота кружку с надписью: «Милосердные христиане, пожертвуйте на восстановление разрушенных германцами храмов».

Штатский брезгливо усмехнулся и, отворачиваясь от монаха, довольно бесцеремонно потянул за плечи моего соседа — мальчугана:

— Документ?

— Еще подрасту, тогда запасу, — сердито ответил тот.

Пытаясь высвободиться из-под цепкой руки штатского, мальчуган дернулся, потерял равновесие и выронил кипу листовок.

Штатский поднял одну из бумажек, торпливо просмотрел ее и тихо, но зло сказал:

— Документы мал носить, а прокламации — вырос? А ну-ка, захватите его!

Но не только один штатский прочел листовку. Ветер вырвал из рассыпанной пачки десяток беленьких бумажек и разметал их по переполненной людьми палубе. Не успели еще вялые, смущенные милиционеры подойти к рябому мальчугану, как зажужжала, загомонила вся палуба:

— Корнилова бы лучше поискали!

— Монах без документа ничего, а к мальчишке привязался!

— Тут тебе не город, а Сормово.

— Ну, ну, тише вы! — огрызнулся штатский, растерянно глядя на милиционеров.

— Не нукай, не запряг! Жандарм перелетел! Видали, как он за листовками кинулся?

Огрызок свежего огурца пролетел мимо фуражки штатского.

Стиснутые со всех сторон повскакавшими пассажирами, милиционеры растерянно оглядывались и встревоженно уговаривали:

— Не налезай, не налезай. Граждане, тише!

Внезапно заревела сирена, и с капитанского мостика кто-то отчаянно заорал:

— От левого борта... от левого борта... пароход опрокинете!

По накренившейся палубе толпа шарханулась в противоположную сторону. Воспользовавшись этим, штатский зло выругал милиционеров и проскользнул к лестнице капитанского мостика, возле которого стояли два побледневших, взволнованных офицера.

Пароход причалил, рабочие торопливо сходили на пристань. Возле меня опять очутился рябой мальчуган. Глаза его горели, в растопыренных руках он цепко держал измятый ворох подобранных листовок.

— Приходи! — крикнул он мне. — Прямо на Вариху! Ваську Корчагина спросишь, тебе всякий покажет.

Глава шестая

С удивлением и любопытством поглядывал я на серые от копоти домики, на каменные стены заводов, через черные окна которых поблескивали языки яркого пламени и доносилось глухое рычание запертых машин.

Был обеденный перерыв. Мимо меня прямо через улицу, паром распугивая бродячих собак, покатила паровоз, тащивший платформы, нагруженные колесами. Разноголосо хрипели гудки. Из ворот выходили толпы потных, уставших рабочих.

Навстречу им неслись стайки босоногих задиривых ребятишек, тащивших небольшие узелки с мисками и тарелками, от которых пахло луком, кислой капустой и паром.

Кривыми улочками добрался я наконец до переулочка, где была квартира Галки.

Я постучал в окно небольшого деревянного домика. Тощая седая старуха, оторвавшись от корыта с бельем, высунула

красное, распаренное лицо и сердито спросила, кого мне надо.

Я сказал.

— Нету такого, — ответила она, захлопывая окно. — Жил когда-то, теперь давно уже нету.

Ошеломленный таким сообщением, я отошел за угол и, остановившись возле груды наваленного булыжника, почувствовал, как я устал, как мне хочется есть и спать.

Кроме Галки, в Сормове жил дядя Николай, брат моей матери. Но я совсем не знал, где он живет, где работает и как примет меня.

Несколько часов я шатался по улицам, с тупым упрямством заглядывая в лица проходивших рабочих. Дядю я, конечно, не встретил.

Вконец отчаявшись и почувствовав себя одиноким, никому не нужным, я опустился на небольшую чахлую лужайку, замусоренную рыбьей кожурой и кусками пожелтевшей от дождей извести. Тут я прилег и, закрыв глаза, стал думать о своей горькой судьбе, о своих неудачах.

И чем больше я думал, тем горше становилось мне, тем бессмысленнее представлялся мой побег из дома.

Но даже сейчас я отгонял мысль о том, чтобы вернуться в Арзамас. Мне казалось, что теперь в Арзамасе я буду еще более одинок; надо мной будут презрительно смеяться, как когда-то над Тупиковым. Мать будет тихонько страдать и, еще чего доброго, пойдет в школу просить за меня директора.

А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь.

К забору подошел старик. Нес он ведро, кисть и свернутые в трубку плакаты. Старик густо смазал клейстером доски, прилепил плакат, разгладил его, чтобы не было морщин; поставив на землю ведро, оглянулся и подождал меня.

— Достань, малый, спички из моего кармана, а то у меня руки в клейстере. Спасибо, — поблагодарил он, когда я зажег спичку и поднес огонь к его потухшей трубке.

Закурив, он с кряхтением поднял грязное ведро и сказал добродушно:

— Эх, старость не радость! Бывало пудовым молотом грохаеть, грохаеть, а теперь ведро понес — рука занемела.

— Давай, дедушка, я понесу, — с готовностью предложил я. — У меня не занемет. Я вон какой здоровый.

И, как бы испугавшись, что он не согласится, я поспешно потянул ведро к себе.

— Понеси, — охотно согласился старик, — понеси, коли так, оно вдвоем-то бы-стро управимся.

Продвигаясь вдоль заборов, мы со стариком прошли много улиц.

Только мы останавливались, как сзади нас собирались прохожие, любопытствовавшие поскорее узнать, что такое мы расклеиваем. Увлечшись работой, я совсем позабыл о своих несчастьях. Лозунги тоже были разные, например: «Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха». Но, по правде сказать, лозунг этот казался мне каким-то будничным, неувлекательным. Гораздо больше нравился мне большой синий плакат с густо-красными буквами: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».

Это «светлое царство», которое пролетариат должен был завоевать, увлекало меня своей загадочной, невиданной красотой еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майн-Рида восторженных школьников. Те страны, как ни далеки они, все же разведаны, поделены и нанесены на скучные школьные карты. А это «светлое царство», о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям.

— Может быть, устал, парень? — спросил старик останавливаясь. — Тогда беги домой. Я теперь и один управлюсь.

— Нет, нет, не устал, — проговорил я, с горечью вспомнив о том, что скоро опять останусь в одиночестве.

— Ну, ин ладно, — согласился старик. — Дома только, смотри, чтобы не заругали.

— У меня нет дома, — с внезапной откровенностью сказал я. — То есть у меня есть дом, только далеко.

И, подчиняясь желанию поделиться с кем-нибудь своим горем, я рассказал старик все.

Он внимательно выслушал меня, пристально и чуть-чуть насмешливо посмотрел в мое смущенное лицо.

— Это дело разобрать надо, — сказал он спокойно. — Хотя Сормово и велико, но все же человек — не иголка. Слесарем, говоришь, у тебя дядя?

— Был слесарем, — ответил я ободрившись. — Николаем зовут. Николай Егорович Дубряков. Он партийный, должно быть, как и отец. Может, в комитете его знают?

— Нет, не знаю что-то такого. Ну, да уж ладно, вот кончим расклеивать, пойдешь со мною. Я тут кой у кого из наших поспрошу.

Старик почему-то нахмурился и пошел, молча попыхивая горячей трубкой.

— Так отца-то у тебя убили? — неожиданно спросил он.

— Убили.

Старик вытер руки о промасленные, заплатанные штаны и, похлопав меня по плечу, сказал:

— Ко мне сейчас зайдешь. Картошку с луком есть будем и кипяток согреем. Чай, ты беда как есть хочешь?

Ведро показалось мне совсем легким. И мой побег из Арзамаса показался мне опять нужным и осмысленным.

Дядя мой отыскался. Оказывается, он был не слесарем, а мастером котельного цеха.

Дядя коротко сказал, чтобы я не дурил и отправлялся обратно.

— Делать тебе у меня нечего... Из человека только тогда толк выйдет, когда он свое место знает, — угрюмо говорил он в первый же день за обедом, вытирая полотенцем рыжие сальные усы. — Я вот знаю свое место... Был подручным, потом слесарем, теперь в мастера вышел. Почему, скажем, я вышел, а другой не вышел? А потому, что он тары да бары. Работать ему,

видишь, не нравится, он инженеру завидует. Ему бы сразу. Тебе, скажем, чего в школе не сиделось? Учился бы тихо на доктора или там на техника. Так нет вот... дай помудрю. От лени все это... А по-моему, раз уж человек определился к какому делу, должен он стараться дальше продвинуться. Потихоньку, полегоньку, глядишь — и вышел в люди.

— Как же, дядя Николай? — тихо и оскорбленно спросил я. — Отца, к примеру, взять. Он солдатом был. По-твоему выходит, что нужно ему было в школу прапорщиков поступать. Офицером бы был. Может, до капитана дослужился. А все, что он делал, и то, что, вместо того чтобы в капитаны, он в подпольщики ушел, этого не нужно было?

Дядя нахмурился.

— Я про твоего отца не хочу плохо сказать, однако толку в его поступках мало что-то вижу. Так, баламутный был человек, беспокойный. Он и меня-то чуть было не запутал. Меня контора в мастера только наметила, и вдруг такое дело сообщают мне: вот, мол, какой к вам родственник приезжал. Насилу замаял дело.

Тут дядя достал из миски жирную кость, густо смазал ее горчицей, посыпал крупно солью и, вгрызаясь в мясо крепкими желтыми зубами, недовольно покачал головой.

Когда жена его, высокая красивая баба, подала после обеда узорную глиняную кружку домашнего кваса, он сказал ей:

— Сейчас прилягу, разбудишь через часок. Надо сестре Варваре письмо черкнуть. Борис заодно захватит, когда поедет.

— А когда поедет?

— Ну когда — завтра поедет.

В окно постучали.

— Дядя Николай, — послышался с улицы голос, — на митинг пойдешь?

— Куда еще?

— На митинг, говорю. Народу на площади собралось уйма.

— А ну их, — отмахнулся рукой дядя, — нужно-то не больно.

Подождав, пока дядя ляжет отдыхать, я тихонько выбежал на улицу.

«А дядя-то у меня, оказывается, выжигал! — подумал я. — Подумаешь, шишка ка-

кая — мастер! А я-то еще думал, что он партийный. Неужели так-таки и придется в Арзамас возвращаться?»

Две или три тысячи человек стояли около дощатой трибуны и слушали ораторов. Из-за людей мелькнуло знакомое рябое лицо пронырливого Васьки Корчагина. Я окрикнул его, но он не услышал меня.

Я пустился догонять его. Раза два его курчавая голова показывалась среди толпы, но потом исчезла окончательно. Я очутился недалеко от трибуны.

Ближе пробраться было трудно. Стал прислушиваться. Ораторы сменялись часто. Запомнился мне один — невзрачный, плохо одетый, с виду такой же рабочий, какие сотнями попадались на сормовских улицах, не привлекая ничего внимания. Он неловко сдернул сплюсненную блином кепку, откашлялся и, напрягая надорванный и, как мне показалось, озлобленный голос, заговорил:

— Вы, товарищи, которые с паровозного, а также с вагонного, да многие и с нефтянки, знаете, что восемь годов я просидел на каторге как политический. И что ж — не успел я только вернуться, не успел свежим воздухом подышать, как бац — опять меня на два месяца в тюрьму! Кто запер? Заперли не полицейские старого режима, а прихвостни нового. От царя было не обидно сидеть. От царя всегда наши сидели. А от прихвостней обидно! Генералы да офицеры повесили красные банты, вроде как друзья революции. А нашего брата чуть что — опять пхают в кутузки. Травят нас и разгоняют. Я не за свою обиду говорю, товарищи, не за то, что два месяца лишних отсидел. Я за нашу, рабочую обиду говорю.

Тут он закашлялся. Отдышавшись, открыл было рот, опять закашлялся. Долго вздрагивал, вцепившись руками в перила, потом замотал головой и полез вниз.

— Доездили человека! — громко и негодуяще сказал кто-то.

С серого, насупившегося неба посыпались крупинки первого снега. Срывая последние, почерневшие листья, дул сухой холодный ветер. Ноги у меня захолодали. Я хотел выбраться из толпы, чтобы на ходу согреться. Проталкиваясь, я перестал было смотреть на ораторов, но вдруг знакомый высо-

— Что тут про типографию? Дай-ка записку, — вмешался в разговор незнакомый мне вооруженный рабочий в шинели, накинутой поверх старого пиджака.

— Мудрит что-то Семен, — сказал он, прочитав записку и обращаясь к Корчагину. — Чего он боится за типографию? Я еще с обеда туда свой караул выслал.

К крыльцу подходили новые и новые люди. Несмотря на холод, двери комитета были распахнуты настежь, мелькали шинели, блузы, порывшиеся кожаные куртки. В сенях двое отбивали молотками доски от ящика. В соломе лежали новенькие, густо промазанные маслом трехлинейные винтовки. Несколько таких же уже опорожненных ящичков валялось в грязи около крыльца.

Опять показался Корчагин. На ходу он быстро говорил троим вооруженным рабочим:

— Идите скорей. Сами там останетесь. И никого без пропусков комитета не пускать. Оттуда пришлите кого-нибудь сообщить, как устроились.

— Кого послать?

— Ну, из своих кого-нибудь, кто под руку подвернется.

— Я подвернусь под руку! — крикнул я, испытывая сильное возбуждение и желание не отставать от других.

— Ну, возьмите хоть его! Он быстро бежит.

Тут я увидел, что из разбитого ящика берет винтовки почти каждый выходящий из двери.

— Товарищ Корчагин, — попросил я, — все берут винтовки, и я возьму.

— Что тебе? — недовольно спросил он, прерывая разговор с крепким татуированным матросом.

— Да винтовку! Что я — хуже других, что ли?

Тут из соседней комнаты громко закричали Корчагина, и он поспешил туда, махнув на меня рукой.

Возможно, что он просто хотел, чтобы я не мешал ему, но я понял этот жест как разрешение. Выхватил из ящика винтовку и, крепко прижимая ее, пустился вдогонку за сходящими с крыльца дружинниками.

Пробегая через двор, я успел уже услышать только что полученную новость: в Петрограде объявлена советская власть, Керенский бежал, в Москве идут бои с юнкерами.

Ш. ФРОНТ

Глава первая

Прошло полгода.

Письмо, адресованное мною к матери, в солнечный апрельский день было опущено на вокзале.

«Мама!

Прощай, прощай! Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев. Уезжает нас трое. Дали нам документы из сормовской дружины, в которой состоял я вместе с Белкой. Мне долго давать не хотели, говорили, что молод. Насилу упросил я Галку, и он устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова у меня горячая от радости. Все,

что было раньше, — это пустяки, а настоящее в жизни только начинается, оттого и весело...»

На третий день пути, во время шестичасовой стоянки на какой-то маленькой станции, мы узнали о том, что в соседних волостях не совсем спокойно: появились небольшие бандитские шайки и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами. Уже поздно ночью к составу подали паровоз. Я и мои товарищи лежали бок о бок на верхних нарах товарного вагона. Заслышав мерное постукивание колес и скрип раскачиваемого вагона, я натянул на себя крепче драповое пальто и собрался спать.

Из темноты слышался храп, покашливание, почесывание. Те, кому удалось протис-

нуться на нары, спали. С полу же, с мешков, из плотной кучи устроившихся кое-как то и дело доносились ворчание, ругательства и тычки в сторону напивших соседей.

— Не пхайся, не пхайся, — спокойно ворчал бас. — Чего ты меня с моего мешка пхашь? А то я так тебя пхну, что не запхашься!

— Гляди-ка, чорт! — взвизгнул озлобленный бабий голос. — Куды же ты мне прямо сапожищами в лицо лезешь? А-ах, чорт, а-ах, окаянный!

Вспыхнула спичка, тускло осветив шевелившуюся груды сапог, мешков, корзин, кепок, рук и ног, погасла, и стало еще темнее. Кто-то в углу монотонно рассказывал усталым скрипучим голосом длинную, нудную историю своей печальной жизни. Кто-то сочувственно попыхивал цыгаркой. Вагон вздрагивал, как искусанная оводами лшадь, и неровными толчками продвигался по рельсам.

Проснулся я оттого, что один из моих спутников дернул меня за руку. Я поднял голову и почувствовал, как из распахнутого окна струя приятного холодного воздуха освежающе плеснула мне в помятое лицо. Поезд шел тихо, должно быть на подъем. Огромное густое зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные огнем пожара, потухали светлячки звезд и таяла побледневшая луна.

— Земля бунтует, — послышалось из темного угла чье-то спокойное бодрое замечание.

— Плети захотела, оттого и бунтует, — тихо и озлобленно ответил противоположный угол.

Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило, я слетел с нар на головы расположившихся на полу. Все смешалось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую дверь теплушки.

Крушение.

Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле успев вскочить, чтобы не быть раздавленным прыгивавшими людьми. Два раза ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив дрожащие руки, торопливо говорил:

— Это ничего... Это ничего... Только надо бежать, а то они откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние станичники. Они только ограбят и отпустят.

К вагону подбежали двое с винтовками, крича:

— Зз...алезай!.. Зз...алезай обратно!.. Куда выскочили?

Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то, я оступился и упал в сырую канаву. Распластавшись быстро, как ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним, и через минуту я очутился уже наравне с тускло освещающим сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтовкой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда. Один прыжок — и я уже катился вниз по скату скользкого глинистого оврага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам, еле поднимая облипшие глиной ноги.

Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени. Где-то далеко задорно перекликались петухи. С соседней поляны доносилось кваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще островки серого снега, но на солнечных просветах прошлогодняя жесткая трава была суха. Я отдыхал, куском бересты счищал с сапог пласты глины. Потом я взял пучок травы, обмакнул его в воду и вытер перепачканное грязью лицо.

Места незнакомые. Какими дорогами выбраться на ближайшую станцию? Где-то собаки лают — должно быть, деревня близко. Если пойти спросить? А вдруг нарвешься на кулацкую засаду? Спросят — кто, откуда, зачем. А у меня документ да еще в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запрятать. А маузер? Выбросить?

Я вынул его, повертел. И жалко стало. Маленький маузер так крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил его и сунул обратно за пазуху, во внутренний, приделанный к подкладке потайной карман.

Утро было яркое, гомонливое, и мне на

пенушке посреди желтой полянки не верилось тому, что есть какая-то опасность.

Пинь, пинь... таррах! — услышал я рядом с собой знакомый свист. Крупная лазоревая синица села над головой на ветку и, скосив глаза, с любопытством посмотрела на меня.

Пинь, пинь... таррах... здравствуй! — приветствовала она, перескочив с ноги на ногу.

Я невольно улыбнулся и вспомнил Тимку Штукина. Он звал синиц дурухвостками. Ведь вот, давно ли еще?.. И синицы, и кладбище, игры... А теперь поди-ка... И я нахмурил лоб. Что же делать все-таки?

Совсем недалеко щелкнул бич и послышалось мычание. «Стадо, — понял я. — Пойду-ка спрошу у пастуха дорогу. Что мне пастух сделает? Спрошу, да и скорей с глаз долой».

Небольшое стадо коров, лениво и нехотя отрывавших клочки старой травы, медленно двигалось вдоль опушки. Рядом шел старик-пастух с длинной увесистой палкой. Неторопливой и спокойной походкой гуляющего человека я подошел к нему сбоку.

— Здорово, дедушка!

— Здорово! — ответил он не сразу и, остановившись, начал оглядывать меня.

— Далече ли до станции?

— До станции? До какой же тебе станции?

Тут я замялся. Я даже не знал, какая станция мне нужна, но старик сам выручил меня:

— До Алексеевки, что ли?

— Как раз же, — согласился я. — До нее самой. А то я шел, да сплутал немного.

— Откуда идешь-то?

Опять я запнулся.

— Оттуда, — насколько мог спокойнее ответил я, неопределенно махая рукой в сторону видневшейся у горизонта деревушки.

— Гм... оттуда... Значит, с Деменева, что ли?

— Как раз прямо с Деменева.

Тут я услышал ворчание собаки и шаги. Обернувшись, я увидел подходившего к старику здорового парня, должно быть подпаса.

— Что тут, дядя Александр? — спросил он, не переставая жевать ломоть ржаного хлеба.

— Да вот, прохожий человек... Дорогу на станцию Алексеевку спрашивает. А говорит, что идет сам из Деменева.

Парень опустил ломоть и, выпалив на меня глаза, спросил недоумевая:

— То-ись как же это?

— Я уж и сам не знаю как, когда Деменеву в аккурат при самой станции стоит. Что Алексеевка, что Деменеву — все одно и то же. И как его сюда занесло?

— В село обязательно отправить надо, — спокойно посоветовал парень. — Пусть там, на заставе, разбирают. Мало ли чего он набрешет!

Хотя я и не знал еще, что такое за застава, которая «все разберет», и как она разбирать будет, но мне уже не хотелось идти на село по одному тому, что села здесь были богатые и беспокойные. И поэтому, не дожидаясь дальнейшего, сильным прыжком отскочил от старика и побежал от опушки в лес.

Парень скоро отстал. Но проклятая собака успела дважды укусить меня за ногу. Впрочем, боли я тогда не чувствовал, как не чувствовал нахлестывания веток, растопыривших цепкие пальцы перед моим лицом, ни кожек, ни пней, попадавших под ноги.

Так проблуждал я по лесу до вечера. Лес был не дикий, так как торчали пни срубленных деревьев.

Чем больше старался я забраться вглубь, тем реже становились деревья и чаще попадались поляны со следами лошадиных копыт и навоза. Наступила ночь. Я устал, был голоден и исцарапан. Нужно было думать о ночлеге. Выбрав укромное сухое местечко под кустом, положил под голову чурбан и лег. Усталость начала сказываться. Щеки горели, и побаливала прокушенная собакой нога.

«Засну, — решил я. — Сейчас ночь, никто меня здесь не найдет. Я устал... Засну, а утром что-нибудь придумаю».

Засыпая, вспомнил Арзамас, пруд, нашу войну на плотках, свою кровать со старым теплым одеялом. Еще вспомнил, как мы с Фельдой наловили голубей и изжарили их на Фелькиной сковородке. Потом тайком съели. Голуби были такие вкусные...

По верхушкам деревьев засвистел ветер.

Пусто и страшно показалось мне в лесу. Теплым, душистым, как жирный праздничный пирог, всплыл в моем воображении прежний Арзамас.

Я натянул на голову воротник и почувствовал, как непрошенная слеза скатилась по щеке. Я все-таки не плакал.

В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, ложился опять и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь.

Глава вторая

Опять взошло солнце и стало тепло; затенькали пичужки, и приветливо закричали с неба веселые вереницы журавлей. Я уже улыбался и радовался тому, что ночь прошла, и не было больше никаких пасмурных мыслей, кроме разве одной — где бы достать поесть.

Не успел я пройти и двухсот шагов, как услышал гогот гусей, хрюканье свиньи и сквозь листву увидел зеленую крышу одинокого хутора.

«Подкрадусь, — решил я. — Посмотрю, если нет ничего подозрительного, спрошу дорогу и попрошу немного поесть».

Встал за кустом бузины. Было тихо. Людей не было видно, из трубы шел легкий дымок. Стайка гусей вперевалку направлялась в мою сторону. Легкий хруст обломанной веточки раздался сбоку от меня. Ноги разом напряглись, и я повернул голову. Но тотчас же испуг мой сменился удивлением. Из-за куста, в десяти шагах в стороне, на меня пристально смотрели глаза притаившегося там человека. Человек этот не был хозяином хутора, потому что сам спрятался за ветки и следил за двором. Так поглядели мы один на другого внимательно, настороженно, как два хищника, встретившиеся на охоте за одной и той же добычей. Потом по молчаливому соглашению завернули подальше в чащу и подошли один к другому.

Он был одного роста со мною. На мой взгляд, ему было лет семнадцать. Черная суконная тужурка плотно обхватывала его

крепкую, мускулистую фигуру, но на ней не было ни одной пуговицы, — похоже, что пуговицы были не случайно оторваны, а нарочно срезаны. К его крепким брюкам, заправленным в запачканные глиной хромовые сапоги, пристало несколько сухих колочек.

Бледное измятое лицо с темными впадинами под глазами заставляло думать, что он, вероятно, тоже ночевал в лесу.

— Что, — сказал он негромко, кивая головой в сторону хутора, — думаешь туда?

— Туда, — ответил я. — А ты?

— Не дадут, — проговорил он. — Я увидел уже: там трое здоровенных мужиков. Мало ли на что попасть можно!

— А тогда как же?.. Ведь есть-то надо!

— Надо, — согласился он. — Только не Христа-ради. Нынче милостыню не подают. Ты кто? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Ладно... Мы и сами достанем. Одному трудно, я пробовал уже, а вдвоем достанем. Тут, в кустах, гуси бродят, здоровые.

— Чужие?

Он посмотрел на меня, как бы удивляясь нелепости моего замечания, и добавил тихо:

— Нынче чужого ничего нет — нынче все свое. Ты зайди за полянку и гони тихонько гуся на меня, а я за кустом спрячусь.

Наметив отбившегося от стайки толстого серого гуся, я преградил ему дорогу. Гусь повернулся и неторопливо пошел прочь, иногда останавливаясь и тыкаясь клювом в землю. Шаг за шагом я подвигался, загоняя его к месту засады. Вот он почти поровнялся с кустом и вдруг, насторожившись, изогнул шею и посмотрел в мою сторону, как бы озадаченный настойчивостью моего преследования. Постояв немного, он решительно направился назад, но тут с быстротой кота, бросающегося за выслеженным воробьем, незнакомец метнулся из-за куста и крепко впился руками в гусиную шею. Птица едва успела крикнуть. Заготало разом встревоженное стадо, и незнакомец с трепыхавшимся гусем бросился в чащу. Я за ним.

Долго гусь еще хлопал крыльями, дергал лапами и, обессиленный, затих только тогда, когда мы очутились в укромном, глухом

овраге. Тогда незнакомец отшвырнул гуся и, доставая табак, сказал, тяжело дыша:

— Хватит. Здесь можно и остановиться.

Новый товарищ вынул перочинный нож и стал молча потрошить гуся, изредка поглядывая в мою сторону.

Я набрал хворосту, навалил целую грудку и спросил:

— Спички есть?

— Возьми, — и окровавленными пальцами он осторожно протянул коробок. — Не трать много.

Тут я как следует разглядел его. Налет пыли, осевший на коже, не мог скрыть ровной белизны подвижного лица. Когда он говорил, правый уголок его рта чуть вздрагивал и одновременно немного прищуривался левый глаз. Он был старше меня года на два и, повидимому, сильнее. Пока украденный гусь жарился на вертеле, распространяя вокруг мучительно аппетитный запах, мы лежали на траве.

— Курить хочешь? — спросил незнакомец.

— Нет, не курю.

— Ты в лесу ночевал?.. Холодно, — добавил он, не ожидая ответа. — Ты как сюда попал? Тоже оттуда? — И он махнул рукой в сторону полотна железной дороги.

— Оттуда. Я убежал с поезда, когда его остановили.

— Документы проверяли?

— Нет, — удивился я. — Какие там документы — бандиты напали.

— А-а-а... — и он молча запыхтел папирской.

— Ты куда пробираешься? — после долгого молчания неожиданно спросил он.

— Я на Дон... — начал было я и замолчал.

— На До-он? — протянул он привставая. — Ты... на Дон?

Недоверчивая улыбка пробежала по его тонким потрескавшимся губам, прищуренные глаза широко раскрылись, но тотчас потухли, лицо его стало равнодушным, и он спросил лениво:

— Что же, у тебя там родные, что ли?

— Родные... — ответил я осторожно, потому что почувствовал, как он старается выпытать все обо мне, а сам умышленно остается в тени.

Он опять замолчал, повернул на другой бок гуся, с которого скатывались капли шипящего жира, и сказал спокойно:

— Я тоже в те места пробираюсь, только не к родным, а в отряд к Сиверсу.

Он рассказал мне, что учился в Пензе, приехал к дяде-учителю в находившуюся неподалеку отсюда волость, но в волости восстали кулаки, и он еле успел убежать.

Уплетая разорванного на части, обгоревшего и пахнувшего дымом гуся, мы долго и дружески болтали с ним.

Я был счастлив, что нашел себе товарища. Прибавилось сразу бодрости, и казалось, что теперь вдвоем нетрудно будет выкрутиться из ловушки, в которую мы оба попали.

— Ляжем спать, пока солнце, — предложил новый товарищ. — Сейчас хоть выспимся, а то ночью из-за холода глаз не сомкнуть.

Мы растянулись на лужайке, и вскоре я задремал. Вероятно, я и уснул бы, если бы не муравей, заползший мне в ноздрю. Я приподнялся и зафыркал. Товарищ уже спал. Ворот его гимнастерки был расстегнут, и на холщевой подкладке я увидел вытисненные черной краской буквы: Гр. А. К. К.

«Какое же это училище? — подумал я. — У меня, например, на пряжке пояса буквы: А. Р. У., то есть Арзамасское реальное училище. А здесь Гр., потом А. К. К.». И так я прикладывал и этак — ничего не выходило. «Спрошу, когда проснется», решил я.

После жирной еды мне захотелось пить. Воды поблизости не было, я решил спуститься на дно оврага, где, по моим предположениям, должен был пробегать ручей. Ручей я нашел, но из-за вязкого берега подойти к нему было трудно. Я пошел вниз, надеясь разыскать более сухое место. По дну оврага, параллельно течению ручья, пролежала неширокая проселочная дорога. На сырой глине я увидел отпечатки лошадиных подков и свежий конский навоз. Похоже было на то, что утром здесь прогоняли табун.

Наклонившись, чтобы поднять выпущенную из рук палочку, я заметил на дороге

какую-то блестящую, втопанную в грязь вещичку. Я поднял ее и вытер. Это была сорванная с зацепки жестяная красная звездочка, одна из тех непрочных, грубовато сделанных звездочек, которые красными огоньками горели в восемнадцатом году на папах красноармейцев, на блузах рабочих и большевиков.

«Как она очутилась здесь?» подумал я, внимательно оглядывая дорогу. И, опять наклонившись, заметил пустую гильзу от трехлинейной винтовки.

Позабыв даже напиться, я понесся обратно к оставленному товарищу. Товарищ почему-то не спал и стоял возле куста, осматриваясь по сторонам и, повидимому, разыскивая меня.

— Красные! — крикнул я во все горло, подбегая к нему сбоку.

Он отпрыгнул согнувшись, как будто сзади него раздался выстрел, и обернулся ко мне с перекошенным от страха лицом.

Но, увидев только одного меня, он выпрямился и сказал сердито, пытаясь объяснить как-нибудь свой испуг:

— Чорт... гаркнул под самое ухо...

— Красные, — гордо повторил я.

— Где красные? Откуда?

— Сегодня утром проходили. По всей дороге следы от подков, навоз совсем свежий... Гильза стреляная и это, — я протянул ему звездочку.

Товарищ облегченно вздохнул:

— Ну, так бы и говорил. — И опять добавил, как бы оправдываясь. — А то кричит... Я чорт знает что подумал.

— Идем скорей... идем по той же дороге. Дойдем до первой деревни, они, может быть, там еще отдыхают. Идем же, — торопил я, — чего раздумывать?

— Идем, — согласился он, как мне показалось, после некоторого колебания. — Да, да, конечно, идем.

Он провел рукой по шее, и опять передо мной мелькнули буквы на холщевой подкладке: Гр. А. К. К.

— Слушай, — спросил я, — что означают у тебя эти буквы?

— Какие еще буквы? — недовольно спросил он, наглухо застегиваясь.

— А на воротнике?

— Чорт их знает. Это не мой костюм. Я купил его по случаю.

— А-а... А я бы никогда не сказал, что по случаю, — весело, шагая рядом с ним, говорил я. — Костюм как нарочно по тебе сшит. Мне раз мать купила штаны по случаю, так сколько бывало ни подтягивай, всё сваливаются.

Чем ближе мы подходили к незнакомой деревеньке, тем чаще и чаще останавливался мой товарищ.

— Нечего торопиться, — убеждал он, — вечером в сумерках удобнее подойти будет. В случае, если отряда там нет, нас никто не заметит. Пройдем задами, да и только. А то сейчас чужому человеку в незнакомой местности опасно.

Я соглашался с ним, что в сумерках разведать безопаснее, но меня брало нетерпение скорее попасть к своим, и я еле сдерживал шаг.

Не доходя до деревеньки, мой спутник остановился у заросшей кустарником лощины, предложил свернуть с дороги и обсудить, как быть дальше. В кустах он сказал мне:

— Я так думаю, что вдвоем на рожон переть нечего. Давай — один останется здесь, а другой проберется огородами к деревне и разузнает. Меня что-то сомнение берет. Тихо уж очень, и собаки не лают. Красных там, может, и нет, а кулачье с винтовками найдется.

— Давай тогда вдвоем проберемся.

— Вдвоем хуже. Чудак! — И он дружки хлопал меня по плечу. — Ты останься, а я и один как-нибудь управлюсь, а то зачем тебе понапрасну рисковать? Ты ожидай меня здесь.

«Хороший парень, — подумал я, когда он ушел. — Странный немного, а хороший. Иной бы опасное на другого свалил или предложил жребий тянуть, а этот сам ити вызвался».

Вернулся он через час — раньше, чем я ожидал. В руках его была увесистая, повидимому только что срезанная и обструганная дубинка.

— Скоро ты! — крикнул я. — Ну что же?

— Нету, — еще издали замотал он головой. — И нет и не было вовсе! Должно

быть, красные завернули на другую дорогу, к Суглинкам, это недалеко отсюда.

— Да хорошо ли ты узнал?—переспросил я упавшим голосом.— Неужели так и нет?

— Так-таки и нет. Мне в крайней избе старуха сказала, да еще мальчишка в огороде попался, тот тоже подтвердил. Видно, брат, заночуем здесь, а завтра дальше вслед.

Я опустил на траву и задумался. И тут-то подкралось ко мне мое первое сомнение в правдивости слов моего спутника. Смучила меня его палка. Палка была тяжелая, дубовая, вырезанная налобком, то есть с шишкой на конце. Видно было, что он вырезал ее только что. До деревни отсюда около часа ходьбы. Если крадучись пробираться да порасспросить и вернуться, тут как раз в два часа еле-еле управиться, а он ходил никак не больше часа и за это время успел еще дубовую палку вырезать и обделать. А над нею одной с перочинным ножом возни не меньше получаса! Неужели он трусил, ничего не разузнал и просидел все время в кустах? Нет, не может быть, он же сам вызвался итти разузнать. Зачем же тогда было ему вызываться? Да он и не похож на труса. Конечно, страшно, нечего и говорить, но ему самому надо ведь как-то выбраться.

Натаскали охалку сухих листьев и улеглись рядом, укрывшись моим пальто. Так лежали молча с полчаса. Сырость от земли начинала холодить бок. «Листьев набрали мало», подумал я и поднялся.

— Ты чего? — полусонным недовольным голосом спросил товарищ. — Чего тебе не спится?

— Сыро... Ты лежи, я сейчас еще охалку две подброшу.

Рядом листву мы уже подобрали, и я пошел в кусты поближе к дороге. Луна только еще всходила, и в темноте было трудно разобраться. Попадались под руку сучья и ветки. Тихий стук донесся со стороны дороги. Кто-то не то шел, не то ехал. Бросив охалку и стараясь не задевать веток, я направился к дороге.

По сырой, мягкой земле неторопливо и почти бесшумно продвигалась крестьянская подвода. Разговаривали вполголоса двое.

— Да ведь как сказать, — спокойно говорил один. — Да ведь если разобраться, он, может, и правильно говорил.

— Командир-от? — переспросил другой. — Конечно, может и правильно. Да кабы они тут постоянно стояли, а то нынче приехали, поговорили — и дальше. А там придут опять наши заправили и хотя бы мне, к примеру, скажут: «Ах, такой-разздакий, ты кулаков показывал, душа из тебя вон!» Красным что... Побыли, а сегодня опять подводы наряжают, а наши-то всегда около. Вот тут и почеси затылок!

— Подводы наряжают?

— А то как же. С вечеру стучал Федор, солдат ихний, чтобы, значит, к двенадцати подводу.

Голоса стихли. Я стоял, не зная, что думать. Значит, правда: значит, красные все-таки в деревне. Значит, мой спутник обманул меня. Красные уезжают, а потом ищи их опять. Надо скорее. Но зачем он обманул меня?

Первою мыслью было броситься одному и бежать по дороге в деревню. Но тут я вспомнил, что пальто мое осталось на полянке. «Надо все-таки вернуться, успею еще. Да и этому сказать надо, хоть он и трус, а все-таки свой же».

Сбоку шорох. Я увидел, что мой товарищ выходит из-за кустов. Очевидно, он пошел вслед за мной и, так же спрятавшись, подслушивал разговор проезжавших мужиков.

— Ты что же это?.. — укоризненно и сердито начал было я.

— Идем! — вместо ответа возбужденно проговорил он.

Я сделал шаг в сторону дороги, он — за мной.

Сильный удар дубины сбил меня с ног. Удар был тяжел, хотя его и ослабила моя меховая шапка. Я открыл глаза. Опустившись на корточки, мой спутник торопливо разглядывал при лунном свете вытасченный из кармана моих штанов документ.

«Вот что ему нужно было, — понял я. — Вот оно что: он вовсе не трус, он знал, что в деревне красные, и нарочно не сказал этого, чтобы оставить меня ночевать и обокрасть. Он даже и не повстанец, потому что

сам боится кулаков, он — настоящий белый».

Я сделал попытку встать, с тем чтобы отползти в кусты. Незнакомец заметил это, сунул документы в свою кожаную сумку и подошел ко мне.

— Ты не сдох еще? — холодно спросил он. — Собака, нашел себе товарища! Я бегу на Дон, только не к твоему собачьему Сиверсу, а к генералу Краснову.

Он стоял в двух шагах от меня и помахивал тяжелой дубиной.

Тук-тук... — стукнуло сердце. — Тук-тук... — настойчиво заколотилось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной карман, где был спрятан маузер.

Если незнакомец даже и заметил движение моей руки, он не обратил на это внимания, потому что не знал ничего про маузер. Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько сдернул предохранитель. В это время мой враг отошел еще шага на три — то ли затем, чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего затем, чтобы с разбегу еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека.

Я видел, как внезапно перекошилось его лицо, слышал, как он крикнул, бросаясь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, я нажал спуск...

Он лежал в двух шагах от меня со сжатыми кулаками, вытянутыми в мою сторону. Дубинка валялась рядом.

«Убит», понял я и уткнул в траву отупевшую голову, гудевшую, как телефонный столб от ветра.

Так, в полузабытьи, пролежал я долго. Жар спал. Кровь отлила от лица, неожиданно стало холодно, и зубы потихоньку выбивали дробь. Я приподнялся, посмотрел на протянутые ко мне руки, и мне стало страшно. Ведь это уже всерьез! Все, что происходило в моей жизни раньше, было, в сущности, похоже на игру, даже побег из дома, даже учеба в боевой дружине со славными сормовцами, даже вчерашнее ша-

танье по лесу, а это уже всерьез. И страшно стало мне, пятнадцатилетнему мальчугану, в черном лесу рядом с по-настоящему убитым мною человеком... Голова перестала шуметь, и холодной росой покрылся лоб.

Подталкиваемый страхом, я поднялся, на цыпочках подкравшись к убитому, схватил валяющуюся на траве сумку, в которой был мой документ, и задом, не спуская с лежащего глаз, стал пятиться к кустам. Потом обернулся и напролом через кусты побежал к дороге, к деревне, к людям — только бы не оставаться больше одному.

Глава третья

У первой хаты меня окликнули:

— Кого чорт несет? Эй, хлопец! Да стой же ты, балда этакая!

Из тени от стен хаты отделилась фигура человека с винтовкой и направилась ко мне.

— Куда несешься? Откуда? — спросил дозорный, поворачивая меня лицом к лунному свету.

— К вам... — тяжело дыша, ответил я. — Ведь вы товарищи...

Он перебил меня:

— Мы-то товарищи, а ты кто?

— Я тоже... — отрывисто начал было я. И, почувствовав, что не могу отдышаться и продолжать говорить, молча протянул ему сумку.

— Ты тоже? — уже веселее, но еще с недоверием переспросил дозорный. — Ну, пойдем тогда к командиру, коли ты тоже!

Несмотря на поздний час, в деревне не спали. Ржали кони. Скрипели распахиваемые ворота — выезжали крестьянские подводы, и кто-то орал рядом:

— До-ку-кин!.. До-ку-кин!.. Куда ты, чорт, делся?

— Чего, Васька, горланишь? — строго спросил мой конвоир, поровнявшись с кричавшим.

— Да Мишку ищут, — рассерженно ответил тот. — Нам сахар на двоих выдали, а ребята говорят, что его с караулом к эшелону вперед отсылают.

— Ну и отдаст завтра.

— Отдаст, дожидайся! Будет утром чай пить и сольет зараз. Он на сладкое падкий!

Тут говоривший заметил меня и, сразу переменяв тон, спросил с любопытством:

— Кого это ты, Чубук, поймал? В штаб ведешь? Ну, веди, веди. Там ему покажут. У, сволочь... — неожиданно выругал он меня и сделал движение, как бы намереваясь подтолкнуть меня концом приклада.

Но мой конвоир отпихнул его и сказал сердито:

— Иди, иди... Тебя тут не касается. Нечего на человека допрежь времени лаять. Вот кобель, ей-богу, истинный кобель!

Дзинь-дзинь!.. Дзик-дзак!.. — послышался металлический лязг сбоку. Человек в черной папахе, при шпорах, с блестящим волочившимся палашом, с деревянной кобурой маузера и нагайкой, перекинутой через руку, выводил коня из ворот.

Рядом шел горнист с трубой.

— Сбор, — сказал человек, занося ногу в стремя.

Та-та-ра-та... тата... — мягко и нежно зацела сигнальная труба. — Та-та-та-та-а-а...

— Шебалов, — окрикнул мой провожатый, — погодь! Вот до тебя человека привел.

— На што? — не опуская занесенной в стремя ноги, спросил тот. — Что за человек?

— Говорит, что наш, свой, значит... и документы...

— Некогда мне, — ответил командир, вскакивая на коня. — Ты, Чубук, и сам грамотный, проверь... Коли свой, так отпусти, пусть идет с богом.

— Я никуда не пойду, — заговорил я, испугавшись возможности опять остаться одному. — Я и так два дня один по лесам бегал. Я к вам пришел. И я с вами хочу остаться.

— С нами? — как бы удивляясь, переспросил человек в черной папахе. — Да ты, может, нам и не нужен вовсе!

— Нужен, — упрямо повторил я. — Куда я один пойду?

— А верно ж! Если вправду свой, то куда он один пойдет? — вступился мой конвоир. — Нынче одному здесь прогулки плохие. Ты, Шебалов, не морочь человеку голову, а разберись. Когда врет, так одно дело; а если свой, так нечего от своего отпихиваться. Слазь с жеребца-то, успеешь.

— Чубук! — сурово проговорил коман-

дир. — Ты как разговариваешь? Кто этак с начальником разговаривает? Я командир или нет? Командир я, спрашиваю?

— Факт! — спокойно согласился Чубук.

— Ну, так тогда я и без твоих замечаний слезу.

Он соскочил с коня, бросил поводья на ограду и, громыхая палашом, направился в избу.

Только в избе, при свете сальной коптилки, я разглядел его как следует. Бороды и усов не было. Узкое, худощавое лицо его было коряво. Густые белесоватые брови сходились на переносице, из-под них выглядывала пара добродушных глаз, которые он нарочно щурил, очевидно для того, чтобы придать лицу надлежащую суровость. По тому, как долго он читал мой документ и при этом слегка шевелил губами, я понял, что он не особенно грамотен. Прочитав документ, он протянул его Чубуку и сказал с сомнением:

— Ежели не фальшивый документ, то, значит, настоящий. Как ты думаешь, Чубук?

— Ага! — спокойно согласился тот, набиная махоркой кривую трубку.

— Ну, а как ты сюда попал? — спросил командир.

Я начал рассказывать горячо и волнуясь, опасаясь, что мне не поверят. Но, повидимому, мне поверили, потому что, когда я кончил, командир перестал щурить глаза и, обращаясь к Чубуку, проговорил добродушно:

— А ведь если не врет, то, значит, вправду наш паренек! Как тебе показалось, Чубук?

— Угу, — спокойно подтвердил Чубук, выколачивая пепел о подошву сапога.

— Ну, так что же мы будем с ним делать-то?

— А мы зачислим его в первую роту, и пускай ему Сухарев даст винтовку, которая осталась от убитого Пашки, — подсказал Чубук.

Командир подумал, постучал пальцами по столу и приказал:

— Так сведи же его, Чубук, в первую роту и скажи Сухареву, чтобы дал он ему винтовку, которая осталась от убитого Пашки, а также патронов, сколько пола-

гается. Пусть он внесет этого человека в списки нашего революционного отряда.

Дзинь-дзинь!.. Дзик-дзак!.. — лягнул палаш, шпоры и маузер. Распахнув дверь, командир неторопливо спустился к коню.

— Идем, — сказал солидный Чубук и неожиданно потрепал меня по плечу.

Снова труба сигналиста мягко, переливчато запела. Громче зафыркали кони, сильнее закрипели подводы. Почувствовав себя необыкновенно счастливым, я улыбался, шагая к новым товарищам. Всю ночь мы шли. К утру погрузились в поджидавший нас на каком-то полустанке эшелон. К вечеру прицепили ободранный паровоз, и мы покатили дальше, к югу, на помощь отрядам и рабочим дружинам, боровшимся с захватившими Донбасс немцами, гайдамаками и красновцами.

Наш отряд носил гордое название «Особый отряд революционного пролетариата». Бойцов в нем оказалось немного, человек полтора. Отряд был пеший, но со своей конной разведкой в пятнадцать человек под командой Феди Сырцова. Всем отрядом командовал Шебалов — сапожник, у которого еще пальцы не зажили от порезов драгвой и руки не отмылись от черной краски. Чудной был командир! Ребята относились к нему с уважением, хотя и посмеивались над некоторыми его слабостями. Одной его слабостью была любовь к внешним эффектам: конь был убран красными лентами, шпоры (и где он их только выкопал, в музее, что ли?) были невероятной длины, изогнутые, с зубцами, — такие я видел только на картинках с изображением средневековых рыцарей; длинный никелированный палаш спускался до земли, а в деревянную покрывку маузера была врезана медная пластинка с вытравленным девизом: «Я умру, но и ты, гад, погибнешь!» Говорили, что дома у него осталась жена и трое ребят. Старший уже сам работает. Дезертировав после Февраля с фронта, он сидел и тачал сапоги, а когда юнкера начали громить Кремль, надел праздничный костюм, чужие, только что сшитые на заказ хромовые сапоги, достал на Арбате у дружинников винтовку и с тех пор, как выражался он, «ударился навек в революцию».

Глава четвертая

Через три дня, не доезжая немного до станции Шахтной, отряд спешно выгрузился.

Примчался откуда-то молодой парнишка-кавалерист, сунул Шебалову пакет и сказал улыбаясь, точно сообщая какую-то приятную новость:

— А вчера уйму наших немцы у Краюшкова положили. Беда прямо, какая жара была!

Отряду была дана задача: минуя разбросанные по деревенькам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим отрядом донецких шахтеров Бегичева.

— А что же связаться? — недовольно проговорил Шебалов, тыкая пальцем в карту. — Где я тот отряд искать буду? Накося, написали: между Олешкином и Сосновкой! Ты мне точно место дай, а то «связаться» да еще «между»...

Тут Шебалов выругал штабных начальников, которые ни черта не смыслят в деле, а только горазды приказы писать, и велел скликать ротных командиров. Однако, не смотря на ругань по адресу штабников, Шебалов был доволен тем, что получил самостоятельную задачу и не был подчинен какому-нибудь другому, более многочисленному отряду.

Командиров было трое: бритый и спокойный чех Галда, хмурый унтер Сухарев и двадцатитрехлетний весельчак, гармонист и плясун, бывший пастух Федя Сырцов.

Все они расположились на полянке вокруг карты, посреди плотного кольца обступивших красноармейцев.

— Ну, — сказал Шебалов, приподнимая бумагу. — Согласно, значит, полученному мною приказу, приходится итти нам в неприятельский тыл, чтобы действовать вблизи отряда Бегичева, и должны мы выступить сегодня в ночь, минуя и не задевая встречных неприятельских отрядов. Понятно вам это?

— Ну, уж и не задевая! Как же это можно, чтобы не задевая? — с хитровой наивностью спросил Федя Сырцов.

— А так и не задевая, — настороженно повернув голову, ответил Шебалов и

показал Феде кулак. — Я тебя, чорта, знаю... Я тебе задену! Ты у меня смотри, чтоб без фокусов.

— Значит, в ночь выступаем, — продолжал он. — Подвод никаких, пулемет и патроны на выюки, чтобы ни шуму, ни грому. Ежели деревенька какая на пути — обходить осторожно, а не рваться до нее, как голодные собаки до падали. Это тебя, Федор, особенно касается. У тебя твои байбаки, ежели хутор хоть в стороне заметят, все им нипочем, так и прут на сметану.

— У мне тоже прут, — сознался чех Галда. — У мне прошлый рас расфедкичку катку с сирой теста приносил. Я им говорил: «Зашем притащил сирой?», а они мне говорили: «На огонь пекать будем...»

Все рассмеялись, и даже Шебалов улыбнулся.

— Это за Дебальцевом еще, — засмеялся рядом со мной Васька Шмаков. — Это он про нас жалуется. Мы в разведку ходили, к казаку попали; богатый казак. Как нас из его халупы стеганули из винтовок, ну, да только все равно мы доперли до хутора, смотрим, а там никого уже. Печь топится, квашня на столе. Мы запалили хутор, а квашню с собой забрали; потом вечером на кострах запекли. Вкусное тесто, сдобное... чистый кулич.

— Сожгли хутор? — переспросил я. — Разве можно хутор сжигать?

— Дочиста, — хладнокровно ответил Васька. — Как же нельзя, раз из него по нас хозяева стрельбу открыли? Они, казаки, вредные. Он богатый, ему што — новый строить начнет, чем гайдамачничать.

— А ежели еще больше обозлится и еще больше за это красных ненавидеть будет?

— Больше не будет, — серьезно ответил Васька. — Который богатый, тому больше ненавидеть уже некуда! У нас Петьку Кокшина поймали, так прежде, чем погубить, три дня плетьми тиранили. А ты говоришь — больше... Куда же еще больше-то?

Перед ночным походом ребята варили в котелках кашу с салом, пекли на углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке у ротного Сухарева я увидел лишнюю старую шинель. Подол ее был прожжен, но шинель была еще

крепкая и годная к носке. Я попросил ее у Сухарева.

— На што она тебе? — спросил он грубовато. — У тебя ж свое пальто, да еще драповое, мне шинелька самому нужна. Я из нее себе штаны сошью.

— А ты сшей из моего, — предложил я, — честное слово... А то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона.

— Ну-у! — Тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня. Его мужиковатое, топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку. — Сменяешь? Конечно, — быстро заговорил он. — И на самом деле, какой же ты солдат в пальте? И виду никакого во все. Шинелька, не смотри, что прожжена немного, ее обкоротить можно. А я тебе впридачу серую папаху дам, у меня осталась лишняя.

Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца, с закинутой за плечо винтовкой отходил от него, он сказал подошедшему Ваське:

— Обязательно, как будет случай, бабе отошлю. Ему на што оно? Стукнет пуля — вот тебе и все пальто спортила, а дома баба как рада будет!

Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух, для того чтобы не попал отряд на чужую, вражью дорогу. Проводников разделили порознь, и когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого, и только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути.

Шли сначала лесом по два, поминутно натываясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернули с дороги в рощу. Выбрались на поляну и решили отдыхать: дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги, в гуще малинника, оставили секрет, а к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки.

Мимо прошел озабоченный Шебалов. Рядом упругой, крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева.

До меня долетели слова:

— Разведка по оврагу.

— Конных?

— Конных нельзя, заметно слишком. Пошли трех, Сухарев.

— Чубук, — негромко, как бы спрашивая, сказал Шебалов. — ты за старшего пойдешь. С собой Шмакова возьми и еще выбери кого-нибудь понадежнее.

— Возьми меня, Чубук, — тихо попросил я. — Я буду очень надежным.

— Возьми Симку Горшкова, — предложил Сухарев.

— Меня, Чубук, — зашептал я опять, — возьми меня... Я буду самый надежный.

— Угу! — сказал Чубук и мотнул головой.

Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный недоверчивым взглядом Сухарева.

— Зачем его берешь? — спросил он Чубука. — Он тебе все дело испортить может — возьми Симку.

— Симку? — переспросил, как бы раздумывая, Чубук и, чиркая спичкой, закурил.

«Дурак! — бледнея от обиды и ненависти к Сухареву, прошептал я про себя. — Как он может при всех так отзываться обо мне? А не возьмут, так я нарочно сам попробуюсь... Нарочно до самой деревни, все разубаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сохнет от досады!»

Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин четыре патрона, пятый дослал в ствол и, поставив на предохранитель, сказал равнодушно, не чувствуя, как важно для меня его решение:

— Симку? Что ж, можно и Симку. — Он поправил патронташ и, взглянув на мое бледневшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато: — Да что ж Симку... Он... и этот постарается, коли у него есть охота. Пошли, парень!

Я кинулся к опушке.

— Стой! — строго остановил меня Чубук. — Не жеребцуй, это тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня одну. Погоди, да не суй ее в карман

рукоюткой — станешь вынимать, кольцо-сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх ты. — добавил он уже мягко, — белая горячка!

Глава пятая

— Пробирайся по правому скату, — приказал Чубук. — Шмаков пойдет по левому, я — вниз посередке. Как что заметите, так мне знак подавайте.

Мы стали медленно продвигаться. Через полчаса на краю левого ската, чуть-чуть позади, я увидел Шмакова. Он шел согнувшись, немного выставив голову вперед. Обыкновенно добродушно-плутоватое лицо его было сейчас серьезно и зло.

Овраг сделал изгиб, и я потерял из виду и Шмакова и Чубука. Я знал, что они где-то здесь, неподалеку, так же как и я, продвигаются, укрываясь за кусты, и сознание того, что, несмотря на кажущуюся разрозненность, мы крепко связаны общей задачей и опасностью, подкрепляло меня. Овраг расширился. Заросли пошли гуще. Опять поворот, и я пластом упал на землю.

По широкой, вымощенной камнем дороге, пролежавшей всего в сотне шагов от правого ската, двигался большой кавалерийский отряд.

Воронье, на подбор сытые кони бодро шагали под всадниками; впереди ехали три или четыре офицера. Как раз напротив меня отряд остановился, командир вынул карту и стал рассматривать ее.

Пятая задом, я полз вниз и обернулся, отыскивая взглядом Чубука, с тем чтобы скорее подать ему условный сигнал. Было страшно, но все-таки успела промелькнуть мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой, а я первый открыл неприятеля.

«Где же Чубук? — подумал я с тревогой, спешно оглядываясь по сторонам. — Что же это он?» Я уже хотел скатиться вниз и разыскать его, как внимание мое привлек чуть шевелившийся куст на левом скате оврага.

С противоположного ската, осторожно высунувшись из-за ветвей, Васька Шмаков подавал мне рукой какие-то непонятные, но

тревожные сигналы, указывая на дно оврага.

Сначала я думал, что он приказывает мне спуститься вниз, но, следуя взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал голову.

По густо разросшемуся дну оврага шел белый солдат и вел в поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из дозорных флангового разъезда, охраняющего движение колонны, но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки. Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами. Мне виден был только Васька. Но Ваське, очевидно, с противоположной стороны было видно еще что-то, скрытое от меня.

Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю, и держал вытянутую в мою сторону руку, предупреждая, чтобы я не двинулся, и в то же время смотрел вниз, приготовившись прыгнуть.

Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться. Кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь. В тот же момент Васька широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них я узнал Чубука, в другом — неприятельского солдата. Не помню даже, как я очутился возле них. Чубук был внизу, он держал за руки белого, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того чтобы сшибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжел и отпихнул меня. Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Белый вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись, появился до пояса мокрый Васька и четким учебным приемом на скаку сбил солдата прикладом.

Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы.

— Васька! — хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой на щипавшего траву коня.

— Ага, — ответил Васька и, схватив тащившийся по земле повод, дернул его к себе.

— С собой, — так же быстро проговорил Чубук, указывая на оглушенного гайдамака. Васька понял его.

— Вяжи руки!

Чубук поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося солдата.

— Бери за ноги! — крикнул он мне. — Живее, шура! — выругался он, заметив мое замешательство.

Перевалили пленника через спину лошади. Васька вскочил в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался назад по неровному дну оврага.

— Сюда! — прохрипел мне багровый и потный Чубук, дергая меня за руку. — Кати за мной!

И, цепляясь за сучья, он полез наверх.

— Стой, — сказал он, останавливаясь почти у края, — сиди!

Только-только успели мы притаяться за кустами, как внизу показалось сразу пятеро всадников. Очевидно, это и было ядро флангового разъезда. Всадники остановились, оглядываясь; очевидно, они искали своего товарища. Громкие ругательства понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один соскочил с коня и поднял что-то. Это была шапка солдата, впопыхах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговорили, и один из них, повидимому старший, протянул руку вперед.

«Догонят Ваську, — подумал я, — у него ноша тяжелая. Их пятеро, а он один».

— Бросай вниз бомбу! — услышал я приказание и увидел, как в руке Чубука блеснуло что-то и полетело вниз.

Тупой грохот ошеломил меня.

— Бросай! — крикнул Чубук и тотчас же рванул и мою занесенную руку, выхватил мою бомбу и, щелкнув предохранителем, швырнул ее вниз.

— Дура! — рявкнул он мне, совершенно оглушенному взрывами и ошарашенному быстрой сменой неожиданных опасностей. — Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил!

Мы бежали по свежевспаханному вязкому огороду. Белые, очевидно, не могли через кусты верхами вынестись по скату наверх и, наверно, выбирались спешившись. Мы успели добежать до другого оврага, завернули в одно из ответвлений, опять побежали по полю, затем попали в перелесок и ударились напрямик в чащу. Далеко, где-то сзади, слышались выстрелы.

— Не Ваську нагнали? — дрогнувшим, чужим голосом спросил я.

— Нет, — ответил Чубук прислушиваясь, — это так... после времени досаду срывают. Ну, понатужься, парень, прибавим еще ходу! Теперь мы им все следы запутаем.

Мы шли молча. Мне казалось, что Чубук сердится и презирает меня за то, что я, испугавшись, выронил винтовку и по-мальчишески нелепо укусил солдата за палец, что у меня дрожали руки, когда взваливали пленника на лошадь, и, главное, за то, что я растерялся и не сумел даже бросить бомбу. Еще стыднее и горше становилось мне при мысли о том, что Чубук расскажет обо мне в отряде и Сухарев обязательно поучительно вставит: «Говорил я тебе, не связывайся с ним; взял бы Симку, а то нашел кого!» Слезы обиды и злости на себя, на свою трусость вот-вот готовы были пролиться из глаз.

Чубук остановился, вынул кисет с махоркой, и, пока он набивал трубку, я заметил, что пальцы Чубука тоже чуть-чуть дрожат. Он закурил, затянулся несколько раз с такой жадностью, как будто пил холодную воду, потом сунул кисет в карман, потрепал меня по плечу и сказал просто и задорно:

— Что... живы, брат, остались? Ничего, Бориска, парень ты ничего. Как это ты его за руку зубами тянул! — И Чубук добродушно засмеялся. — Прямо как чистый волчонок тянул. Что ж, не всё одной винтовкой — на войне, брат, и зубы пригодиться могут!

— А бомбу... — виновато пробормотал я — Как же это я ее с предохранителем хотел?

— Бомбу? — улыбнулся Чубук. — Это, брат, не ты один, это почти каждый не-

привыкший обязательно неладно кинет: либо с предохранителем, либо вовсе без капсюля. Я, когда сам молодой был, так же бросал. Ошалеешь, обалдеешь, так тут не то что предохранитель, а и кольцо-то сдернуть позабудешь. Так вроде бы как булыжником запустишь — и то ладно. Ну, пошли... Итти-то нам еще далеко!

Дальнейший путь до стоянки отряда мы прошли и легко и безустали. На душе было спокойно и торжественно, как после школьного экзамена...

Никогда ничего обидного больше Сухарев обо мне не скажет.

Доскакавши до стоянки отряда, Васька сдал оглушенного пленника командиру. К рассвету белый очухался и показал на допросе, что полотно железной дороги, которое нам надо было пересекать, охраняет бронепоезд, на полустанке стоит немецкий батальон, а в Глуховке расквартирован белогвардейский отряд под командой капитана Жихарева.

Яркая зелень пахнула распутившейся черемухой. Отдохнувшие ребята были бодры и казались даже беззаботными. Вернулся из разведки Федя Сырцов со своими развеселыми кавалеристами и сообщил, что впереди никого нет и в ближайшей деревеньке мужики стоят за красных, потому что третьего дня вернулся в деревню безжавший в начале октября помещик и ходил с солдатами по избам, разыскивая добро из своего имения. Всех, у кого дома нашли барские вещи, секли на площади перед церковью жестче, чем в крепостное время, и потому приходу красных крестьяне будут только рады.

Напившись и закусив шматком сала, я поднялся и направился туда, где возле пленника толпилась кучка красноармейцев.

— Эгей! — приветливо крикнул мне встретившийся Васька Шмаков, вытирая рукавом шинели лицо, взмокшее после осушенного котелка кипятку. — Ты что же это, брат, вчера-то, а?

— Что вчера?

— Да винтовку-то кинул.

— А ты чего первый со ската прыгнул, а после меня на помощь прибежал? — задорно огрызнулся я.

— Я, брат, как сигнул—да прямо в болото, насилу ноги вытащил, оттого и после. А ловко мы все-таки... Я как слышал, что сзади дернули бомбой, ну, думаю, каюк вам с Чубуком. Ей-богу, так и думал—каюк. Прискакал к своим и говорю: «Влопались наши, должно, не выберутся». А сам про себя еще подумал: «Вот, мол... не хотел мне сумку сменять, а теперь она белым задаром достанется!» Хорошая у тебя сумка. — И он потрогал перекинутый через плечо ремень плоской сумочки, которую я захватил еще у убитого мною незнакомца. — Ну и наплевать на твою сумку, если не хочешь сменять, — добавил он. — У меня прошлый месяц еще почище была, только продал ее, а то подумаешь, какой, сумкой зазнался! — И он презрительно шмыгнул носом.

Я смотрел на Ваську и удивлялся: такое у него было глуповатое красное лицо, такие развихлястые движения, что никак не похоже было на то, что это он вчера с такой ловкостью полз по кустам, выслеживая белых, и с яростью стегал непослушного коня, когда мчался с прихваченным к седлу пленником.

Красноармейцы суетились, заканчивая завтрак, застегивали гимнастерки, оборачивали портянками отдохнувшие ноги. Вскоре отряд должен был выступать.

Я был уже готов к походу и поэтому пошел к опушке посмотреть на распутившиеся кусты черемухи.

Шаги, раздавшиеся сбоку, привлекли мое внимание. Я увидел захваченного гайдамака, позади него трех товарищей и Чубука.

«Куда это они идут?» подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника.

— Стой! — скомандовал Чубук, и все остановились.

Взглянув на белого и на Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол березки.

Позади коротко и деловито прозвучал залп.

— Мальчик, — сказал мне Чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления, — если ты думаешь, что война —

это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый — это есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют — и мы их жалеть не будем!

Я поднял на него покрасневшие глаза и сказал ему тихо, но твердо:

— Я не пойду домой, Чубук, это просто от неожиданности. А я красный, я сам шел воевать... — тут я запнулся и тихо, как бы извиняясь, добавил: — за светлое царство социализма.

Глава шестая

Мир между Россией и Германией был давно уже подписан, но, несмотря на это, немцы не только наводнили своими войсками Украинскую, контрреволюционную в то время, республику, но вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры.

Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора; ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами. Выставляя засады на проселочную дорогу, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли фуражиров.

Но та поспешность, с которой мы убирались прочь от крупных неприятельских отрядов, и постоянное стремление уклониться от открытого боя казались мне сначала постыдными. На самом деле, прошло уже полтора месяца, как я был в отряде, а я еще не участвовал ни в одном настоящем бою. Перестрелки были. Набеги на сонных или отбившихся белых были. Сколько проводов было перерезано, сколько телеграфных столбов спилено — и не счесть, а боя настоящего еще не было.

— На то мы и партизаны, — ничуть не смущаясь, заявил мне Чубук, когда я высказал свое удивление по поводу такого некрасивого, на мой взгляд, поведения отряда. — Тебе бы, милый, как на картине,

выстроиться в колонну, винтовки наперевес, и пошел. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые! У нас сколько пулеметов? Один, да и к тому всего три ленты. А вон у Жихарева четыре «максима» да два орудия. Куда же ты на них попрешь? Мы должны на другом брате. Мы, партизаны, как осы: маленькие, да колючие. Налетели, покусали, да и прочь. А храбрость такая, чтоб для показа, — она нам ни к чему сейчас; это не храбрость выходит, а дурость!

Многих ребят я узнал за это время. Ночами в караулах, вечером у костра, в полуденную ленивую жару под вишнями медовых садов много услышал я рассказов о жизни своих товарищей.

Всегда хмурый, насупившийся Малыгин, с одним глазом — второй был выбит взрывом в шахте, — рассказывал:

— Про жизнь свою говорить мне нечего. Одним словом, серьезная была жизнь. Жизнь у меня за все последние двадцать годов на три равные части разделена была. В шесть утра встанешь. Башка грешит от вчерашнего; надел шматки, получил лампу и ухнул в шахту. Там, знай свое, забурил, вставил динамит и грохай. Грохаешь, грохаешь, оглохнешь, отупеешь — и к стволу на подъем. Выкинет тебя наверх, как чорта, мокрого, черного. Это первая часть моей жизни. А потом идешь в казенку, взял бутылку — денег с тебя не спрашивают: контора заплатит. Потом в хозяйскую лавку; там показал бутылку, и выдают тебе оттуда без разговора два соленых огурца, ситного и селедку. Это уж на бутылку такая порция полагалась! Закусывайте на здоровье — контора вычтет. Вот тебе вторая часть моей жизни. А третья — ляжешь спать и спишь. Спал я крепко, пуще водки любил я спать, — за сны любил. Что такое сон, до сего времени не понимаю. И с чего бы это такое странное привидеться может? Вот, например, снится мне один раз, что призывает меня штейгер и говорит: «Ступай, Малыгин, в контору и получай расчет». — «За что же, — говорю я ему, — господин штейгер, мне расчет?» — «А за то, — говорит, — тебе, Малыгин, расчет, что замышляешь ты на директоровой дочке жениться». — «Что вы, — говорю я ему, —

господин штейгер, слыханное ли это дело, чтобы шахтер-запальщик на директоровой дочке женился? Где же, — говорю, — мне на директоровой, когда за меня и простая-то девка не каждая из-за выбитого глаза пойдет?» Тут смешалось все, спуталось, штейгер вдруг оказывается не штейгер, а будто жеребец директорский, напряженный в ихнюю коляску. Выходит из той коляски сам директор, вежливо кланяется мне и говорит: «Вот, запальщик Малыгин, возьми в жены мою дочку и приданого десять тысяч и штейгера, то есть жеребца, с коляской». Обомлел я от радости, только было хотел подойти, как ударит меня директор тростью, да еще, да еще, а штейгер ну топтать копытами и ржать... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. Вот чего захотел! И бьет и бьет копытами. Так злобно бил, что даже закричал я во сне на всю казарму. И кто-то взаправду в бою меня двинул, чтобы не орал с людей ночью не тревожил.

— Ну, уж и сон! — засмеялся Федя Сырцов. — Видно, просто паялил ты глаза на хозяйскую барышню, вот и приснилось. Мне так всегда: про что на ночь думаю, то и снится. Вот сапог третьего дня не успел я с убитого немца снять. Сапог хороший, шевровый, так каждую ночь он мне снится!

— Сапог!.. Сам ты сапог, — рассердившись, ответил Малыгин. — Я ее, дочку-то, один раз за год до того и видел всего. Лежал я пьяный в канаве. Идет она с мамашей пешком возле огородов по тропке, а лошади ихние рядом идут. Мамаша — важная барыня... седая, подошла ко мне и спрашивает: «Как вам не стыдно пить? Где у вас человеческий облик? Вспомнили бы бога». — «Извиняюсь, — говорю я, — облика действительно нет, оттого и пью».

Сжалилась тогда надо мною ихняя мамаша, сует мне в руки гривенник и наставляет: «Посмотри, мужичок: природа кругом ликует, солнце светит, птички поют, а вы пьянствуете. Пойдите купите себе содовой воды, протрезвитесь». Тут зло меня разобрало. «Я, — говорю ей, — не мужичок, а рабочий с ваших шахт. Природа пускай ликует, и вы ликуйте на доброе здоровье, а мне ликовать не с чего. Содовой же воды в жизни не пил, и если хотите сделать

доброе дело — добавьте еще гривенник до полбутылки, а я за нашу приятную встречу с благодарностью опохмелюсь». — «Хам, — говорит мне тогда благородная женщина, — хам! Завтра я скажу мужу, чтобы вас отсюда, с рудников, уволили». Сели они с дочкой в коляску и уехали. Вот только и было у меня с ней разговор, а дочка во все, пока мы говорили, отвернувшись стояла, а ты говоришь, пялил!

— Что ж во сне-то! — усмехнулся Федя Сырцов. — А хотите, я вам расскажу, какой со мной и с одной графиней случай был? Ей-богу, из-за этого случая я, можно сказать, и в революцию ударился. Такой случай — ежели вам рассказать, то и ушами захлопаете.

Тут Федя тряхнул чубатой головой и зажмурил глаза, как кот, выбравшийся из хозяйской кладовой.

— Врать будешь, Федька? — подсаживаясь поближе, с любопытством и недоверием спросил Васька Шмаков.

— Это уже твое дело, хочешь — верь, хочешь — нет, документов я тебе предъявлять не буду.

Федя потянулся, покачал головой, как бы раздумывая, стоит ли еще рассказывать или нет, и, прищелкнув языком, начал решительно:

— Было это три года тому назад. А парень я — нечего говорить об этом — красивый был, лучше еще, чем сейчас. И такая судьба моя вышла, что пришлось мне наняться в подпаски при графской экономии. А у графа нашего жена была, звали ее Эмилия, и гувернантка Анна, то есть по-ихнему Жанет.

Вот однажды сижу я возле стада у пруда и вижу: идут обе, зонтиками от солнца загораживаются. У графини белый зонтик, а у Жанет — красный. А была та Жанет похожа на сушеную тарань: тощая, очки на носу, и когда идет бывало по деревне, то платком нос прикрывает, чтобы, значит, от навозного духу голова не заболела. Надо вам сказать, что был у меня в стаде бык, настоящий симментал — порода такая, огромный. Как увидел мой бык красный зонтик да как попер полным ходом на Жанет! Я вскочил и во весь мах наперескок. Обе

барыни закричали. Графиня в кусты, а Жанет некуда деваться, и она со страху в воду сиганула. Симментал до нее рвется, а она, дура, нет, чтобы бросить зонтик, закрывается им от быка — тоже нашла защиту! — и визжит при этом что-то по-немецки там или по-французски — кто ее разберет. Я как ухну в воду, вырвал у нее зонтик да в морду симменталу. Он разъярился — за мной, я отплыл до середки и бросил зонтик, а сам на другой берег и в кусты. Тут пастихи набежали: крик, гам, быка загоняют, вытащили Жанет из тины, а с ней на берегу обморок случился.

Федька тяжело дышал, как будто только сейчас спасся от быка, прищелкнул языком и хотел было продолжать, но в это время с крыльца хутора послышался окрик:

— Федор.. Сырцов! Иди до командира.

— Сейчас, — отмахнулся недовольно Федя и, улыбнувшись, продолжал: — Пока Жанет отходила, подходит ко мне графиня Эмилия, белая, на глазах слезы и в груди волнение. «Юноша, — говорит, — кто ты?» — «А я, — говорю ей, — ваше сиятельство, подпасок, зовут меня Федором, а фамилия моя — Сырцов». Тогда вздохнула графиня и говорит мне: «Теодор, — это то есть по-ихнему Федор, — Теодор, подойди сюда ко мне поближе».

Что еще сказала Феде графиня и какое отношение имел этот случай к тому, что он впоследствии ушел к красным, в этот раз дослушать мне не пришлось, потому что рядом послышался звон шпор и рассерженный Шебалов очутился за спиной.

— Федор, — сурово спросил он, останавливаясь и облакачиваясь на палаш, — ты слышал, что я тебя зову?

— Слышал, — буркнул Федя приподнимаясь. — Ну, что еще?

— Как это «ну, что еще»? Должен ты итти, когда тебя командир требует?

— Слушаю, ваше благородие! Чего изволите? — вместо ответа насмешливо огрызнулся Федя.

Но обыкновенно податливого и мягкого Шебалова на этот раз всерьез задело Федино замечание.

— Я тебе не ваше благородие, — серьезно и огорченно сказал он, — я тебе не бла-

городие, и ты мне не нижний чин. Но я командир отряда и должен требовать, чтобы меня слушались. Мужики сейчас с Темлюкова хутора приходили.

— Ну? — Черные глаза Феде виновато и блудливо забегали по сторонам.

— Жаловались. Говорили: «Приезжали вот ваши разведчики. Мы, конечно, обрадовались: свои, мол, товарищи. Старший ихний, черный такой, сходку устроил за поддержку советской власти, про землю говорил и про помещиков. А мы пока слушали да резолюцию выносили, его ребята давай по погребам сметану шарить да кур ловить». Что же это такое, Федор, а? Ты, может, ошибся малость, ты, может, лучше к гайдамакам пошел бы — у них это заведено, а у меня в отряде эдакого безобразия не должно быть!

Федя презрительно молчал и, опустив глаза, постукивал кончиком нагайки о конец своего сапога.

— Я тебе последний раз говорю, Федор, — продолжал Шебалов, теребя пальцем красный темляк блистательного палаша. — Я тебе не благородие, а сапожник и простой человек, но куда меня назначили командиром, я требую твоего послушания. И последний раз перед всеми обещаю, что если и дальше так будет, то не посмотрю я на то, что хороший боец ты и товарищ, а выгоню из отряда!

Федя вызывающе посмотрел на Шебалова, повел взглядом по столпившимся вокруг красноармейцам и, не найдя ни в ком поддержки, за исключением трех-четырех кавалеристов, одобрительно улыбнувшихся ему, еще больше озлобился и ответил Шебалову с плохо скрываемой злобой:

— Смотри, Шебалов, ты не очень-то людьми расшвыривайся, нынче люди дороги!

— Выгону, — тихо проговорил Шебалов и, опустив голову, неторопливо пошел к крыльцу.

У меня остался нехороший осадок от разговора Шебалова с Сырцовым. Я знал, что Шебалов прав, и все-таки был на стороне Феде.

«Ну, скажи ему, — думал я, — а нельзя же грозить».

Федя у нас один из лучших бойцов, и всегда он веселый, задорный. Если нужно разузнать что-либо, сделать неожиданный налет на фуражиров, подобраться к охраняемому белыми помещицкому имению, всегда Федя найдет удобную дорогу, проберется скрытно кривыми оврагами, задами.

Любил Федя подкрасться тихо, чтобы не стучали подковы, чтобы не звякали шпоры, чтобы кони не ржали, а не то кулаком по лошадиной морде, чтобы всадники не шушукались, а не то без разговоров плетью по спине. Не ржали Федины приученные кони, не шушукались приросшие к седлам всадники; сам Федя впереди разведки, немного пригнувшийся к косматой гриве своего иноходца, был похож на хищного ящера, скользкими изгибами подбирающегося к запутавшейся в траве жирной мухе.

Но зато, когда уже спохватится вражий караул и поднимет ошалелую тревогу, не успеет еще врасплох захваченный белый штаны натянуть, не успеет полусонный пулеметчик ленту заправить, как катится с треском винтовочных выстрелов, с грохотом разбрасываемых бомб, с гиканьем и свистом маленький упругий отряд. Тогда шум и грохот любил Федя. Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась, заставив взметнуться чуть ли не на трубы крыш обалделых кур и жирных гусаков. Было бы побольше грома, побольше паники! Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенную лентою наспех выкаченный пулемет и, главное, пусть вылетит из халупы один, другой солдат и, еще не разглядев ничего, еще не опомнившись от сна, выронит винтовку и заорет одурело и бессмысленно, шараясь к забору:

— Окру-жи-ли!.. Красные окружили!

И тогда-то бомбы за пояс, винтовки за спину — и пошли молчаливо работать холдные, до звона откошенные шапки распаленных удачей Фединых разведчиков. Вот каков был у нас Федя Сырцов. «И разве можно, — думал я, — из-за каких-то кур и

сметаны выгонять такого неоценимого бойца из отряда?»

Не успел я еще толком опомниться от размышлений по поводу ссоры Феди с Шебаловым, как с крыши хаты закричал Чубук, сидевший наблюдателем, что по дороге на хутор движется большой пеший отряд. Забегали, закружились красноармейцы. Казалось, никакому командиру не удастся привести в порядок эту взбудораженную массу. Никто не дожидался приказаний, и каждый заранее знал уже, что ему делать. Поодиночке, на ходу проверяя патроны в магазинах, дожидывая куски недоеденного завтрака, низко пригибаясь, пробежали ребята из первой роты Галды к окраине хутора и, бухаясь наземь, образовывали все гуще и гуще заполняющуюся цепочку. Подтягивали подпруги, взнуздывали, развязывали, а иногда и ударом клинка разрезали пути на ногах у коней разведчики. Пулеметчики стаскивали с тачанки «кольт» и ленты. Вслед за красным, потным Сухаревым побежали по тропке красноармейцы второй роты на опушку рощи. Еще минута, другая — и все стихло. Вот уже сошел с крыльца Шебалов, на ходу приказывая что-то Феде. И Федя мотнул головой: ладно, говорит, будет сделано.

Вот уже захлопнулись ставни, и полез хозяин хутора с бабами, ребятишками в погреб.

— Стой, — сказал мне Шебалов. — Останься здесь. Лезай к Чубуку на крышу: что ему оттуда видно будет, передавай на опушку мне! Да скажи ему, чтобы поглядывал он вправо, на Хамурскую дорогу, не будет ли оттуда чего.

Раз, два, дзик, дзак... Крякнула лениво греющаяся на солнце утка; задрав перепачканный колесным дегтем хвост, беспечно-торжествующе заорал с забора оранжевый петух. Когда он смолк, тяжело хлопая крыльями, бултыхнулся и утонул в гуще пыльных лопухов, стало совсем тихо на хуторе, так тихо, что выплыло из тишины до сих пор неслышимое журчанье солнечного жаворонка и однотонный звон пчел, собиравших с цветов капли разогретого добирающего меда.

— Ты чего? — не оборачиваясь, спросил

Чубук, когда я залез на соломенную крышу.

— Шебалов прислал тебе на помощь.

— Ладно, сиди, да не высовывайся.

— Смотри вправо, Чубук, — передал я приказание Шебалова, — смотри, нет ли чего на Хамурской дороге.

— Сиди, — коротко ответил он и, сняв шапку, высунул из-за трубы свою большую голову.

Вражьего отряда не было видно: он скрылся в лощине, но вот-вот он должен был показаться опять. Солома на крыше была скользкая, и, чтобы не скатиться вниз, я, стараясь не ворочаться, носком расшвыривал себе уступ, на который можно было бы опереться. Голова Чубука была почти у моего лица. И тут я впервые заметил, что сквозь его черные жесткие волосы кое-где пробивается седина. «Неужели он уже старый?» удивился я.

Отчего-то мне показалось странным, что вот Чубук уже пожилой, и седина и морщины возле глаз, а сидит тут, рядом со мной, на крыше и, неуклюже раздвинув ноги, чтобы не сползти, высовывает из-за трубы большую взлохмаченную голову.

— Чубук! — окликнул я его шопотом.

— Что тебе?

— Чубук... А ты ведь старый уже, — сам не зная к чему, сказал я.

— Ду-ура... — рассерженно обернулся Чубук. — Чего ты языком барабанишь?

Тут Чубук опустил голову на солому и подался туловищем назад. Из лощины поднимался отряд. Я чувствовал, как беспокойство овладевает Чубуком. Он смущенно задышал и заворочался.

— Борис, смотри-ка!

— Вижу.

— Беги вниз и скажи Шебалову — вышли, мол, из лощины, но скажи ему — подозрительно что-то: сначала шли походной колонной, а пока в лощине были, развернулись повзводно. Ну, так вот, понял теперь: с чего бы им повзводно? Может быть, они знают уже, что мы на хуторе? Крой скорей и обратно!

Я выдернул носок из ямки, вырытой в соломе, и, скатившись вниз, бухнулся на толстую свинью, с визгом шархнувшуюся

прочь. Разыскал Шебалова. Он стоял за деревом и смотрел в бинокль. Я передал ему то, что велел Чубук.

— Вижу, — ответил Шебалов таким тоном, точно я его обидел чем-то, — сам вижу.

Я понял, что он просто раздражен неожиданным маневром противника.

— Беги обратно, и не слезайте, а смотрите больше на фланг, на Хамурскую дорогу.

Добежав до пустого двора, я полез на сухой плетень, чтобы оттуда взобраться на крышу.

— Солдатик! — услышал я чей-то шопот.

Я испуганно обернулся, не понимая, кто и откуда зовет меня.

— Солдатик! — повторил тот же голос.

И тут я увидел, что дверь погреба приоткрыта и оттуда высунулась голова бабы, хозяйки хутора.

— Что, — спросила она шопотом, — идут?

— Идут, — ответил я также шопотом.

— А как... только с пулеметами или орудия есть? — Тут баба быстро перекрестилась. — Господи, хоть бы только с пулеметами, а то ведь из орудиев начисто разобьют хату!

Не успел я ей ответить, как раздался выстрел и невидимая пуля где-то высоко в небе запела звонко: тии-иуу...

Голова бабы исчезла, дверка погреба захлопнулась. «Начинается», подумал я, чувствуя прилив того болезненного возбуждения, которое овладевает человеком перед боем, не тогда, когда уже грохочут выстрелы, злятся, звенят россыпи пулеметных очередей и торжественно бухают ввязавшиеся в бой батареи, а когда еще ничего нет, когда все опасное еще впереди... «Ну, — думаешь, — почему же так тихо, так долго? Хоть бы скорей уже начиналось».

Тии-уу... — взвизгнуло второй раз.

Но ничего еще не начиналось. Вероятно, белые подозревали, но не знали наверное, занят ли хутор красными, и дали два выстрела наугад. Так командир маленькой разведки подбирается к охранению неприятеля, открывает огонь и, по ответному

грохоту сторожевой заставы, по треску пулеметов определив силу врага, уходит на другой фланг, начинает пальбу пачками, заставляет неприятеля взбудоражиться и убегает поспешно к своим, никого не победив, никому не нанеся урона, но добившись цели и заставив неразгаданного противника развернуться и показать свои настоящие силы.

Молчал и не отзывался на выстрел наш рассыпавшийся цепью отряд.

Тогда пятеро кавалеристов на вороних танцующих конях, играя опасностью, отделились от неприятеля и легкой рысью понеслись вперед. Не далее как в трехстах метрах от хутора кавалеристы остановились, и один из них навел на хутор бинокль. Стекло бинокля, скользнув по кромке ограды, медленно поползло вверх по крыше, к трубе, за которой спрятались мы с Чубуком.

«Хитры тоже, знают, где искать наблюдателя», подумал я, пряча голову за спину Чубука и испытывая то неприятное чувство, которое овладевает на войне, когда враг помимо твоей воли подтягивает тебя биноклем к глазам или рядом скользит, расправляя темноту, нащупывая колонну, луч прожектора, когда над головою кружит разведывательный аэроплан и некуда укрыться, некуда спрятаться от его невидимых наблюдателей.

Тогда собственная голова начинает казаться непомерно большой, руки — длинными, туловище — неуклюжим, громоздким. Досадуешь, что некуда их приткнуть, что нельзя съежиться, свернуться в комочек, слиться с соломой крыши, с травой, как сливается с кучей хвороста серый взъерошенный воробей под пристальным взглядом бесшумно парящего коршуна.

— Заметили! — крикнул Чубук. — Заметили! — И, как бы показывая, что играть в прятки больше нечего, он открыто высунулся из-за трубы и хлопнул затвором.

Я хотел спуститься вниз и донести Шебалову. Но, вероятно, с опушки уже и сами поняли, что засада не удалась, что белые, не развернувшись в цепь, на хутор не пойдут, потому что из-за деревьев вдогонку кавалеристам полетели пули.

Развернутые взводы белых смешались и тонкими черточками ломаной стрелковой цепи поползли вправо и влево. Не доскакав до бугра, по которому рассыпались белые, задний всадник вместе с лошадью упал на дорогу. Когда ветер отнес клубы поднимающейся пыли, я увидел, что только одна лошадь лежит на дороге, а всадник, припадая на ногу, низко согнувшись, бежит к своим.

Пуля, ударившись о кирпич трубы, обдала пылью осыпавшейся известки и заставила спрятать голову. Труба была хорошей мишенью. Правда, за нею нас не могли достать прямые выстрелы, но зато и мы должны были сидеть не высовываясь. Если бы не приказание Шебалова следовать за Хамурской дорогой, мы спустились бы вниз. Беспорядочная перестрелка перешла в огневой бой. Разрозненные винтовочные выстрелы белых стихали, и начинали строчить пулеметы. Под прикрытием их огня неровная цепь передвигалась на несколько десятков шагов и ложилась опять. Тогда стихали пулеметы, и опять начиналась ружейная перестрелка. Так постепенно, с упорством, доказывавшим хорошую дисциплину и выучку, белые подвигались все ближе и ближе.

— Крепкие, черти, — пробормотал Чубук, — так и лезут в дамки. Не похоже что-то на жихаревцев, уж не немцы ли это?

— Чубук! — закричал я. — Смотри-ка на Хамурскую, там возле опушки что-то движется.

— Где?

— Да не там... Правей смотри. Прямо через пруд смотри... Вот! — крикнул я, увидев; как на опушке блеснуло что-то, похожее на вспышку солнечного луча, отраженного в осколке стекла.

В воздухе послышалось странное звучание, похожее на хрипение лошади, которой перервало горло. Хрип превратился в гул. Воздух зазвенел, как надтреснутый церковный колокол; что-то грохнуло сбоку. В первое мгновение показалось мне, что где-то здесь, совсем рядом со мной, коричневая молния вырвалась из клубов дыма и черной пыли, воздух вздрогнул и упруго, как

волна теплой воды, толкнул меня в спину. Когда я открыл глаза, то увидел, что в огороде сухая солома крыши взорванного сарая горит бледным, почти невидимым на солнце огнем.

Второй снаряд разорвался на грядках.

— Слазим, — сказал Чубук, поворачивая ко мне серое озабоченное лицо. — Слазим, напоролись-таки, кажется: это не жихаревцы, а немцы. На Хамурской — батарея.

Первый, кто попался мне на опушке, — это маленький красноармеец, прозванный Хорьком.

Он сидел на траве и австрийским штыком распарывал рукав окровавленной гимнастерки. Винтовка его с открытым затвором, из-под которого виднелась недовыброшенная стреляная гильза, валялась рядом.

— Немцы! — не отвечая на наш вопрос, крикнул он. — Сейчас сматываемся!

Я сунул ему свою жестяную кружку, чтобы он зачерпнул воды, и побежал дальше.

Собственно говоря, окровавленный рукав Хорька и его слова о немцах — это было последнее из того, что мог я впоследствии восстановить по порядку в памяти, вспоминая этот первый настоящий бой. Все остальное я помню хорошо, начиная с того момента, когда в овраге ко мне подошел Васька Шмаков и попросил кружку напиться.

— Что это ты в руке держишь? — спросил он.

Я посмотрел и смутился, увидев, что в левой руке у меня крепко зажат большой осколок серого камня. Как и зачем попал ко мне этот камень, я не знал.

— Почему на тебе, Васька, каска надета? — спросил я.

— С немца снял. Дай напиться.

— У меня кружки нет. У Хорька.

— У Хорька? — Тут Васька присвистнул. — Ну, брат, с Хорька не получишь.

— Как не получишь? Я ему дал воды зачерпнуть.

— Пропала твоя кружка, — усмехнулся Васька, зачерпывая из ручья каской воду. — И кружка пропала, и Хорек пропал.

— Убит?

— Досмерти, — ответил Васька, неизвестно чему усмехаясь. — Погиб солдат Хорек во славу красного оружия.

— И чего ты, Васька, всегда зубы скалишь? — рассердился я. — Неужели тебе нисколько Хорька не жалко?

— Мне? — Тут Васька шмыгнул носом и вытер грязной ладонью мокрые губы. — Жалко, брат, и Хорька жалко, и Никишина, и Серегу, да и себя тоже жалко. Мне они, проклятые, тоже вон как руку прохватили.

Он шевельнул плечом, и тут я заметил, что левая рука Васьки перевязана серою тряпкой.

— В мякоть... пройдет, — добавил он. — Жжет только. — Тут он опять шмыгнул носом и, прицелкнув языком, сказал задорно: — Да ведь и то разобрать, за что жалеть-то? Силой нас сюда никто не гнал, значит сами знали, на што идем. Значит, нечего и жалиться!

Отдельные моменты боя запечатлелись в памяти; не мог я восстановить их только последовательно и связно. Помню, как, опустившись на одно колено, я долго перестреливался все с одним и тем же немцем, находившимся не далее как в двухстах шагах от меня. И потому, что, едва успев кое-как прицелиться, уже боялся, что он выстрелит раньше меня, я дергал за спуск и промахивался. Вероятно, он испытывал то же самое и поэтому также давал промахи.

Помню, как взрывом снаряда опрокинуло наш пулемет. Его тотчас же подхватили и потащили на другое место.

— Забирай ленты! — крикнул Сухарев. — Помогайте ж, черти!

Тогда, схватив один из валявшихся в траве ящиков, я потащил его. Помню потом, как будто бы Шебалов дернул меня за плечо и крепко выругал; за что, я не понял тогда.

Потом, кажется, пуля убила Никишина. Или нет... Никишина убило раньше, потому что он упал, когда еще я бежал с ящиком, и перед этим крикнул мне: «Ты куда же в обратную сторону тащишь? Ты тащи к пулемету!»

Под Федей застрелили лошадь.

— Федька плачет, — сказал Чубук. — Такой скаженный, уткнулся в траву и пла-

чет. Я подошел к нему. «Брось, — говорю, — тут о людях плакать некогда». Как повернулся Федька, хватя за наган. «Уйди, — говорит, — а не то застрелю и тебя». А глаза такие мутные. Я плюнул и ушел. Ну, что с сумасшедшим разговаривать?! Непутевый этот Федька, — раскуривая трубку, продолжал Чубук. — Нет у меня веры в этого человека.

— Как нет веры? — вступился я. — Он же храбрый, что дальше некуда.

— Мало ли что храбрый, а так, непутевый. Порядка не любит, партийных не признает. «Моя, — говорит, — программа: бей белых, докуда сдохнут, а дальше видно будет». Не нравятся мне что-то такая программа. Это туман один, а не программа. Подует ветер, и нет ничего!

Убито было десять, раненых четырнадцать, из них шестеро умерли. Был бы лазарет, были бы доктора, медикаменты — многие из раненых выжили бы.

Вместо лазарета была поляна, вместо доктора — санитар германской войны Калугин, а из медикаментов только иод. Иода была целая жестяная баклага из-под керосина. Иода у нас не жалели. На моих глазах Калугин налил до краев деревянную суповую ложку и вылил иод на широкую рваную рану Лукоянову.

— Ничего, — успокаивал он. — Потерпи... Иод — он полезный. Без иода тебе, факт, конец был бы, а тут, глядишь, может и обойдется.

Надо было уходить отсюда к своим, к северу, где находилась завеса регулярных частей Красной Армии: в патронах уже была недостача. Но раненые связывали. Пятеро еще могли итти, трое не умирали и не выздоравливали. Среди них был Яшка Цыганенок. Появился этот Яшка у нас неожиданно.

Однажды, выступая в поход с хутора Архиповки, отряд выстроился развернутым фронтом вдоль улицы.

При расчете левофланговый красноармеец, теперь убитый маленький Хорек, крикнул:

— Сто сорок седьмой неполный!

До тех пор Хорек был всегда сто сорок шестым полным.

Шебалов заорал:

— Что врете! Пересчитать снова!

Снова пересчитали, и снова Хорек оказался сто сорок седьмым неполным.

— Пес вас возьми! — рассердился Шебалов. — Кто счет путает, Сухарев?

— Никто не путает, — ответил из строя Чубук, — тут же лишний человек объявился.

Поглядели. Действительно, в строю между Чубуком и Никишиным стоял новичок. Было ему лет восемнадцать-девятнадцать. Черный, волосы кудрявые, лохматые.

— Ты откуда взялся? — спросил удивленно Шебалов.

Парень молчал.

— А он встал тут рядом, — объяснил Чубук. — Я думал, нового какого ты принял. Пришел с винтовкой и встал.

— Да ты хоть кто такой? — рассердился Шебалов.

— Я... цыган... красный цыган, — ответил новичок.

— Кра-а-асный цы-га-ан? — вытаращив глаза, переспросил Шебалов и, вдруг засмеявшись, добавил: — Да какой же ты цыган, ты же еще цыганенок!

Он остался у нас в отряде, и за ним так и осталась кличка Цыганенок.

Теперь у Цыганенка была прохвачена грудь. Бледность просвечивала через кожу его коричневого лица, и запекшимися губами он часто шептал что-то на чужом, непонятном наречии.

— Вот уж сколько служу... полгерманской отбубнил и теперь тоже, — говорил Васька Шмаков, — а цыганов в солдатах не видал. Татар видал, мордву видал, чувашин, а цыганов нет. Я так смотрю — вредный народ эти цыганы: хлеба не сеют, ремесла никакого, только коней воровать горазды да бабы их людей дурачат. И никак мне непонятно, зачем к нам его принесло. Свободы — так у них и так ее сколько хочешь! Землю им защищать не приходится. На что им земля? К рабочему тоже он касательства не имеет. Какая же, выходит, ему выгода, чтобы в это дело ввязаться? Уж какая-нибудь есть выгода, скрытая только!

— А может быть, он тоже за революцию, ты почему знаешь?

— В жисть не поверю, чтобы цыган да за революцию. И до переворота за краденых лошадей его били, и после за то же самое бить будут!

— Да, может, он после революции и красть вовсе не будет?

Васька недоверчиво усмехнулся.

— Уж и не знаю, у нас на деревне и дубьем их били и дрючками, и то не помогало — всё они за свое. Так неужто их революция проймет?

— Дурак ты, Васька, — вставил молчавший доселе Чубук. — Ты из-за своей хаты да из-за своей коняки ни черта не видишь. По-твоему, вот вся революция только и кончится тем, что прирежут тебе барской земли да отпустят из помещичьего леса бревен штук двадцать задаром. Ну, да старосту председателем заменят, а жизнь сама какой была, такой и останется.

Глава седьмая

Через два дня Цыганенку стало лучше. Вечером, когда я подошел к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись в черное звездное небо, тихонько напевал что-то.

— Цыганенок, — предложил я ему, — дай я около тебя костер разожгу, чай согрею, пить будем, у меня в баклаге молоко есть. Хочешь?

Я сбегал за водой, подвесил котелок на шомпол, перекинутый над огнем через два воткнутых в землю штыка, и, подсаживаясь к раненому, спросил:

— Какую это ты песню поешь, Цыганенок?

Он ответил не сразу.

— А пою я песню такую старую, в ней говорится, что нет у цыган родной земли и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше спрашивают: «А где же, цыган, тебя хорошо принимают?» И он отвечает: «Много я стран исходил, был у венгров, был у болгар, был у туретчины, много земель исходил я с табором и еще не нашел такой земли, где бы хорошо мой табор приняли».

— Цыганенок, — спросил я его, — а зачем ты у нас появился? Ведь вас же не забирают на службу.

Он сверкнул белками, приподнялся на локте и ответил:

— Я пришел сам, меня не нужно забирать. Мне надоело в таборе! Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой воровал лошадей, а бабка гадала. И никто из них себе счастье не украл, и никто себе хорошей судьбы не нагадал. Надо по-другому...

Цыганенок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно, давала себя еще чувствовать, и, стиснув губы, он с легким стоном опустился опять на кучу листвы.

Вскипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя.

Я не успел выхватить котелок с углей. Цыганенок неожиданно рассмеялся.

— Ты чего?

— Так, — и он задорно потрянул головой. — Я вот думаю, что и народ весь эдак: и русские, и евреи, и грузины, и татары терпели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка, вспенились и кинулись в огонь. Я вот тоже... сидел, сидел, не вытерпел, захватил винтовку и пошел хорошую жизнь искать.

— И найти думаешь?

— Один не нашел бы... а все вместе должны бы... потому — охота большая.

Подошел Чубук.

— Садись с нами чай пить, — предложил я.

— Некогда, — отказался он. — Пойдешь со мной, Борис?

— Пойду, — быстро ответил я, не спрашивая даже о том, куда он меня зовет.

— Ну, так допивай скорее, а то нас вода ждет.

— Какая подвода, Чубук?

Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается, соединится недалеко отсюда с шахтерским отрядом Бегичева, и вместе они будут пробираться к своим. Трех тяжело раненных брать с собой нельзя: пробираться придется мимо белых и немцев.

Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой и согласился приютить у

себя раненых на время, пока поправятся. Оттуда Чубук привел подводы, и сейчас надо, пока темно, раненых переправить туда.

— А еще с нами кто?

— Больше никого. Вдвоем мы. Я бы и один управился, да лошадь норовистая попала. Придется одному под уздцы вести, а другому за товарищами присматривать. Так пойдешь, значит?

— Пойду, пойду, Чубук. Я с тобой, Чубук, всегда и всюду пойду. А отсюда куда, назад?

— Нет. Оттуда мы прямой дорогой вброд через речку, там со своими и встретимся. Ну, трогаем. — И Чубук пошел к голове лошади. — Винтовка моя смотри чтобы не выпала, — услышался из темноты его голос.

Телега легонько дернула, в лицо брызнули капли росы, упавшие с задетого колесом куста, и черный поворот скрыл от наших глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход отрядом.

Дорога была плохая: ямы, выбоины, то и дело попадались разлапавшиеся по земле корни. Темь была такая, что ни лошади, ни Чубука с телеги видно не было. Раненые лежали на охапках свежего сена и молчали.

Я шел позади и, чтобы не оступиться, придерживался свободной от винтовки рукой за задок телеги. Было тихо. Если бы не однотонное посвистывание полуночной пигалицы, можно было бы подумать, что темнота, окружавшая нас, мертва. Все молчали. Только изредка, когда колеса проваливались в ямы или натыкались на пень, раненый Тимошкин тихонько стонал.

Жиденский, наполовину вырубленный лесок казался сейчас непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо черным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось, что мы ошупью движемся каким-то длинным извилистым коридором.

Мне вспомнилось почему-то, как давно-давно, года три тому назад, в такую же теплую ночь мы с отцом возвращались с вокзала домой прямой тропой через перелесок. Так же вот свистела пигалица, так же пахло переспелыми грибами и дикой малиной.

На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним несколько рюмок водки. То ли от этого, то ли от того, что чересчур сладко пахло малиной, отец был особенно возбужден и разговорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и про свое учение в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о его школьной жизни, о том, что их драли розгами, и мне казалось нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого человека, как мой отец, кто-то когда-то мог драть.

— Это ты у одного писателя вычитал, — возражал я. — У него есть про это книга. «Очерки бурсы» называется. Так ведь то давно было, бог знает когда!

— А я, думаешь, недавно учился? Тоже давно.

— Ты в Сибири, пап, жил. А в Сибири страшно: там каторжники. Мне Петька говорил, что там человека в два счета убить могут и некому пожаловаться.

Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хотел объяснить мне, я так и не понял тогда, потому что по его словам выходило как-то странно, что каторжники вовсе не каторжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в Арзамасе.

Но все это я пропускал мимо ушей, как и многие другие разговоры, смысл которых я начинал понимать только теперь.

«Нет... никогда, никогда в прошлую жизнь я не подзревал и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что я сейчас с красными, то, что у меня винтовка за плечами, — это не потому, что у меня был отец революционер, а я его сын. Это вышло как-то само собой. Я сам к этому пришел», подумал я. И эта мысль заставила меня загордиться. Ведь, правда, на самом деле, сколько партий есть, а почему же я все-таки выбрал самую правильную, самую революционную партию?

Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком. И вдруг мне показалось, что возле головы лошади никого нет и конь давно уже наугад тащит телегу по незнакомой дороге.

— Чубук! — крикнул я испугавшись.

— Ну! — послышался его грубоватый, строгий голос. — Чего орешь?

— Чубук, — смутился я, — далеко еще?

— Хватит, — ответил он и остановился. — Поди-ка сюда, встань и шинельку раздвинь, закурю я.

Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой лошади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли рядом.

Я сказал Чубуку, о чем думал, и ожидал, что он с похвалой отзовется о моем уме и дальновзоркости, которые толкнули меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он выкурил по крайней мере полтрубки и только тогда сказал серьезно:

— Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдет... Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли...

— А как же, Чубук? — тихо и обиженно спросил я. — Ведь я же сам.

— Сам... Ну, конечно, сам. Это тебе только кажется, что сам. Жизнь так повернулась, вот тебе и сам! Отца у тебя убили — раз. К людям таким попал — два. С товарищами поссорился — три. Из школы тебя выгнали — четыре. Вот ежели все эти события откинуть, то остальное, может, и сам додумал. Да ты не сердись, — добавил он, почувствовав, очевидно, мое огорчение. — Разве с тебя кто спрашивает больше?

— Значит, выходит, Чубук, что я нарочно... что я не красный? — дрогнувшим голосом переспросил я. — А это все неправда, и я в разведку всегда с тобой, я и поэтому ведь на фронт ушел, чтобы защищать... а, значит, выходит...

— Ду-ура! Ничего не выходит. Я тебе говорю — обстановка... а ты — «я сам, я сам». Скажем, к примеру: отдали бы тебя в кадетский корпус — глядишь, из тебя и калединский юнкер вышел бы.

— А тебя?

— Меня? — Чубук усмехнулся. — За мной, парень, двадцать годов шахты. А это никакой юнкерской школой не вышибешь!

Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен словами Чубука и замолчал. Но мне не молчалось.

— Чубук... так, значит, меня и в отряде не нужно, раз я такой, что и юнкером бы... и калединцем...

— Дура! — спокойно и как бы не замечая моей злости, ответил Чубук. — Зачем же не нужно? Мало что, кем ты мог бы быть. Важно, кто ты есть. Я тебе только говорю, чтобы ты не задавался. А так... что же, парень ты хороший. Мы тебя, погоди, поглядим еще немного, да и в партию примем. Ду-ура! — совсем уже ласково добавил он.

Я ведь знал, что Чубук любит меня, но чувствовал ли Чубук, как горячо, больше, чем кого бы то ни было в ту минуту, любил я его? «Хороший Чубук, — думал я. — Вот он и коммунист, и двадцать лет в шахте, и волосы уже седеют, а всегда он со мною... И ни с кем больше, а со мной. Значит, я заслуживаю. И еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться, и если меня убьют, то тоже ничего. Тогда матери напишут: «Сын ваш был коммунист и умер за великое дело революции». И мать заплачет и повесит на стену свой портрет рядом с отцовским, а новая, светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены».

«Жалко только, что попы наврали, — подумал я, — и нет у человека никакой души. А если б была душа, то посмотрела бы, какая будет жизнь. Должно быть, хорошая, очень интересная будет жизнь»:

Телега остановилась. Чубук поспешно сунул руку в карман и сказал тихо:

— Как будто бы стучит что-то впереди. Дай-ка винтовку.

Лошадей с ранеными отвели в кусты. Я остался возле телеги, а Чубук исчез куда-то. Вскоре он вернулся.

— Молчок теперь... Четверо казаков верхами. Дай мешок... лошади морду закрою, а то не заржала бы еще нектати.

Топот подков приближался. Недалеко от нас казаки сменили рысь на шаг. Краешек луны, выскочив в прореху разорванной тучи, озарил дорогу. Из-за кустов я увидел четыре папахи. С казаками был офицер; на его плече вспыхнул и погас золотой погон. Мы выждали, пока топот стихнет, и тронулись дальше.

Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору.

На стук телеги вышел к воротам заспан-

ный пасечник — длинный рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпиравшими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле заметная, поросшая травой дорога.

— Туда поедем... У болотца в лесу клуныя, там им спокойнее будет.

В небольшом, забитом сеном сарае было свежо и тихо. В дальнем углу были постелены дерюги. Две овчины, аккуратно сложенные, лежали вместо подушек у изголовья. Рядом стояли ведро воды и берестовый жбан с квасом.

Перетащили раненых.

— Кушать, может, хотят? — спросил пасечник. — Тогда под головами хлеб и сало. А хозяйка коров подоит, молока принесет.

Нам надо было уходить, чтобы не разойтись у брода со своими. Но, несмотря на то что мы сделали для раненых все, что могли, нам было как-то неловко перед ними. Неловко за то, что мы оставляли их одних, без помощи в чужом, враждебном краю.

Тимошкин, должно быть, понял это.

— Ну, с богом! — сказал он побелевшими потрескавшимися губами. — Спасибо, Чубук, и тебе, парень, тоже. Может быть, приведет еще судьба — встретимся.

Более других утомленный, Самарин открыл глаза и приветливо кивнул головой. Цыганенок молчал, облокотившись на руки, серьезно смотрел на нас и чему-то слабо улыбался.

— Так всего хорошего, ребята, — проговорил Чубук, — поправляйтесь лучше. Хозяин надежный, он вас не оставит. Будьте живы, здоровы...

Повернувшись к выходу, Чубук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал выколачивать о приклад трубку.

— Дай вам счастья и победы, товарищи! — звонко крикнул вдогонку Цыганенок. Звук его голоса заставил нас остановиться и обернуться с порога. — Пошли вам победы над всеми белыми, какие только есть на свете, — так же четко и ясно добавил Цыганенок и тихо уронил черную голову на мягкую овчину.

Глава восьмая

Рыжий от загара песчаный берег таял в воде, искрившейся на отмелях солнечной рябью. У брода наших не было.

— Прошли, должно быть, — решил Чубук. — Это нам все равно... Тут недалеко отсюда кордон должен быть брошенный, и возле него отряд привал сделает.

— Давай выкупаемся, Чубук, — предложил я. — Мы скоренько! Вода посмотри какая теплая.

— Тут купаться нехорошо. Место открытое.

— Ну и что ж, что открытое?

— Как что? Голый человек — это не солдат. Голого всякий и с палкой забрать может. Казак, скажем, к броду подъедет, заберет винтовку, и делай с ним, что хочешь. Был такой случай у Хопра. Не то что двое, а весь отряд человек в сорок купаться полез. Наскочили пятеро казаков и открыли по реке стрельбу. Так что было-то!.. Которых побил, которые на другой берег убегли. Так нагишом и бродили по лесу. Села там богатые... Кулачье. Куда ни сунешься, всем сразу видно — раз голый, значит большевик.

Все-таки уговорил я его. Мы отошли от брода в кусты и наскоро выкупались. Реку переходили, нацепив на штывы винтовок связанные ремнем узелки со штанами и сапогами. После купанья винтовка стала легче, и подсумок не давил бок. Бодро зашагали краем роши по направлению к избушке. Избушка была заброшена, стекла выставлены, даже котел из плиты был выломан. Видно было, что, перед тем как оставить ее, хозяева вывезли все, что только было можно.

Чубук настороженно, сощуриль глаза, обошел избу кругом, заложил два пальца в рот и продолжительно свистнул. Долго металось эхо по лесу, рассыпалось и перекатывалось и, измельчав, запуталось, заглохло в чаще однотонно шумливой листвы. Ответа не было.

— Неужели же мы опередили их? Что ж, придется подождать.

В стороне от дороги выбрали тень под кустом и легли. Было жарко. Свернув

вскатку шинель, я подложил ее под голову и, чтобы не мешалась, снял кожаную сумку. За время походов и ночевок на сырой земле сумка пообтерлась и выгорела.

В сумке этой у меня лежали перочинный нож, кусок мыла, игла, клубок ниток и подобранная где-то середина из энциклопедического словаря Павленкова.

Словарь — такая книга, которую можно перечитывать без конца: все равно всего не запомнишь. Именно поэтому-то я и носил его с собой и часто в отдых, во время отсиживания где-нибудь в логу или чаще леса, доставал измятые листки и начинал перечитывать по порядку все, что попадалось. Были там биографии монахов, генералов, королей, рецепты лака, философские термины, упоминания о давнишних войнах, история какого-то доселе неслыханного мной государства Коста-Рика и тут же рядом способ добывания удобрения из костей животных. Много самых разнообразных, нужных и ненужных сведений от буквы З до Ф, на которой был оборван словарь, получил я за чтением этого словаря.

Несколько дней тому назад, перед тем как итти на пост, заторопившись, я сунул в эту же сумку кусок черного хлеба. И сейчас я увидел, что позабытый кусок раскрошился и залепил мякишем листки. Я вытряхнул все содержимое на траву и стал ладонью прочищать стенку сумки. Нечаянно мой палец задел за отогнувшийся край кожаной подкладки.

Повернув сумку к солнцу, я заглянул в нее и увидел, что из-под отставшей кожи виднеется какая-то белая бумага.

Любопытство овладело мной: я надорвал подкладку побольше и вытащил тоненький сверток каких-то бумажек. Развернул одну: посредине герб с позолоченным двуглавым орлом, пониже золотыми буквами вытиснено: «Аттестат».

Был выдан этот аттестат воспитаннику 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрию Ваальду в том, что он успешно окончил курс учения, был отлично прилежания, поведения и переводится в следующий класс.

«Вот оно что!» понял я, вспоминая убитого мною лесного незнакомца и его черную

гимнастерку, на которой нарочно были срезаны пуговицы, и вытисненные на подкладке ворота буквы: Гр. А. К. К.

Другая бумага — было письмо, написанное по-французски, с недавней датой. И хотя школа оставила у меня самое слабое воспоминание об этом языке, все же, посидев с полчаса, по отдельным словам, дополняя провалы строчек догадками, я понял, что письмо это содержит рекомендацию и адресовано какому-то полковнику Коренькову с просьбой принять участие в судьбе кадета Юрия Ваальда.

Я хотел показать эти любопытные бумаги Чубуку, но тут я увидел, что Чубук спит. Мне было жалко будить его: он не отдышал еще со вчерашнего утра. Я сунул бумаги обратно в сумку и стал читать словарь.

Прошло около часа. Через шорох ветра к трескотне птиц примешался далекий чужой шум. Я встал и приложил ладонь к уху — топот и голоса слышались все ясней и ясней.

— Чубук! — дернул я его за плечо. — Вставай, Чубук, наши идут!

— Наши идут! — машинально повторил Чубук, приподнимаясь и протирая глаза.

— Ну да... рядом уже. Идем скорей.

— Как же это я заснул? — удивился Чубук. — Прилег только и заснул.

Глаза его были еще сонные и жмурились от солнца, когда, вскинув винтовку, он зашагал за мной.

Голоса раздавались почти рядом. Я поспешно выскочил из-за избушки и, подбрасывая шапку, заорал что-то, приветствуя подходящих товарищей.

Куда упала шапка, я так и не видел, потому что сознание страшной ошибки оглушило меня.

— Назад! — каким-то хриплым, рычащим голосом крикнул сзади Чубук.

Тах... тах... тах...

Три выстрела почти одновременно жажнули из первых рядов колонны. Какая-то невидимая сила рванула из рук и расщепила приклад моей винтовки с такой яростью, что я едва устоял на ногах. Но этот же грохот и толчок вывели меня из оцепенения. «Белые», понял я, бросаясь к Чубуку. Чубук выстрелил.

Целый час мы были под угрозой быть пойманными рассыпавшейся облавой. Все-таки вывернулись. Но еще долго после того, как смолкли голоса преследовавших, шли мы наугад, мокрые, раскрасневшиеся. Пересохшими глотками жадно вдыхали влажный лесной воздух и цеплялись ноющими, точно отдавленными подошвами ног за пни и кочки.

— Будет, — сказал Чубук, бухаясь на траву, — отдохнем. Ну и врезались же мы с тобой, Бориска! А все я... Заснул. Ты заорал: «Наши, наши!», я не разобрал спросонья, думаю, что ты разузнал уже, и прущ себе.

Тут только я посмотрел на свою винтовку. Ложе было разбито в щепы, и магазинная коробка исковеркана.

Я подал Чубуку винтовку. Он повертел ее и отбросил в траву.

— Палка, — презрительно сказал он, — это уж теперь не винтовка, а дубинка, свиной ею только глушить. Ну, ладно. Хорошо, хоть сам-то цел остался. Шинелька где? Тоже нету. И я свою скатку бросил. Вот какие дела, брат!

Хотелось бы еще отдохнуть, долго лежать не двигаясь, снять сапоги и расстегнуть ворот рубахи, но сильнее, чем усталость, мучила жажда, а воды рядом нигде не было.

Поднялись и тихонько пошли дальше. Перешли поле; под горой внизу приткнулись плотно сдвинутые домики деревеньки, и белые мазанки коричневыми соломенными крышами похожи были отсюда на кучку крупных березовых грибов. Спуститься туда мы не решились. Перешли поле и опять очутились в роще.

— Дом, — прошептал я, останавливаясь и показывая пальцем на краешек красной железной крыши.

Опасаясь нарваться на какую-нибудь засаду, мы осторожно подобралась к высокой изгороди. Ворота были наглухо заперты. Не лаяли собаки, не кудахтали куры, не топтались в хлеву коровы — все было тихо, точно все живое нарочно притаилось при нашем приближении. Мы обошли кругом усадьбы — прохода нигде не было.

— Залезай мне на спину, — приказал Чу-

бук, — заглянешь через забор, что там есть.

Через забор я увидел пустой, поросший травой двор, вытопанные клумбы, из которых кое-где подымались помятые георгины и густосиние звездочки анютиных глазок.

— Ну? — спросил Чубук нетерпеливо. — Да слезай же! Что я тебе, каменный?

— Нету никого, — ответил я спрыгивая. — Передние окна забиты досками, а сбоку вовсе рамы нету — видать сразу, что брошенный дом. А колодец во дворе есть.

Отодвинув неплотно прибитую доску, мы полезли через дыру во двор. В заплесневелой яме колодца чернильным наплывом отсвечивала глубокая вода, но зачерпнуть было нечем. Под навесом, среди сваленной кучи хлама, Чубук разыскал ржавое худое ведро. Пока мы его подтягивали, воды оставалось на донышке. Тогда заткнули дыру пучком травы и зачерпнули второй раз. Вода была чистая, студеная, и пить ее пришлось маленькими глотками. Ополоснули потные, пыльные лица и пошли к дому. Передние окна были заколочены, но зато сбоку дверь, выходящая на веранду, была распахнута и отвисло держалась на одной нижней петле. Осторожно ступая по скрипучим половицам, пошли в комнаты.

На полу, усыпанном соломой, обрывками бумаги, тряпками, стояло несколько пустых дощатых ящичков, сломанный стул и буфет с дверцами, расщепленными чем-то тупым и тяжелым.

— Мужики усадьбу грабили, — тихо сказал Чубук. — Ограбили все нужное и бросили.

В следующей комнате лежала беспорядочная груда запыленных книг, покрытых рожей, испачканной известкой. Тут же в общей куче валялся надорванный портрет полного господина, поперек пышного белого лба которого пальцем, обмокнутым в чернила, было коряво выведено неприличное слово.

Было странно и интересно пробираться из комнаты в комнату заброшенного, разграбленного дома. Каждая мелочь: разбитый цветочный горшок, позабытая фотография, поблескивающая в мусоре пуговица, рассы-

панные, растоптанные фигурки шахмат, затерявшийся от колоды король пик, сиротливо прятавшийся в осколках разбитой японской вазы, — все это напоминало о людях, о хозяевах, о не похожем на настоящее прошлом спокойных обитателей этой усадьбы.

За стеной что-то мягко стукнуло, и этот стук, слишком неожиданный среди мертвого тления заброшенных комнат, заставил нас вздрогнуть.

— Кто там? — зычно разбивая тишину, спросил Чубук, приподнимая винтовку.

Большой рыжий кот широкими крадущимися шагами шел нам навстречу. И, остановившись в двух шагах, он с злобным, голодным мяуканьем уставился на нас холодными зелеными глазами. Я хотел погладить его, но кот попятился назад и одним махом, не прикасаясь даже к подоконнику, вылетел на заглохшую клумбу и исчез в траве.

— Как он не слдох?

— Чего ему сдыхать? Он мышей жрет, по духу слышно, что здесь мышей до чорта.

Нудным, хватающим за сердце скрипом заныла какая-то далекая дверь, и послышалось неторопливое шарканье: как будто кто-то тер сухой тряпкой об пол. Мы переглянулись. Это были шаги человека.

— Кого тут еще чорт носит? — тихо проговорил Чубук, подталкивая меня за простенок и бесшумно свертывая предохранитель винтовки.

Донеслось легкое покашливание, захрустел отодвигаемый дверью ком бумаги, и в комнату вошел невысокий, плохо выбритый старичок в потертой пижаме голубого цвета и туфлях, обутых на босу ногу. Старичок с удивлением, но без страха посмотрел на нас, вежливо поклонился и сказал равнодушно:

— А я слушаю... кто это внизу ходит? Думаю, может мужички пришли, ан нету. Глянул в окно — телег не видно.

— Кто ты есть за человек? — с любопытством спросил Чубук, закидывая винтовку за плечо.

— Позвольте спросить мне прежде, кто вы? — так же тихо и равнодушно поправил старичок. — Ибо если вы сочли нужным нанести визит, то будьте добры представиться

хозяину. Впрочем... — тут он немного склонил голову и пыльными серыми глазами скользнул по Чубуку, — я и сам догадываюсь: вы — красные.

Тут нижняя губа хозяина дрогнула, будто кто-то дернул ее книзу. Блеснул желтым огоньком и потух золотой зуб, смахнули ожившие веки пыль с его серых глаз. Широко жестом хлебосольного хозяина старичок пригласил нас за собой:

— Прошу пожаловать.

Недоумевая, мы переглянулись и мимо разгромленных комнат пошли к узенькой деревянной лестнице, ведущей наверх.

— Я, видите ли, наверху принимаю, — точно извиняясь, говорил на ходу хозяин. — Внизу, знаете, беспорядок, не убрано, убирать некому, все куда-то провалились, и никого не дозовешься. Сюда пожалуйте.

Мы очутились в небольшой светлой комнате. У стены стоял старый сломанный диван с вывороченным нутром, вместо простыни раскрытый рогожей, а вместо одеяла — остатком красивого, но во многих местах прожженного ковра. Тут же стоял трехногий письменный стол, а над столом висела клетка с канарейкой. Канарейка, очевидно, давным-давно сдохла и лежала в кормушке кверху лапками. Со стены глядел несколько пыльных фотографий. Очевидно, кто-то помог хозяину перетащить негодные остатки разбитой мебели и обставить эту комнату.

— Прошу садиться, — сказал старик, указывая на диван. — Живу, знаете ли, один, гостей давненько уж никого не видел. Мужички заезжают иногда, продукты привозят, а вот порядочных людей давно не видал. Был у меня как-то ротмистр Шварц. Знаете, может быть?.. Ах, впрочем, извините, ведь вы же красные.

Не спрашивая нас, хозяин полез в буфет, достал оттуда две недобитые тарелки, две вилки — одну простую, кухонную, с деревянным черенком, другую — вычурно изогнутую, десертную, у которой нехватало одного зубца, потом достал каравай черного хлеба и полкружка украинской колбасы.

Поставив на кособокую фитильную керосинку залепленный жирной сажей чайник, он вытер руки о полотенце, не стирающее

бог знает с какого времени, снял со стены причудливую трубку, с которой беззубо-скакался резной козел с человеческой головой, набил трубку махоркой и сел на драное, зазвеневшее выпершими пружинами кресло. Во время всех этих приготовлений мы сидели молча на диване.

Чубук тихонько толкнул меня и, хитро улыбнувшись, постукал незаметно пальцем о свой лоб.

Я понял его и тоже улыбнулся.

— Давненько уж не видал я красных, — сказал хозяин и тут же поинтересовался: — Каково здоровье Ленина?

— Ничего, спасибо, жив-здоров, — серьезно ответил Чубук.

— Гм, здоров...

Старичок помешал проволокой жерло чадившей трубки и вздохнул.

— Да и то сказать, с чего им болеть? — Он помолчал, и потом, точно отвечая на наш вопрос, сообщил: — А я вот прихварываю понемногу. По ночам, знаете, бессонница. Нету прежнего душевного равновесия. Встану иногда, пройду по комнатам — тишина, только мыши скребутся.

— Что это вы пишете? — спросил я, увидев на столе целую кипу исписанных бисерным почерком листочков.

— Так, — ответил он. — Соображения по поводу текущих событий. Набрасываю план мирового переустройства. Я, знаете, философ и спокойно взираю на все возникающее и проходящее. Ни на что не жалуясь... нет, ни на что.

Тут старичок встал и, мельком заглянув в окно, сел опять на свое место.

— Жизнь пошумит, пошумит, а правда останется. Да, останется, — слегка возбуждаясь, повторил старик. — Были и раньше бунты, была пугачевщина, был пятый год, так же разрушались, сжигались усадьбы. Проходило время, и, как птица Феникс из пепла, возникало разрушенное, собиралось разрозненное.

— То есть, что же это? На старый лад все повернуть думаете? — настороженно и грубовато спросил Чубук.

При этом прямом вопросе старичок съезжился и, заискивающе улыбаясь, заговорил:

— Нет, нет... что вы! Я не к тому. Это ротмистр Шварц хочет, а я не хочу. Вот предлагал он мне вернуть все, что мужички у меня позаимствовали, а я отказался. На что оно мне, говорю. Время не такое, чтобы возвращать. Пусть лучше они мне понемногу на прожитие продуктов доставляют и пусть на доброе здоровье моим добром пользуются.

Тут старичок опять приподнялся, постоял у окна и быстро обернулся к столу.

— Что же это я... Вот и чайник вскипел. Прошу к столу, кушайте, пожалуйста.

Упрашивать нас было не к чему: хлебные корки захрустели у нас на зубах, и запах вкусной чесночной колбасы приятно защекотал ноздри.

Хозяин вышел в соседнюю комнату, и слышно было, как возится он, отодвигая какие-то ящики.

— Забавный старик, — тихо заметил я.

— Забавный, — вполголоса согласился Чубук, — а только... только что это он все в окошко поглядывает?

Тут Чубук обернулся, пристально осмотрел комнату, и внимание его привлекла старая дерюга, разостланная в углу. Он нахмурился и подошел к окну.

Вошел хозяин. В руках он держал бутылку и полой пижамы стирал с нее налет пыли.

— Вот, — проговорил он, подходя к столу. — Прошу. Ротмистр Шварц заезжал и не допил. Позвольте, я вам в чай коньячку. Я и сам люблю, но для гостей... для гостей... — Тут старичок выдернул бумагу, которой было закупорено горлышко, и дополнил жидкостью наши стаканы. Я протянул руку к стакану, но тут Чубук быстро отошел от окна и сказал мне сердито:

— Что это ты, милый? Не видишь, что ли, что посуды нехватает? Уступи место старику, а то расселся. Ты и потом успеешь. Садись, папаша, вместе выпьем.

Я посмотрел на Чубука, удивляясь тому грубому тону, которым он обратился ко мне.

— Нет, нет! — и старик отодвинул стакан. — Я потом... вы же гости...

— Пей, папаша, — повторил Чубук и решительно подвинул стакан хозяину.

— Нет, нет, не беспокойтесь, — упрямо отказался старик и, неловко отодвигая стакан, опрокинул его.

Я сел на прежнее место, а старик отошел к окну и задернул грязную ситцевую занавеску.

— Пошто задергиваешь? — спросил Чубук.

— Комары, — ответил хозяин. — Комары одолели. Место тут низкое... столько расплодилось, проклятых.

— Ты один живешь? — неожиданно спросил Чубук. — Как же это один?.. А чья это вторая постель у тебя в углу? — И он показал на дерюгу.

Не дожидаясь ответа, Чубук поднялся, отдернул занавеску и высунул голову в окно. Вслед за ним приподнялся и я.

Из окна открывался широкий вид на холмы и рощицы. Нырря и выплывая, убегала вдаль дорога; у края приподнятого горизонта на фоне покрасневшего неба обозначились четыре прыгающие точки.

— Комары! — грубо крикнул Чубук хозяину и, смерив презрительным взглядом его съежившуюся фигуру, добавил: — Ты, как я вижу, и сам комар. Идем, Борис!

Когда по лесенке мы сбежали вниз, Чубук остановился, вынул коробку и, чиркнув спичкой, бросил ее на кучу хлама. Большой ком сухой бумаги вспыхнул, и пламя потянулось к валявшейся на полу соломе. Еще минута, другая, и вся замусоренная комната загорелась бы. Но тут Чубук с неожиданной решимостью растоптал огонь и потянул меня к выходу.

— Не надо, — как бы оправдываясь, сказал он. — Все равно наше будет.

Минут через десять мимо кустов, в которых мы спрятались, промчались четверо всадников.

— На усадьбу скачут, — пояснил Чубук. — Я, как увидел в углу постеленную дерюгу, понял, что старик не один живет, а еще с кем-то. Видел ты, он все к окну подходил? Пока мы внизу по комнатам лазили, он послал за белыми кого-то. Так же и с чаем. Подозрительным мне что-то этот коньяк показался: может, разбавил его каким-нибудь крысомором? Не люблю я и не верю разграбленным, но гостеприимным

помещикам! Кем они ни прикидывайся, а все равно про себя он мне первый враг.

Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую непогоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня.

— Теперь караулить друг друга надо, — сказал он. — Я уже давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторожи. Неравно, как пойдет кто. Да смотри не засни тоже!

— Нет, Чубук, я не засну.

Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась река. Вчера мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсохла, и тина липкой коростой облепила тело.

«Исккупаться бы, — подумал я. — Речка рядышком, только под горку спуститься».

С полчаса я сидел и караулил Чубука. И все не мог отвязаться от желания сбегать и искупаться. «Никого нет кругом, — думал я, — кто в эту рань пойдет, да тут и дороги никакой около не видно. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов».

Соблазн был слишком велик, тело зудело и чесалось. Скинув никчемный патронташ, я бегом покатился под гору.

Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне казалось, и прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я был на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которой я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце екнуло. Забарахтался. Сразу стало тепло. У-ух, как хорошо! Поплыл тихонько на середину. Там, на отмели, стоял куст. Под кустом запуталось что-то: не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздвинул ветки и сразу же отпрянул назад. Зацепившись штаниной за сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана, и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми сажонками, точно опасаясь, что кто-то вот-вот больно укусит меня, поплыл назад.

Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста, буйно зеленевшего на от-

мели. То ли вода ударила крепче, то ли, раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника, а только он выплыл, его перевернуло течением и понесло к моему берегу.

Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку, чтобы скорей убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот, тело расстрелянного было уже рядом, почти у моих ног.

Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись, едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех раненых, оставленных нами на пасеке: это был наш Цыганенок.

— Эгей, хлопец! — услышал я позади себя окрик. — Подойди-ка сюда.

Трое незнакомых направлялись прямо ко мне. Двое из них были с винтовками. Бежать мне было некуда — спереди они, сзади река.

— Ты чей? — спросил меня высокий чернородый мужчина.

Я молчал. Я не знал, кто эти люди — красные или белые.

— Чей? Тебя я спрашиваю! — уже грубее переспросил он, хватая меня за руку.

— Да что с ним разговаривать! — встал другой. — Сведем его на село, а там без нас спросят.

Подъехали две телеги.

— Дай-ка кнут-то! — закричал чернородый одному из мужиков-подводчиков, робко жавшемуся к своей лошади.

— Для че? — недовольно спросил другой. — Для че кнутом? Ты веди к селу, там разберут.

— Да не драть. Руки ему перекручу, а то вон как смотрит, того и гляди, что стреканет.

Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толкнули к телеге.

— Садись!

Сытые кони дернули и быстрой рысцой понесли к большому селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке.

Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые — партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится и меня сразу же отпустят.

В кустах недалеко от села постовой окликнул:

— Кто едет?
— Свои... староста, — ответил чернобородый.

— А-а-а!.. Куда ездил?

— Подводы с хутора выгонял.

Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не успел рассмотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внимание было приковано к его плечам. На плечах были погоны.

Глава девятая

Солдат на улице еще не было видно — вероятно, спали.

Возле церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на растопку лучину.

— В штаб везти? — спросил возница у старосты.

— Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит из-за такого мальчика тревожить. Вези пока в холодную

Телега остановилась возле низкой маленькой избушки с решетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери. Наспех прощупав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь захлопнулась, хрустнула пружина замка.

В первые минуты острого, причинявшего физическую боль страха я решил, что погиб окончательно и бесповоротно, что нет никакой надежды на спасение. Взойдет солнце выше, проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет, и тогда смерть, тогда конец.

Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, заковенел в каком-то тупом бездумье. В виски молоточками стучала кровь, и мысль, как неисправная граммофонная пластинка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же: «Конец, конец, конец...» Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного толчка острие сознания попало в нужную извилину мозга, и мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой.

«Неужели никак нельзя спастись? И так нелепо попался! Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на

село идут красные и успеют отбить? А если не нападут? Или нападут уже потом, когда будет поздно? Может быть... Нет, ничего не может быть, ничего не выходит».

Мимо окна погнало стадо. Тесно сгрудившись, колыхались овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бычком пастух. Маленький теленок бежал, подпрыгивая, и смешно пытался на ходу ухватить вымя коровы.

Эта мирная деревенская картина заставила еще больше почувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешивалась и даже подавила его на короткое время злая обида: вот... утро такое... все живут И овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты умирай!

И, как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых и невозможных планов выплыла одна необыкновенно простая и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естественней всего и прежде всего должна была прийти на помощь.

Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя принадлежность к красным как бы подразумевалась сама собой и не требовала никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне вообще таким ничемным, как объяснять постороннему, что волосы мои белые, а не черные.

«Постой, — сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную нить. — Ну, ладно... я красный. Это я об этом знаю, а есть ли какие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом они?»

Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению, что признаков таких нет. Красноармейских документов у меня не было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял, убегаю от кордона. Тогда же бросил я и шинель. Разбитая винтовка валялась в лесу на траве, патронташ, перед тем как идти купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная, ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще остается?

Ах, да! Маленький маузер, спрятанный на груди, и еще что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Но маузер можно

запихать под печь а историю... историю можно и выдумать.

Чтобы не запутаться, я решил не усложнять обстоятельств выдумыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гориковым, учеником пятого класса Арзамасского реального училища, отправившимся с дядей (чтобы не сбиться, дядю настоящего вспомнил) в город Харьков к тетке (адрес тетки остался у дяди). По дороге я отстал от дяди, меня ссадили с поезда за проезд без пропуска и документов (они у дяди). Тогда я решил пройти вдоль полотна, чтобы сестра на поезд со следующей станции. Но тут красные кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел, скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направился в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся узнать в адресном столе. Если скажут: «Какие же, к чорту, могут быть сейчас адресные столы?» — удивлюсь и скажу, что могут, потому ж на что Арзамас худой город, и то там есть адресный стол. Если спросят: «Как же так дядя надеялся пробраться из красной России в белый Харьков?» — скажу, что дядя у меня такой пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу проберется. А я вот... нет, не пройдоха, не могу никак. На этом месте нужно будет заплакать. Не особенно, а так, чтобы печаль была видна. Вот и все пока, остальное будет видно на месте.

Вынул маузер. Хотел было сунуть его под печь, но раздумал. Даже если отпустят, отсюда его уж не вытащишь. Комната имела два окна: одно выходило на улицу, другое — в узенький проулок, по которому пролежала тропка, заросшая по краям густой крапивой. Тогда я поднял с полу обрывок бумаги, завернул маузер и бросил небольшой сверток в самую гущу крапивы. Только что успел я это сделать, как на крыльце застучали. Привезли еще троих: двух мужиков, скрывших лошадей при обходе за подводами, и парнишку, уж не знаю зачем укравшего запасную возвратную пружину с дуколки у пулеметчика. Парнишка был избит, но не охал, а только тяжело дышал, точно его прогнали бегом.

Между тем улица села оживилась. Проходили солдаты, ржали кони, звякали котелки возле походной кухни. Показались связисты, разматывавшие на рогульки телефонный провод. Четко, в ногу, под командой важного унтера прошел мимо не то караул к разводу, не то застава к смене.

Опять щелкнул замок, просунулась голова солдата. Остановившись у порога, солдат вытащил из кармана смятую бумажку, заглянул в нее и крикнул громко:

— Который тут Ваалд, что ли? Выходи.

Я посмотрел на своих соседей, те на меня — никто не подымался.

— Ваалд... Ну, кто тут?

«Ваальд Юрий!» ужаснулся я, вспомнив про бумаги, которые нашел в подкладке и о которых позабыл среди волнений последнего времени. Выбора у меня не было. Я встал и нетвердо направился к двери.

«Ну да, конечно, — понял я. — Они нашли бумаги и принимают меня за того... за убитого. Ой, как это скверно! Какой хороший и простой был мой первый план, и как легко мне теперь сбиться и запутаться. А отказать от бумаг нельзя. Сразу же возникнет подозрение — где достал документы, зачем?» Вылетела из головы вся тщательная придуманная история с поездкой к тете, с пройдохой-дядей... Нужно уж что-то сообразить новое, но что сообразишь? Тут уж придется, видно, на месте.

Выпрямился и попробовал улыбнуться. Но как трудно иногда быть веселым, как невольно, точно резиновые, сжимаются и вздрагивают насильно растянутые в улыбку губы!

С крыльца штаба спускался высокий пожилой офицер в погонах капитана. Рядом, с видом собаки, которой дали пинка, шагал староста. Заметив меня, староста остановился и развел руками: извините, мол, ошибка вышла.

Офицер сказал старосте что-то резкое, и тот, подобострастно кивнув головой, побежал вдоль улицы.

— Здравствуй, военнопленный, — немного насмешливо, но совсем не сердито сказал капитан.

— Здравия желаю, господин капитан! —

ответил я так, как учили нас в реальном на уроках военной гимнастики.

— Ступай, — отпустил офицер моего конвоира и подал мне руку. — Ты как здесь? — спросил он, хитро улыбаясь и доставая папироску. — Родину и отечество защищать? Я прочел письмо к полковнику Коренькову, но оно ни к чему тебе теперь, потому что полковник уже месяц как убит.

«И очень хорошо, что убит», подумал я.

— Пойдем ко мне. Как же это ты, братец, не сказался старосте? Вот и пришлось тебе посидеть. Попал к своим, да сразу и в кутузку.

— А я не знал, кто он такой. Погонов у него нет, мужик мужиком. Думал, что красный это. Тут ведь, говорят, шатаются, — выдавил я из себя и в то же время подумал, что офицер, кажется, хороший, не очень наблюдательный, иначе бы он по моему неестественному виду сразу догадался, что я не тот, за кого он меня принимает.

— Знал я твоего отца, — сказал капитан. — Давненько, в седьмом году на маневрах в Озерках у вас был. Ты тогда еще совсем мальчуган был, только смутное какое-то сходство осталось. А ты не помнишь меня?

— Нет, — как бы извиняясь, ответил я, — не помню. Маневры помню чуть-чуть, только тогда у нас много офицеров было.

Если бы я не имел того «смутного сходства», о котором упоминал капитан, и если бы у него появилось хоть маленькое подозрение, он двумя вопросами об отце, о кадетском корпусе мог бы вконец угробить меня.

Но офицер и не подозревал ничего. То, что я не открылся старосте, казалось очень правдоподобным, а воспитанники кадетских корпусов на Дон бежали тогда из России табунами.

— Ты, должно быть, есть хочешь? Пахомов! — крикнул он раздувавшему самовар солдату. — Что у тебя приготовлено?

— Куренок, ваше благородие. Самовар сейчас вскипит... да попадья квашню вынула, лепешки скоро будут готовы.

— Куренок! Что нам на двоих куренок? Ты давай еще чего-нибудь.

— Смалец со шкварками можно, ваше благородие, со вчерашними варениками разогреть.

— Давай вареники, давай куренка, да скоренько!

Тут в соседней комнате занял вызов телефонного аппарата.

— Ваше благородие, ротмистр Шварц к телефону просит.

Уверенным, спокойным баритоном капитан передавал распоряжения ротмистру Шварцу.

Когда он положил трубку, кто-то другой, повидимому также офицер, спросил у капитана:

— Что Шварц знает нового об отряде Бегичева?

— Пока ничего. Заходили вчера двое красных на Кустаревскую усадьбу, а поймать не удалось. Да! Виктор Ильич, напишите донесение, что, по агентурным сведениям Шварца, отряд Шибалова будет пытаться проскочить мимо полковника Жихарева в районе завесы красных. Нужно не дать им соединиться с Бегичевым.

— Ну-с, молодой человек, пойдем завтракать. Покушайте, отдохните, а тогда будем решать, как и куда вас пристроить.

Только что мы успели сесть за стол, денщик поставил плошку с дымящимися варениками, куренка, который по размерам походил скорее на здорового петуха, и шипящую сковородку со шкварками, только что успел я протянуть руку за деревянной ложкой и подумать о том, что судьба, кажется, благоприятствует мне, как возле ворот послышался шум, говор и ругательства.

— До вас, ваше благородие, — сказал вернувшийся денщик, — красного привели с винтовкой. На Забеленном лугу в шалаше поймали. Пошли пулеметчики сено покосить, глянули, а он в палатке спит, и винтовка рядом и бомба. Ну, навалились и скрутили. Завести прикажете?

— Пусть приведут... Не сюда только. Пусть в соседней комнате подождут, пока я позавтракаю.

Опять затопали, застучали приклады.

— Сюда! — крикнул за стеной кто-то. — Садись на лавку, да шапку-то сыми, не видишь — иконы.

— Ты руки прежде раскрути, тогда гавкай!

Вареник заглодел в моем полураскрытом рту и плюхнулся обратно в миску. По голосу в пленном я узнал Чубука.

— Что, обжегся? — спросил капитан. — А ты не наваливайся очень-то. Успеешь, наешься.

Трудно себе представить то мучительное, напряженное состояние, которое охватило меня. Чтобы не внушать подозрения, я должен был казаться бодрым и спокойным. Вареники глиняными комьями размазывались по рту. Требовалось чисто физическое усилие для того, чтобы протолкнуть кусок через сжимавшееся горло. Но капитан уверен в том, что я сильно голоден, да и я сам еще до завтрака сказал ему об этом. И теперь я должен был через силу есть. Тяжело ворочая одеревяневшими челюстями, машинально нанизывая лоснящиеся от жира куски на вилку, я был подавлен и измят сознанием своей вины перед Чубуком. Это я, несмотря на его предупреждения, самовольно ушел купаться. Это я виноват в том, что его захватили в плен двое пулеметчиков. Я виноват в том, что самого дорогого товарища, самого любимого мной человека взяли сонным и привели во вражеский штаб.

— Э-э, брат, да ты, я вижу, совсем спишь, — как будто бы издали донесся до меня голос капитана. — Вилку с вареником в рот, а сам глаза закрыл. Ляг поди на сено, отдохни. Пахомов, проводи!

Я встал и направился к двери. Теперь нужно было пройти через комнату телеграфистов, в которой сидел пленный Чубук.

Это была тяжелая минута.

Нужно было, чтобы удивленный Чубук ни одним жестом, ни одним восклицанием не выдал меня. Нужно было дать понять, что я попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы спасти его.

Чубук сидел, низко опустив голову. Я кашлянул. Чубук приподнял голову и быстро откинулся назад.

Но, уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец

к губам, и по тому, как Чубук быстро сощурил глаз и перевел взгляд с меня на шагавшего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки ничего не понял и считает меня также арестованным по подозрению, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся. Я тебя не выдам».

Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее никто не заметил. Покачиваясь, я вышел во двор.

— Сюда пожалуйста, — указал мне денщик на небольшой сарайчик, примыкавший к стене дома. — Там сено снутри и одеяло. Дверцу только закройте за собой, а то поросятки набегут.

Глава десятая

Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. «Что же делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему убежать? Я виноват, я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареники, и Чубук должен за меня расплачиваться».

Но придумать ничего я не мог.

Голова нагрелась, щеки горели, и понемногу лихорадочное, возбужденное состояние овладело мной. «А честно ли я поступаю? Не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» Мысль эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конечно, — шептал я, — это будет, по крайней мере, искуплением моей невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому офицеру. «Ну да, конечно, — торопливо убеждал и уговаривал себя я, — я встану сейчас, выйду и все скажу. Пусть видят тогда и солдаты и капитан, как могут умирать красные. И когда меня поставят к стенке, я крикну: «Да здравствует революция!» Нет... не это. Это всегда кричат. Я крикну: «Проклятие палачам!» Нет, я скажу...»

Все больше и больше упиваясь сознанием мрачной торжественности принятого реше-

ния, все более разжигая себя, я дошел до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое настоящее значение.

«Встаю и выхожу. — Тут я приподнялся и сел на сено. — Так что же я крикну?»

На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью, какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в сознании, и, вместо того чтобы придумать посмертное слово, уж не знаю почему, я вспомнил старого цыгана, который играл на свадьбах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не связанное с тем, о чем я пытался думать в ту минуту.

«Встаю...» подумал я. Но сено и одеяло крепким, вязущим цементом обволокли мои ноги.

И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось подниматься, и все эти раздумья о последней фразе, о цыгане — все было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент. Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончательно не хотелось итти открываться и становиться к стенке. Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим мальчишкой из далекой Французской революции.

Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым: не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса.

Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана:

— ...поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе делаешь. Сколько пулеметов в отряде?

— Хуже уж некуда, а вилять мне нечего, — отвечал Чубук.

— Пулеметов сколько, спрашиваю?

— Три... два максима, один кольт.

«Нарочно говорит, — понял я. — У нас в отряде всего только один кольт».

— Так. А коммунистов сколько?

— Все коммунисты.

— Так-таки все? И ты коммунист?

Молчание.

— И ты коммунист? Тебя спрашиваю!

— Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает.

— Мо-ол-чать! Ты, как я смотрю, кажешься идейный. Стой прямо, когда с тобой офицер разговаривает. Это ты в усадьбе был?

— Я.

— С тобой еще кто?

— Товарищ... Еврейчик один.

— Жид? Куда он делся?

— Убег куда-то... в другую сторону.

— В какую сторону?

— В противоположную.

Что-то стукнуло, двинулась табуретка, и баритон протяжно заговорил:

— Я тебе дам — в противоположную! Я тебя сейчас самого пошлю в противоположную.

— Чем бить, распорядились бы лучше скорей, да и делу конец, — тише прежнего донесся голос Чубука. — Наши бы если вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду — и в расход. А вы, глядите-ка, всего плетьюгой исполосовали, а еще интеллигентный.

— Что-о?.. Что ты сказал? — высоким срывающимся голосом закричал капитан.

— Я говорю, нечего человека зря валандать!

Вмешался прежний голос:

— Господин командир полка, к аппарату!

Минут десять за стеной молчали. Потом с крыльца уже послышался голос денщика Пахомова:

— Ординарец! Мусабеков!.. Ибрагишка!..

— Ну-у? — донесся из малинника ленивый отклик.

— И где ты, чорт, делся? Седлай жеребца капитану.

За стеной опять баритон:

— Виктор Ильич! Я в штаб... Вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шебалова соединились возле разлома.

— А с этим что?

— Этого... этого можно расстрелять. Или нет — держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. Пахомов, — повышая тон, продолжал капитан, — лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. Да! Когда

этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо. Я там пообедаю.

Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я увидел, как конвоиры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром.

«Капитан вернется поздно, — подумал я, — значит, в следующий раз Чубука выведут для допроса ночью».

Робкая надежда легким, прохладным дуновением освежила мою голову.

Я здесь на свободе... Никто меня ни в чем не подозревает, больше того: я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где хочу, и когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чубуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его безоружным, сможет убить и того и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь темные; два шага отскочил — и пропал. Только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через окно, сидит у крыльца и сторожит дверь; только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет.

Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку.

Решетчатое окошко, за которым сидел Чубук, черной дырой уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы.

«Хорошо, если бы Чубук заметил меня, — подумал я. — Это ободрит его, он поймет, что раз я здесь на свободе, то постараюсь спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой помахать — часовой заметит... Ага! Вот как. Так же, как когда-то в детстве я вызывал Яшку Цуккерштейна в сад или на пруд».

Сбежал в комнату, снял со стены неболь-

шое походное зеркальце и вернулся на завалинку. Сначала я занимался рассмотриванием прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил солнечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда незаметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому, сидевшему на крыльце, был невидим острый луч, ударивший через окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигая зеркала, я закрыл стекло, открыл опять и так несколько раз.

Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтересуется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался. В следующую минуту в окне под лучами моего солнечного прожектора возник силуэт человека. Сверкнув несколько раз, чтобы Чубук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав во весь рост, как бы потягиваясь, поднял руку вверх, что на языке военной сигнализации всегда означало: «Внимание! Будьте готовы!»

К крыльцу подошли два стройных юнкера в запыленных бескозырках, с карабинами, ловко перекинутыми наискосок за спину, и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана младший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет: — От полковника Жихарева.

С завалинки я услышал жужжание телефона: младший офицер настойчиво вызывал штаб полка. Четыре солдата, присланные от рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут распахнулись ворота околицы, и десять черных казаков легкой стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно поразили меня.

Вышколенные юнкера и вымуштрованные казаки, из которых состоял сводный отряд, были не похожи на наших храбрых, но горластых и плохо дисциплинированных ребят.

Солнце еще только близилось к закату, а мне уже не сиделось. По приготовлениям и отдельным фразам я понял, что в ночь отряд будет выступать. Чтобы скоротать до темноты время, а заодно получить осмотреться, я пошел вдоль села и вышел на пруд, в котором казаки купали лошадей.

Лошади фыркали, чавкали копытами, увязавшими в вязком, глинистом дне. Взбалаченная затхлая вода теплыми струйками стекала с их лоснящейся, жирной кожи.

На берегу бородатый голый казак с крестом на шее рубил шашкой кусты густого раkitника.

Занося шашку, казак поджимал губы, а когда опускал ее, то из груди его вылетал короткий вздох, производивший тот самый неопределенный звук, который вырывается у мясников, разделяющих топором коровью тушу: *ых... ых...*

Под острым блестящим клинком толстые сучья валились, как трава. Попади ему сейчас под замах вражья рука — не будет руки. Попади ему красноармейская голова — разрубит наискосок, от шеи до плеча.

Видел я следы казачьих шашек: как будто бы не на скаку, не узким лезвием шашки нанесен гибельный удар, а на плахе топором спокойно, хорошо нацелившегося заплечных дел мастера.

Заслышав звон колокола, призывавшего ко всеобщей, казак кончил рубить. Серой суконной портянкой вытер разгоревшийся клинок, вложил его в ножны и, тяжело дыша, перекрестился.

Меж картофельных гряд узенькой тропкой дошел я до родника. Ледяная вода с веселым журчаньем стекала со старой, покрытой мхом колоды. Заржавленная икона, врезанная в подгнивший крест, тускло глядела выцветшими глазами. Под иконой слабо обозначалась вырезанная ножом надпись:

«Все иконы и святые — ложь».

Начинало темнеть. «Еще полчаса, — подумал я, — и можно будет пробираться к каменной избушке». Я решил выйти на конец села, пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетчатому окну. Я хорошо знал место, на которое упал маузер. Белая обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти дальше как ни в чем не бывало.

Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучу солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном.

— Что ты тут ходишь? — удивившись, спросил он. — Или ты тоже пришел посмотреть? Тебе ведь еще в диковинку.

— Вы разве уже приехали? — заплетаясь языком глупо выдал я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит.

Слова команды, раздавшиеся сбоку, заставили нас обернуться. И то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава.

В двадцати шагах, в стороне, пять солдат с винтовками, взятыми наизготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянuty назад, и он в упор смотрел на нас.

— Чубук, — прошептал я зашатавшись.

Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул.

Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану.

И, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я повалился на землю.

— Кадет, — строго сказал капитан, когда я опомнился, — это еще что такое? Баба... тряпка! Незачем было лезть смотреть, если не можешь. Так нельзя, батенька, — уже мягче добавил он, — а еще в армию прибежал.

— С непривычки это, — зажигая спичку и закуривая, вставил поручик, командовавший солдатами. — Вы не обращайтесь на это внимания. У меня в роте телефонистик один из кадетов. Сначала по ночам маму звал, а теперь такой аховый. А этот-то хорош, — понижая голос, продолжал офицер. — Стоял, как на-часах, не коверкался. И ведь еще плюнул!

Глава одиннадцатая

В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала я убежал.

Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило бы меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы.

Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только: скорей попасть к своим.

Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я, как под хлороформом, в кустах заброшенной лошаины; ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал, где приблизительно мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами — никто не останавливал меня.

Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами душная ночь.

Отчаянье стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну, поросшую душистым диким клевером. Так лежал я долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пивявкой всасывалось сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук, на меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал про документы кадета, я забыл сказать ему про них. Сначала Чубук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на завалинке, а особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицером. Его плевком, брошенный в последнюю минуту, жег меня, как серная кислота. И еще горше становилось от сознания, что

поправить дело нельзя, объяснить и оправдаться не перед кем и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда...

Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина. Только гам птиц да лягушиное кваканье.

К злобе на самого себя примешивалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда, обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, дернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики.

Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха.

Я прямо зашагал вдоль опушки.

— Эй, кто там идет? — услышал я вскоре из-за кустов.

— Я иду, — ответил я не останавливаясь.

— Что за я?.. Стрелять буду!

— Стреляй! — с непонятной вызывающей злобой крикнул я, вырывая маузер из-за пазухи.

— Стой, шальной! — раздался другой голос, показавшийся мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику. — Васька, стой же ты, чорт! Да ведь это же, кажется, наш — Бориска.

У меня хватило здравого смысла⁴ опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда, шахтера Малыгина.

— Да откуда ты взялся? А мы тут недолече. Послали нас разузнать: бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли?

— Я.

— Чего ты разошелся так? И бомбами швыряешься, и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?

Все рассказал я товарищам: как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, только о последнем плевке Чубука не сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слышал в штабе о планах белых, о распоряжении, о том, что

отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших.

— Что же, — сказал Шебалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах палаш, — слов нету, жалко Чубука. Был Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить... Большую оплошку сделал ты, парень... Да, большую. — Тут Шебалов вздохнул. — Ну, а как мертвого все равно не воротишь, нечего мне тебе говорить, да и ты сам не нарочно, а с кем беды не бывает.

— С кем беды не бывает, — подхватило несколько голосов.

— Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, что торопился ты сообщить об этом товарищам, — за это тебе вот моя рука и спасибо!

Круто завернув вправо, большими ночными переходами далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шебалова и Бегичева вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино.

В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней.

— Борис, — спросил он, — верхом ездил когда?

— Ездил, — ответил я, — в деревне только у дядьки, да и то без седла. А что?

— Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную?

— Хочу, — ответил я и недоверчиво посмотрел на Федю.

— Ну, так вместо Бурдюкова будешь. Его коня возьмешь.

— А Гришка где?

— Шебалов выгнал, — и Федя выругался. — Всего из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко, да и забыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка — красная цена. Так поди ж ты поговори с Шебаловым! Выгнал, черт, попову сторону взял.

Я хотел было возразить Феде, что вряд

ли Шебалов станет держать попову сторону и что, вероятно, Гришка Бурдюков нечаянно позабыл снять кольцо. Но тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение, он, чего доброго, раздумает брать меня в конную разведку, и я смолчал. А в конную давно уже мне хотелось.

Пошли к Шебалову.

Шебалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданного хмурый Малыгин.

— Пусти его, — сказал он. — Парень молодой, проворный. Да и так он ходит все, без Чубука скучает. Они ведь всегда на паре, а теперь не с кем ему!

Шебалов отпустил, но, исподлобья посмотрев на Федю, сказал ему не то шутя, не то серьезно:

— Ты, Федор, смотри, не спорт у меня парня! Ты не вихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю!

Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне: ладно, дескать, сами не маленькие.

Через месяц я уже, как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего пегого жеребца, который достался мне после Бурдюкова.

Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя вовсе не был похож на расстрелянного Чубука. Если правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Станет иногда выговаривать или стыдить, стоишь и злишься, а язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и поругаться и помириться, с ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя. Иной раз заладит свое, так ничем его не сшибешь.

Глава двенадцатая

Однажды Шебалов приказал Феде:

— Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки. Второй полк по телефону разведать просил, нет ли там белых. У нас своего провода к ним нехватает, приходится разговаривать через Костырево,

а они думают прямо через Выселки к нам связь протянуть.

Федя заартачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото километров восемь такой грязью переть, что раньше чем к ночи оттуда вернуться и думать было нечего.

— Кто на Выселках есть? — возмутился Федя. — Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болота. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки.

— Тебя не спрашивают! Сказано тебе отправиться — и отправляйся, — оборвал его Шебалов.

— Мало ли что сказано! Ты, может, чортову бабушку разыскивать пошлешь меня! Так я и послушался! Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековать, а кроме того, табаку фельдшер два ведра напарил, от чесотки коням растирку сделать нужно, а ты... на Выселки!

— Федор, — устало сказал Шебалов, — ты мне хоть разбейся, а приказа своего я не отменю.

Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались.

Никому из нас не хотелось по дождю и слякоти тащиться из-за каких-то телеграфистов на Выселки. Ругали ребята Шебалова, обзывали телеграфистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали мокрых лошадей и нехотя, без песен, тронулись к окраине деревушки.

Вязкая, жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, вода струйками сбегала с шапок. Дорога раздвигалась. В полукилометре направо, на песчаной горке, стоял хутор в пять или шесть дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод.

— Отогреемся, тогда поедем дальше, — сказал он. — А то на дожде и закурить нельзя.

В большой, просторной избе было тепло, чисто прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свиной.

— Эге! — тихонько шепнул Федя, шмыг-

нув носом. — Хутор-то, я вижу, еще того, еще не обведенный.

Хозяин попался радушный. Мигнул злоровой девке, и та, задорно глянув на Федю, плюхнула на стол деревянные миски, высыпала ложки и, двинув табуретом, сказала усмехаясь:

— Что ж стали-то? Садитесь.

— А что, хозяин, — спросил Федя, — далеко ли отсюда еще до Выселок?

— В лето, когда сухо, — ответил старик, — тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе недалеко, полчаса ходьбы всего. Ну, а сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, часа два проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять у меня нынче вернулся оттуда, так оглоблю сломал.

— Сегодня оттуда? — спросил Федя.

— Сегодня, с утра еще.

— Что там, не слыхать белых?

— Да нет, не слыхать пока.

— Пес его, Шебалова, задери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай раздевайся, ребята. Не за каким чортом лезть дальше. Только ноги коням вывертывать.

— Ладно ли, Федька, будет? — спросил я. — А что Шебалов скажет?

— Что Шебалов? — ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку. — Скажем Шебалову, что были, мол, и никого нету!

За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил и мне.

— Пейте, — сказал он чокаясь. — Выпьем за всемирный пролетариат, за революцию! Пошли, господи, чтобы на наш век революции хватило и белые не переводились! Дай им доброго здоровья, хоть порубить есть кого, а то скучно было бы без них жить на свете. Ну, дергаем!

Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул:

— Фью!.. Да ты что, Борис, али не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а красная девушка.

— Как не пил! — горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот.

Пахучая едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос. Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец.

Вскоре мне стало весело. Вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, от чего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще, пили и за здоровье красных бойцов, которые бьются с белыми, и за наших товарищей коней, которые носят нас в смертный бой, и за наши шашки, чтобы не тупились, не осекались и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили.

Больше всех пил и меньше всех пьянел Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу; он яростно растягивал мехи баяна и мягким тенором выводил:

Как за Доном за рекою красные гуляют...

А мы нестройно, но с воодушевлением подхватывали:

Э-эй, эй, гуляй, красные гуляют...

И опять Федя заливался, качая головой, и жмурил влажные глаза:

Им товарищ — острый нож,
Шашка-лиходейка...

А мы с хвастливым, бесшабашным молодчеством вторили речитативом:

Шашка-ли-хо-дей-ка...

И разом дружно:

И-эх! Пра-а-падем мы ни за грош...
Жизнь наша ко-пей-ка-а-а-а...

Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по столу, потянулся опять к чашке.

Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что

сизу не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, задние наезжали на передних. Долго шатало меня по седлу, и наконец я приник к гриве коня, как неживой.

Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно за вчерашнее. В торбе у коня овса не было. Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяна в грязь. Зато у Федькина жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведро и отсыпал своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков; оба злые, глаза мутные, посоловелые.

«Неужели же и у меня такое лицо?» испугался я и пошел умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки, и на затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал:

— Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебя за эдакие дела по морде бить буду!

— Сдачи получишь, — огрызнулся я. — Что, твоему коню лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал?

— Не твое дело, — брызгаясь слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью.

— Убери плеть, Федька! — взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки. — Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебе плашмя клинком по башке заеду!

— А, ты вот как!

Тут Федька разъярился вконец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не появился из-за угла Шебалов.

Шебалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью жиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и, погрозив мне кулаком, ушел.

— Поди сюда, — сказал мне Шебалов.

Я подошел.

— Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь? Зайдем-ка ко мне в хату.

Притворив за собой дверь, Шебалов сел и спросил:

— На Выселках и ты с Федькой был?

— Был, — ответил я и смутился.

— Не ври! Никто из вас там не был. Где прошатались это время?

— На Выселках, — упрямо повторил я, не сознаваясь.

Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить.

— Ну, ладно, — после некоторого раздумья сказал Шебалов и вздохнул. — Это хорошо, что на Выселках, а я, знаешь, сомневался что-то, Федьку не стал и спрашивать: он соврет — недорого возьмет. Байбаки его тоже как на подбор. Мне со второго полка звонили. Ругаются. «Мы, — говорят, — послали телефонистов в Выселки, поверили вам, а их оттуда как жажнули!» Я отвечаю им: «Значит, уже опосля белые пришли», а сам думаю: «Пес этого Федьку знает, вернулся он что-то поздно, и вроде как водкой от него несет».

Тут Шебалов замолчал, подошел к окну, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут.

— Беда мне прямо с этими разведчиками, — сказал он оборачиваясь. — Слов нету, храбрые ребята, а непутевые! И Федька этот тоже — никакой в нем дисциплины. Выгнал бы — заменить некем.

Шебалов посмотрел на меня дружелюбно; белесоватые насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне:

— Знаешь, ведь беда как трудно отрядом командовать! Это не то что сапоги тачать. Сижу вот целыми ночами... к карте привыкаю. Иной раз в глазах зарядит даже. Образования нет ни простого, ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и всегда на военном деле сидят, а я ведь приказ даже по складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина. Сказано — сделано! А у нас не привыкли еще, за всем самому надо глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил-просил — нету, отвечают: «Ты пока и так обойдешься, ты им сам коммунист». А какой же я коммунист?.. — Тут Шебалов

запнулся. — То есть, конечно, коммунист, но ведь образования никакого.

В дверь ввалились грузный, Сухарев и чех Галда.

— Я солдат в расфедку даль, я солдат... к пулеметшик даль... Я солдат... на кухню, а он нишего не даль, — возмущенно говорил крючконосый Галда, показывая пальцем на красного, злого Сухарева.

— Он на кухню дал, — кричал Сухарев, — картошку чистить, а я ночную заставу только к полудню снял! Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, как ты хочешь, Шебалов. Пусть он людей для связи даст, а я не дам!

Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза, и не осталось и следа смущенной, добродушной улыбки на сером, обветренном лице Шебалова.

— Сухарев, — строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами, — ты не дури! У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты же знаешь, что я нарочно Галде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет.

Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани; крючконосый Галда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел.

Мне было стыдно за то, что я соврал Шебалову. «Шебалов, — думал я, — командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы... мы вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уж нечестно, нечестно перед революцией и перед товарищами».

Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя — начальник и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же поймал себя на этом и обозлился. «А водку пить тоже начальник приказал? А старшего командира обманывать тоже начальник заставил?»

Из окна высунулась растрепанная Фебина голова, и он крикнул негромко:

— Бориска!

Я сделал вид, что не слышал.

— Борька! — примирительно повторил Федя. — Брось кобениться. Иди олады есть. Иди... У меня до тебя дело... Жри! — как ни в чем не бывало сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо. — Тебя зачем Шебалов звал?

— Про Выселки спрашивал, — прямо ответил я. — Не были вы, говорит, там вовсе!
— Ну, а ты?

Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковородку.

— Что я? Надо было сознаться. Тебя только, дурака, пожалел.

— Но-но... ты не очень-то, — заносчиво завел было Федя, но, вспомнив, что он еще не все испытал у меня, подвинулся и спросил с тревожным любопытством: — А еще что он говорил?

— Еще говорил, что трусы вы и шкурники, — нагло уставившись на Федю, соврал я. — «Побоялись, — говорит, — на Выселки сунуться да отсиделись где-то в лого. Я, — говорит, — давно замечаю, что у разведчиков слабить стало».

— Врешь! — разозлился Федя. — Он это не говорил.

— Поди спроси, — злорадно продолжал я. — «Лучше, — говорит, — вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики только и горазды, что погреба со сметаной разведывать».

— Вре-ешь! — совсем взбеленился Федя. — Он, должно быть, сказал: «Байбаки от рук отбились, порядку ни черта не признают», а про то, что с разведчиками слабо стало, он ничего не говорил.

— Ну и не говорил, — согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства. — Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вот что. Соседний полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смотреть будут? «Шкурники, — скажут, — и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на Выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать — их оттуда стеганули».

— Кто стеганул? — удивился Федя.

— Кто? Известно, белые.

Федя смутился. Он ничего еще не знал

про телефонистов, попавших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату.

И по тому, что Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс «На сопках Манчжурии», я понял, что у Феди дурное настроение.

Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обитую серебром кавказскую шапку, вышел из хаты.

Минут через пятнадцать он появился под окном.

— Вылетай к коню! — хмуро приказал он через стекло.

— Ты где был?

— У Шебалова. Вылетай живей!

Немного спустя наша разведка легкой рысцой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей, корявой дороге.

Глава тринадцатая

На том перекрестке, где мы свернули вчера на хутор, Федя остановился и, отозвав в сторону двух самых ловких, долго говорил им что-то, указывая пальцем на дорогу, и наконец, выругав и того и другого, чтобы крепче поняли приказание, вернулся к нам и велел сворачивать на хутор. На хуторе, ни одним словом не напоминая хозяину о вчерашнем, Федя стал расспрашивать его о прямой дороге через болото в Выселки.

— Не проехать вам, товарищи, — убеждал хозяин. — Коней только потопите. Целую неделю дождь шел, там и пешком-то не всякий пройдет, а не то что верхами.

Когда вернулись двое высланных вперед разведчиков и донесли, что Выселки заняты белыми и на дороге застава, Федя, не обращая внимания на увещевания хозяина, приказал ему собираться. Хозяин пуще забожился, что пройти через болото никак невозможно. Хозяйка заплакала. Краснощекая девка, дочь, та, что вчера весело перемигивалась с Федей, рассерженно огрызнулась на него за то, что он наследил сапогами на полу. Но Федю ничто не пробиало, и он стоял на своем. Я хотел было спросить насчет его планов; он в ответ не выругался даже, а только взглянул на меня искоса и зло усмехнулся.

Вскоре мы выехали из хутора. Хозяин на плохонькой лошаденке ехал впереди, рядом с Федей. Сразу свернули в березняк. Под ногами лошадей из упругого, разбухшего мха выдавливалась мутная вода. Дорога все ухудшалась. Глубже вязли лошади; мшистые кочки почерневшими островками кое-где высывывались из залитого водой луга.

Спешились и пошли дальше. Так шли до тех пор, пока не очутились возле старой гати, о которой предупреждал нас хозяин. Перед нами была узкая полоска, покрытая густой жижей всплывших прутьиков и перегнившей соломы.

— Н-да, — пробурчал Федя, искоса поглядывая на прихмурившихся товарищей, — дорожка!..

— Потопнем, Федька!

— А недолго и потонуть, — поддакнул старик-проводжатый. — Гать худая, настилка сгнила, тут и в хорошую-то погоду кое-как, а не то что в эдакую мокрятину.

— Тут кони ни вплавь, ни вброд. Чисто чортова каша.

— Но! — подбодрил Федя, искусственно улыбаясь. — Расхлебаем и чортову!

Он дернул за повод упиравшегося жеребца и первым ухнул по колено в пахнущую гнилью жижу. За ним медленно по-двое потянулись и мы. Вода, кое-где покрытая паутинкой утреннего льда, заливала за голенища сапог. Невидимая тоненькая настилка колебалась под ногами. Было жутко ступать наугад, и казалось мне, что вот-вот под ногой не окажется никакой опоры и я провалюсь в вязкую, засасывающую ямину.

Кони храпели, упрямылись и вздрагивали. Откуда-то из тумана, точно с того света, донесся Федин вопрос:

— Эй, там, все целы?

— Ну, ребята, кажется, зашли, что дальше некуда. Воротиться бы лучше, — стуча от холода зубами, пробормотал рыжий горнист.

Внезапно из тумана вынырнул Федя.

— Ты мне, Пашка, панику не наводи, — тихо и сердито предупредил он. — А будешь ныть, так лучше заворачивай и езжай один назад. Папаша, — обратился он к старику, — лошади у меня по брюхо. Долго еще?

— Тут-то недолго. Сейчас — как взъём —

посуше пойдет, да место-то перед этим самое гиблое. Вот если пройдем сейчас, то, значит, уже кончено, пройдем и дальше.

Вода дошла до пояса. Остановившись, старик снял шапку и перекрестился.

— Теперичка, как я пойду, так вы по одному за мной вровень, а то тут оступить можно.

Старик нахлобучил шапку и полез дальше. Шел он тихо, часто останавливался и нащупывал шестом невидимый под водой настил.

Коченея от морозного ветра, подмоченные снизу водой болота, сверху — всосавшимся в одежду туманом, растянувшись по одному, за полчаса прошли мы не больше ста метров. Руки у меня посинели и колени дрожали.

«Чорт Федька! — думал я. — То вчера по грязной дороге ехать не хотел, а сегодня в трясику завел».

Донеслось спереди тихое ржанье. Туман разорвался, и на бугре мы увидели Федю, уже сидящего верхом на коне.

— Тише, — шопотом сказал он, когда мы, мокрые, продрогшие, столпились вокруг него. — Выселки за кустами, в сотне шагов. Дальше сухо.

С гиканьем, с остервенелым свистом ворвалась в деревеньку наша продрогшая кавалерия с той стороны, откуда нас белые никак не могли ожидать. Расшвыривая бомбы, пронеслись мы к маленькой церкви, возле которой находился штаб белого отряда.

В Выселках мы захватили десять пленных и один пулемет. Когда, усталые, но довольные, возвращались мы большой дорогой к своим, Федя, ехавший рядом со мною, засмеялся зло и зазорно:

— Шебалов-то!.. Утерли мы ему нос. То-то удивится!

— Как утерли? — не понял я. — Он сам рад будет.

— Рад, да не больно. Досада его возьмет, что все-таки хоть не по его вышло, а по-моему, и вдруг такая нам удача.

— Как не по его, Федька? — почуяв что-то недоброе, переспросил я. — Ведь тебя же Шебалов сам послал.

— Послал, да не туда. Он в Новоселово послал. Галду там дожидаться. А я взял

да и завернул на Выселки. Пусть не собачится за вчерашнее. Ну, да ему теперь крыть нечем. Раз мы пленных и пулемет захватили, то ему ругаться уж не приходится.

«Удача-то удачей, — думал я поеживаясь, — а все-таки как-то не того. Послали в Новоселово, а мы — в Выселки. Хорошо еще, что все так кончилось. Вдруг бы не пробрались мы через болото, тогда что? Тогда и оправдываться нечем!»

Еще не доезжая до села, где стоял наш отряд, заметили какое-то необычайное в нем оживление. По окраине бежали, рассыпаясь в цепь, красноармейцы. Несколько всадников проскакало мимо огородов.

И вдруг разом от села застрочил пулемет. Рыжий горнист Пашка, тот самый, который советовал повернуть с болота назад, грохнулся на дорогу.

— Сюда! — заорал Федя, повертывая коня в лошину.

Прозвенела вторая очередь, и двое задних разведчиков, не успевших соскочить в овраг, полетели на землю.

Нога у одного застряла в стремени, конь испугался и потащил раненого за собой.

— Федька, — деревянея, пробормотал я, — что ты? Наш кольт шпарит. Ведь наши не ожидают тебя с этой стороны. Мы же должны быть в Новоселове.

— А я вот им зашпарю! — злобно огрызнулся Федор, соскакивая с коня и бросаясь к захваченному нами у белых пулемету.

— Федька, что ты, сумасшедший?! По своим хочешь? Ведь они же не знают, а ты знаешь!

Тогда, тяжело дыша, остервенело ударил нагайкой по голенищу хромового сапога, Федька поднялся, вскочил на коня и открыто вылетел на бугор. Несколько пуль завизжало над его головой, но как ни в чем не бывало Федька во весь рост встал на стремених и, надев шапку на острие штыка, поднял ее высоко над своей головой.

Еще несколько выстрелов раздалось со стороны села, потом все стихло. Наши обратили внимание на сигнализацию одиноко стоявшего под пулями всадника.

Тогда, махнув нам рукой, чтобы мы не двигались раньше времени, Федька, пришло-

рив жеребца, карьером понесся по селу. Обождав немного, вслед за ним выехали и мы. На окраине нас встретил серый, окаменевший Шебалов. Дымчатые глаза его потускнели, лицо осунулось, палаш был покрыт грязью, и запачканные шпоры звенели глухо. Остановив разведку, он приказал всем отправляться по квартирам. Потом, скользнув усталым взглядом по всадникам, велел мне слезть с коня и сдать оружие. Молча, перед всем отрядом, соскользнул я с седла, отстегнул шашку и передал ее вместе с карабином нахмурившемуся кривоуму Малыгину.

Дорого обошелся отряду смелый, но самовольный набег разведки на Выселки. Не говоря уже о трех кавалеристах, попавших по ошибке под огонь своего же пулемета, была разбита в Новоселове не нашедшая Федя вторая рота Галды, и сам Галда был убит. Обозлились тогда красноармейцы нашего отряда и сурового суда требовали над арестованным Федей.

— Эдак, братцы, нельзя. Будет! Без дисциплины ничего не выйдет. Эдак и сами погибнем и товарищей погубим. Не для чего тогда и командиров назначать, если всяк будет делать по-своему.

Ночью пришел ко мне Шебалов. Я рассказал ему начистоту, как было дело, сознался, что из чувства товарищества к Феде соврал тогда, когда меня спрашивали в первый раз, были мы или нет на Выселках. И тут же поклялся ему, что ничего не знал про Федькин самовольный поступок, когда повел он нас вместо Новоселова на Выселки.

— Вот, Борис, — сказал Шебалов, — ты уже раз соврал мне, и если я поверю тебе еще один раз, если я не отдам тебя под суд вместе с Федором, то только потому, что молод ты еще. Но смотри, парень, чтобы поменьше у тебя было эдаких ошибок! По твоей ошибке погиб Чубук, через вас же нарвались на белых телефонисты. Хватит с тебя ошибок! Я уж не говорю про этого чорта Федьку, от которого беды мне было, почитай, больше, чем пользы. А теперь пойдешь ты опять в первую роту к Сухареву и встань на свое старое место. Я и сам, по правде сказать, маху дал, что отпустил

тебя к Федору. Чубук, тот... да, возле того было тебе чему поучиться... А Федор что?.. Ненадежный человек! А вообще, парень, что ты то к одному привяжешься, то к другому? Тебе надо покрепче со всеми сойтись. Когда один человек, он и заблудиться и свихнуться легко может.

В ту же ночь, выбравшись через окно из хаты, в которой он сидел, захватив коня и четырех закадычных товарищей, ускакал Федя по первому пушистому снегу куда-то через фронт на юг. Говорили, что к батьке Махно.

Глава четырнадцатая

Красные по всему фронту перешли в наступление.

Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге третьего полка.

Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе.

Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию.

Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стиснув зубы, бледнея, вставал во весь рост в цепи, в то время когда многие даже бывалые бойцы стреляли с колена или лежа. Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство.

Сухарев даже заметил однажды вскользь:

— Ты, Горников, эти Федькины замашки брось!.. Нечего перед людьми бахвалиться... Тут похрабрей тебя есть, и те бестолку башкой в огонь не лезут.

«Опять Федькины замашки, — подумал я, искренне огорчившись. — Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выполнишь — все с тебя снимется, будешь опять попрежнему друг и товарищ».

Чубука нет. Федька у Махно. Да и не нужен мне Федька. Дружбы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что Малыгин, всегда бывало поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь — и тот теперь холодной стал.

Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Шебалову:

— Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось, когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго!

Краска залила мне лицо.

Это была правда: я как-то скоро освоился с гибелью Чубука; но неправда, что я скучал о Федоре, — я ненавидел его.

Я слышал, как Шебалов звенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу:

— Это ты зря говоришь, Малыгин! Зря... Парень он не спорченный. С него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, сорок, тебя не передделаешь, а ему шестнадцатый... Мы с тобой сапоги стоптанные, гвоздями подбитые, а он — как заготовка: на какую колодку натянешь, такая и будет. Мне вот Сухарев говорит: у него Федькины замашки, любит-де в цепи вскочить, храбростью бестолку похвастаться. А я ему говорю: «Ты, Сухарев, бородатый... а слепой. Это не Федькины замашки, а это просто парень хочет оправдаться, а как — не знает».

На этом месте Шебалова вызвал постукавший в окно верховой. Разговор был прерван.

Мне стало легче.

Я ушел воевать за «светлое царство социализма». Царство это было где-то далеко; чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий.

Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шебалов и десятки других, не только борющихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое.

А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь.

И через эту глубокую ненависть далекие огни «светлого царства социализма» засияли еще заманчивее и ярче.

В тот же день вечером я выпросил у нашего каптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию.

С этим листом я пошел к Шебалову. Шебалов был занят: у него сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого Галды.

Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжение этого разговора Шебалов несколько раз поднимал голову, пристально глядя на меня, как бы пытаюсь угадать, зачем я пришел.

Когда завхоз и ротный ушли, Шебалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил:

— Ну... ты что?

— Я, товарищ Шебалов... я к вам, товарищ Шебалов... — ответил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу.

— Вижу, что ко мне! — как-то мягче добавил он, вероятно угадав мое возбужденное состояние. — Ну, выкладывай, что у тебя такое.

Все то, что я хотел сказать Шебалову, перед тем как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но в сущности я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду, — все это вылетело из моей памяти.

Молча я подал ему исписанный лист бумаги.

Мне показалось, что легкая улыбка скользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления.

Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу.

Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шебалова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладыны разрисованного морозными узорами окна.

— Садись, — сказал Шебалов.

Я сел.

— Что же ты, в партию хочешь?

— Хочу, — негромко, но упрямо ответил я.

Мне казалось, что Шебалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания.

— И очень хочешь?

— И очень хочу, — в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами, и окончательно решив, что Шебалов надо мною смеется.

— Это хорошо, что ты очень хочешь, — заговорил опять Шебалов, и только теперь по его тону я понял, что Шебалов не смеется, а дружески улыбается мне.

Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета.

Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал совсем добродушно:

— Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крестный папаша... Ты уж не подведи меня...

— Нет, товарищ Шебалов, не подведу, — искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая со стола лист. — Я ни за что ни вас, ни кого из товарищей не подведу!

— Погоди-ка, — остановил он меня. — А вторую-то подпись надо... Кого бы еще в поручители?.. А-а! — весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева. — Вот как раз кстати.

Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер о мешок огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки:

— Зачем звал?

— Звал за делом. Насчет караула... На кладбище надо будет ребят в церковь определить... Не замерзать же людям... Сейчас поп придет, тогда сговоримся. А теперь вот что... — Тут Шебалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня. — Как у тебя парень-то?

— Что как? — осторожно спросил Суха-

рев, ухмыляясь во все свое красное, обветренное лицо.

— Ну... солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме.

— Солдат ничего, — подумав, ответил Сухарев. — Службу хорошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Сердиты у нас джоже ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало.

Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели; лицо еще больше покраснело, и он продолжал сердито:

— Чтоб ему гайдамак башку ссек! Такого командира, как Галда, загубил! А какой ротный был! Разве же ты найдешь еще такого ротного, как Галда? Разве ж Пискарев... это ротный?.. Это чурбан, а не ротный... Я ему сегодня говорю: «Твои дозоры для связи... Я вчера лишних десять человек в караул дал», а он...

— Ну, ну! — прервал Шебалов. — Это ты мне не разводи. Это ты теперь Галду хвалишь, а раньше бывало всегда с ним собачился. Какие еще там десять лишних человек? Ты мне очки не втирай. Ну, да ладно, об этом потом... Ты вот что скажи... Парень в партию просится. Поручишься за него? Что глаза-то уставил? Сам же говоришь: и боец хороший, и не замечен ни в чем, а что насчет прошлого, — ну, об этом не век помнить!

— Оно-то так! — почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев. — Да ведь только чорт его знает!

— Чорт ничего не знает! Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше чорта должен знать, годится твой красноармеец в коммунисты или нет.

— Парень ничего, — подтвердил Сухарев, — форс только любит. Из цепи беспотлку вперед лезет. А так ничего.

— Ну, не назад же все лезет. Это еще полбеда! Так как же, смотри сам... Подписываешь ты или нет?

— Я-то бы подписал, этот парень ничего, — повторил осторожно Сухарев. — А еще кто подпишет?

— Еще я. Давай садись за стол, вот заявление.

— Ты подписал!.. — говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш. — Это хорошо, что ты... Я же говорю, парень — золото, драли его только мало!

Глава пятнадцатая

Уже несколько дней шли бои под Новохоперском. Были втянуты все дивизионные резервы, а казаки все еще крепко держали позиции.

На четвертый день с утра наступило затишье.

— Ну, братцы! — говорил Шебалов, подъезжая к густой цепи отряда, рассыпанного по оголенной от снега вершине пологого холма. — Сегодня после обеда общее наступление будет... Всей дивизией ахнем.

Пар валил от его посеребренного инеем коня. Ослепительно сверкал на солнце длинный тяжелый палаш, красная макушка черной шебаловской папахи ярко цвела среди холодного снежного поля.

— Ну, братцы, — опять повторил Шебалов звенящим голосом, — сегодня день такой... серьезный день. Выбьем сегодня — тогда до Богучара белым зацепки не будет. Постарайтесь же напоследок, не оконфузьте перед дивизией меня, старика!

— Что пристариваешься? — хриплым, простуженным голосом гаркнул подходивший Малыгин. — Я, чать, постарше тебя и то за молодого схожу.

— Ты да я — сапоги стоптанные, — повторил Шебалов свою обычную поговорку. — Бориска, — окликнул он меня приветливо, — тебе сколько лет?

— Шестнадцатый, товарищ Шебалов, — гордо ответил я, — с двадцать второго числа уже шестнадцатый пошел!

— Уже! — с деланным негодованием передразнил Шебалов. — Хорошо «уже»! Мне вот уже сорок седьмой стукнул. А-а! Малыгин, ведь это что такое — шестнадцатый? Что, брат, он увидит, того нам с тобой не видать...

— С того свету посмотрим, — хрипло и с мрачным задором ответил Малыгин, кутая горло в рваный офицерский башлык с галуном.

Шебалов тронул шпорами продрогшего коня и поскакал вдоль линии костров.

— Бориска, иди чай пить... Мой кипяток — твой сахар! — крикнул Васька Шмаков, снимая с огня закопченный котелок.

— У меня, Васька, сахару тоже нет.

— А что у тебя есть?

— Хлеб есть, да дам яблоки мороженые.

— Ну, кати сюда с хлебом, а то у меня вовсе ничего нет! Голая вода.

— Гориков! — крикнул меня кто-то от другого костра. — Поди-ка сюда.

Я подошел к кучке споривших о чем-то красноармейцев.

— Вот ты скажи, — спросил меня Гришка Черкасов, толстый рыжий парень, прозванный у нас псаломщиком. — Вот послушайте, что вам человек скажет. Ты географию учил?.. Ну, скажи, что отсюда дальше будет...

— Куда дальше? На юг дальше Богучар будет.

— А еще?

— А еще... Еще Ростов будет. Да мало ли! Новороссийск, Владикавказ, Тифлис, а дальше Турция. А что тебе?

— Много еще! — смущенно почесывая ухо, протянул Гришка. — Эдак нам полжизни еще воевать придется... А я слышал, что Ростов у моря стоит. Тут, думаю, все и кончится!

Посмотрев на рассмеявшихся ребят, Гришка хлопнул руками о бедра и воскликнул растерянно:

— Братцы, а ведь много еще воевать придется!

Разговоры умолкли.

По дороге из тыла карьером неся всадник. Навстречу ему выехал рысью Шебалов. Орудие на фланге ударило еще два раза...

— Первая рота, ко мне-е! — протяжно закричал Сухарев, поднимая и разводя руки.

Несколько часов спустя из белых сугробов поднялись залегшие цепи. Навстречу пулеметам и батареям, под картечью, по колено в снегу двинулся наш рассыпанный и окровавленный отряд для последнего, решающего удара. В тот момент, когда передовые части уже врывались в предместье, пуля ударила мне в правый бок.

Я пошатнулся и сел на мягкий истоптанный снег. «Это ничего, — подумал я, — это ничего. Раз я в сознании — значит, не убит... Раз не убит — значит, выживу».

Пехотинцы черными точками мелькали где-то далеко впереди.

«Это ничего, — подумал я, придерживаясь рукой за куст и прислоняя к ветвям голову. — Скоро придут санитары и заберут меня».

Поле стихло, но где-то на соседнем участке еще шел бой. Там глухо гудели тучи, там взвилась одинокая ракета и повисла в небе огненно-желтой кометой.

Струйки теплой крови просачивались через гимнастерку. «А что, если санитары не придут и я умру?» подумал я, закрывая глаза.

Большая черная галка села на грязный снег и мелкими шажками зачистила куче лошадиного навоза, валявшегося неподалеку от меня. Но вдруг галка настороженно повернула голову, искоса посмотрела на меня и, взмахнув крыльями, отлетела прочь.

Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она прилетит и сядет, не пугаясь, рядом.

Голова слабела и тихо, точно укоризненно, покачивалась. На правом фланге глуше и глуше гудели взрывающиеся снежные сугробы, ярче и чаще вспыхивали ракеты.

Ночь выслала в дозор тысячи звезд, чтобы я еще раз посмотрел на них. И светлую луну выслала тоже. Думалось: «Чубук жил, и Цыганенок жил, и Хорек... Теперь их нет, и меня не будет». Вспомнил, как один раз сказал мне Цыганенок: «С тех пор я пошел искать светлую жизнь». — «И найти думаешь?» спросил я. Он ответил: «Один не нашел бы, а все вместе должны найти... Потому — охота большая».

— Да, да! Все вместе, — ухватившись за эту мысль, прошептал я, — обязательно все вместе. — Глаза сомкнулись, и долго молча думал я о чем-то незапоминаемом, но хорошем-хорошем.

— Бориска! — услышал я прерывающийся шопот.

Открыл глаза. Почти рядом, крепко обняв расщепленный снарядом ствол молоденькой березки, сидел Васька Шмаков.

Шапки на нем не было, а глаза были уставлены туда, где впереди, сквозь влажную мглу густых сумерек, золотистой россыпью мерцали огни далекой станции.

— Бориска, — долетел до меня его шопот, — а мы все-таки заняли.

— Заняли, — ответил я тихо.

Тогда он еще крепче обнял молодую сло-

манную березку, посмотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голову на вздрогнувший куст.

Мелькнул огонек... другой... Послышался тихий, печальный звук рожка. Шли санитары.

1930 г.





ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ



ЗИМОЮ очень скучно. Разъезд маленький. Кругом лес. Заметет зимою, завалит снегом—и высунуться некуда. Одно только развлечение—с горы кататься. Но опять, не весь же день с горы кататься? Ну прокатился раз, ну прокатился другой, ну двадцать раз прокатился, а потом все-таки надоест, да и устанешь. Кабы они, санки, и на гору сами вкатывались. А то с горы катятся, а на гору—никак.

Ребят на разъезде мало: у сторожа на

переезде—Васька, у машиниста—Петька, у телеграфиста—Серезка. Остальные ребята—вовсе мелкота: одному три года, другому четыре. Какие же это товарищи?

Петька да Васька дружили. А Серезка вредный был. Драться любил.

Позовет он Петьку:

— Иди сюда, Петька. Я тебе американский фокус покажу.

А Петька не идет. Опасается:

— Ты в прошлый раз тоже говорил—фокус. А сам по шее два раза стукнул.

— Ну, так то простой фокус, а это американский, без стуканья. Иди скорей, смотри, как оно у меня прыгает.

Видит Петька, действительно что-то в руке у Серезки прыгает. Как не подойти!

А Сережка — мастер. Накрутит на палочку нитку, резинку. Вот у него и скачет на ладони какая-то штуковина — не то свинья, не то рыба.

— Хороший фокус?

— Хороший.

— Сейчас еще лучше покажу. Повернись спиной.

Только повернется Петька, а Сережка его сзади как дернет коленом, так Петька сразу головой в сугроб.

Вот тебе и американский...

Попадало и Ваське тоже. Однако, когда Васька и Петька играли вдвоем, то Сережка их не трогал. Ого! Тронь только! Вдвоем-то они и сами храбрые.

Заболело однажды у Васьки горло, и не позволили ему на улицу выходить.

Мать к соседке ушла, отец — на переезд, встретить скорый поезд. Тихо дома.

Сидит Васька и думает: что бы это такое интересное сделать? Или фокус какой-нибудь? Или тоже какую-нибудь штуковину? Походил, походил из угла в угол — нет ничего интересного.

Подставил стул к шкапу. Открыл дверцу. Заглянул на верхнюю полку, где стояла завязанная банка с медом, и потыкал ее пальцем.

Конечно, хорошо бы развязать банку да зачерпнуть меду столовой ложкой...

Однако он вздохнул и слез, потому что уже заранее знал, что такой фокус матери не понравится. Сел он к окну и стал поджидать, когда промчится скорый поезд.

Жаль только, что никогда не успеешь рассмотреть, что там, внутри скорого, делается.

Заревет, разбрасывая искры. Прогрохочет так, что вздрогнут стены и задрезжит посуда на полках. Сверкнет яркими огнями. Как тени, промелькнут в окнах чьи-то лица, цветы на белых столиках большого вагон-ресторана. Блеснут золотом тяжелые желтые ручки, разноцветные стекла. Пронесется белый колпак псвара. Вот тебе и нет уже ничего. Только чуть виден сигнальный фонарь позади последнего вагона.

И никогда, ни разу не останавливался скорый на их маленьком разъезде. Всегда торопится, мчится в какую-то очень далекую страну — Сибирь.

И в Сибирь мчится и из Сибири мчится. Очень, очень беспокойная жизнь у этого скорого поезда.

Сидит Васька у окна и вдруг видит, что идет по дороге Петька, как-то по-необыкновенному важно, а подмышкой какой-то сверток тащит. Ну, настоящий техник или дорожный мастер с портфелем.

Очень удивился Васька. Хотел в форточку закричать: «Куда это ты, Петька, идешь? И что там у тебя в бумаге завернуто?»

Но только он открыл форточку, как пришла мать и заругалась, зачем он с больным горлом на морозный воздух лезет.

Тут с ревом и грохотом промчался скорый. Потом сели обедать, и забыл Васька про Петькино странное хождение.

Однако на другой день видит он, что опять, как вчера, идет Петька по дороге и несет что-то, завернутое в газету. А лицо такое важное, ну прямо как дежурный на большой станции.

Забарабанил Васька кулаком по раме, да мать прикрикнула.

Так и прошел Петька мимо, своей дорогой.

Любопытно стало Ваське: что это с Петькой случилось? То бывало он целыми днями или собак гоняет, или над маленькими командует, или от Сережки улепетывает, а тут идет важный, и лицо что-то уж очень гордое.

Вот Васька откашлялся потихоньку и говорит спокойным голосом:

— А у меня, мама, горло перестало болеть.

— Ну и хорошо, что перестало.

— Совсем перестало. Ну даже нисколько не болит. Скоро и мне гулять можно будет.

— Скоро можно, а сегодня сиди, — ответила мать, — ты ведь еще утром похрипывал.

— Так то утром, а сейчас уже вечер, —

возразил Васька, придумывая, как бы попать на улицу.

Он походил молча, выпил воды и тихонько запел песню. Он запел ту, которую слышал летом от приезжих комсомольцев, о том, как под частыми разрывами гремучих гранат очень геройски сражался отряд коммунаров. Собственно, петь ему не хотелось, и пел он с тайной мыслью, что мать, услышав его пение, поверит в то, что горло у него уже не болит, и отпустит на улицу. Но так как занятая на кухне мать не обращала на него внимания, то он запел погромче о том, как коммунары попали в плен к злобному генералу и какие он готовил им мученья.

Когда и это не помогло, он во весь голос запел о том, как коммунары, не испугавшись обещанных мучений, начали копать глубокую могилу.

Пел он не то чтобы очень хорошо, но зато очень громко, и так как мать молчала, то Васька решил, что ей понравилось пение и, вероятно, она сейчас же отпустит его на улицу.

Но едва только он подошел к самому торжественному моменту, когда окончившие свою работу коммунары дружно принялись обличать проклятого генерала, как мать перестала громыхать посудой и просунула в дверь рассерженное и удивленное лицо.

— И что ты, идол, разорался? — закричала она. — Я слушаю, слушаю... Думаю, или он с ума спятил? Орет, как Марьян козел, когда заблудится.

Обидно стало Ваське, и он замолчал. И не то обидно, что мать сравнила его с Марьяным козлом, а то, что понапрасну он только старался и на улицу его все равно сегодня не пустят.

Насупившись, он забрался на теплую печку. Положил под голову овчинный полубок и под ровное мурлыканье рыжего кота Ивана Ивановича задумался над своей печальной судьбой.

Скучно! Школы нет. Пионеров нет. Скорый поезд не останавливается. Зима не проходит. Скучно! Хотя бы лето скорей наступило! Летом — рыба, малина, грибы, орехи.

И Васька вспомнил о том, как однажды летом, всем на удивление, он поймал на удочку здорового окуня.

Дело было к ночи, и он положил окуня в сени, чтобы утром подарить его матери. А за ночь в сени прокрался негодный кот Иван Иванович и сожрал окуня, оставив только голову да хвост.

Вспомнив об этом, Васька с досадой ткнул Ивана Ивановича кулаком и сказал сердито:

— В другой раз за такие дела голову сверну!

Рыжий кот испуганно подпрыгнул, сердито мяукнул и лениво спрыгнул с печки. А Васька полежал-полежал, да и уснул.

На другой день горло прошло, и Ваську отпустили на улицу.

За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые острые сосульки. Подул влажный, мягкий ветер. Весна была недалекой.

Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька и сам навстречу идет.

— И куда ты, Петька, ходишь? — спросил Васька. — И почему ты, Петька, ко мне ни разу не зашел? Когда у тебя заболел живот, то я к тебе зашел, а когда у меня горло, то ты не зашел.

— Я заходил, — ответил Петька. — Я подошел к дому, да вспомнил, что мы с тобой недавно ваше ведро в колодце утопили. Ну, думаю, сейчас Васькина мать меня ругать начнет. Постоял, постоял, да и раздумал заходить.

— Эх, ты! Да она уже давно отругалась и позабыла, а ведро батька из колодца еще позавчера достал. Ты вперед обязательно заходи... Что это за штуковина у тебя в газету завернута?

— Это не штуковина. Это книги. Одна книга для чтения, другая книга — арифметика. Я уже третий день с ними хожу к Ивану Михайловичу. Читать-то я умею, а писать нет и арифметику нет. Вот он меня и учит. Хочешь, я тебе сейчас задам арифметику? Ну вот, ловили мы с тобой рыбу. Я поймал десять рыб, а ты три рыбы. Сколько мы вместе поймали?

— Что же это я как мало поймал? — обиделся Васька. — Ты десять, а я три.

А помнишь, какого окуня я в прошлое лето выудил? Тебе такого и не выудить.

— Так ведь это же арифметика, Васька.

— Ну и что ж, что арифметика? Все равно мало. Я три, а он десять. У меня на удилище поплавок настоящий, а у тебя пробка, да и удилище-то у тебя кривое...

— Кривое? Вот так сказал! Отчего же это оно кривое? Просто скривилось немного, так я его уже давно выпрямил. Ну ладно, я поймал десять рыб, а ты семь.

— Почему же это я семь?

— Как почему? Ну, не клюет больше, вот и все.

— У меня не клюет, а у тебя почему-то клюет? Очень какая-то дурацкая арифметика.

— Экий ты, право! — вздохнул Петька. — Ну, пускай я десять рыб поймал и ты десять. Сколько всего будет?

— А много, пожалуй, будет, — ответил, подумав, Васька.

— «Много!» Разве так считают? Двадцать будет, вот сколько. Я теперь каждый день к Ивану Михайловичу ходить буду, он меня и арифметике научит и писать научит. А то что! Школы нет, так неученым дураком сидеть, чтс ли...

Обиделся Васька:

— Когда ты, Петька, за грушами лазил да упал и руку свихнул, то я тебе домой из лесу свежих орехов принес, да две железные гайки, да живого ежа. А когда у меня горло заболело, то ты без меня живо к Ивану Михайловичу пристроился. Ты, значит, будешь ученый, а я просто так? А еще товарищ...

Почувствовал Петька, что Васька правду говорит и про орехи и про ежа. Покраснел он, отвернулся и замолчал.

Так помолчали они, постояли. И хотели уже разойтись поссорившись. Да только вечер был уж очень хороший, теплый. И весна была близко, и по улицам маленькие ребятки дружно плясали возле рыхлой снежной бабы...

— Давай ребяткам из санок поезд сделаем, — неожиданно предложил Петька. — Я буду паровозом, ты — машинистом, а они — пассажирами. А завтра пойдем вместе к Ивану Михайловичу и попросим.

Он добрый, он и тебя тоже научит. Хорошо, Васька?

— Еще бы плохо!

Так и не поссорились ребята, а еще крепче подружились. Весь вечер играли и катались с маленькими. А утром отправились к доброму человеку, к Ивану Михайловичу.

2

Васька с Петькой шли на урок. Вредный Сережка выскочил из-за калитки и заорал:

— Эй, Васька! А ну-ка сосчитай. Сначала я тебе три раза по шее стукну, а потом еще пять, сколько это всего будет?

— Пойдем, Петька, поколотим его, — предложил обидевшийся Васька. — Ты один раз стукнешь, да я один раз. Вдвоем мы справимся. Стукнем по разу, да и пойдем.

— А потом он нас поодиночке поймает да вздует, — ответил более осторожный Петька.

— А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе. Ты вместе, и я вместе. Давай, Петька, стукнем по разу, да и пойдем.

— Не надо, — отказался Петька. — А то во время драки книжки изорвать можно. Лето будет, тогда мы ему зададим. И чтоб не дразнился и чтоб из нашей нырётки рыбы не вытаскивал.

— Все равно будет вытаскивать! — вздохнул Васька.

— Не будет. Мы в такое место нырётку закинем, что он никак не найдет.

— Найдет, — уныло возразил Васька. — Он хитрый, да и «кошка» у него хорошая, острая.

— Что ж, что хитрый! Мы и сами теперь хитрые. Тебе уже восемь лет и мне восемь — значит, вдвоем нам сколько?

— Шестнадцать, — сосчитал Васька.

— Ну вот, нам шестнадцать, а ему девять. Значит, мы хитрее.

— Почему же шестнадцать хитрей, чем девять? — удивился Васька.

— Обязательно хитрей. Чем человек старей, тем он хитрей. Возьми-ка ты Павлика Припрыгина. Ему четыре года, — какая же у него хитрость? У него что хочешь выпросить или стянуть можно. А возьми-ка ты

хуторского Данилу Егоровича. Ему пятьдесят лет, и хитрей его не найдешь. На него налогу двести пудов наложили, а он поставил мужикам водки, они ему спяна-то какую-то бумагу и подписали. Пошел он с этой бумагой в район, ему полтора пуда и скостили.

— А люди не так говорят, — перебил Васька. — Люди говорят, что он хитрый не оттого, что старый, а оттого, что кулак. Как по-твоему, Петька, что это такое кулак? Почему один человек — как человек, а другой человек — как кулак?

— Богатый, вот и кулак. Ты вот бедный, так ты и не кулак. А Данила Егорович — кулак.

— Почему же это я бедный? — удивился Васька. — У нас батька сто тридцать семь рублей получает. У нас поросенок есть, да коза, да четыре курицы. Какие же мы бедные? У нас отец рабочий человек, а не какой-нибудь вроде пропашего Епифана, который Христа-ради побирается.

— Ну, пусть ты не бедный. Так у тебя отец сам работает, и у меня сам, и у всех сам. А у Данилы Егоровича на огороде летом четыре девки работали, да еще какой-то племянник приезжал, да еще какой-то будто бы свояк, да пьяный Ермолай сад сторожить нанимался. Помнишь, как тебя Ермолай крапивой отжучил, когда мы за яблоками лазили? Ух, и орал ты тогда! А я сижу в кустах и думаю: вот здорово Васька орет — не иначе, как Ермолай его крапивой жучит.

— Ты-то хорош, — нахмурился Васька. — Сам убежал, а меня оставил.

— Неужели дожидаться? — хладнокровно ответил Петька. — Я, брат, через забор, как тигр, перескочил. Он, Ермолай, успел меня всего только два раза хворостиной по спине протянуть. А ты копался, как индюк, вот тебе и попало.

Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешел Иван Михайлович на бронированный.

Петька и Васька много разных паровозов видели. Знали они и паровоз системы «С» — высокий, легкий, быстрый, тот, что носится со скорым поездом в далекую страну — Сибирь. Видали они и огромные трехцилиндровые паровозы «М» — те, что могли тянуть тяжелые, длинные составы на крутые подъемы, и неуклюжие маневровые «О», у которых и весь путь-то только от входного семафора до выходного. Всякие паровозы видали ребята. Но вот такого паровоза, какой был на фотографии у Ивана Михайловича, они не видали еще никогда. И паровоза такого не видали и вагонов не видали тоже.

Трубы нет. Колес не видно. Тяжелые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон узкие продольные щели, из которых торчат пулеметы. Крыши нет. Вместо крыши низкие круглые башни, и из тех башен выдвинулись тяжелые жерла артиллерийских орудий.

И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных желтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стекол. Весь бронепоезд, тяжелый, широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серозеленый цвет.

И никого не видно: ни машиниста, ни кондукторов с фонарями, ни главного со свистком.

Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулеметов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но все это закрыто, все спрятано, все молчит.

Молчит до поры до времени. Но вот прокрадется без гудков, без свистков бронепоезд ночью туда, где близок враг, или вырвется на поле, туда, где идет тяжелый бой красных с белыми. Ах, как резанут тогда из темных щелей гибельные пулеметы! Ух, как грохнут тогда из повсрачивающихся башен залпы проснувшихся могучих орудий!

И вот однажды в бою ударил в упор очень тяжелый снаряд по бронированному поезду. Прорвал снаряд обшивку и осколками оторвал руку военному машинисту Ивану Михайловичу.

С той поры Иван Михайлович уже не

машинист. Получает он пенсию и живет в городе у старшего сына — токаря в паровозных мастерских. А на разъезд он приезжает в гости к своей сестре. Есть такие люди, которые поговаривают, что Ивану Михайловичу не только оторвало руку, но и зашибло снарядом голову, и что от этого он немного... ну, как бы сказать, не то что большой, а так, странный какой-то.

Однако ни Петька, ни Васька таким зловредным людям нисколько не верили, потому что Иван Михайлович был очень хороший человек. Одно только: курил Иван Михайлович уж очень много, да чуть-чуть вздрагивали у него густые брови, когда рассказывал он что-нибудь интересное про прежние года, про тяжелые войны, про то, как их белые начали да как их красные окончили.

А весна прорвалась как-то сразу. Что ни ночь — то теплый дождик, что ни день — то яркое солнце. Снег таял быстро, как куски масла на сковороде.

Хлынули ручьи, взломало на Тихой речке лед, распушилась верба, прилетели грачи и скворцы. И все как-то разом. Пошел всего десятый день, как нагрелась весна, а снегу уже нисколько, и грязь на дороге подсохла.

Вот однажды после урока, когда хотели ребята бежать на речку, чтобы посмотреть, намного ли спала вода, Иван Михайлович попросил:

— А что, ребята, не сбегаете ли в Алешино? Мне бы Егору Михайлову записку передать надо. Отнесите ему доверенность с запиской. Он за меня в городе пенсию получит и сюда привезет.

— Мы сбегает, — живо ответил Васька. — Мы очень даже быстро сбегает, прямо как кавалерия.

— Мы знаем Егора, — подтвердил Петька. — Это тот Егор, который председатель? У него ребята есть: Пашка да Машка. Мы в прошлом году с его ребятами в лесу малину собирали. Мы по целому лукошку набирали, а они — чуть на доньшке, потому что малы еще и никак вперед нас не поспеют...

— Вот к нему и сбегайте, — сказал Иван Михайлович. — Мы с ним старые друзья. Когда я на броневике машинистом был, он, Егор, еще молодой тогда парнишка, кочегаром у меня работал. Когда прорвало снарядом обшивку и отхватило мне осколком руку, мы вместе были. После взрыва я еще минуту-другую в памяти оставался. Ну, думаю, пропало дело. Парнишка еще несмышленый, машину почти не знает. Один остался на паровозе. Разобьет он и погубит весь броневик. Двинулся я, чтобы задний ход дать и машину из боя вывести. А в это время от командира сигнал: «Полный вперед!» Оттолкнул меня Егор в угол на кучу обтирочной пакли, а сам как рванется к рычагу: «Есть полный ход вперед!» Тут закрыл я глаза и думаю: «Ну, пропал броневик».

Очнулся, слышу — тихо. Бой окончился. Глянул — рука у меня рубахой перевязана. А сам Егорка полуголый... Весь мокрый, губы запеклись, на теле — ожоги. Стоит он и шатается — вот-вот упадет.

Целых два часа один в бою машиной управлял. И за кочегара, и за машиниста, и со мной возился за лекаря.

Брови Ивана Михайловича вздрогнули, он замолчал и покачал головой, то ли над чем задумавшись, то ли что-то припоминающая. А ребята молча стояли, ожидая, не расскажет ли Иван Михайлович еще чего-нибудь, и удивлялись очень, что Пашкин и Машкин отец, Егор, оказался таким героем, потому что он вовсе не был похож на тех героев, которых видели ребята на картинках, висевших в красном уголке на разъезде. Те герои рослые, и лица у них гордые, а в руках у них красные знамена или сверкающие сабли. А Пашкин да Машкин отец был невысокий, лицо у него было в веснушках, глаза узкие, прищуренные. Носил он простую черную рубаху и серую клетчатую кепку. Одно только, что упрямый был и если уж что заладит, то так и не отстанет, пока своего не добьется.

Об этом ребята и в Алешине от мужиков слышали и на разъезде слышали тоже.

Иван Михайлович написал записку, дал ребятам по лепешке, чтобы в дороге не проголодались. И Васька с Петькой, сло-

мав по хлыстику из налившегося соком ра-
китника, подхлестывая себя по ногам,
дружным галопом понеслись под горку.

3

Проезжей дорогой в Алешино — девять
километров, а прямой тропкой — всего
пять.

Возле Тихой речки начинается густой
лес. Этот лес без конца-края тянется куда-
то очень далеко. В том лесу — озера, в ко-
торых водятся крупные, блестящие, как
начищенная медь, караси, но туда ребята
не ходят: далеко, да и заблудиться в бо-
лоте нетрудно. В том лесу много малины,
грибов, орешника. В крутых оврагах, по
руслу которых бежит из болота Тихая реч-
ка, по прямым скатам из яркочерной гли-
ны водятся в норах ласточки. В кустарни-
ках прячутся ежи, зайцы и другие безобид-
ные зверюшки. Но дальше, за озерами, в
верховьях реки Синявки, куда зимой уез-
жают мужики рубить для сплава строевой
лес, встречали лесорубы волков и однажды
наткнулись на старого, облезлого медведя.

Вот какой замечательный лес широко
раскинулся в тех краях, где жили Петька
и Васька! И по этому, то по веселому, то
по угрюмому, лесу с пригорка на приго-
рок, через ложбинки, через жердочки по-
перек ручьев бодро бежали ближней троп-
кой посланные в Алешино ребята.

Там, где тропка выходила на проезжую
дорогу, в одном километре от Алешина,
стоял хутор богатого мужика Данилы Его-
ровича.

Здесь запыхавшиеся ребяташки остано-
вились у колодца напиться.

Данила Егорович, который тут же поил
двух сытых коней, спросил у ребят, откуда
они да зачем бегут в Алешино. И ребята
охотно рассказали ему, кто они такие и
какое у них в Алешине дело до председа-
теля Егора Михайлова.

Они поговорили бы с Данилой Егорови-
чем и подольше, потому что им было любо-
пытно посмотреть на такого человека, про
которого люди поговаривают, что он кулак,
но тут они увидели, что со двора выходят
к Даниле Егоровичу три алешинских кре-

стьянина, а позади них идет хмурый и
злой, вероятно с похмелья, Ермолай. Заме-
тив Ермолая, того самого, который отжу-
чил однажды Ваську крапивой, ребята
двинулись от колодца рысью и вскоре очу-
тились в Алешине, на площади, где собрал-
ся народ для какого-то митинга.

Но ребята, не задерживаясь, побежали
дальше, на окраину, решив на обратном
пути от Егора Михайлова разузнать, поче-
му народ и что это такое интересное зате-
вается.

Однако дома у Егора они застали толь-
ко его ребяташек — Пашку да Машку. Это
были шестилетние близнецы, очень друж-
ные между собой и очень похожие друг
на друга.

Как и всегда, они играли вместе. Пашка
строгал какие-то чурочки и планочки, а
Машка мастерила из них на песке, как по-
казалось ребятам, не то дом, не то коло-
дец.

Впрочем, Машка объяснила им, что это
не дом и не колодец, а сначала был трак-
тор, теперь же будет аэроплан.

— Эх, вы! — сказал Васька, бесцеремо-
нно тыкая в аэроплан ракитовым хлысти-
ком. — Эх, вы, глупый народ! Разве аэро-
план из щепок делают? Их делают совсем
из другого. Где ваш отец?

— Отец на собрание пошел, — добро-
душно улыбаясь, ответил несколько не оби-
девшийся Пашка.

— Он на собрание пошел, — поднимая
на ребят голубые, чуть-чуть удивленные
глаза, подтвердила Машка.

— Он пошел, а дома только бабка ле-
жит на печи и ругается, — добавил Пашка.

— А бабка лежит и ругается, — поясни-
ла Машка. — И когда папанька уходил,
она тоже ругалась. Чтобы, говорит, ты
сквозь землю провалился со своим колхо-
зом.

И Машка обеспокоенно посмотрела в ту
сторону, где стояла изба и где лежала не-
добрая бабка, которая хотела, чтобы отец
провалился сквозь землю.

— Он не провалится, — успокоил ее
Васька. — Куда же он провалится? Ну,
топни сама ногами о землю, и ты, Пашка,
тоже топни. Да сильней топайте! Ну вот,

не провалились? А ну, еще покрепче топайте!

И, заставив несмышленных Пашку и Машку усердно топать, пока те не запыхались, довольные своей озорной выдумкой ребяташки отправились на площадь, где уже давно началось беспокойное собрание.

— Вот так дела! — сказал Петька, после того как потолкались они среди собравшегося народа.

— Интересные дела, — согласился Васька, усаживаясь на край толстого, пахнущего смолою бревна и доставая из-за пазухи кусок лепешки.

— Ты куда было пропал, Васька?

— Напиться бегал. И что это так разошлись мужики? Только и слышно: колхоз да колхоз. Одни ругают колхоз, другие говорят, что без колхоза никак нельзя. Мальчишки и то схватываются. Ты знаешь Федьку Галкина? Ну, рябой такой.

— Знаю.

— Так вот. Я пить бегал и видел, как он сейчас с каким-то рыжим подрался. Тот, рыжий, выскочил, да и запел: «Федька-колхоз — поросячий нос». А Федька рассердился, и началась у них драка. Я уж тебя крикнуть хотел, чтобы ты посмотрел, как они дерутся. Да тут какая-то горбатая бабка гусей гнала и обоих мальчишек хвостинкой огрела — ну, они и разбежались.

Васька посмотрел на солнце и забеспокоился.

— Пойдем, Петька, отдадим записку. Пока добежим домой, уж вечер будет. Как бы не попало дома.

Прогалкиваясь через толпу, увертливые ребята добрались до груды бревен, возле которых за столом сидел Егор Михайлов.

Пока приезжий человек, забравшись на бревно, объяснял крестьянам, какая выгода итти в колхоз, Егор негромко, но настойчиво убеждал в чем-то наклонившихся к нему двух членов сельсовета. Те покачивали головами, а Егор, повидимому сердитый на них за их нерешительность, еще упорней доказывал им что-то вполголоса, стыдил их.

Когда озабоченные члены сельсовета отошли от Егора, Петька молча сунул ему доверенность и записку.

Егор развернул бумажку, но не успел прочитать, потому что на сваленные бревна влез новый человек, и в этом человеке ребята узнали одного из тех мужиков, с которыми они встретились у колодца на хуторе Данилы Егоровича.

Этот мужик говорил, что колхоз — это, конечно, дело новое и что сразу всем в колхоз соваться нечего. Записались сейчас в колхоз десять хозяйств, ну и пусть работают. Ежели у них пойдет дело, то и другим вступить не поздно будет, а если дело не пойдет, тогда, значит, в колхоз итти нет расчета и нужно работать по-старому.

Он говорил долго, и, пока он говорил, Егор Михайлов все еще держал развернутую записку, не читая. Он щурил узкие рассерженные глаза и, насторожившись, внимательно вглядывался в лица слушающих крестьян.

— Подкулачник, — с ненавистью сказал он, теребя пальцами сунутую ему записку.

Тогда Васька, опасаясь, как бы Егор нечаянно не скомкал доверенность Ивана Михайловича, тихонько дернул председателя за рукав.

— Дяденька Егор, прочти, пожалуйста. А то нам домой бежать надо.

Егор быстро прочитал записку и сказал ребятам, что все сделает, что в город он поедет как раз через неделю, а до тех пор обязательно сам зайдет к Ивану Михайловичу. Он хотел еще что-то добавить, но тут мужик окончил свою речь, и Егор, сжимая в руке свою клетчатую кепку, вскочил на бревно и начал говорить быстро и резко.

А ребята, выбравшись из толпы, помчались по дороге на разъезд.

Пробегая мимо хутора, они не заметили ни Ермолая, ни свояка, ни племянника, ни хозяйки — должно быть, все были на собрании. Но сам Данила Егорович был дома. Он сидел на крыльце, курил старую кривую трубку, на которой была вырезана чья-то смеющаяся рожа, и казалось, что он был единственным человеком в Алешине, которого не смущало, не радовало и не задевало новое слово — колхоз.

Пробегая берегом Тихой речки через кусты, ребята услышали всплеск, как будто кто-то бросил в воду тяжелый камень.

Осторожно подкравшись, они увидели Сережку, который стоял на берегу и смотрел туда, откуда по воде расплывались ровные круги.

— Нырётку забросил, — догадались ребята и, хитро переглянувшись, тихонько поплыли назад, запоминая на ходу это место.

Они выбрались на тропку и, обрадованные необыкновенной удачей, еще быстрее припустились к дому, тем более что слышно было, как загрохотало по лесу эхо от скорого поезда: значит, было уже пять часов. Значит, Васькин отец, свернув зеленый флаг, входил уже в дом, а Васькина мать уже доставала из печи горячий обеденный горшок.

Дома тоже зашел разговор про колхоз. А разговор начался с того, что мать, уже целый год откладывая деньги на покупку коровы, еще с зимы присмотрела у Данилы Егоровича годовалую телку и к лету надеялась выкупить ее и пустить в стадо. Теперь же, прослышав про то, что в колхоз будут принимать только тех, кто перед вступлением не будет резать или продавать на сторону скотину, мать забеспокоилась о том, что, вступая в колхоз, Данила Егорович ответит туда телку, и тогда ищи другую, а где такую найдешь?

Но отец был человек толковый, он читал каждый день железнодорожную газету «Гудок» и понимал, что к чему идет.

Он засмеялся над матерью и объяснил ей, что Данилу Егоровича ни с телкой, ни без телки к колхозу и на сто шагов подпускать не полагается, потому что он кулак. А колхозы — они на то и создаются, чтобы можно было жить без кулаков. И что когда в колхоз войдет все село, тогда и Даниле Егоровичу, и мельнику Петунину, и Семену Загребину придет крышка, то есть рушатся все их кулацкие хозяйства.

Однако мать напомнила о том, как с Данилы Егоровича в прошлом году списали полтора пуда налога, как его побивают мужики и как почему-то все выходит так, как ему нужно. И она сильно усомнилась в том, чтобы хозяйство у Данилы Егоровича рушилось, а даже, наоборот, высказала опасение, как бы не ру-

шился сам колхоз, потому что Алешино — деревня глухая, кругом лес да болота, научиться по-колхозному работать не у кого и помощи от соседей ждать нечего.

Отец покраснел и сказал, что с налогом — это дело темное и не иначе, как Данила Егорович кому-то очки втер да кого-то обжулил, а ему не каждый раз пройдет, и что за такие дела недолго попасть куда следует. Но заодно он обругал и тех дураков из сельсовета, которым Данила Егорович скрутил голову, и сказал, что если бы это случилось теперь, когда председателем Егор Михайлов, то при нем такого безобразия не получилось бы.

Пока отец с матерью спорили, Васька съел два куска мяса, тарелку шей и будто бы нечаянно запихал в рот большой кусок сахара из сахарницы, которую мать поставила на стол, потому что отец сразу же после обеда любил выпить стакан другой чаю. Однако мать, не поверив в то, что он это сделал нечаянно, турнула его из-за стола, и он, захныкав больше по обычаю, чем от обиды, полез на теплую печку к рыжему коту Ивану Ивановичу и, по обыкновению, очень скоро задремал.

То ли ему это приснилось, то ли он правда слышал сквозь дрему, а только ему показалось, что отец рассказывал про какой-то новый завод, про какие-то постройки, про каких-то людей, которые ходят и чего-то ищут по оврагам и по лесу, и будто бы мать все удивлялась, все не верила, все ахала да охала.

Потом, когда мать стащила его с печки, разделала и положила спать на лежанку, ему приснился настоящий сон: будто бы в лесу горит очень много огней, будто бы по Тихой речке плывет большой, как в синих морях, пароход и еще будто бы на том пароходе уплывает он с товарищем Петькой в очень далекие и очень прекрасные страны...

✠

Дней через пять после того, как ребята бегали в Алешино, после обеда, они украдкой направились к Тихой речке, чтобы по-

смотреть, не попалась ли в их нырётку рыба.

Добравшись до укромного места, они долго шарили по дну «кошкой», то есть маленьким якорем из выгнутых гвоздей. Чуть не оборвали бечеву, зацепивши крючьями за тяжелую корягу. Вытащили на берег целую кучу скользких, пахнувших тиной водорослей. Однако нырётки не было.

— Ее Сережка утащил! — захныкал Васька. — Я тебе говорил, что он нас выследит. Вот он и выследил. Я тебе говорил: давай на другое место закинем, а ты не хотел.

— Так ведь это и есть уже другое место, — рассердился Петька. — Ты же сам это место выбрал, а теперь все на меня сваливаешь. Да не хныкай ты, пожалуйста. Мне и самому жалко, а я не хныкаю.

Васька притих, но не надолго.

А Петька предложил:

— Помнишь, когда мы в Алешино бежали, то Сережку у речки возле обгорелого дуба видели? Пойдем туда да пошарим. Может быть, его нырётку вытащим. Он — нашу, а мы — его. Пойдем, Васька. Да не хныкай ты, пожалуйста, — такой здоровый и толстый, а хныкает. Почему я никогда не хныкаю? Помнишь, когда меня сразу три пчелы за босую ногу ухватили, и то я не хныкал.

— Вот так не хныкал! — насупившись, ответил Васька. — Как заревел тогда, я даже лукошко с земляничкой с перепугу выронил.

— Ничего не заревел. Ревут — это когда слезы катятся, а я просто заорал, потому что испугался, да и больно. Поорал три секунды и перестал. А вовсе нисколько не ревел и не хныкал. Бежим, Васька!

Добравшись до берега, что возле обгорелого дуба, они долго обшаривали дно.

Возились-возились, устали, забрызгались, но ни своей, ни Сережкиной нырётки не нашли.

Тогда, огорченные, они уселись на бугорок под кустом распускающейся вербы и, посоветовавшись, решили с завтрашнего же дня начать за Сережкой хитрую слежку, чтобы найти то место, куда он ходит перекидывать обе нырётки.

Чьи-то шаги, правда еще далекие, заставили ребятишек насторожиться, и они проворно нырнули в гущу куста.

Однако это был не Сережка. По тропке из Алешина неторопливо шли двое крестьян. Один — незнакомый и, кажется, недавний. Другой — дядя Серафим, небогатый алешинский мужик, на которого часто валились всякие несчастья: то у него лошадь околела, то у него рожь кони вытоптали, то у него крыша сарая обвалилась и задавила поросенка да гусенка. И так каждый год что-нибудь с дядей Серафимом случалось.

Был он крепко трудящимся, но неудачливым и запуганным неудачами мужиком.

Дядя Серафим нес на разъезд рыжие охотничьи сапоги, на которые он накладывал заплаты за два целковых, обещанных ему Васькиным отцом.

Оба мужика шли и ругали Данилу Егоровича. Ругал его тот, который был незнакомый, не алешинский, а дядя Серафим слушал и уныло поддакивал.

За что незнакомый ругал Данилу Егоровича, этого ребята толком не поняли. Выходило как-то так, что Данила Егорович что-то купил у мужика по дешевой цене и обещал мужику уступить в долг три мешка овса, а когда мужик приехал, то Данила Егорович заломил такую цену, какой и в городе-то на базаре нет, и говорил, что это еще божеская цена, потому что к севу овес поднимется еще вполтину.

Когда оба хмурых крестьянина прошли мимо, ребятишки выбрались из кустов и опять уселись на теплый зеленеющий бугор. Вечерело. От речки потянуло сыростью и запахом прибрежного раkitника. Куковала кукушка, и в красных лучах солнца кружилась кучками мелкая, как пыль, бесшумная весенняя мошкара.

Но вот среди тишины, сначала далекий и тихий, как жужжание пчелиного роя, послышался из-за розовых облаков странный гул.

Потом, оторвавшись от круглого толстого облака, сверкнула в небе светлая, как будто серебряная, точка. Она все увеличивалась. Вот уже у нее обозначились две

пары распластанных крыльев... Вот уже вспыхнули на крыльях две пятиконечные звездочки...

И весь аэроплан, могучий и красивый, быстрее, чем самый быстрый паровоз, но легче, чем самый быстролетный степной орел, с веселым рокотом сильных моторов плавно пронесся над темным лесом, над пустынным разездом и над Тихой речкой, у берега которой сидели ребяташки.

— Далеко полетел! — тихо сказал Петька, не отрывая глаз от удаляющегося аэроплана.

— В дальние страны! — сказал Васька и вспомнил недавний хороший сон. — Они, аэропланы, всегда летают только в дальние. В ближние что? В ближние и на лошади можно доехать. Аэропланы — в дальние. Мы, когда вырастем, Петька, то тоже — в дальние. Там есть и города, и огромные заводы, и большие вокзалы. А у нас нет.

— У нас нет, — согласился Петька. — У нас только один разезд да Алешино, да больше ничего...

Ребяташки замолчали и, удивленные и обеспокоенные, подняли головы. Гул опять усиливался. Сильная стальная птица возвращалась, опускаясь все ниже. Теперь уже были видны маленькие колеса и светлый, блестящий диск сверкающего на солнце пропеллера.

Точно играя, машина скользнула, накрываясь на левое крыло, завернула и сделала несколько широких кругов над лесом, над алешинскими лугами, над Тихой речкой, на берегу которой стояли изумленные и обрадованные мальчуганы.

— А ты... а ты говорил: только в дальние, — волнуясь и запинаясь, сказал Петька. — Разве же у нас дальние?

Машина опять взвилась кверху и вскоре исчезла, только изредка мелькая в просветах между толстыми розовыми тучами.

«И зачем он над нами кружился?» думали ребята, торопливо пробираясь к разезду, чтобы поскорей рассказать, что они видели.

Они были заняты догадками, зачем прилетал аэроплан и что он высматривал, и почти не обратили внимания на одинокий

выстрел, глухо раздавшийся где-то далеко позади них.

Вернувшись домой, Васька еще застал дядю Серафима, которого угощали чаем.

Дядя Серафим рассказывал про алешинские дела. В колхоз пошло полдеревни. Вошло и его хозяйство. Остальная половина выжидала, что будет. Собрали паевые взносы и три тысячи на акции Трактороцентра. Но сеять будет в эту весну каждый на своей полосе, потому что земля колхозу к одному месту еще не выделена.

Успели выделить только покос на левом берегу Тихой речки.

Однако и тут случилось неладное. У мельника Петунина прорвало плотину, и вода вся ушла, не разлившись по протокам левого берега. От этого трава должна быть плохая, потому что луга заливные и хороший урожай на них бывает только после большой воды.

— У Петунина прорвало? — недоверчиво переспросил отец. — Что это у него раньше не прорывало?

— А кто его знает, — уклончиво ответил дядя Серафим. — Может, вода прорвала, а может, и еще как.

— Жулик этот Петунин, — сказал отец. — Что он, что Данила Егорович, что Семен Загребин — одна компания. Ну, как они, сердятся?

— Да как сказать, — ответил хмурый дядя Серафим. — Данила — тот ходит, как бы его не касается. Ваше, говорит, дело. Хотите — в колхоз, хотите — в совхоз. Я тут ни при чем. Петунин — мельник — тот действительно озлобился. Скрывает, а видеть, что озлобился. В колхозный луг и его участок попал. А какой у него участок? Ха-а-роший участок!

Ну, а Загребин? Сам знаешь Загребина. У этого все шуточки да прибауточки. Недавно по почте плакаты прислали и лозунги разные. Ну вот, сторож Бочаров пошел их по деревне расклеивать. Где к забору, где к стене приклеит. Проходит он мимо избы Загребина и сомневается: вешать или не вешать! Как бы хозяин не заругался. А Загребин вышел из ворот и смеется: «Что же не вешаешь? Эх, ты, колхозная голова! Другим праздник, а мне будни,

что ли?» Взял два самых больших плаката, да и повесил.

— Ну, а Егор Михайлов как? — спросил отец.

— Егор Михайлов? — ответил дядя Серафим, отодвигая допитый стакан. — Егор — крепкий человек, да что-то про него много неладного болтают.

— Что болтают?

— Вот, к примеру, говорят, что когда он два года в отлучке был, то будто его откуда-то прогнали за плохие дела. Будто бы чуть под суд не отдали. То ли у него с деньгами что-то неладное вышло, то ли еще как.

— Зря болтают, — уверенно возразил Васькин отец.

— Надо бы думать, что зря. А еще болтают, — тут дядя Серафим покосился на Васькину мать и на Ваську, — будто бы в городе у него эта самая есть... ну, невеста, что ли, — добавил он после некоторой заминки.

— Ну и что же, что невеста? Пускай женится. Он вдовый. Пашке да Машке мать будет.

— Городская, — с усмешкой пояснил дядя Серафим. — Барышня там или еще как. Ей богатого нужно, а у него какое жалование?.. Ну, я пойду, — сказал дядя Серафим поднимаясь. — Спасибо за угощение.

— Может быть, ночевать останешься? — предложили ему. — А то, гляди, темень какая. По проселку итти придется. Тропкой-то в лесу еще заплутаешься.

— Не заплутаю, — отозвался дядя Серафим. — По этой тропке в двадцатом с партизанами ух сколько было исхожено!

Он нахлобучил потрепанную соломенную шляпу с большими обвислыми полями и, заглянув в окно, добавил:

— Эх, звезд сколько повысыпало, да и луна скоро взойдет — светло будет!

5

Ночи были еще прохладные, но Васька, забрав старое ватное одеяло да остатки овчинного тулупа, перебрался спать на сеновал.

Еще с вечера он условился с Петькой,

что тот разбудит его пораньше и они пойдут ловить на червяка плотву.

Но когда проснулся, было уже поздно — часов девять, а Петьки не было. Очевидно, Петька и сам проспал.

Васька позавтракал жареной картошкой с луком, сунул в карман кусок хлеба, посыпанный сахарным песком, и побежал к Петьке, собираясь выругать его сонудей и лодырем.

Однако дома Петьки не было. Васька зашел в дровяной сарай — удилица были здесь. Но Ваську очень удивило то, что они не стояли в углу, на месте, а, точно наспех брошенные кое-как, валялись посреди сарая. Тогда Васька вышел на улицу, чтобы расспросить у маленьких ребятишек, не видали ли они Петьки. На улице он встретил только одного четырехлетнего Павлика Припрыгина, который упорно пытался сесть верхом на большую рыжую собаку. Но едва только он с пыхтеньем и сопеньем поднимал ногу, чтобы оседлать ее, Кудлаха перевертывалась и, лежа кверху брюхом, лениво помахивая хвостом, отталкивала Павлика своими широкими, неуклюжими лапами.

Павлик Припрыгин сказал, что Петьки он не видал, и попросил у Васьки помочь ему взобраться на Кудлаху.

Но Ваське было не до того. Раздумывая, куда бы это мог пропасть Петька, он пошел дальше и вскоре натолкнулся на Ивана Михайловича, читавшего, сидя на завалинке, газету.

Иван Михайлович Петьку не видал тоже. Васька огорчился и сел рядом.

— Прс что это ты, Иван Михайлович, читаешь? — спросил он, заглядывая через плечо. — Ты читаешь, а сам улыбаешься. История какая-нибудь или что?

— Про наши места читаю. Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод. Огромный заводиче. Алюминий — металл такой — из глины добывать будут. Богатые, пишут, места у нас насчет этого алюминия. А мы живем — глина, думаем. Вот тебе и глина!

И как только Васька услышал про это, он тотчас же соскочил с завалинки, чтобы

бежать к Петьке и первым сообщить ему эту удивительную новость. Но, вспомнив, что Петька куда-то пропал, он уселся опять, расспрашивая Ивана Михайловича о том, как будут строить, на каком месте и высокие ли у завода будут трубы.

Где будут строить, этого Иван Михайлович еще и сам не знал, но насчет труб он разъяснил, что их вовсе не будет, потому что завод будет рабстать на электричестве. Для этого хотят построить плотину поперек Тихой речки. Поставят такие турбины, которые будут крутиться от напора воды и вертеть динамомашину, а от этих динамов пойдет по проволокам электрический ток.

Услышав о том, что и Тихую речку собираются перегораживать, изумленный Васька снова вскочил, но, вспомнив опять, что Петьки нет, обозлился на него всерьез.

— И что за дурак! Тут такие дела, а он шляется.

В конце улицы он заметил маленькую шустрюю девчонку, Вальку Шарапову, которая вот уже несколько минут прыгала на одной ноге вокруг колодезного сруба. Он хотел пойти к ней и спросить, не видала ли она Петьку, но его задержал Иван Михайлович.

— Вы когда в Алешино бегали, ребята? В субботу или в пятницу?

— В субботу, — вспомнил Васька. — В субботу, потому что у нас в тот вечер баню топили.

— В субботу. Значит, уже неделя прошла. Что же это Егор Михайлов ко мне не заходит?

— Егор-то? Да он, Иван Михайлович, кажется, еще вчера в город уехал. У нас вечером алешинский дядя Серафим чай пил и говорил, что Егор уже уехал.

— Что же это он не зашел? — с досадой сказал Иван Михайлович. — Обещался зайти и не зашел. А я-то хотел попросить, чтобы он в городе трубку мне купил.

Иван Михайлович сложил газету и пошел в дом, а Васька направился к Вальке спрашивать про Петьку.

Но он совсем позабыл о том, что еще только вчера надавал ей за что-то шлепков, и поэтому он был очень удивлен, ко-

гда, увидев его, бойкая Валька показала ему язык и со всех ног бросилась улепетывать к дому.

Между тем Петька был вовсе неподдающему.

Пока Васька бродил, раздумывая о том, куда исчез его товарищ, Петька сидел в кустах, позади огородов, и с нетерпением ожидал, когда Васька уйдет к себе во двор.

Он не хотел сейчас встречаться с Васькой, потому что за это утро с ним произошел странный и, пожалуй, даже неприятный случай.

Проснувшись рано, как и было условлено, он взял удилыша и направился будить Ваську. Но едва только он высунулся из калитки, как увидел Сережку.

Не было никакого сомнения в том, что Сережка направлялся к реке осматривать нырётки. Не подозревая, что Петька за ним подглядывает, он шел мимо огородов к тропке, на ходу складывая бечевку от железной «кошки».

Петька вернулся во двор, бросил на пол сарая удилыша и побежал вслед за Сережкой, который скрылся уже в кустах.

Сережка шел, весело насвистывая на самодельной деревянной дудочке.

И это было очень на руку Петьке, потому что он мог следовать в некотором отдалении, не подвергаясь опасности быть замеченным и поколоченным.

Утро было солнечное, гомонливое. Всюду лопались почки.

Из земли пробивалась свежая трава. Пахло росой, березовым соком, и на желтых гроздьях цветущих ив дружно жужжали вылетевшие за добычей пчелы.

Оттого, что утро было такое хорошее, и оттого, что он так удачно выследил Сережку, Петьке было весело, и он легко и осторожно пробирался по кривой узенькой тропке.

Так прошло с полчаса, и они приближались к тому месту, где Тихая речка, делая крутой поворот, уходила в овраги.

«Далеко забирается... хитрый», подумал Петька, уже заранее торжествуя при мысли о том, как, захватив «кошку», побегут они с Васькой к реке, выловят и свою и

Сережкину нырётки и перекинут их на такое место, где Сережке их уже и вовек не найти.

Посвистывание деревянной дудки внезапно смолкло.

Петька прибавил шаг. Прошло несколько минут — опять тихо.

Тогда, обеспокоенный, стараясь не топтать, он побежал и, очутившись у поворота, высунул из кустов голову: Сережки не было.

Тут Петька вспомнил, что немного раньше в сторону уходила маленькая тропка, которая вела к тому месту, где Филькин ручей впадал в Тихую речку. Он вернулся к устью ручья, но и там Сережки не было.

Ругая себя за ротозейство и недоумевая, куда это мог скрыться Сережка, он вспомнил и о том, что немного выше по течению Филькина ручья есть маленький пруд. И хотя он никогда не слышал, чтобы в том пруду ловили рыбу, но все же решил сбегать туда, потому что кто его, Сережку, знает! Он такой хитрый, что разыскал что-нибудь и там.

Вопреки его предположениям, пруд оказался не так близко.

Он был очень мал, весь зацвел тиной, и, кроме лягушек, в нем ничего хорошего водиться не могло.

Сережки и тут не было.

Обескураженный Петька отошел к Филькину ручью, напился воды, такой холодной, что больше одного глотка без передышки нельзя было сделать, и хотел итти назад.

Васька, конечно, уже проснулся. Если не говорить Ваське, отчего его не разбудил, то Васька рассердится. А если сказать, то Васька будет насмехаться: «Эх, ты, не уследил! Вот я бы... Вот от меня бы...», и так далее.

И вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть и о Сережке, и о нырётках, и о Ваське.

Вправо, не дальше как в сотне метров, из-за кустов выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска — дым от костра.

Сначала Петька просто испугался. Он быстро пригнулся и опустился на одно колено, настороженно оглядываясь по сторонам.

Было очень тихо. Так тихо, что ясно слышались веселое бульканье холодного Филькина ручья и жужжание пчел, облепивших дупло старой, покрытой мхами березы.

И оттого, что было так тихо, и оттого, что лес был приветлив и озарен пятнами теплого солнечного света, Петька успокоился и осторожно, но уже не из боязни, а просто по хитрой мальчишеской привычке, прячась за кусты, начал подбираться к палатке.

«Охотники? — гадал он. — Нет, не охотники... Зачем они с палаткой приедут? Рыболовы? Нет, не рыболовы — от берега далеко. Но если не охотники и не рыболовы, то кто же?»

«А вдруг разбойники?» подумал он и вспомнил, что в одной старой книге он видел картинку: тоже в лесу палатка; возле той палатки сидят и пируют свирепые люди, а рядом с ними сидит очень худая, печальная красавица и поет им песню, перебирая длинные струны какого-то замысловатого инструмента.

От этой мысли Петьке стало не по себе. Губы его задрожали, он заморгал и хотел было попятиться назад. Но тут в просвете между кустами он увидел натянутую веревку, и на той веревке висели, повидимому еще мокрые после стирки, самые обыкновенные подштанники и две пары синих носков.

И эти сырые подштанники и болтающиеся по ветру носки как-то сразу успокоили его, и мысль о разбойниках показалась ему смешной и глупой. Он пододвинулся ближе. Теперь ему было видно, что ни около палатки, ни в самой палатке никого нет.

Он разглядел два набитых сухими листьями тюфяка и большое серое одеяло. Посреди палатки на разостланном брезенте валялись какие-то синие и белые бумаги, несколько кусков глины и камней, таких, какие часто попадают на берегах Тихой

речки; тут же лежали какие-то тускло поблескивающие и незнакомые Петьке предметы.

Костер слабо дымился. Возле костра стоял большой, перепачканный сажей жестяной чайник. На примятой траве валялась большая белая кость, обглоданная, очевидно, собакой.

Осмелевший Петька подобрался к самой палатке. Прежде всего его заинтересовали незнакомые металлические предметы. Один — треногий, как подставка у заезжавшего в прошлом году фотографа. Другой — круглый, большой, с какими-то цифрами и протянутой поперек круга ниткой. Третий — тоже круглый, но поменьше, похожий на ручные часы, с острой стрелкой.

Он поднял этот предмет. Стрелка колыхнулась, заколебалась и опять стала на место.

«Компас», догадался Петька, припоминая, что про такую штуковину он читал в книжке.

Чтобы проверить это, он обернулся кругом.

Тонкая острая стрелка тоже повернулась и, несколько раз качнувшись, черным концом показала в ту сторону, где на опушке высилась старая раскидистая сосна. Петьке это понравилось. Он обошел вокруг палатки, завернул за куст, завернул за другой и перекрутился на месте десять раз, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва только он остановился, как лениво качнувшаяся стрелка с прежним упорством и настойчивостью зачерненным острием показала Петьке, что ее, сколько ни вертись, все равно не обманешь. «Как живая», подумал восхищенный Петька, сожалея, что у него нет такой замечательной штуки. Он вздохнул, собираясь положить компас на место, но в это самое время от противоположной опушки отделилась огромная лохматая собака и с громким лаем устремилась к нему.

Испуганный Петька взвизгнул и бросился бежать напролом через кусты. Собака с яростным лаем неслась за ним и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по колено в воде перебрался Петька.

Добежав до ручья, который был в этом месте широк, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть.

А Петька, не дожидаясь, пока это случится, понесся вперед, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц.

Он остановился передохнуть только тогда, когда очутился уже на берегу Тихой речки.

Облизывая пересохшие губы, он подошел к реке, напился и, учащенно дыша, тихонько зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо.

Конечно, он не взял бы компаса, если бы не собака.

Но все-таки собака или не собака, а уходило так, что компас-то он украл.

А он знал, что за такие дела его взгреет отец, не похвалит Иван Михайлович да не одобрит, пожалуй, и Васька.

Но так как дело было уже сделано, а возвращаться с компасом назад ему было страшно и стыдновато, он утешил себя тем, что, во-первых, он не виноват, во-вторых, кроме собаки, его никто не видал, а, в-третьих, компас можно спрятать подальше, а когда-нибудь позже, к осени или к зиме, когда никакой уже палатки не будет, сказать, что нашел, и оставить себе.

Вот какими мыслями занят был Петька и вот почему отсиживался он в кустах за огородами и не выходил к Ваське, который с досадой разыскивал его с самого раннего утра.

7

Но, спрятав компас на чердаке дровяного сарая, Петька не побегал искать Ваську, а направился в сад и там задумался над тем, что бы это такое получше соврать.

Вообще-то соврать при случае он был мастер, но сегодня, как назло, ничего правдоподобного придумать не мог. Конечно, он мог бы рассказать только о том, как он неудачно выслеживал Сережку, и не упоминать ни о палатке, ни о компасе.

Но он чувствовал, что у него нехватит терпения смолчать о палатке. Если смол-

чать, то Васька и сам может как-нибудь разузнать и тогда будет хвалиться и зазнаваться: «Эх, ты, ничего не знаешь! Всегда я первый все узнаю...»

И Петька подумал, что если бы не компас и не эта проклятая собака, то все было бы интересней и лучше. Тогда ему пришла очень простая и очень хорошая мысль: а что, если пойти к Ваське и рассказать ему про палатку и про компас? Ведь компас-то он и на самом деле не крал. Ведь во всем виновата только собака. Возьмут они с Васькой компас, сбегают к палатке и положат его на место. А собака? Ну и что же собака? Во-первых, можно взять с собой хлеба или мясную кость и кинуть ей, чтобы не гавкала. Во-вторых, можно взять с собою палки. В-третьих, вдвоем вовсе уж не так страшно.

Он так и решил сделать и хотел сейчас же бежать к Ваське, но тут его позвали обедать, и он пошел с большой охотой, потому что за время своих походов сильно проголодался.

После обеда повидать Ваську тоже не удалось. Мать ушла полоскать белье и заставила его караулить дома маленькую сестренку Еленку.

Обыкновенно, когда мать уходила и оставляла его с Еленкой, он подсовывал ей разные тряпки и чурочки и, пока она возилась с ними, преспокойно убежал на улицу и, только завидев мать, возвращался к Еленке, как будто от нее и не отходил.

Но сегодня Еленка была немного нездорова и капризничала. И когда, всучив ей гусиное перо да круглую, как мячик, картофелину, он направился к двери, Еленка подняла такой рев, что проходившая мимо соседка заглянула в окно и погрозила Петьке пальцем, предполагая, что он устроил сестренке какую-либо каверзу.

Петька вздохнул, уселся рядом с Еленкой на толстое одеяло, разостланное на полу, и унылым голосом начал петь ей веселые песни.

Когда вернулась мать, уже вечерело, и наконец-то освободившийся Петька выскочил из дверей и стал свистать, вызывая Ваську.

— Эх, ты! — укоризненно закричал Васька еще издалека. — Эх, Петька! И где ты, Петька, весь день прошлялся? И почему, Петька, я тебя весь день искал и не нашел?

И, не дожидаясь, пока Петька что-либо ответит, Васька быстро выложил все собранные им за день новости. А новостей у Васьки было много.

Во-первых, возле разъезда будут строить завод. Во-вторых, в лесу стоит палатка, и в той палатке живут очень хорошие люди, с которыми он, Васька, уже познакомился. В-третьих, Сережкин отец выдрал сегодня Сережку, и Сережка выл на всю улицу.

Но ни завод, ни плотина, ни то, что Сережке попало от отца, — ничто так не удивило и не смутило Петьку, как то, что Васька каким-то образом узнал о существовании палатки и первый сообщил о ней ему, Петьке.

— Откуда ты про палатку знаешь? — спросил обиженный Петька. — Я, брат, сам первый все знаю, со мной сегодня история случилась.

— История, история, — перебил его Васька. — Какая у тебя история? У тебя неинтересная история, а у меня интересная. Когда ты пропал, я тебя долго искал. И тут искал, и там искал, и всюду искал. Надоело мне искать. Вот пообедал я и пошел в кусты хлыст срезать. Вдруг навстречу мне идет человек. Высокий, сбоку кожаная сумка, такая, как у красноармейских командиров. Сапоги — как у охотника, но только не везный и не охотник. Увидел он меня и говорит: «Псыди-ка сюда, мальчик». Ты думаешь, что я испугался? Нисколько. Вот подошел я, а он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты, мальчик, сегодня рыбу ловил?» — «Нет, — говорю, — не ловил. За мной этот дурак Петька не зашел. Обещал зайти, а сам куда-то пропал». — «Да, — говорит он, — я и сам вижу, что это не ты. А нет ли у вас другого такого мальчика, немного повыше тебя и волосы рыжеватые?» — «Есть, — говорю, — у нас такой, только это не я, а Сережка, который нашу нырётку украл». — «Вот, вот, — говорит он, — он недалеко от нашей палатки в пруд сетку закидывал. А где он живет?» —

«Идемте, — отвечаю я. — Я вам, дядя, покажу, где он живет».

Идем мы, а я думаю: «И зачем это ему Сережка понадобился? Лучше бы мы с Петькой понадобились».

Пока мы шли, он мне все и рассказал. Их двое в палатке. А палатка повыше Филькина ручья. Они, двое-то эти, такие люди — геологи. Землю осматривают, камни, глину ищут и все записывают, где камни, где песок, где глина. Вот я ему и говорю: «А что если мы с Петькой к вам придем? Мы тоже будем искать. Мы здесь все знаем. Мы в прошлом году такой красивый камень нашли, что прямо-таки удивительно, до чего красный. А к Сережке, — говорю ему, — вы, дядя, лучше бы и не ходили. Он вредный, этот Сережка. Только бы ему драться да чужие нырётки таскать». Ну пришли мы. Он в дом зашел, а я на улице остался. Смотрю, выбегает Сережкина мать и кричит: «Сережка! Сережка! Не видал ли ты, Васька, Сережку?» А я отвечаю: «Нет, не видал. Видел, только не сейчас, а сейчас не видел». Потом тот человек — техник — вышел, я его проводил до леса; и он позволил, чтобы мы с тобой к ним приходили. Вот вернулся Сережка. Его отец и спрашивает: «Ты какую-то вещь в палатке взял?» А Сережка отказывается. Только отец, конечно, не поверил, да и выдрал его. А Сережка как завыл! Так ему и надо. Верно, Петька?

Однако Петьку несколько не обрадовал такой рассказ. Лицо Петьки было хмурое и печальное. После того как он узнал, что за украденный им компас уже выдрали Сережку, он почувствовал себя очень неловко. Теперь было уже поздно рассказывать Ваське о том, как было дело. И, захваченный врасплох, он стоял печальный, растерянный и не знал, что он будет сейчас говорить и как теперь будет объяснять Ваське свое отсутствие.

Но его выручил сам Васька.

Гордый своим открытием, он хотел быть великодушным.

— Ты что нахмурился? Тебе обидно, что тебя не было? А ты бы не убежал, Петька. Раз условились, значит условились. Ну, да ничего, мы завтра вместе пойдем, я же им

сказал: и я приду, и мой товарищ Петька придет. Ты, наверное, к тетке на кордон бегал? Я смотрю: Петьки нет, удилище в сарае. Ну, думаю, наверное он к тетке побегал. Ты там был?

Но Петька не ответил.

Он помолчал, вздохнул и спросил, глядя куда-то мимо Васьки:

— И здорово отец Сережку отлупил?

— Должно быть, уж здорово, раз Сережка так завыл, что на улице слышно было.

— Разве можно бить? — угрюмо сказал Петька. — Теперь не старое время, чтобы бить. А ты «отлупил да отлупил». Обрадовался! Если бы тебя отец отлупил, ты бы обрадовался?

— Так ведь не меня, а Сережку, — ответил Васька, немного смущенный Петькиными словами. — И потом, ведь не задаром, а за дело: зачем он в чужую палатку залез? Люди работают, а он у них инструмент ворует. И что ты, Петька, сегодня чудной какой то? То весь день шатался, то весь вечер сердился.

— Я не сержусь, — негромко ответил Петька. — Просто у меня сначала зуб заболел, а теперь уже перестает.

— И скоро перестанет? — участливо спросил Васька.

— Скоро. Я, Васька, лучше домой побегу. Полежу, полежу дома — он и перестанет.

8

Вскоре ребята подружились с обитателями брезентовой палатки.

Их было двое. С ними был лохматый сильный пес, по кличке «Верный». Этот Верный охотно познакомился с Васькой, но на Петьку он сердито зарычал. И Петька, который знал, за что на него сердится собака, быстро спрятался за высокую спину геолога, радуясь тому, что Верный может только рычать, но не может рассказать то, что знает.

Теперь целыми днями ребята пропадали в лесу. Вместе с геологами они обшаривали берега Тихой речки.

Ходили на болото и даже зашли однаж-

ды к дальним Синим озерам, куда еще никогда не рисковали забираться вдвоем.

Когда дома их спрашивали, где они пропадают и что они ищут, они с гордостью отвечали:

— Мы глину ищем.

Теперь они уже знали, что глина глине рознь. Есть глины тощие, есть жирные, такие, которые в сыром виде можно резать ножом, как ломти густого масла. По нижнему течению Тихой речки много суглинки, то есть глины рыхлой, смешанной с песком. В верховьях у озер попадаетея глина с известью, или мергель, а поближе к разъезду залегают мощные пласты красно-бурой глинистой охры.

Все это было очень интересно, особенно потому, что раньше вся глина казалась ребятам одинаковой. В сухую погоду это были просто ссохшиеся комья, а в мокрую это была обыкновенная густая и липкая грязь. Теперь же они знали, что глина — это не просто грязь, а сырье, из которого будет добываться алюминий, и охотно помогали геологам разыскивать нужные породы глин, указывали запутанные тропки и притоки Тихой речки.

Вскоре на разъезде отцепили три товарных вагона, и какие-то незнакомые рабочие начали сбрасывать на насыпь ящики, бревна и доски.

В эту ночь взволнованные ребята долго не могли уснуть, довольные тем, что разъезд начинает жить новой жизнью, не похожей на прежнюю.

Однако новая жизнь приходит не очень-то торопясь. Выстроили рабочие из досок сарай, свалили туда инструменты, оставили сторожа и, к великому огорчению ребят, все до одного уехали обратно.

Как-то в послеобеденное время Петька сидел возле палатки. Старший геолог Василий Иванович чинил продранный локоть рубахи, а другой — тот, который был похож на красноармейского командира — измерял что-то по плану циркулем.

Васьки не было. Ваську оставили дома сажать огурцы, и он обещался притти попозже.

— Вот беда, — сказал высокий, отодвигая план. — Без компаса — как без рук. Ни съемку сделать, ни по карте ориентироваться. Жди теперь, пока другой из города пришлют.

Он закурил папироску и спросил у Петьки: — И всегда этот Сережка у вас такой жулик?

— Всегда, — ответил Петька.

Он покраснел и, чтобы скрыть это, наклонился над погасшим костром, раздувая засыпанные золой угли.

— Петька! — крикнул на него Василий Иванович. — Всю золу на меня сдул. Зачем ты раздуваешь?

— Я думал... может быть, чайник, — неуверенно ответил Петька.

— Такая жарница, а он чайник, — удивился высокий и опять начал про то же: — И зачем ему понадобился этот компас? А главное, отказывается, говорит, не брал. Ты бы сказал ему, Петька, по-товарищески: «Отдай, Сережка. Если сам снести боишься, дай я снесу». Мы и сердиться не будем и жаловаться не будем. Ты скажи ему, Петька.

— Скажу, — ответил Петька, отворачивая лицо от высокого. Но, отвернувшись, он встретился с глазами Верного.

Верный лежал, вытянув лапы, высунув язык, и, учащенно дыша, уставился на Петьку, как бы говоря: «И врешь же ты, братец! Ничего ты Сережке не скажешь».

— Да верно ли, что это Сережка компас украл? — спросил Василий Иванович, окончив шить и втыкая иголку в подкладку фуражки. — Может быть, мы его сами куда-нибудь засунули и зря только на мальчишку думаем?

— А вы бы поискали, — быстро предложил Петька. — И вы поищите, и мы с Васькой поищем. И в траве поищем и всюду.

— Чего искать? — удивился высокий. — Я же у вас попросил компас, а вы, Василий Иванович, сами сказали, что захватить его из палатки позабыли. Чего же теперь искать?

— А мне теперь начинает казаться, что я его захватил. Хорошо не помню, а как будто бы захватил, — хитро улыбаясь, ска-

зал Василий Иванович. — Помните, когда мы сидели на сваленном дереве на берегу Синего озера? Огромное такое дерево. Уж не выронил ли я компас там?

— Чудно́ что-то, Василий Иванович, — сказал высокий. — То вы говорили, что из палатки не брали, а теперь вот что...

— Ничего не чудно́, — горячо вступился Петька. — Эдак тоже бывает. Очень даже часто бывает: думаешь — не брал, а оказывается — брал. И у нас с Васькой было. Пошли один раз мы рыбу ловить. Вот я по дороге спрашиваю: «Ты, Васька, маленькие крючки не позабыл?» — «Ой, — говорит он, — позабыл». Побежали мы назад. Ищем, ищем, никак не найдем. Потом глянул я ему на рукав, а они у него к рукаву приколоты. А вы, дядя, говорите — чудно́. Ничего не чудно́.

И Петька рассказал другой случай, как косой Геннадий весь день искал топор, а топор стоял за веником. Он говорил убедительно, и высокий переглянулся с Василием Ивановичем.

— Гм... А пожалуй, можно будет сходить и поискать. Да вы бы сами, ребята, сбегали как-нибудь и поискали.

— Мы поищем, — охотно согласился Петька. — Если он там, то мы его найдем. Никуда он от нас не денется. Тогда мы — раз, раз, туда, сюда и обязательно найдем.

После этого разговора, не дожидаясь Васьки, Петька поднялся и, заявив, что он вспомнил про нужное дело, попрощался и отчего-то очень веселый побежал к тропке, ловко перескакивая через зеленые, покрытые мхом кочки, через ручейки и муравьиные кучи.

Выбежав на тропку, он увидел группу возвращавшихся с разезда алешинских крестьян.

Они были чем-то взволнованы, очень рассержены и громко ругались, размахивая руками и перебивая друг друга. Позади шел дядя Серафим. Лицо его было унылое, еще унылее, чем тогда, когда обвалившаяся крыша сарая задавила у него поросенка и гусака.

И по лицу дяди Серафима Петька понял, что над ним опять стряслась какая-то беда.

9

Но беда стряслась не только над дядей Серафимом. Беда стряслась над всем Алешином и, главное, над алешинским колхозом.

Захватив с собой три тысячи крестьянских денег, тех самых, которые были собраны на акции Трактороцентра, скрылся неизвестно куда главный организатор колхоза — председатель сельсовета Егор Михайлов. В городе он должен был пробыть двое, ну, от силы, трое суток. Через неделю ему послали телеграмму, потом забеспокоились — послали другую, потом послали вслед нарочного. И, вернувшись сегодня, нарочный привез известие, что в райколхозсоюз Егор не являлся и в банк денег не сдавал.

Заволновалось, зашумело Алешино. Что ни день, то собрание. Приехал из города следователь. И хотя все Алешино еще долго до этого случая говорило о том, что у Егора в городе есть невеста, и хотя от одного к другому передавалось много подробностей — и кто она такая, и какая она собой, и какого она характера, но теперь оказалось как-то так, что никто ничего не знал. И никак нельзя было доискаться: кто же видел эту Егорову невесту и откуда вообще узнали о том, что она действительно существует? Так как дела теперь были запутаны, то ни один из членов сельсовета не хотел замещать председателя.

Из района прислали нового человека, но алешинские мужики отнеслись к нему холодно. Пошли разговоры, что вот, дескать, Егор тоже приехал из района, а три тысячи крестьянских денег ухнули.

И среди этих событий оставшийся без вожака, а главное, совсем еще не окрепший, только что организованный колхоз начал разваливаться.

Сначала подал заявление о выходе один, потом другой, потом сразу точно прорвало — начали выходить десятками, без всяких заявлений, тем более что наступил сев и каждый бросился к своей полосе. Только пятнадцать дворов, несмотря на свалившуюся беду, держались и не хотели выходить.

Среди них было и хозяйство дяди Серафима.

Этот вообще-то запуганный несчастьями и придавленный бедами мужик с совершенно непонятным для соседей каким-то ожесточенным упрямством ходил по дворам и, еще более хмурый, чем всегда, говорил всюду одно и то же: что надо держаться, что если сейчас из колхоза выйти, то тогда уже и вовсе некуда идти, останется только бросить землю и уйти куда глаза глядят, потому что прежняя жизнь — это не жизнь.

Его поддерживали братья Шмаковы, многосемейные мужики, давнишние товарищи по партизанскому отряду, в один день с дядей Серафимом портые когда-то батальном полковника Марциновского. Его поддерживал член сельсовета Игошкин, молодой, недавно отделившийся от отца паренек. И, наконец, неожиданно взял сторону колхоза Павел Матвеевич, который теперь, когда начались выходы, точно назло всем, подал заявление о приеме его в колхоз.

Так сколэтилось пятнадцать хозяйств. Они выехали в поле на сев не очень-то веселые, но упорные в своем твердом намерении не сходить с начатого пути.

За всеми этими событиями Петька да Васька позабыли на несколько дней про палатку. Они бегали в Алешино. Они тоже негодовали на Егора, удивлялись упорству тихого дяди Серафима и очень жалели Ивана Михайловича.

— Бывает и так, ребятишки. Меняются люди, — сказал Иван Михайлович, затягиваясь сильно чадившей, свернутой из газетной бумаги цыгаркой. — Бывает... меняются. Только кто бы сказал про Егора, что он переменится? Твердый был человек.

Помню я как-то... Вечер... Въехали мы на какой-то полустанок. Стрелки сбиты, крестовины порынута, сзади путь разобран и мостик сожжен. На полустанке ни души; кругом лес. Впереди где-то фронт и с боков фрнты, а кругом банды. И казалось, что конца-краю этим бандам и фронтам нет и не будет.

Иван Михайлович замолчал и рассеянно посмотрел в окно, туда, где по краснова-

тому закату медленно и упорно продвигались тяжелые грозовые облака.

Цыгарка чадила, и клубы дыма, медленно разворачиваясь, тянулись кверху по стене, на которой висела полинялая фотография старого боевого бронепоезда.

— Дядя Иван! — окликнул его Петька. — Что тебе?

— Ну вот: «А кругом банды, и конца-краю этим фронтам и бандам нет и не будет», — слсво в слово повторил Петька.

— Да... А разъезд в лесу. Тихо. Весна. Пичужки эти самые чирикают. Вылезли мы с Егоркой грязные, промасленные, потные. Сели на траву. Что делать?

Вот Егор и говорит: «Дядя Иван, у нас впереди крестовины повынута и стрелки поломаны, позади мост сожжен. И мотаемся мы третьи сутки взад и вперед по этим бандитским лесам. И спереди фронт, и с боков фрнты. А все-таки победим-то мы, а не кто-нибудь». — «Конечно, — говорю ему, — мы. Об этом никто не спорит. Но команда наша с броневиком навряд ли из этой ловушки выберется». А он отвечает: «Ну, не выберемся. Ну и что же? Наш 16-й пропадет — 28-й на линии останется, 39-й. Дорабстают».

Сломал он веточку красного шиповника, понюхал ее, воткнул в петлицу угольной блузы. Улыбнулся — как будто бы нет и не было счастливей его человека на свете, взял гаечный ключ, масленку и полез под паровоз.

Иван Михайлович опять замолчал, и Петьке с Васькой так и не пришлось услышать, как выбрался броневик из ловушки, потому что Иван Михайлович быстро вышел в соседнюю комнату.

— А как же ребятишки Егора? — немного погодя спросил старик из-за перегородки. — У него их двое.

— Двое, Иван Михайлович: Пашка да Машка. Они с бабкой остались, а бабка у них старая. И на печке сидит — ругается и с печки слезает — ругается. Так целый день — либо молится, либо ругается.

— Надо бы сходить посмотреть. Надо бы что-нибудь придумать. Жалко все-таки ребятишек, — сказал Иван Михайлович. И слышно было, как за перегородкой

запахтела его дымная махорочная цыгарка.

С утра Васька с Иваном Михайловичем пошли в Алешино. Звали с собой Петьку, но он отказался — сказал, что некогда.

Васька удивился: почему это Петьке вдруг стало некогда? Но Петька, не дожидаясь распросов, убежал.

В Алешине они зашли к новому председателю, но его не застали. Он уехал за реку, на луг.

Из-за этого луга теперь шла яростная борьба. Раньше луг был поделен между несколькими дворами, причем больший участок принадлежал мельнику Петунину. Потом, когда организовался колхоз, Егор Михайлов добился, чтобы луг этот целиком отвели колхозу. Теперь, когда колхоз развалился, прежние хозяева требовали прежние участки и ссылались на то, что после кражи казенных денег обещанной из района сенокосилки колхозу все равно не дадут и с сенокосом он не управится.

Но оставшиеся в колхозе пятнадцать дворов ни за что не хотели разбивать луг и, главное, уступать Петунину прежний участок. Председатель держал сторону колхоза, но многие озлобленные последними событиями крестьяне вступились за Петунина.

И Петунин ходил спокойный, доказывал, что правда на его стороне и что он хоть в Москву пседет, а своего добьется.

Дядя Серафим и молодой Игошкин сидели в правлении и сочиняли какую-то бумагу.

— Пишем! — сердито сказал дядя Серафим, здороваясь с Иваном Михайловичем. — Они свою бумагу в район послали, а мы свою пошлем. Прочитай-ка, Игошкин, ладно ли мы написали. Он человек сторонний, и ему виднее.

Пока Игошкин читал да пока они обсуждали, Васька выбежал на улицу и встретился там с Федькой Галкиным, с тем самым рябым мальчуганом, который недавно подрался с Рыжим из-за того, что тот дразнился: «Федька-колхоз — поросячий нос».

Федька рассказал Ваське много интересного. Он рассказал о том, что у Семена Загребина недавно сгорела баня и Семен

ходил и божился, что это его подожгли. И что от этой бани огонь чуть-чуть не перекинулся на колхозный сарай, где стоял триер и лежало очищенное зерно.

Еще он рассказал, что по ночам теперь колхоз наряжает своих сторожей по очереди. И что когда, в свою очередь, Фенькин отец запоздал вернуться с разъезда, то он, Федька, сам пошел в обход, а потом его сменила мать, которая взяла колотушку и пошла сторожить.

— Все Егор, — закончил Федька. — Он виноват, а нас всех ругают. Все вы, говорят, мастера на чужое.

— А ведь он раньше героем был, — сказал Васька.

— Он и не раньше, а всегда как герой был. У нас мужики и до сих пор никак в толк не возьмут — с чего это он. Он только с виду такой невзрачный, а как возьмется за что-нибудь, глаза прищурятся, заблещат. Скажет — как отрубит. Как он с лугом-то быстро дело обернул! Будем, говорит, вместе косить, а озимые, говорит, будем вместе и сеять.

— Отчего же он такое плохое дело сделал? — спросил Васька. — Или вот люди говорят, что от любви?

— От любви свадьбу справляют, а не деньги воруют, — возмутился Федька. — Если бы все от любви деньги воровали, тогда что бы было? Нет уж, это не от любви, а не знаю, от чего... И я не знаю, и никто не знает. А есть у нас такой Сидор хромой. Старый уже. Так вот и вовсе, если начнешь про Егора говорить, он и слушать не хочет: «Нету, говорит, ничего этого». И не слушает, отвернется и заковыляет скорей в сторону. И все что-то бормочет, бормочет, а у самого слезы катятся, катятся. Такой блажной старик. Он раньше у Данилы Егоровича на пасеке работал. Да тот рассчитал за что-то, а Егор вступился.

— Федька, — спросил Васька, — а что Ермолая не видать? Или он в этот год у Данилы Егоровича сад караулить не будет?

— Будет. Вчера я его видал, он из лесу шел. Пьяный. Он всегда такой. Покуда яблоки не поспеют, он пьет. А как только время подходит, так Данила Егорович де-

нег на водку ему больше не дает, и тогда он караулит трезвый да хитрый. Помнишь, Васька, как он тебя один раз крапивой?

— Помню, помню, — скороговоркой ответил Васька, стараясь замять эти неприятные воспоминания. — Отчего это, Федька, Ермолай в рабочие не идет, землю не пашет? Ведь он вон какой здоровый.

— Не знаю, — ответил Федька. — Слышал я, что еще давно когда-то он, Ермолай, в дезертиры от красных уходил. Потом в тюрьме сколько-то сидел. А с тех пор он всегда такой. То уйдет куда-нибудь из Алешина, то на лето опять вернется. Я, Васька, не люблю Ермолая. Он только к собакам добрый, да и то когда пьяный.

Ребятишки разговаривали долго. Васька тоже рассказал Федьке о том, какие дела творятся около разъезда. Рассказал про палатку, про завод, про Сережку, про компас.

— И вы к нам прибегайте, — предложил Васька. — Мы к вам бегаем, и вы к нам бегайте. И ты, и Колька Зипунов, и еще кто-нибудь. Ты читать-то умеешь, Федька?

— Немножко.

— И мы с Петькой тоже немножко.

— Школы нет. Когда Егор был, то он очень старался, чтобы школа была. А теперь уж не знаю как. Озлобились мужики — не до школы.

— Завод строить начнут, и школу построят, — утешал его Васька. — Может быть, доски какие-нибудь останутся, бревна, гвозди... Много ли на школу нужно? Мы попросим рабочих, они и построят. Да мы сами помогать будем. Вы прибегайте к нам, Федька, и ты, и Колька, и Алешка. Соберемся кучей, что-нибудь интересное придумаем.

— Ладно, — согласился Федька. — Как только с картошкой управимся, так и прибежим.

Вернувшись в правление колхоза, Васька Ивана Михайловича уже не застал. Ивана Михайловича он нашел у Егоровой избы, возле Пашки да Машки. Пашка и Машка грызли принесенные им пряники и, перебивая и дополняя друг друга, доверчиво рассказывали старику про свою жизнь и про сердитую бабку.

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Солнце светит — гоп, хорошо! Цо-цок-цок! Ручьи звенят. Птицы поют.

— Гайда, кавалерия!

Так скакал по лесу на своих двоих, держа путь к дальним берегам Синего озера, отважный и веселый кавалерист Петька. В правой руке он сжимал хлыст, который заменял ему то гибкую нагайку, то острую саблю, в левой — фуражку с запрятанным в нее компасом, который нужно было сегодня спрятать, а завтра во что бы то ни стало разыскать с Васькой у того сваленного дерева, где отдыхал когда-то забывчивый Василий Иванович.

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Василий Иванович — хорошо! Палатка — хорошо! Завод — хорошо! Все хорошо!

— Стоп!

И Петька, он же конь, он же и всадник, со всего размаха растянулся на траве, зацепившись ногою за выступивший корень.

— У, чорт, спотыкаешься, — выругал Петька-всадник Петьку-коня. — Как взгрею нагайкой, так не будешь спотыкаться.

Он поднялся, вытер попавшую в лужу руку и осмотрелся.

Лес был густой и высокий. Огромные, спокойные старые березы отсвечивали поверху яркой свежей зеленью. Внизу было прохладно и сумрачно. Дикие пчелы с однотономным жужжанием кружились возле дупла полусгнившей, покрытой наростами осины. Пахло грибами, прелой листвой и сыростью распластавшегося неподалеку болотца.

— Гайда, гай! — сердито прикрикнул Петька-всадник на Петьку-коня. — Не туда заехал!

И, дернув левый повод, он поскакал в сторону, на подъем.

«Хорошо жить, — думал на скаку храбрый всадник Петька. — И сейчас хорошо. А вырасту — будет еще лучше. Вырасту — сяду на настоящего коня, пусть мчится. Вырасту — сяду на аэроплан, пусть летит. Вырасту — стану к машине, пусть грохает. Все дальние страны проскачу и облетаю. На войне буду первым командиром. На

воздухе буду первым летчиком. У машины буду первым машинистом. «Гайда, гай! Гоп-гоп! Стоп!»

Прямо под ногами сверкала яркожелтыми кувшинками узкая мокрая поляна. Озадаченный Петька вспомнил, что такой поляны на его пути не должно быть, и решил, что, очевидно, проклятый конь опять занес его не туда, куда надо.

Он обогнул болотце и, обеспокоенный, пошел шагом, внимательно осматриваясь и угадывая, куда же это он попал.

Однако чем дальше он шел, тем яснее становилось ему, что он заблудился. И от этого с каждым шагом жизнь начинала уже казаться ему все более и более печальной и мрачной.

Покрутившись еще немного, он остановился, вовсе уже не зная, куда дальше идти, но тут он вспомнил о том, что как раз при помощи компаса мореплаватели и путешественники всегда находят правильный путь. Он вынул из кепки компас, нажал сбоку кнопку, и освобожденная стрелка зачерненным острием показала в ту сторону, в какую Петька меньше всего собирался идти. Он потрянул компас, но стрелка упорно показывала все то же направление.

Тогда Петька пошел, рассуждая, что компасу виднее, но вскоре уперся в такую гущу разросшегося осинника, что прорваться через нее, не изодрав рубахи, было никак невозможно.

Он пошел в обход и опять взглянул на компас. Но стрелка с бессмысленным упрямством толкала его или в болото, или в гущу, или еще куда-нибудь в самое неудобное, трудно проходимое место.

Тогда, обозленный и испуганный, Петька всунул компас в кепку и пошел дальше просто наглаз, сильно подозревая, что все мореплаватели и путешественники должны были бы давно погибнуть, если бы они всегда держали путь туда, куда показывает зачерненное острие стрелки.

Он шел долго и собирался уже прибегнуть к последнему средству, то есть громко заплакать, но тут в просвет деревьев он увидел низкое, опускавшееся к закату солнце.

И вдруг весь лес как будто бы повернулся к нему другой, более знакомой стороной. Очевидно, это произошло оттого, что он вспомнил, как на фоне заходящего солнца всегда ярко вырисовывались крест и купол алешинской церкви.

Теперь он понял, что Алешино не слева от него, как он думал, а справа, и что Синее озеро у него уже не впереди, а позади.

И едва только это случилось, лес показался ему знакомым, так как все перепутанные поляны, болотца и овраги в обычной последовательности прочно и послушно улеглись на свои места.

Вскоре он угадал, где находится. Это было довольно далеко от разъезда, но не так уж далеко от тропки, которая вела из Алешина на разъезд. Он приободрился, вскочил на воображаемого коня, но вдруг притих и насторожил уши.

Совсем неподалеку он услышал песню. Это была какая-то странная песня, бессмысленная, глухая и тяжелая. И Петьке не понравилась такая песня. И Петька притаился, оглядываясь и ожидая удобной минуты, чтобы дать коню шпоры и помчаться скорей от сумерек, от неприветливого леса, от странной песни на знакомую тропку, на разъезд, домой.

11

Еще не доходя до разъезда, возвращающиеся из Алешина Иван Михайлович и Васька услышали шум и грохот.

Поднявшись из ложбины, они увидели, что весь тупик занят товарными вагонами и платформами. Немного поодаль раскинулся целый поселок серых палаток. Горели костры, дымилась походная кухня, бурчали над кострами котлы. Ржали лошади. Суетились рабочие, сбрасывая бревна, доски, ящики и стаскивая с платформы повозки, сбрую и мешки.

Потолкавшись среди работающих, рассмотрев лошадей, заглянув в вагоны и палатки и даже в топку походной кухни, Васька побегал разыскивать Петьку, чтобы спросить его, когда приехали рабочие, как было дело и почему это Сережка вертится возле палаток, подтаскивая хво-

рост для костров, и никто его не ругает и не гонит прочь.

Но встретившаяся по пути Петькина мать сердито ответила ему, что «этот идол» провалился куда-то еще с полдня и обедать домой не приходил.

Это совсем уже удивило и рассердило Ваську.

«Что это с Петькой делается? — думал он. — В прошлый раз куда-то пропал, сегодня опять тоже пропал. И какой этот Петька хитрый! Тихоня-тихоней, а сам что-то втихомолку вытворает».

Раздумывая над Петькиным поведением и очень не одобряя его, Васька неожиданно натолкнулся на такую мысль: а что, если это не Сережка, а сам Петька, чтобы не делиться уловом, взял да и перебросил нырётку и теперь выбирает тайком рыбу?

Это подозрение еще больше укрепилось у Васьки после того, как он вспомнил, что в прошлый раз Петька соврал ему, будто бы бегал на кордон к тетке. На самом деле его там не было.

И теперь, почти что уверившийся в своем подозрении, Васька твердо решил учинить Петьке строгий допрос и в случае чего поколотить его, чтобы вперед так делать было неповадно.

Он пошел домой и еще из сеней услышал, как отец с матерью о чем-то громко спорили.

Опасаясь, как бы вгорячах и ему за что-нибудь не попало, он остановился и прислушался.

— Да как же это так? — говорила мать, и по ее голосу Васька понял, что она чем-то взволнована. — Хоть бы одуматься дали. Я картошки две меры посадила, огурцов три грядки. А теперь, значит, все пропало?

— Экая ты, право, — возмущался отец. — Неужели же будут дожидаться? Подождем, дескать, пока у Катерины огурцы поспеют. Тут вагоны негде разгружать, а она — огурцы. И что ты, Катя, чудная какая? То ругалась: и печка в будке плоха, и тесно, и низко, а теперь жалко ей будку стало. Да пусть ее ломают. Пропади она пропадом!

«Почему огурцы пропали? Какие вагоны? Кто будет ломать будку?» опешил

Васька и, подозревая что-то недоброе, вошел в комнату.

И то, что он узнал, ошеломило его еще больше, чем первое известие о постройке завода. Их будку ломают. По участку, на котором она стоит, проложат запасные пути для вагонов с постречными грузами. Переезд перенесут на другое место и там построят для них новый дом.

— Ты пойми, Катерина, — доказывал отец, — разве же нам такую будку построят? Это теперь не прежнее время, чтобы для сторожей какие-то собачьи конуры строить. Нам построят светлую, просторную. Ты радоваться должна, а ты... огурцы, огурцы!

Мать молча отвернулась.

Если бы все это подготавливалось потихоньку да исподволь, если бы все это не навалилось вдруг, сразу, она и сама была бы довольна оставить старую, ветхую и тесную конурку. Но сейчас ее пугает то, что все кругом решалось, делалось и двигалось как-то уж очень быстро. Пугало то, что события с невиданной, необычной торпливостью возникали одно за другим. Жил разъезд тихо. Жило Алешино тихо. И вдруг точно какая-то волна, издалека докатившись наконец и сюда, захлестнула и разъезд и Алешино. Колхоз, завод, плотина, новый дом... Все это смущало и даже пугало своей новизной, необычностью и, главное, своей стремительностью.

— А верно ли, Григорий, что лучше будет? — спросила она, расстроенная и растерянная. — Плохо ли, хорошо ли, а жили мы да жили. А вдруг хуже будет?

— Полно тебе, — возражал ей отец. — Полно городить, Катя... Стыдно! Мелешь, сама не знаешь что. Разве затем оно у нас все делается, чтобы хуже было? Ты посмотри лучше на Баськину рожу. Вон он стоит, шельмец, и рот до ушей. На что мал еще, а и то понимает, что лучше будет. Так, что ли, Васька?

Но Васька даже не нашел, что ответить, и только молча кивнул головой.

Много новых мыслей, новых вопросов занимало его беспокойную голову. Так же как и мать, он удивлялся тому, с какой быстротой следовали события. Но его не

пугала эта быстрота — она увлекала его, как стремительный ход мчавшегося в дальние страны скорого поезда.

Он ушел на сеновал и забрался под теплый овчинный полушубок. Но ему не спалось.

Издали слышался непрекращающийся стук сбрасываемых досок. Пыхтел маневровый паровоз. Лязгали сталкивающиеся буфера, и как-то тревожно звучал сигнальный рожок стрелочника.

Через выломанную доску крыши Васька видел кусочек ясного черно-синего неба и три ярких лучистых звезды.

Глядя на эти дружно мерцавшие звезды, Васька вспомнил, как уверенно говорил отец о том, что жизнь будет хорошая. Он еще крепче укутался в полушубок, закрыл глаза, подумал: «А какая она будет хорошая?», и почему-то вспомнил плакат, который висел в красном уголке. Большой, смеялый красноармеец стоит у столба и, сжимая винтовку, зорко смотрит вперед. Позади него зеленые поля, где желтеет густая высокая рожь, где цветут большие, неогороженные сады и где раскинулись красивые и так не похожие на убогое Алешино просторные и привольные села.

А дальше, за полями, под прямыми широкими лучами светлого солнца гордо высятся трубы могучих заводов. Через сверкающие окна видны колеса, огни, машины.

И всюду люди, бодрые, веселые. Каждый занят своим делом — и на полях, и в селах, и у машин. Одни работают, другие уже отработали и отдыхают.

Какой-то маленький мальчик, похожий немного на Павлика Припрыгина, но только не такой перемазанный, задрал голову, с любопытством разглядывает небо, по которому плавно несется длинный стремительный дирижабль.

Васька всегда немного завидовал тому, что этот смеющийся мальчуган был похож на Павлика Припрыгина, а не на него, Ваську.

Но в другом углу плаката — очень далеко, в той стороне, куда зорко всматривался стороживший эту дальнюю страну красноармеец — было нарисовано что-то такое,

что всегда возбуждало у Васьки чувство смутной и неясной тревоги.

Там вырисовывались черные расплывчатые тени. Там обозначались очертания озлобленных, нехороших лиц. И как будто бы кто-то смотрел оттуда пристальными недобрыми глазами и ждал, когда уйдет или когда отвернется красноармеец.

И Васька был очень рад, что умный и спокойный красноармеец никуда не уходил, не отворачивался, а смотрел как раз туда, куда надо. И все видел и все понимал.

Васька уже совсем засыпал, когда услышал, как хлопнула калитка: кто-то зашел к ним в будку.

Минуту спустя его окликнула мать:

— Вася... Васька! Ты спишь, что ли?

— Нет, мама, не сплю.

— Ты не видал сегодня Петьку?

— Видал, да только утром, а больше не видал. А на что он тебе?

— А на то, что сейчас его мать пришла. Пропал, гсворит, еще до обеда и до сего времени нет и нет.

Когда мать ушла, Васька встревожился. Он знал, что Петька не очень-то храбрый, чтобы разгуливать по ночам, и поэтому он никак не мог понять, куда девался его непутевый товарищ.

Петька вернулся поздно. Он вернулся без фуражки. Глаза его были красные, заплаканные, но уже сухие. Видно было, что он очень устал, и поэтому он как-то равнодушно выслушал все упреки матери, отказался от еды и молча залез под одеяло.

Он вскоре уснул, но спал беспокойно; ворочался, стонал и что-то бормотал.

Он сказал матери, что просто заблудился, и мать поверила ему. То же самое он сказал Ваське, но Васька не особенно поверил. Для того чтобы заблудиться, надо куда-то идти или что-то разыскивать. А куда и зачем он ходил, этого Петька не говорил или нес что-то несуразное, нескладное, и Ваське сразу было видно, что он врет.

Но когда Васька попытался изобличить его во лжи, то обыкновенно изворотливый Петька не стал даже оправдываться. Он только, усиленно заморгав, отвернулся.

Убедившись в том, что все равно от Петьки ничего не добьешься, Васька прекратил расспросы, оставшись, однако, в сильном подозрении, что Петька — товарищ какой-то странный, скрытный и хитрый.

К этому времени геологическая палатка снялась со своего места, с тем чтобы продвинуться дальше, к верховьям реки Силявки.

Васька и Петька помогли грузить вещи на навьюченных лошадях. И когда все было готово к тому, чтобы тронуться в путь, Василий Иванович и другой — высокий — тепло попрощались с ребятами, с которыми они так много бродили по лесам. Они должны были вернуться на разъезд только к концу лета.

— А что, ребята, — спросил Василий Иванович напоследок, — вы так и не бежали поискать компас?

— Все из-за Петьки, — ответил Васька. — То он сначала сам предложил: пойдём, пойдём... А когда я согласился, то он уперся и не идет. Один раз звал — не идет. Другой раз — не идет. Так и не пошел.

— Ты что же это? — удивился Василий Иванович, который помнил, как горячо вызывался Петька отправиться на поиски.

Неизвестно, что бы ответил и как бы вернулся смутившийся и притихший Петька, но тут одна из навьюченных лошадей, отвязавшись от дерева, побежала по тропке. Все кинулись догонять ее, потому что она могла уйти в Алешино.

Точно после удара нагайкой, Петька рванулся за ней прямо через кусты, через мокрый луг. Он весь обрызгался, изорвал подол рубахи и, выскочив наперерез, уже перед самой тропкой крепко вцепился в поводья.

И когда он молча подводил упрямявшегося коня к запыхавшемуся и отставшему Василию Ивановичу, он учащенно дышал, глаза его блестели, и видно было, что он несказанно горд и счастлив, что ему удалось оказать услугу этим отправляющимся в дальний путь хорошим людям.

И еще не успели достроить новый дом, едва только закончили настилку пола и принялись за оконные рамы, а стальные линии запасных путей уже переползли через грядки, опрокинули ветхий заборчик, столкнули дровяной сарай и уперлись в стены старой будки.

— Ну, Катя, — сказал отец, — будем сегодня переезжать. Двери да окна и при нас могут докончить. А здесь, как видишь, ожидать не приходится.

Тогда стали связывать узлы, вытаскивать ящики, матрацы, чугуны, ухваты.

Сложили все это на телегу. Привязали сзади козу Маньку и тронулись на новое место.

Отец взялся за вожжи. Васька держал керосиновую лампу и хрупкий стеклянный колпак. Мать бережно прижимала два глиняных горшка с кустиками распустившихся гераней.

Перед тем как тронуться, все невольно обернулись.

Уже со всех сторон обступали рабочие старенькую грязновато-желтую будку. Уже застучали по крыше топоры, заскрипели выворачиваемые ржавые гвозди, и первые сорванные доски тяжело грохнулись о землю.

— Как на пожаре, — сказала мать, отворачиваясь и низко склоняя голову, — и огня нет, а кругом — как пожар.

Вскоре из Алешина целым гуртом прибежали ребяташки: Федька, Колька, Алешка и еще двое незнакомых — Яшка да Шурка.

Ходили на площадку смотреть экскаватор, бегали к плотине, где забивали в землю бревенчатые шпунты, и, наконец, пошли купаться.

Вода была теплая. Плавали, брызгались и долго хохотали над трусливым Шуркой, который громко и отчаянно заорал, когда нырнувший Федька неожиданно схватил его под водой за ноги.

Потом валялись на берегу, разговаривали о прежних и новых делах.

— Васька, — спросил Федька, лежа на спине и закрывая рукой от солнца круглое

веснушчатое лицо, — что это такое пионеры? Почему, например, они идут всегда вместе и в барабан бьют и в трубы трубят? А вот один раз отец читал, что пионеры не воруяют, не ругаются, не дерутся и еще чего-то там не делают. Что же они, как святые, что ли?

— Ну нет... не святые, — усомнился Васька. — Я в прошлом году к дяде ездил. У него сын Борька — пионер, так он мне два раза так по шее натрескал, что только держись. А ты говоришь — не дерутся. Просто обыкновенные мальчишки да девочки. Вырастут, в комсомольцы пойдут, потом в Красную Армию. И я, когда вырасту, тоже пойду в Красную Армию. Возьму винтовку и буду сторожить.

— Кого сторожить? — не понял Федька.

— Как кого? Всех! А если не сторожить, то налетит белая банда и завоюет все наши страны. Я знаю, Федька, что такое белая армия, мне Иван Михайлович все рассказал. Белая — это всякие цари, всякие торговцы, кулаки.

— А кто же Данила Егорович? — спросил молча слушавший Алешка. — Вот он кулак. Значит, он тоже белая армия?

— У него винтовки нет, — после некоторого раздумья ответил Васька. — У него нет винтовки, а есть только старая шомполка.

— А если бы была? — не унимался Алешка.

— А если бы да если бы! А кто ему продаст винтовку? Разве же винтовки или пулеметы продают каждому, кто захочет?

— Нам бы не продали, — согласился Алешка.

— Нам бы не продали, потому что мы малы еще, а Даниле Егоровичу совсем не поэтому. Вот погодите, школа будет, тогда все узнаете.

— Будет ли школа? — усомнился Федька.

— Обязательно будет, — уверял Васька. — Вы приходите на той неделе, мы все вместе, гуртом, пойдем к главному инженеру и попросим, чтобы велел построить.

— Совестно как-то просить, — поежился Алешка.

— Ничего не совестно. Это одному совестно. Вот, скажут, какой выискался! А

если всем, то нисколько не совестно. Я хоть сам пойду и попрошу. Чего бояться? Что он, стукнет, что ли?

Алешинские ребята собрались уходить, а Васька решил проводить их.

Когда они вышли на тропку, то увидели Петьку. Повидимому, он давно стоял тут и раздумывал, подойти ему к ребятам или не подойти.

— Пойдем, Петька, с нами, — предложил Васька, которому не хотелось возвращаться одному. — Пойдем, Петька. Что ты такой скучный? Все веселые, а он скучный.

Петька посмотрел на солнце, но солнце стояло еще высоко, и, виновато улыбнувшись, он согласился.

Возвращаясь вдвоем, под высоким дубом, что рос неподалеку от хутора Данилы Егоровича, они увидели Пашку да Машку.

Эти маленькие ребята сидели на зеленом бугре и собирали что-то с земли, должно быть прошлогодние жолуди.

— Пойдем к ним, — предложил Васька, — посидим, отдохнем и посмеемся немножко. Пойдем, Петька! И что ты стал какой-то тихоня? Успеешь еще домой.

Они осторожно подобрались сзади к ребяташкам, опустились на четвереньки и сердито зарычали:

— Rrrr... rrrr...

Пашка и Машка подскочили и, даже не смея обернуться, схватились за руки и пустились наутек.

Но ребята обогнали их и загородили им дорогу.

— И что как напугали! — укоризненно сказал Пашка, серьезно хмуря коротенькие тонкие брови.

— Совсем испугали! — подтвердила Машка, вытирая наполнившиеся слезами глаза.

— А вы думали, это кто? — спросил довольный своей шуткой Васька.

— А мы думали — волк, — ответил Пашка.

— Или думали — медведь, — добавила Машка и, улыбнувшись, протянула ребятам горсть крупных жолудей.

— На что они нам? — отказался Васька. — Вы сами играйте. Мы уже большие, и это нам не игра.

— Очень хорошая игра, — ответила Маш-

ка. И, очевидно, никак не понимая, почему для Васьки жолудь — это не игра, радостно рассмеялась.

— Ну что, у вас бабка ругается? — спросил Васька и с неожиданной жестокостью добавил: — Так вам и надо. Потому что отец у вас — жулик.

— Васька, не надо! — вступился Петька. — Ведь они маленькие.

— Ну и что же, что маленькие? — с каким-то злорадством продолжал Васька. — Раз жулик, значит жулик. Верно ведь, Пашка, у вас отец жулик?

— Васька, не надо! — почти умоляюще попросил Петька.

Немного испуганные резким Васькиным тоном, Пашка и Машка молча переглянулись.

— Жулик, — тихо и покорно согласился Пашка.

— Жулик, — повторила Машка и тепло улыбнулась. — Только он хороший был жулик. Бабка нехорошая, недобрая, а он хороший... А потом... — тут голос ее чуть-чуть задрожал, она вздохнула, большие голубые глаза ее стали влажными и печальными, а маленькие ручонки разжались, и два крупных жолудя тихо упали на мягкую траву, — а потом взял он, наш папочка, да куда-то далеко-далеко от нас уехал.

Какой-то вскрик, странный, приглушенный, раздался позади Васьки.

Он обернулся и увидел, что, крепко втиснув голову в сочную душистую траву, вздрагивая угловатыми, худыми плечами, Петька безудержно, беззвучно... плачет.

13

Дальние страны, те, о которых так часто мечтали ребятишки, туже и туже смыкая кольцо, надвигались на безымённый разъезд № 216.

Дальние страны с большими вокзалами, с огромными заводами, с высокими зданиями были теперь где-то уже не очень далеко.

Еще так же, как и прежде, проносился мимо безудержный скорый, но уже оставивший пассажирский сорок второй и почтовый двадцать четвертый.

Еще пусто и голо было на изрытой ямами заводской площадке, но уже копошились на ней сотни рабочих, уже ползала по ней, вгрызаясь в землю и лязгая железной пастью, похожая на прирученное чудовище, диковинная машина — экскаватор.

Опять прилетел для фотосъемки аэроплан. Что ни день, то вырастали новые бараки, склады, подсобные мастерские. Приехали кинопередвижка, вагон-баня, вагон-библиотека.

Заговорили рупоры радиоустановок, и, наконец, с винтовками за плечами пришли часовые Красной Армии и молча стали на свои посты.

По пути к Ивану Михайловичу Васька остановился там, где еще совсем недавно стояла их старая будка.

Угадывая ее место только по уцелевшим столбам шлагбаума, он подошел поближе и, глядя на рельсы, подумал о том, что вот эта блестящая рельсина пройдет теперь как раз через тот угол, где стояла их печка, на которой они так часто грелись с рыжим котом Иваном Ивановичем, и что если бы его кровать поставить на прежнее место, она встала бы как раз на самую крестовину, прямо поперек железнодорожного полотна.

Он огляделся. По их огороду, подталкивая товарные вагоны, с пыхтением ползал старый маневровый паровоз.

От грядок с хрупкими огурцами не осталось и следа, но неприхотливая картошка через песок насыпей и даже через колкий щебень кое-где упрямо пробивалась кверху кустиками пыльной сочной зелени.

Он пошел дальше, припоминая прошлое лето, когда в эти утренние часы было пусто и тихо. Изредка только загочут гуси, звякнет жестяным колокольцем привязанная к колу коза да загремит ведрами у скрипучего колодца вышедшая за водой баба. А сейчас...

Глухо бабахали тяжелые кувалды, вколачивая огромные бревна в берега Тихой речки.

Гремели разгружаемые рельсы, звенели молотки в слесарной мастерской и пулеметной дробью трещали неумолчные камнедробилки.

Васька пролез под вагонами и лицом к лицу столкнулся с Серезжкой.

В запачканных клеем руках Серезжка держал коловорот и, наклонившись, разыскивал что-то в траве, пересыпанной коричневым промасленным песком.

Он искал, повидимому, уже давно, потому что лицо у него было озабоченное и расстроенное.

Васька посмотрел на траву и нечаянно увидел то, что потерял Серезжка. Это была металлическая перка, которую вставляют в коловорот, чтобы провертывать дырки.

Серезжка не мог ее видеть, так как она лежала за шпалой с Васькиной стороны.

Серезжка взглянул на Ваську и опять наклонился, продолжая поиски.

Если бы во взгляде Серезжки Васька уловил что-либо вызывающее, враждебное или чуточку насмешливое, он прошел бы своей дорогой, предоставив Серезжке заниматься поисками хоть до ночи. Но ничего такого на лице Серезжки он не увидел. Это было обыкновенное лицо человека, озабоченного потерей нужного для работы инструмента и огорченного безуспешностью своих поисков.

— Ты не там ищешь, — невольно сорвалось у Васьки. — Ты в песке ищешь, а она лежит за шпалой.

Он поднял перку и подал ее Серезжке.

— И как она залетела туда? — удивился Серезжка. — Я бежал, а она выскочила и вот куда залетела.

Они уже готовы были заулыбаться и вступить в переговоры, но, вспомнив о том, что между ними старая, не прекращающаяся вражда, оба мальчугана нахмурились и внимательно оглядели один другого.

Серезжка был немного постарше, повыше и потоньше. У него были рыжие волосы, серые озорные глаза, и весь он был какой-то гибкий, изворотливый и опасный.

Васька был шире, крепче и, возможно, даже сильнее. Он стоял, чуть склонив голову, одинаково готовый и к тому, чтобы разойтись миром, и к тому, чтобы подраться, хотя он и знал, что в случае драки попадет все-таки больше ему, а не его противнику.

— Эй, ребята! — окликнул их с плат-

формы человек, в котором они узнали главного мастера из механической мастерской. — Пойдите-ка сюда. Помогите немного.

Теперь, когда выбора уже не оставалось и затеять драку означало отказать в той помощи, о которой просил мастер, ребята разжали кулаки и быстро полезли на открытую грузовую платформу.

Там валялись два ящика, разбитые неудачно упавшей железной балкой.

Из ящиков по платформе, как горох из мешка, рассыпались и раскатились маленькие и большие, короткие и длинные, узкие и толстые железные гайки.

Ребятам дали шесть мешков — по три на каждого — и попросили их разобрать гайки по сортам. В один мешок гайки механические, в другой — газовые, в третий — метровые.

И они принялись за работу с той поспешностью, которая доказывала, что, несмотря на несостоявшуюся драку, дух соревнования и желания каждого быть во всем первым нисколько не угас, а только принял иное выражение.

Пока они были заняты работой, платформу толкали, перегоняли с пути на путь, отцепляли и куда-то опять прицепляли.

Все это было очень весело, особенно тогда, когда сцепщик Семен, предполагая, что забралась на маневрирующий состав из баловства, хотел огреть их хворостиной, но, разглядев, что они заняты работой, ругаясь и чертыхаясь, соскочил с подножки платформы.

Когда они окончили разборку и доложили об этом мастеру, мастер решил, что, вероятно, ребята свалили все гайки без разбора в одну кучу, потому что окончили они очень уж скоро. Но он не знал, что они старались и потому, что гордились порученной им работой, и потому, что не хотели отставать один от другого.

Мастер был очень удивлен, когда, раскрыв принесенные грузчиком мешки, увидел, что гайки тщательно рассортированы так, как ему было надо. Он похвалил их, позволил им приходить в мастерские и помогать в чем-нибудь, что сумеют или чему научатся.

Довольные, они шли домой уже как хорошие, давнишние, но знающие каждый себе цену друзья. И только на одну минутку вспыхнувшая искорка вражды готова была разгореться вновь. Это тогда, когда Васька спросил у Сережки, брал он компас или не брал.

Глаза Сережки стали злыми, пальцы рук сжались, но рот улыбался.

— Компас? — спросил он с плохо скрываемой озлобленностью, оставшейся от памятной порки. — Вам лучше знать, где компас. Вы бы его у себя поискали...

Он хотел еще что-то добавить, но, перебивая себя, замолчал и насупился.

Так они прошли несколько шагов.

— Ты, может быть, скажешь, что и нырётку нашу не брал? — недоверчиво спросил Васька, искоса поглядывая на Сережку.

— Не брал, — отказался Сережка, но теперь лицо его приняло обычное хитровато-насмешливое выражение.

— Как же не брал? — возмутился Васька. — Мы шарили, шарили по дну, а ее нет и нет. Куда же она девалась?

— Значит, плохо шарили. А вы пошарьте получше. — Сережка рассмеялся и, глядя на Ваську, с каким-то странным и сбившим с толку добродушием добавил: — У них там рыбы, поди-ка, набралось прорва, а они сидят себе да охают!

На другой же день, еще спозаранку, забыв «кошку», Васька направился к реке, без особой, впрочем, веры в Сережкины слова.

Три раза закидывал он «кошку», и все впустую. Но на четвертом разе бечевка туго натянулась.

«Неужели правда он не брал? — думал Васька, быстро подтягивая добычу. — Ну конечно, не брал... Вот, вот она... А мы-то... Эх, дураки!»

Тяжелая плетеная нырётка показалась над водой. Внутри ее что-то ворочалось и плескалось, вызывая в Васькином воображении самые радужные надежды. Но вот, вся в песке и в наплывах холодной тины, она шлепнулась на берег, и Васька кинулся разглядывать богатую добычу.

Изумление и разочарование овладели им, когда, раскрыв плетеную дверцу, он вытряхнул на землю около двух десятков дохлых лягушек.

«И откуда они, проклятые, понабились? — удивился Васька. — Ну бывало случайно одна заберется, редко-редко две. А тут, гляди-ка, ни одного ершика, ни одной малосенькой плотички, а, точно насмех, целый табун лягушек».

Он закинул нырётку обратно и пошел домой, сильно подозревая, что компас-то, может быть, Сережка и не брал, но что нырётка, набитая лягушками, оказалась на прежнем месте не раньше, как только вчера вечером.

Васька бежал со склада и тащил в мастерскую моток проволоки. Из окошка высунулась мать и позвала его, но Васька торопился: он заматал головой и прибавил шагу.

Мать закричала на него еще громче, перечисляя все те беды, которые должны будут свалиться на Васькину голову в том случае, если он сию же минуту не пойдет домой. И хотя, если верить ее словам, последствия его неповиновения должны были быть очень неприятными, так как до Васькиного слуха долетели такие слова, как «выдеру», «высеку», «нарву уши» и так далее, но дело все в том, что Васька не очень-то верил в злопамятность матери и, кроме того, ему на самом деле было некогда. И он хотел продолжать свой путь, но тут мать начала звать его уже ласковыми словами, одновременно размахивая какой-то белой бумажкой.

У Васьки были хорошие глаза, и он тотчас же разглядел, что бумажка эта не что иное, как только что полученное письмо. Письмо же могло быть только от брата Павла, который работал слесарем где-то очень далеко. А Васька очень любил Павла и с нетерпением ожидал его приезда в отпуск.

Это меняло дело. Заинтересованный Васька повесил моток проволоки на забор и направился к дому, придав лицу то скорбное выражение, которое заставило бы мать

почувствовать, что он через силу оказывает ей очень большую услугу.

— Прочитай, Васька, — просила обозленная мать очень кротким и миролюбивым голосом, так как знала, что если Васька действительно заупрямится, то от него никакими угрозами ничего не добьешься.

— Тут человек делом занят, а она... прочитай да прочитай! — недовольным тоном ответил Васька, беря письмо и неторопливо распечатывая конверт. — Прочитала бы сама. А то когда я к Ивану Михайловичу учиться бегал, то она: куда шляешься да куда шатаешься? А теперь... почитай да почитай.

— Разве же я, Васенька, за уроки ругалась? — виновато оправдывалась мать. — Я за то ругалась, что уйдешь ты на урок чистый, а вернешься, как чорт, весь измазанный, избрызганный... Да читай же ты, идол! — нетерпеливо крикнула она наконец, видя, что, развернув письмо, Васька положил его на стол, потом взял ковш и пошел напиться и только после этого крепко и удобно уселся за стол, как будто бы собирався засесть до самого вечера.

— Сейчас прочитаю, отойди-ка немного от света, а то застишь.

Брат Павел узнал о том, что на их разъезде строится завод и что там нужны слесаря.

Постройка, на которой он работал, закончилась, и он писал, что решил приехать на родину. Он просил, чтобы мать сходила к соседке Дарье Егоровне и спросила, не сдаст ли та ему с женою хотя бы на лето одну комнату, потому что к зиме у завода, надо думать, будут уже свои квартиры. Это письмо обрадовало и Ваську и мать.

Она всегда мечтала, как хорошо было бы жить всей семьею вместе. Но раньше, когда на разъезде не было никакой работы, об этом нечего было и думать.

Кроме того, брат Павел совсем еще недавно женился, и всем очень хотелось посмотреть, какая у него жена.

Ни о какой Дарье Егоровне мать не заговаривала и слышать.

— Еще что! — говорила она, заграбастывая у Васьки письмо и с волнением глядясь в непонятные, но дорогие для нее черточки и точки букв. — Или мы сами ху-

же Дарьи Егоровны?.. У нас теперь не прежняя конура, а две комнаты, да передняя, да кухня. В одной сами будем жить, другую Павлушке отдадим. На что нам другая?

Гордая за сына и счастливая, что скоро увидит его, она совсем позабыла, что еще недавно она жалела старую будку, ругала новый дом, а заодно и всех тех, кто это выдумал — ломать, перестраивать и заново строить.

14

С Петькой за последнее время дружба порвалась. Петька стал какой-то не такой, дикий.

То все ничего — играет, разговаривает, то вдруг нахмурится, замолчит и целый день не показывается, а все возится дома во дворе с Еленкой.

Как-то, возвращаясь из столярной мастерской, где они с Сережкой насаживали молотки на рукоятки, перед обедом, Васька решил искупаться.

Он свернул к тропке и увидел Петьку. Петька шел впереди, часто останавливаясь и оборачиваясь, как будто бы боялся, что его увидят.

И Васька решил выследить, куда пробирается украдкой этот шальной и странный человек.

Дул крепкий жаркий ветер. Лес шумел. Но, опасаясь хруста своих шагов, Васька свернул с тропки и пошел кустами чуть-чуть позади.

Петька пробирался неровно: то, как будто набравшись решимости, пускался бежать и бежал быстро и долго, так что Васька, которому приходилось огибать кусты и деревья, еле-еле поспевал за ним, то останавливался, начинал тревожно оглядываться, а потом шел тихо, почти через силу, точно сзади его кто-то подгонял, а он не мог и не хотел итти.

«И куда это он пробирается?» думал Васька, которому начинало передаваться Петькино возбужденное состояние.

Внезапно Петька остановился. Он стоял долго; на глазах его заблестали слезы. Потом он понуро опустил голову и тихо

пошел назад. Но, пройдя всего несколько шагов, он опять остановился, тряхнул головой и, круто свернув в лес, помчался прямо на Ваську.

Испуганный и не ожидавший этого, Васька отскочил за кусты, но было уже поздно. Не разглядев Ваську, Петька все же услышал треск раздвигаемых кустов. Он вскрикнул и шарханул в сторону тропки.

Когда Васька выбрался на тропу, на ней никого уже не было.

Несмотря на то что недалеко был уже вечер, несмотря на порывистый ветер, было душно. По небу плыли тяжелые облака, но, не сбиваясь в грозовую тучу, они пронеслись поодиночке, не закрывая и не задевая солнца.

Тревога, смутная, неясная, все крепче и крепче охватывала Ваську, и шумливый, беспокойный лес, тот самый, которого почему-то так боялся Петька, показался вдруг и Ваське чужим и враждебным.

Он прибавил шагу и вскоре очутился на берегу Тихой речки.

Среди распутившихся ракитовых кустов распластался рыжий кусок гладкого песчаного берега. Раньше Васька всегда здесь купался. Вода здесь была спокойная, дно твердое и ровное.

Но сейчас, подойдя поближе, он увидел, что вода поднялась и помутнела.

Кусочки свежей щепы, осколки досок, обломки палок плыли беспокойно, сталкивались, расходясь и бесшумно поворачиваясь вокруг острых опасных воронок, которые то возникали, то исчезали на пенистой поверхности.

Очевидно, внизу, на постройке плотины, начали ставить перемычки.

Он разделся, но не бултыхнулся, как бывало раньше, и не забарахтался, веселыми брызгами распугивая серебристые стайки стремительных пескарей.

Осторожно опустившись у самого берега, ошупывая ногой теперь уже незнакомое дно и придерживаясь рукой за ветви куста, он окунулся несколько раз, вылез из воды и тихонько пошел домой.

Дома он был скучен. Плохо ел, пролил нечаянно ковш с водой и из-за стола встал молчаливый и сердитый.

Он пошел к Сережке, но Сережка был и сам злой, потому что порезал стамеской палец и ему только что смазали его иодом.

Васька пошел к Ивану Михайловичу, но не застал его дома; тогда он вернулся домой и решил спозаранку лечь спать.

Он лег, но не заснул. Он вспомнил прошлогоднее лето. И, вероятно, оттого, что день сегодня был такой беспокойный, неулачивый, прошлое лето показалось ему теплым и хорошим.

Неожиданно ему стало жалко и ту поляну, которую разрыл и разворотил экскаватор; и Тихую речку, вода в которой была такая светлая и чистая; и Петьку, с которым так хорошо и дружно проводили они свои веселые, озорные дни; и даже прожорливого рыжего кота Ивана Ивановича, который, с тех пор как сломали их старую будку, что-то запечалился, заскучал и ушел с разъезда неизвестно куда, так же как неизвестно куда улетела вспугнутая ударами тяжелых кувалд та постоянная кукушка, под звонкое и грустное кукование которой засыпал Васька на сеновале и видел любимые, знакомые сны.

Тогда он вздохнул, закрыл глаза и стал потихоньку засыпать.

Сон приходил новый, незнакомый. Сначала между мутных облаков проплыл тяжелый и сам похожий на облако острозубый золотистый карась. Он плыл прямо к Васькиной нырётке, но нырётка была такая маленькая, а карась такой большой, и Васька в испуге закричал: «Мальчишки!.. Мальчишки!.. Тащите скорее большую сеть, а то он порвет нырётку и уйдет». — «Хорошо, — сказали мальчишки, — мы сейчас притащим, но только раньше мы позвоним в большие колокола».

И они стали звонить: дон!.. дон!.. дон!.. дон!..

И пока они громко звонили, за лесом над Алешином поднялся столб огня и дыма. А все люди заговорили и закричали:

— Пожар! Это пожар... Это очень сильный пожар!

Тогда мать сказала Ваське:

— Вставай, Васька!

И так как голос матери прозвучал что-то очень громко и даже сердито, Васька до-

гадался, что это, пожалуй, уже не сон, а на самом деле.

Он открыл глаза. Было темно. Откуда-то издали доносился звон набатного колокола.

— Вставай, Васька, — повторила мать. — Залезь на чердак и посмотри. Кажется, Алешино горит.

Васька быстро натянул штаны и по крутой лесенке взобрался на чердак.

Неловко цепляясь впотьмах за выступы балок, он добрался до слухового окошка и высунулся до пояса.

Стояла черная, звездная ночь. Возле заводской площадки, возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей, вправо и влево ярко горели красные сигналы входного и выходного семафоров. Впереди слабо отсвечивала вода Тихой речки.

Но там, в темноте, за речкой, за невидимым шумевшим лесом, там, где находилось Алешино, не было ни разгорающегося пламени, ни летающих по ветру искр, ни потухающего дымного зарева. Там лежала тяжелая полоса густой, непроницаемой темноты, из которой доносились глухие набатные удары церковного колокола.

15

Сток свежего, душистого сена. С теневой стороны, укрывшись так, чтобы его не было видно с тропки, лежал уставший Петька.

Он лежал тихо, так что одинокая ворона, большая и осторожная, не заметив его, тяжело села на шест, торчавший над стогом.

Она сидела на виду, спокойно поправляя клювом крепкие блестящие перья. И Петька невольно подумал, как легко было бы всадить в нее отсюда полный заряд дроби. Но эта случайная мысль вызвала другую, ту, которой он не хотел и боялся. И он опустил лицо на ладони рук.

Черная ворона настороженно повернула голову и заглянула вниз. Неторопливо расправив крылья, она перелетела с шеста на высокую березу и с любопытством уставилась оттуда на одинокого плачущего мальчугана.

Петька поднял голову. По дороге из

Алешина шел дядя Серафим и вел на поводу лошадь: должно быть, перековывать. Потом он увидел Ваську, который возвращался по тропке домой.

И тогда Петька притих, подавленный неожиданной догадкой: это на Ваську натолкнулся он в кустах, когда хотел свернуть с тропки в лес. Значит, Васька уже что-то знает или о чем-то догадывается, иначе зачем же он стал бы его выслеживать? Значит, скрывай не скрывай, а все равно все откроется. Но, вместо того чтобы позвать Ваську и все рассказать ему, Петька насухо вытер глаза и твердо решил никому не говорить ни слова. Пусть открывают сами, пусть узнают и пусть делают с ним все, что хотят.

С этой мыслью он встал, и ему стало спокойнее и легче. С тихой ненавистью посмотрел он туда, где шумел алешинский лес, ожесточенно плюнул и выругался.

— Петька! — услышал он позади себя окрик.

Он съежился, обернулся и увидел Ивана Михайловича.

— Тебя поколотил кто-нибудь? — спросил старик. — Нет... Ну, кто-нибудь обидел? Тоже нет... Так отчего же у тебя глаза злые и мокрые?

— Скучно, — резко ответил Петька и отвернулся.

— Как это так скучно? То все было весело, а то вдруг стало скучно. Посмотри на Ваську, на Сережку, на других ребят. Всегда они чем-нибудь заняты, всегда они вместе. А ты все один да один. Поневоле будет скучно. Ты хоть бы ко мне прибежал. Вот в среду мы с одним человеком перепелов ловить поедем. Хочешь, мы и тебя с собой возьмем?

Иван Михайлович похлопал Петьку по плечу и спросил, незаметно оглядывая сверху Петькино похудевшее и осунувшееся лицо:

— Ты, может быть, нездоров? У тебя, может быть, болит что-нибудь? А ребята не понимают этого да все жалуются мне: «Вот Петька такой хмурый да скучный».

— У меня зуб болит, — охотно согласился Петька. — А разве же они понижают? Они, Иван Михайлович, ничего не

понимают. Тут и так болит, а они — почему да почему.

— Выдрать надо! — сказал Иван Михайлович. — На обратном пути зайдем к фельдшеру, я его попрошу, он разом тебе зуб выдернет.

— У меня... Иван Михайлович, он уже не очень болит, это вчера очень, а сегодня уже проходит, — немного подыскивая слова, объяснил Петька. — У меня сегодня не зуб, а голова болит.

— Ну, вот видишь! Поневоле заскучаешь. Зайдем к фельдшеру, он какую-нибудь микстуру даст или порошки.

— У меня сегодня здорово голова болела, — осторожно подыскивая слова, продолжал Петька, которому вовсе уж не хотелось, чтобы у него вырывали зубы и пичкали его кислыми микстурами и горькими порошками. — Ну так болела!.. Так болела!.. Хорошо только, что теперь уже прошла.

— Вот видишь, и зубы не болят, и голова прошла. Совсем хорошо, — ответил Иван Михайлович, тихонько посмеиваясь сквозь седые пожелтевшие усы.

«Хорошо! — вздохнул про себя Петька. — Хорошо, да не очень».

Они прошли вдоль тропки и сели отдохнуть на толстое почерневшее бревно.

Иван Михайлович достал кисет с табаком, а Петька молча сидел рядом.

Вдруг Иван Михайлович почувствовал, что Петька быстро подвинулся к нему и крепко ухватил его за пустой рукав.

— Ты что? — спросил старик, увидав, как побелело лицо и задрожали губы у мальчугана.

Петька молчал. Кто-то, приближаясь неровными, грузными шагами, пел песню.

Это была странная, тяжелая и бессмысленная песня. Низкий пьяный голос мрачно выводил:

Иэ-эха! И ехал, эх-ха-ха...
Вот да так ехал, аха-ха...
И приехал... эх-ха-ха...
Эха-ха! Д-ы аха-ха...

Это была та самая нехорошая песня, которую слышал Петька в тот вечер, когда заблудился на пути к Синему озеру. И,

крепко вцепившись в обшлаг рукава, он со страхом уставился на кусты. Задевая за ветви, сильно пошатываясь, из-за поворота вышел Ермолай. Он остановился, покачал всклокоченной головой, для чего-то погрозил пальцем и молча двинулся дальше.

— Эк нализался! — сказал Иван Михайлович, сердитый за то, что Ермолай так напугал Петьку. — А ты, Петька, чего? Ну пьяный и пьяный. Мало ли у нас таких шаляется!

Петька молчал. Брови его сдвинулись, глаза заблестели, а вздрагивающие губы крепко сжались. И неожиданно резкая, злая улыбка легла на его лицо. Как будто бы, только сейчас поняв что-то нужное и важное, он принял решение, твердое и бесповоротное.

— Иван Михайлович, — звонко сказал он, заглядывая старику прямо в глаза. — а ведь это Ермолай убил Егора Михайлова...

К ночи по большой дороге верхом на неоседланном коне с тревожной вестью скакал дядя Серафим с разезда в Алешино. Заскочив на улочку, он стукнул кнутовищем в окно крайней избы и, крикнув молодому Игошкину, чтобы тот скорей бежал к председателю, поскакал дальше, часто сдерживая коня у чужих темных окон и вызывая своих товарищей.

Он громко застучал в ворота председателя дома. Не дожидаясь, пока отпрут, он перемахнул через плетень, отодвинул запор, ввел коня и сам ввалился в избу, где уже заворочались, зажигая огонь, встревоженные стуком люди.

— Что ты? — спросил его председатель, удивленный таким стремительным напором обыкновенно спокойного дяди Серафима.

— А то, — сказал дядя Серафим, бросая на стол смятую клетчатую фуражку, продрявленную дробью и запачканную темными пятнами засохшей крови, — а то, чтобы вы все подошли! Ведь Егор-то никуда и не убежал, а его в нашем лесу убили.

Изба наполнилась народом. От одного к другому передавалась весть о том, что Егора убили тогда, когда, отправляясь из Алешина в город, он шел по лесной тропе

на разезд, чтобы повидать своего друга Ивана Михайловича.

— Его убил Ермолай и в кустах обронил с убитого кепку, а потом все ходил по лесу, искал ее, да не мог найти. А натолкнулся на кепку машинистов мальчишка Петька, который запутался и забрел в ту сторону.

И тогда точно яркая вспышка света блеснула перед собравшимися мужиками. И тогда многое вдруг стало ясным и понятным. И непонятным было только одно: как и откуда могло возникнуть предположение, что Егор Михайлов — этот лучший и надежнейший товарищ — позорно скрылся, захватив казенные деньги?

Но тотчас же, объясняя это, из толпы, от дверей послышался надорванный, болезненный выкрик хромого Сидора, того самого, который всегда отворачивался и уходил, когда с ним начинали говорить о победе Егора.

— Что Ермолай! — кричал он. — Чье ружье? Все подстроено. Им мало смерти было... Им позор подавай... Деньги везет... Бабах его! А потом — убежал... Вор! Мужики взъярятся: где деньги? Был колхоз — не будет... Заберем луг назад... Что Ермолай! Все... все... подстроено!

И тогда заговорили еще резче и громче. В избе становилось тесно. Через распахнутые окна и двери злоба и ярость вырывались на улицу.

— Это Данилино дело! — крикнул кто-то.

— Это ихнее дело! — раздался кругом разгневанный голоса.

И вдруг церковный колокол ударил набатом, и его густые дребезжащие звуки загремели ненавистью и болью.

Это обезумевший от злобы, к которой примешивалась радость за своего не убежавшего, а убитого Егора, хромым Сидор, самовольно забравшись на колокольню, в яростном упоении бил в набат.

— Пусть бьет. Не трогайте! — крикнул дядя Серафим. — Пусть всех поднимает. Давно пора!

Вспыхивали огни, распахивались окна, хлопали калитки, и все бежали к площади — узнать, что случилось, какая беда, почему шум, крики, набат.

А в это время Петька впервые за многие дни спал крепким и спокойным сном. Все прошло. Все тяжелое, так неожиданно и крепко сдавившее его, было свалено, сброшено. Он много перемучился. Такой же мальчуган, как и многие другие, немножко храбрый, немножко робкий, иногда искренний, иногда скрытный и хитроватый, он из-за страха за свою небольшую беду долго скрывал большое дело. Он увидел валяющуюся кепку в тот самый момент, когда, испугавшись пьяной песни, хотел бежать домой. Он положил свою фуражку с компасом на траву, поднял кепку и узнал ее: это была клетчатая кепка Егора, вся продырявленная и запачканная засохшей кровью. Он задрожал, выронил кепку и пустился наутек, позабыв о своей фуражке и о компасе.

Много раз пытался он пробраться в лес, забрать фуражку и утопить проклятый компас в реке или в болоте, а потом рассказать о находке, но каждый раз необъяснимый страх овладевал мальчуганом, и он возвращался домой с пустыми руками.

А сказать так, пока его фуражка с украденным компасом лежала рядом с простреленной кепкой, у него не хватало мужества. Из-за этого злосчастного компаса уже был поколочен Сережка, был обманут Васька, и он сам, Петька, сколько раз ругал при ребятах непойманного вора. И вдруг оказалось бы, что вор — он сам. Стыдно! Подумать даже страшно! Не говоря уже о том, что и от Сережки была бы взбучка и от отца тоже крепко попало бы. И он осунулся, замолчал и притих, все скрывая и утаивая. И только вчера вечером, когда он по песне узнал Ермолая и угадал, что ищет Ермолай в лесу, он рассказал Ивану Михайловичу всю правду, ничего не скрывая, с самого начала.

Через два дня на постройке завода был праздник. Еще с раннего утра приехали музыканты, немного позже должны были прибыть делегация от заводов из города, пионерский отряд и докладчики.

В этот день производилась торжественная закладка главного корпуса.

Все это обещало быть очень интересным, но в этот же день в Алешине хоронили убитого председателя Егора Михайлова, чье закиданное ветвями тело разыскали на дне глубокого, темного оврага в лесу.

И ребята колебались и не знали, куда им идти.

— Лучше в Алешино, — предложил Васька. — Завод еще только начинается. Он всегда тут будет, а Егора уже не будет никогда.

— Вы с Петькой бегите в Алешино, — предложил Сережка, — а я останусь здесь. Потом вы мне расскажете, а я вам расскажу.

— Ладно, — согласился Васька. — Мы, может быть, еще и сами к концу поспеем... Петька, нагайки в руки! Гайда на коней и поспачем.

После жарких, сухих ветров ночью прошел дождик. Утро разгоралось ясное и прохладное.

То ли оттого, что было много солнца и в его лучах бодро трепыхались упругие новые флаги, то ли оттого, что нестройно гудели на лугу сыгрывающиеся музыканты и к заводской площадке тянулись отовсюду люди, было как-то по-необыкновенному весело. Не так весело, когда хочется баловать, прыгать, смеяться, а так, как бывает перед отправлением в далекий, долгий путь, когда немножко жалко того, что остается позади, и глубоко волнует и радует то новое и необычайное, что должно встретиться в конце намеченного пути.

В этот день хоронили Егора. В этот день закладывали главный корпус алюминиевого завода. И в этот же день разъезд № 216 переименовался в станцию «Крылья самолета».

Ребятишки дружной рысцой бежали по тропке. Возле мостика они остановились. Тропка здесь была узкая, по сторонам лежало болотце. Навстречу шли люди. Четыре милиционера с наганами в руках — два сзади, два спереди — вели троих арестованных. Это были Ермолай, Данила Егорович и Петунин. Не было только веселого кулака Загребина, который еще в ту ночь,

когда загудел набат, раньше других разузнал, в чем дело, и, бросив хозяйство, скрылся неизвестно куда.

Завидя эту процессию, ребятишки попятнулись к самому краю тропки и молча остановились, пропуская арестованных.

— Ты не бойся, Петька! — шепнул Васька, заметив, как побледнело лицо его товарища.

— Я не боюсь, — ответил Петька. — Ты думаешь, я молчал оттого, что их боялся? — добавил Петька, когда арестованные прошли мимо. — Это я вас, дураков, боялся.

И хотя Петька выругался и за такие обидные слова следовало бы дать ему тычка, но он так прямо и так добродушно посмотрел на Ваську, что Васька улыбнулся сам и скомандовал:

— В галоп!

Хоронили Егора Михайлова не на кладбище, хоронили его за деревней, на высоком крутом берегу Тихой речки. Отсюда видны были и привольные, наливающиеся рожью поля, и широкий Забелин луг с речкой, тот самый, вокруг которого разгорелась такая ожесточенная борьба.

Хоронили его всей деревней. Пришла с постройки рабочая делегация. Приехал из города докладчик.

Из поповского сада вырыли бабы еще с вечера самый большой, самый раскидистый куст махрового шиповника, такого, что горит весной яркоалыми бесчисленными лепестками, и посадили его у изголовья, возле глубокой сырой ямы.

— Пусть цветет!

Набрали ребята полевых цветов и тяжелые простые венки положили на крышку сырого соснового гроба. Старик Иван Михайлович, бывший машинист бронированного поезда, который пришел на похороны еще с вечера, провожал в последний путь своего молодого кочегара.

Шаг у старика был тяжелый, а глаза влажные и строгие.

Забравшись на бугор повыше, Петька и Васька стояли у могилы и слушали.

Говорил незнакомый из города. И хотя он был незнакомый, но он говорил так, как

будто бы давно и хорошо знал убитого Егора и алешинских мужиков, их заботы, сомнения и думы.

Он говорил о пятилетнем плане, о машинах, о тысячах и десятках тысяч тракторов, которые выходят и должны будут выйти на бескрайные колхозные поля.

И все его слушали.

И Васька с Петькой слушали тоже.

Но он говорил и о том, что так просто, без тяжелых, настойчивых усилий, без упорной, непримиримой борьбы, в которой могут быть и отдельные поражения и жертвы, новую жизнь не создашь и не построишь.

И над еще не засыпанной могилой погибшего Егора все верили ему, что без борьбы, без жертв не построишь.

И Васька с Петькой верили тоже.

И хотя здесь, в Алешине, были похороны, но голос докладчика звучал бодро и твердо, когда он говорил о том, что сегодня праздник, потому что рядом закладывается корпус нового гигантского завода.

Но хотя на постройке был праздник, тот, другой оратор, которого слушал с крыши барака оставшийся на разъезде Сережка, говорил о том, что праздник праздником, но что борьба повсюду проходит, не прерываясь, и сквозь будни и сквозь праздники.

И при упоминании об убитом председателе соседнего колхоза все встали, сняли шапки, а музыка на празднике заиграла траурный марш.

Так говорили и там, так говорили и здесь потому, что и заводы и колхозы — все это части одного целого.

И потому, что незнакомый докладчик из города говорил так, как будто бы он давно и хорошо знал, о чем здесь все думали, в чем еще сомневались и что должны были делать, Васька, который стоял на бугре и смотрел, как бурлит внизу схватываемая плотной водой, вдруг как-то особенно остро почувствовал, что ведь и на самом деле все — одно целое.

И разъезд № 216, который с сегодняшнего дня уже больше не разъезд, а станция «Крылья самолета», и Алешино, и новый завод, и эти люди, которые стоят у гроба, а вместе с ними и он, и Петька — все это частицы одного огромного и сильного целого, того, что зовется Советская страна.

И эта мысль, простая и ясная, крепко легла в его возбужденную голову.

— Петька, — сказал он, впервые охваченный странным и непонятным волнением, — правда, Петька, если бы и нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай?.. Нам не жалко!

— Не жалко! — как эхо, повторил Петька, угадывая Васькины мысли и настроение. — Только, знаешь, лучше мы будем жить долго-долго.

Когда они возвращались домой, то еще издали слышали музыку и дружные хоровые песни. Праздник был в самом разгаре.

С обычным ревом и грохотом из-за поворота вылетел скорый.

Он промчался мимо, в далекую советскую Сибирь. И ребяташки приветливо замахали ему руками и крикнули «счастливого пути» его незнакомым пассажирам.

1932 г.





ВОЕННАЯ ТАЙНА



ИЗ-ЗА какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в три с половиной.

Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя, — крикнула опечаленная Натка, — я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рывкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку. — Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя, — виновато и весело заговорила Натка, — хорошо тебе — «завтра». А я

и так на трое суток опоздала. То в горьком сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут еще поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском. — Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя, — продолжала Натка. — Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папаче. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девочка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидела нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девочки режут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девочки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка, — улыбнулся Шегалов. — Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомилову, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще и еще куда-то.

И когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному Валу, шофер увеличил скорость так, то машина с легким, упругим жужжа-

нием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконое одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя, — задумчиво сказала Натка, — три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу — учиться, говорят, в совпартшколе, — а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу, — упрямо повторила Натка. — Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю — через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов. — Не любишь или не справляешься?

— Не люблю, — созналась Натка. — Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел, — насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперед наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. Два эшелона полудохлой скотины — и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приемщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи, — говорят, — да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отошальные». Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мною поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьезно посмотрел на Натку.

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чем это я? Так ты не робей, Натка, тогда все, как надо, будет. — И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она. — Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путевку на

отдых, в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил ее Шегалов. — Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну, до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была легчик! — с грустной улыбкой закончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через тоннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй, — говорил ей на прощанье Шегалов. — Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... все старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров». — Она перевернула страничку и прищурилась. — И вот это... Это тоже уже прошлое».

Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях румынской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядевшие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандарм-

ским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозные тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна.

Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда, — сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа... — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом, — ответил отец.

— Ладно, потом, — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька, — попросил он, — я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто, — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор.

Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам при-

нес, — спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю, — ответил отец. — Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то у отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбулся.

— Это моя книжка, — сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл, — объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

— Что же, возьми, если твоя, — ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. — Тебя как зовут?

— Алька, — отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Еще раз Натка увидела их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор.

Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу.

Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здорово, ребята! Откуда? — спросила Натка, поровнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!.. Мурманцы!.. — охотно закричали ей в ответ.

— Машиной, — спросила Наташа, — или с парохода?

— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке, — тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алеша Николаев.

— Натка, — соскакивая с велосипеда, закричал он сверху, — уральцы приехали?

— Не видала, Алеша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.

— Ну, значит еще не приехали.

— Натка, — закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда, — выкупаешься, зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело.

— Какое еще дело? — удивилась Натка, но Алеша махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое; вода светлая и теплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алеша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные?» подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разы-

скивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

Алешу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала Тольке набить по дороге карманы яблоками, а Владика — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик сидели невозмутимые и спокойные.

— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

— Из-под Тамбова. Один я приехал, — басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган. — Из колхоза я. Меня в премию послали.

— Как в премию? — не совсем поняла Натка.

— Баранкин мое фамилие. Семен Михайлов Баранкин, — охотно объяснил мальчуган. — А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

— Какой завод?

— Походный, фильтровальный, — серьезно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смиренные и лукавые гонцы, он добавил сердито: — И кто это в спину кидается? Тут и так встопел, а еще кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Федор Михайлович.

— Заходи, — сказал он, пропуская Натку в комнату. — Садись. Вот что, Ната, — начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась, — в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчага-

нов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приемка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

— Но я ничего не понимаю ни в приемке, ни в горячке, — испугалась Натка. — Я и сама тут, Федор Михайлович, третий день.

— Да тебе и понимать ничего не надо, — взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик. — Там есть и фельдшер и сестры. Они сами примут. А твое дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьешь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

— Два года, — сердито ответила Натка. — А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. — Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй, сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

— Да сколько хоть человек в этом отряде? — унылым голосом спросила Натка.

— Там узнаешь, иди, иди, — повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: — Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, бушевала неумная суета.

Только что прибыла последняя партия — средневожцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запыленные, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.

В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился

строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннородый Гейка. — Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!..

Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг и, отчаянно картавя, кричал:

— Что за безобразие? Прекратите это безобразие!

И новенькие ребята, которые еще не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он еще больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущенно выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой и еще не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

— Иоська! — окликнула Натка. — Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать... А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Оська. — Кто не прививал, вылетай живо!

— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. — Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалеву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок — кубанец.

— Лыбатько?

— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

— Подавай сигнал, — ответила Натка, — сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить, — подумала Натка. — Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утеса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскислого дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тархтела моторная лодка.

Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чьи-то шаги слышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Натка узнала бы их по голосам.

Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, повидимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

— А как по-твоему, — останавливаясь, спросил высокий, — стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

— Не стоит, — согласился мальчуган и добавил сердито: — Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы все идем да идем, а дома все нет и нет.

— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали, — догадалась Натка. — Что же они здесь делают?»

В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девочкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, от чего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнату, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон.

Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетанье. Неподалеку от террасы чернорабочий Гейка колот дрова.

— Хорошо! — негромко крикнула Натка и рассмеялась, услышав откуда-то из-под скалы такой же, как и ее, вскрик — веселое чистое эхо.

— Натка... ты что? — услышала она позади себя удивленный голос.

— Корабли, Нина... — не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далекий сверкающий горизонт.

— А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашев-

ский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лег. Я — из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвешь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать». И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит, молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?

— Нина, — помолчав, спросила Натка, — ты не встречала здесь таких двоих?.. Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.

— В сером френче... — повторила Нина. — Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?

— Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.

— Видела я человека во френче, — не сразу вспомнила Нина. — Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.

— И большой шрам на лице, — подсказала Натка.

— Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка? — спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу.

— Не знаю, Нина.

— Я встал, можно звонить подъем? — басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

— Можно, — сказала Натка. — Звони. «Экий увалень!» подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтральный завод.

Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трех старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый, чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгаили, пятые просто ничего не делали, а, лежа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренька Карасикова.

Так они и сделали. Послушали про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногухватила собака.

— Толька, — спросил Владик, — а ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я слышу, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька. — Ты всегда что-нибудь да придумашь.

— Ничего не врать, мне мама все рассказывала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте

покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабу Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезет. Как захочет, она опять нырк в погреб.

— А мать где? — спросил Толька. — Ты все рассказывай, по порядку.

— Я и так по порядку. А мать все наверху бегаёт: то хлеб принесет, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылезти. Толкнулась, а крышка погреба заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылезла. Потом хлопнула дверь — это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрепанная. «Вылезайте», говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылезит. Насилу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы? — спрашивает. — Ну, скорее». А бабка не идет и злобно на отца ругается.

— Чего же это она ругалась? — удивился Толька.

— Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

— Так и не пошла?

— И не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу. А кругом все горит: деревня горит, костел горит... Это от снарядов. А дальше у матери все смешалось: как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

— Отец-то почему с винтовкой приходил?

— А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и еще там разных... Как поймают, так и в ревком.

— Нельзя было отцу оставаться, — со-

гласился Толька. — Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

— Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня — ей уже сейчас двадцать восемь лет, — так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее — три года сидела. Потом выпустили — три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

— Скоро опять выпустят?

— Нет, еще не скоро. Еще четыре года пройдет, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

— Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

— Толька! — тихо и оживленно заговорил вдруг Владик. — А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрешься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь все это враки, Владик, — усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы? — заинтересовался Толька. — Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

— Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до границы.

— Зачем же билеты? — удивился Толька. — Ведь нас бы и так никто не увидал.

— Чудак ты! — усмехнулся Владик. — Так мы бы сначала, не натершись, поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм — мы мимо, а он ничего не видит.

— Можно было бы подойти сзади да кулаком стукнуть, — предложил Толька.

— Можно, — согласился Владик. — Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, все оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

— Вот уж нет, — возразил Толька. — В Баранкина это мы потихоньку, в шутку! А тут так дернули бы, что, пожалуй, и не завертись. Ну ладно! А потом?

— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик! — пожившись, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть? — холодно ответил Владик. — Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улице из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и все до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали? — нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры открыты, часовые побиты. Небось, сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да еще четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

— Нельзя наедаться, — серьезно поправил Толька, — что ты! Есть ничего нельзя, потому что пирожные — они ведь ненатертые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут! — согласился Владик.

И оба они расхохотались.

— Сказки все это, — помолчав, сознался и сам Владик. — Все это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось,

что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом.

— Сказки, — повторил он, поворачиваясь к Тольке. — А вот в Австрии есть коммунист один. Он — раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

— Как это невидимый? — насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, то там. Раз он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда, — с гордостью ответил Владик. — Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите, — говорит, — к чорту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

— Так это он нарочно! — с восхищением воскликнул Толька.

— А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно, — усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно: — Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думаешь? Порошок, что ли?

Издаലെка донесся гул колокола — к обеду, и ребятишки, хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не

спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал.

Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подергал Тольку за ногу.

— Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься.

Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владiku спиной. Владик рассердился и дернул Тольку за руку.

— Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьемся!..

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

— За такие дела можно и по шее... — начал было рассерженный Толька.

— Отбились! — торжественно заявил Владик. — За такие геройские дела представляю тебя к ордену. — И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке. — Брось, Толька, дуться! Вон под горою какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы все разведем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебежали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спустились вниз, ничего не оставляя на своем пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчанье злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ажины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в

одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре.

Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом — ни души.

— Это древняя крепость, — объяснил Владик. — Давай, Толька, поищем, может быть и наткнемся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человеческих костей им не попалось.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колочей травы, они наткнулись на темное, пахнувшее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издали, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъему.

Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

— Владик, — с любопытством спросил Толька, — вот и ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет, — ответил Владик. — Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом,

а теперешним, со звездой и с маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пытая и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

— Коля, — говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана, — ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

— Это мне брат из колхоза пишет, — громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят. — Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий — тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий — он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотных, а одна еще неграмотная, мала девка.

— А теток у тебя сколько?

— А корова у вас есть?

— А курицы есть? А коза есть? — закричали Баранкину сразу несколько человек.

— Теток у меня нет, — охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом. — Корова у нас есть, свинью закололи, только поросенок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. И что смеетесь? — добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех. — Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли ему письма. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги — от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусками столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Ее черная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты: молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб и что она торопится, потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый — вероятно, бригадир или дежурник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные серые громады незаконченных построек и ключья густого, черного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем все хорошо, — устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством

посмотрела еще раз на черную, пыльную спецовку, на тяжелые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристегивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись, и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

— Баранкин, — удивилась и рассердилась Натка, — ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

— Это не игра, — убежденно произнес Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник. — Ну, завязали мне ноги в мешок — беги, говорят. Я шагнул и — бац на землю. Шагнул и — опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять — беги! Конечно, яйцо хлоп и — разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго. — Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил: — Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл, — спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки. — Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идет. Совсем забыл, — повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил: — У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадей запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин, — спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо, — у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут, — охотно и обрадованно ответил Баранкин. — Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотиницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего... поздоровела. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый.

В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду! — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик. — Это Гейка зовет, — объяснил он. — Мы с ним дружки.

Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноградниках. Зажглись зеленые огни маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки дает Картузик», подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

— Пасовать, — вполголоса строго сказал ей Картузик.

— Есть пасовать, — также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

— Пасовать, — повторил Картузик. — Спокойней, Натка.

Но вот он, крученный, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

— Дай! — крикнула Натка Картузику.

— Возьми! — ответил Картузик.

— Режь! — вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

— Есть! — ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

— Один — ноль, — объявил судья и, за свистев, предупредил: — Шегалова и Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улынулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

— Шегалова, — крикнул ей кто-то из ребят, — тебя Алеша Николаев зачем-то ищет!

— Еще что! — отмахнулась Натка. — Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгушалась. На счете «один — ноль» догорела заря. На «восемь — пять» зажглись звезды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинать всю игру сначала.

— Сэт-бол! — крикнул судья, и почти тотчас же черный мяч взвился высоко над серединой сетки.

— Дай! — глазами попросила Натка у Картузика.

— Возьми! — ответил он молчаливым кивком головы.

— Режь! — зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и еще втемную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

— Шегалова и Картузик, не переговариваться! — добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился.

— Федор Михайлович спрашивал, — угрюмо сообщил он Натке. — Меня посылают искать, да я не нашел. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?» с тревогой подумала Натка и круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что все равно уже поздно и все спят, тихонько прошла в коридор.

Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевеливаться, Натка при-

слушалась и теперь, уже ясно расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидела, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька.

Все это было очень неожиданно, а главное — совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

— Ольга Тимофеевна, — полушопотом спросила Натка, — кто это? Почему это?

— Это Алька, — равнодушно ответила дежурная. — Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алешки Николаева.

«Натка! — писал Алеша. — Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись — мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кровати стояла белая табуретка. На ней лежали синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алешку Николаева она не сердилась.

Не доезжая до верхних барачков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Еще издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись еще на полметра, вода пойдет назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется еще на метр, перельется через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и бревна.

— Когда прорвало? — спросил инженер. — Шалимов где?

— Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рвануло это снизу, они — туды, сюды, меня искать... Пока то да се, пока меня разыскали, а оно вон как разворотило.

— Шалимов где?

— Сейчас придет. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щепнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода.

И когда наконец, сбросив последнюю грудку балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошел на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголек, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало чуть правее, и, понаблюдому, прорвало еще сильнее, чем прежде.

Мимо обозленных землекопов инженер подошел к Дягилеву и Шалимову. Он повел их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.

— Вот! — сказал он. — Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперек, и мы спустим воду по скату.

— Грунт-то какой, Сергей Алексеевич! — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым. — Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень.

— Ройте, — повторил инженер. — Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвем динамитом.

— Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей змотаем.

— Ройте, — отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер. — Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошел к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежнее богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома — Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой черной бородой.

— Здравствуйте! — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

— Ба!.. Ба!.. Сергей! — улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом. — Откуда? И в каком виде — сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

— Дело, товарищ Гитаевич, — сказал Сергей, сжимая протянутую руку. — Спешное дело.

— Уволь, уволь, — заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку. — Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чем хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так поговорим — это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

— Дело, товарищ Гитаевич, — упрямо повторил Сергей. — Если бы не важное, то и не просил бы.

— Палицын где?.. Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах, ты! Да как же его, этого, что со шрамом? — как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

— Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом, — продолжал Сергей. — Мне динамит нужен. Взрывсельпром не дает. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит вы тоже шеф.

— Какой динамит? Какие шефы? — с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич. — И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

— Дело ерундовое, — согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

— Возьми, — грубовато сказал он. — От тебя не отстанешь.

— Ваша школа, товарищ Гитаевич, — ответил Сергей и, спрятав бумагу, доба-

вил: — Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищурился под дымчатыми стеклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

— Так посадил, говоришь? — неожиданно веселым, но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу.

— Давно это было, Сергей, — уже тише добавил он.

— Давно, товарищ Гитаевич.

— Так ты теперь не в армии?

— Инженер. Командир запаса.

— Почему же, Сережа, ты инженер? Я что-то не припоминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были... Пойдем, куда же ты? — спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается и застегивает полевую сумку. — Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдем к морю, выкупаемся, поговорим. Ты один? — глядя в лицо Сергея и почему-то тише и ласковей спросил Гитаевич.

— Один. То есть нас двое — я и Алька, — ответил Сергей. — Двое, я и сын, — повторил он и замолчал.

— Ну, до свиданья, — сказал Гитаевич, который, повидимому, что-то хотел сказать или о чем-то спросить, но раздумал — не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но, еще не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травой и засыпанная мелкими камнями. Неподалеку торчали остатки маленькой старинной

крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник.

Конь насторожил уши, и на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки.

Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.

— Из лагеря? — спросил Сергей. — А ну-ка, подите сюда!

— Из лагеря, — хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой. — Мы гуляли.

— Вот что, — сказал Сергей. — Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух к начальнику лагеря и скажите: пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чем плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко.

Над низовым кустарником, пронзительно чирикающая, носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды.

— Много вынули? — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался с маленьким сухошавым землекопом.

— А не мерил еще, — медленно выговаривая слова, ответил Шалимов. — Кубометров десять, должно быть, вынули.

— Мало, — сказал Сергей. — Плохо работаешь, Шалимов.

— Грунт тяжелый, — равнодушно ответил Шалимов, — не земля, а камень.

— Ну, камень! До камня еще далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальет второй участок, и оставим мы ребят без воды.

— Как можно без воды? — согласился Шалимов. — Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? — разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. — Вы посмотрите на выемку — так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка.

— Видел, — ответил Сергей. — До утра продержимся.

— Ой ли продержимся, Сергей Алексеевич?

— Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на три-четыре часа.

— Дягилев, — сказал он напоследок, — я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как ни приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

— Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

— Вы потом покажите мне все эти ведомости, — сказал Сергей. — Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

— Ну, давай! — подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофером. — Ночь темная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!.. — звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных круглых поворотах

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая беззвездная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое.

И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!.. — звонко гудела машина, взлетая в гору все круче и круче.

...Темные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму.

— Это мой конь! — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

— Да, — согласился начальник заставы, — эта худая, недобитая скотина — твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

— Хорошо! Посмотрим! — гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии.

— Плохо! — крикнул ему вдогонку ум-

ный, осторожный начальник заставы. — Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костер, лязгнули расхваченные винтовки.

— Это беженцы! — крикнул возвратившийся Сергей. — Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

— Это мой конь! — гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку. — Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб.

— Это хороший конь, — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

— Хороший конь, — слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под ровной и яркой шалью. — И конь хороший, и сам ты хороший.

Ра-а-а!.. — заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно.

Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофер громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары! — машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало все Южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел.

Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку.

Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно, — созналась Натка. — Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются, — успокоил ее Алька. — Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась, — к великому удовольствию Альки, подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька, — спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу, — скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивленно переспросил Алька. — Ну, просто человек. Я да папа. — И, серьезно поглядев на нее, он спросил: — А ты что за человек? Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала.

— Алька, — спросила Натка, — почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

— Мамы нет, — ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

— Мамы нет, — повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно.

— Алька, — быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море, — посмотри, какой быстрый, большой корабль.

— Это сторожевое судно, — ответил Алька. — Я его видел еще вчера.

— Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?

— Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развернутым красным флагом.

— Ты не так прыгаешь, Эмка, — терпеливо повторял Василюк. — Ты когда прыг-

нешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь — я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться? — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает ни слова. — Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине спрыгнула и, заметив Альку, осталась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

— Пионер? — смело спросила она, указывая на его красный галстук.

— Пионер, — ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником. — Это белый, — хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька. — Это белый. Это царь.

— Это красный, — еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине. — Это Буденный.

— Это белый, — настойчиво повторил Алька, указывая на саблю. — Вот сабля.

— Это красный, — твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху. — Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрат.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, в другой — маленький, крепко завязанный узелок.

— Ты откуда? Куда?

— В клуб бегал, — быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину. — В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

— Иоська, — удивилась Натка, — почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-авторовцу?

— Памятку потом. Мы сегодня с купанья шли — глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

— Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

— Это? Это орехи, — с отчаянием заговорил Иоська, еще нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки. — Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

— Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увертливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты — на спортивную площадку, танцоры — в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножья дряхлой башенки.

Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным.

— А что, если у нас бечевы нехватит, тогда как? — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки. — А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идешь... идешь подземным ходом, вдруг — бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

— Какие еще змеи? — переспросил Толька, поглядывая на сырую черную дыру. — И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше со свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

— А что, Толька, — обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик, — а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки,

потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

— И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? — совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на черную дыру.

— Лезем! — оборвал его Владик. — Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

— Тоже крепость, — рассердился Толька. — А все, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море — огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

— Толька! — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели. — А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света и разбили бы они Красную Армию и поставили бы они все по-старому?.. Мы бы с тобой тогда как?

— Еще что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию, — упрямо и дерзко продолжал Владик, — перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

— Еще что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, при-

выкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. — Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Только покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

— Ну, и пусть глупый! Пусть знаю, — спокойнее продолжал Владик. — Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

— Тогда бы и придумали, — вздохнул Толька.

— Что там придумывать? — быстро заговорил Владик. — Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда! — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владiku.

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах? — спросил он, подвигаясь поближе.

— Зачем одни? Иногда бы мы с тобой передевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешают. Кто же тогда работать будет — сами буржуи, что ли?

— Тише, Владик! — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища. — Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. Повидимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время, не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребяташки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращавшегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать. — У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась, — не совсем уверенно ответила Натка. — А у тебя, Алька?

— У меня? — Алька запнулся. — А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу.

«У него умерла мать», почему-то подумала Натка, и чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька, — сказала Натка, закончив рассказ. — Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь, — попросила Натка. — Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории, — подумав, ответил Алька. — Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

— Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку, — попросила Натка, и, потушив свет, она присела к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далекий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжелые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила,

что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются — это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами.

— Что это? — спросил он тревожным полушопотом.

— Спи, Алька, спи! — быстро ответила Натка, укладывая его в постель. — Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

— А, папа... — уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже реву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было в наднях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись во круг нее веселой босоногой звездочкой.

— Расскажи, Натка!

— Почитай, Натка!

— Покажи картинки!

— Спой, Натка! — на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

— Расскажи, Натка, интересное, — попросил обиженно октябренок Карасиков. — А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

— Расскажи, Натка, сказку, — попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

— Сказку? — задумалась Натка. — Я что-то не знаю сказок. Или нет... я расскажу вам Алькину сказку. Можно? — спросила она у насторожившегося Альки.

— Можно, — позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

— Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш.

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозвищу Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да баляется.

Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты? — говорит он Мальчишу. — Это дальние грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за Си-

ней Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну, никак не засыпается.

Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же, — говорит старшему сыну, — я рожь густо сеял, — видно, убирать тебе много придется. Что же, — говорит он Мальчишу, — я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

— Так... так, Натка, — тихо ответил Алька и положил свою руку на ее загорелое плечо.

— Ну вот... День проходит, два проходят. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка — стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Было полбеда, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули

тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Останешься ты один... Ши в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходят. Сидит Мальчиш у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи, во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы все боевые знамена. Мчатся и скачат на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу — ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка — шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда

дед на завалинку, опустил голову и заплакал...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась.

Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает когда, подползло бесшумно все пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьезная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

— Так, Натка, так... Еще лучше, чем так, — ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе.

— Ну, вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-мальши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-мальши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят итти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел итти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге, — подумал Плохиш, — вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин, — отвечают буржуины, — мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах, вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им. — Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена наташил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули все его верные мальчиши.

Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать?

Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной

Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моем Высоком Буржуинстве, и в другом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежном Царстве, и в четвертом — Знойном Государстве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи?

И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись.

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

— Есть, — говорит он, — и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда бы вы ни напали, не будет вам победы.

— Есть, — говорит, — и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.

— Есть, — говорит, — и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете... А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самым вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро.

Идут и головами покачивают.

— Нет, — говорят они, — начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустил он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая гибель?..

— Это не по тайным... это Красная Армия скачет! — восторженно крикнул не вытерпевший октябренок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девочка, которая еще недавно, подсакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше.

Тут Натка оборвала рассказ, потому что издали раздался сигнал к обеду.

— Досказывай, — повелительно произнес Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

— Досказывай, — убедительно произнес раскрасневшийся Иоська. — Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятшек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на нее смотрели глаза — большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, черные, как у Эмине, и много-много других глаз — обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных.

— Хорошо, ребята, я доскажу.

...И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не слышал ли он, как шагает

по тайным ходам наша неминуемая погибель?

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва.

— И погиб Мальчиш-Кибальчиш... — произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябренька Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

— Но... видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумоленных ребят. — Вот так же, как громы, вагремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбега с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

Вот вам, ребята, и вся сказка.

Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика-рабочего, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали.

— Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого чорта Шалимова сейчас же сюда позвали.

— Зачем чорта? Зачем ругаешься? — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова. — Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

— Ночью замок сорвали, — плачущим голосом объяснил Дягилев. — Начисто. Вместе с пробоем. Ружье украли, двустолку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казенных денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич? — недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся рабочих, он погрозил кулаком.

— Зачем кулаком махаешь? — все так же невозмутимо переспросил Шалимов. — Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил:

— Вон люди землю копают, а вон человек идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошел вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

— Спать, спать иди! — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев. — И что за народ! Что за народ! — скороговоркой dokonчил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки. Он

обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз, к дощатому барраку, где помещалась десятниковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь всех, кого попало.

— Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, несогласен. Пусть Шалимов остается. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, все мне так. А тут еще вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы.

Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и задремал.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что сто восемьдесят метров жолоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было еще повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уже бестолково вынкли двести кубометров земли не оттуда, откуда было надо.

Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одернул помятый френч и пошел к лагерю.

За обедом звеньевой Иоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошел дежурный по столу пионер Башкатов, а при нем никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего.

Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно.

— Хулиган! — рассердился Иоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владиду.

Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что подошел дежурный по лагерю и Владика с позором выставили из-за стола.

Обозленный Владик показал Иоське кулак и тотчас же ушел прочь.

Сразу же после обеда Натка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых — готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра.

Во время перерыва Алеша Николаев спросил:

— Что это, Шегалова, ребята сегодня все время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

— Сказку, Алеша, рассказывала. Хорошая сказка.

— Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

— Рассказала уже,—рассмеявшись, ответила Натка. Ну, говорят, шел, ну, увидел, что у рельсы гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

— Чорт тебя знает, что ты городишь, Натка! — перебил ее Алеша. — Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

— Мальчиша заковали! — настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: — А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? — И, неожиданно улыбнувшись, она повторила: — «Плывут пароходы — привет Мальчишу! Бегут паровозы — привет Мальчишу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли? А пройдут, Алеша, пионеры — салют Мальчишу! Эх, ты... гайка! — рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

После совещания Натка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевого бумаги.

Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела, что это колючая проволока.

— Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной! — раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоножий Гейка.

Увидав нагруженную поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

— Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые — кабан не раскусит. Все равно лезут. Вечор двоих наших поймал. «Стыдно, — говорю. — Вас, голоштаных, и пирожными кормят и морожеными. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что». По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу — скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зеленые груши, дал по спелому яблоку. Все одно стоят и молчат. «Ладно, — говорю им, — бегите. Эх, вы... босоногие!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, все еще продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев путались в колочках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

— Папка, — предложил Алька, — знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем да не поем.

— Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

— А ты бы без крику, — посоветовал Алька. — Ну давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно: теперь, когда на пустой полянке смешной октябренок Алька, подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что все хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постелей весь ее неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ерзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает», прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка, — заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька, — отчего это, когда мы поем «Заводы вставайте» и «шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо. А вот как допоем до «товарищей в тюрмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей. — Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька. — Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Натка так и не смогла увидеть.

Натка подвинулась. Из-под ее ног с шумом покатались камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

— Это и есть она самая! — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутках девушку.

— Наташа? — догадался Сергей.

— Я и есть самая, — подтвердила Натка.

— Ну, что Алька?

— Бегаешь, балуешься. Такой... — Натка запнулась, — такой малыш. Не дергай, Алька, за ленты. Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы еще с нею не поссорились?

— Нет, не поссорились, — ответил Алька. — Это мы с Васькой Бубякиным уже

подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит: дай! А я — не дам. Он меня — раз. А я его — раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

— Эмине — это маленькая девчонка такая, веселая... башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бвр-тыр-тыр... Да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда ее за пятки схватишь: орет на всю палату.

Издаലെка загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

— Алька ко мне? Или вы его с собой возьмете?

— Нет, не с собою, — ответил, поднимаясь, Сергей. — Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

— Обязательно послезавтра, — приказал Алька. — Вечером будет костер, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придешь, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого, влажного камня.

Потом он свистнул, отдернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владиду, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дожидаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владиду целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерьной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот еще напасть!» подумал огорченный Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесенку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владиду пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябренька Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос, в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябреньку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запахал Баранкину под

простыню жестяную мыльницу и платяную щетку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан.

Такая смелая просьба Владиду понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владиду в глаза.

— Ты хороший человек, — внезапно придумал Владик. — Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы отсюда всю страну.

— И я бы тоже залез, — обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет, — охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик. — Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры... тревога!.. тревога!.. Вставайте, товарищи!.. Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Лечики — к самолетам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

— Я бы тоже побежал! — уныло завопил оскорбленный Карасиков. — Раз все бегут — значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

— А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это

вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!..

Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

— Ничего! — успокоил Алька. — Он тебе только два раза. А про все другое — это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

— И я бы тоже не шелохнулся, — не уступал Карасиков.

— Нет, ты бы шелохнулся, — рассердился Алька. — Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

— И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползли, — обидчиво возразил Карасиков.

— А разве же у часовых сползают? — снисходительно усмехнулся Алька. — Эх, ты, хвастунишка!

Из-за кустов выскочил Иоська.

— Где вы запропастились? — размахивая руками, затараторил он. — Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы... Ворошиловцы!..

Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря — ворошиловцы.

В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

— Мишка, здорово!

Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сей-

час он пионер, матрос, ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала:

— Привет старой гвардии от юнай смена!

На крыльце, рассевшись, как воробы, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а пряткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить.

— Так, значит, завтра? — уговаривался Толька с Владиком.

— Сказано, завтра.

— И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда — он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

— А если там кто-нибудь уже есть?

— Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

— Я-то свистну! — усмехнулся Владик, и, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем.

Наступил вечер праздника.

При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

— Ты не видала лапу? — уже в третий раз спрашивал огорченный Алька у Натки.

— Нет, Алька, еще не видала. А ну, ребята, одернуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползает будут?

Пока ребята одергивали и опраивляли друг друга, она успокоила Альку:

— Ты не печалься. Раз он сказал, что придет, — значит, придет. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанной звеньевой Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

— Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается, — хмуро оправдывался Баранкин.

— Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? — возмущался Иоська. — И тут пятно и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

— Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу — опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду.

— Значит, у беседки, — еще раз шопотом напомнил Толька. — Спички взял?

— Взял... Помалкивай, — тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся.

— Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

— А тебе что? — испуганно прошипел Владик. — Какие спички?

— Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, а у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься? А то не посмотрю, что товарищ, и скажу вожатой.

— Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дернулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета «всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрет никогда, двинулись вниз.

Внизу, невдалеке от моря, с трех сторон окаймленная крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались, каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплывала на моторке ялтинская делегация. Подошли летчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на седлах, подъехали старики из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Каргузииков.

— Ну что?.. Здорово?.. — не останавливаясь, спросил он. — Приходи завтра на волейбол. — И уже издали он крикнул: — Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? — с неудовольствием подумала Натка. — И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. Успею!» подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков.

Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватили, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею еще и сейчас, — подумала она. — Добежать долго ли?»

Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьезное и bestоловое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей и уже разбил Наткину дареную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там еще кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая сторона и какой народ?

Поняла она только одно, что мать просит ее приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, веселой музыки, потом многоголосая знакомая песня рванулись через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

— Ты что пропала? Я тебя искал, — сердито спросил откуда-то выползший Алька. — Идем скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

— Туда нельзя, — остановил ее озабоченный Алеша Николаев. — Это места для шэфов. И чего только опаздывают!

— Ну, что шэфы! Придут — мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алеша.

— Пусти одного, потом другой, потом третий... — ворчливо начал было Алеша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел летчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонек, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашел такие простые горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки — танцорки и физкультурницы, и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче и, наконец, зашумело, загудело:

— Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шэфов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шэфы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шэфов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? — растерялась Натка. — Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?»

Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла,

что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал ее сразу и засмеялся — закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

— Кто это у тебя? — шутливо спросил Гитаевич. — Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

— Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован, — пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся. Он протер очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человека.

— Я побегу... мне пора. Я сюда вернусь, — заторопился Алька и с обидою добавил: — Эх, папка, папка, так и не пришел.

— Сережи Ганина? — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

— Да, Ганина. А вы его разве знаете?

— Я-то его знаю, — ответил Гитаевич, — очень давно. Еще по армии знаю.

— Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка. — А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла? Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Буденного». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колесных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню буденновского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

— Жулики! — обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку Карасиков. — Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечевках тянут. Я уже все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на ее вопросы:

— У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита...

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула пораженная Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлялся, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федька обьелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не редела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

— Танком ее по носу задело, — сердито объяснял Натке звеньевой Василюк. — Я ей говорю: не суйся. Так нет, растяпа, не послушалась. Иоськина башня повернулась и — бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней рас-

стилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстрый летящий огонек — должно быть, пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул ее за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

— Алька где? Я спрашивал, мне сказали, что он с вами, Наташа.

— Он со мною, — обрадовалась Натка. — Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдемте... Он вас ждал, ждал...

— Опоздал я, Наташа, — виновато ответил Сергей. — Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и все смолкло.

— Стойте! — шепнула Натка. — Сейчас зажгут костер.

В темной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал еще раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шаркался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, шурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела еще Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашевский привел исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеенчатом диване, с лицом, залепанным иодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежурная.

— Говорит, что когда заканчивался костер и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой... А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся.

Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь. Тольку повезли в свой же лагерный лазарет, а Натка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику: строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи.

Перед тем как итти, Натка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он еще не спал.

— Владик, — спросила Натка, — расскажи, пожалуйста, где... как это все случилось.

Владик не отвечал.

— Дашевский, — строго повторила Натка, — ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря.

С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре Толька.

— Чорт вас ночью по оврагам носит, — не сдержавшись, выругалась Натка и в темках устало побрела к начальнику.

А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего.

Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй. Там еще не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем еще не начинали.

Он спросил: «Где Дягилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика, который и был ему нужен.

В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо. — Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало!

— Грунт тяжелый, — еще глубже вздохнул Шалимов, — камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не зарабатывает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышло. Сегодня опять некоторые говорят — если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? — И Шалимов огорченно развел руками.

— Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно что-то, Шалимов.

— Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

— Ладно, — решил Сергей. — К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше, — быстро и наугад соврал Сергей, — а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

— Где, начальник? — беспокоился Шалимов. — На водосливе или у насыпи?

— Не спросил. Некогда было. Ты там старший — тебе на месте видней. До сви-

данья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно», подумал Сергей и увидел, что старика на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно.

— Дягилев где? — спросил Сергей у встретившегося парня.

— А вон он! — И парень показал топором куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

— Да вон он! — повторил парень. — Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

— С каким братом?

— Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на-днях так не ко времени напился. — Тот Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь.

— Так смотрите же! — строго крикнул ему вдогонку Дягилев. — Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш, — объяснил он Сергею. — Он у них за старшего. Работник хороший. — И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: — Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

— Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчет расценок? — спросил Сергей.

— Да так, болтали. Разве их всех слушаешь?

— На что жаловались?

— Известно, на что: грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им еще говорить?

— А на третьем участке, на первом, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

— Чудное дело, — удивился Сергей. — Грунт одинаковый, нормы везде те же, рас-

ценки те же. Одни не жалуются, а другие жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

— Значит, такой уж у них характер вредный, — не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: — На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят.

Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, притти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика.

«Что такое?» удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему.

Старик поздоровался и тихо пошел рядом.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Сергей. — И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?.. Обманули?.. Обидели?..

— Обманули, — равнодушно согласился старик, — и обсчитали — верно. И обидели... верно!

— Ты и сейчас работаешь?

— Нет, — так же равнодушно, точно и не о нем шла речь, продолжал старик. — В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал — плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие, — дергая Сергея за рукав, продолжал старик. — Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкая. Я ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу — ведомость — и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю — верно. Вы с ним и считайтесь. Аллах вас разберет». Конечно, ал-

лах, — с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: — До свиданья, начальник, спасибо!

— Погоди! — окликнул Сергей. — Пойдем, куда же ты? Пойдем со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у Шалимовского сына третьего дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошел к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издали, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка.

«Опаздываю, — понял Сергей. — Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

— Кто? — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убежал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до

тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке.

Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже развели про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно.

Раздраженная Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, беспорядочно, равнялись плохо.

Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы.

Молча и внимательней, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко расска-

зала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

— Неправда! — прозвучал по всей линейке негодующий голос. — Все это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська.

Ребята зашевелились и зашептались.

— Тишина! — громко окрикнула Натка. — Почему говоришь, что все неправда?

— Все неправда, — убежденно повторил Иоська. — Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они еще куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге с костра, с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнет оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

— Дашевский, — в упор спросила Натка, — это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевелившись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

— Дашевский, — сердито сказала тогда Натка, — сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдешь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и вернулся в палату.

Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем.

Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спален-

ной солнцем акации, сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают, как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владик посмотрел на мяч и не пошевелился.

Он не пошевелился и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха: все бегали, разыскивая потерянный мяч, и громче других раздавался недоумевающий голос Иоськи: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» даже без злорадства подумал Владик и нехотя повернулся, слышав чьи-то шаги.

Пошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то серое, точно вымазанное мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и тихо, подмигнув Владику, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, прерительно сказал оскорбленный Владик. — Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно, — сплевывая на траву,

охотно согласился парень. — Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду, и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика еще более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво:

— Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев нету.

— Конечно, — все так же охотно поддакнул парень. — Это такой народ... Ты им сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибежал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове. — Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросился вперед, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеною все так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали.

Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались яркочерные пятна: из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.

— Это тебя толстый избил? — тихо спросил Алька. — А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

— Алька, — пробормотал испуганный Владик. — Иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но яркокрасные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадины, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но когда все вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случился драка? Нет, объяснить нельзя никак...

— Алька, — быстро заговорил Владик, — ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегам к морю. Я за утесом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад побежим, она высохнет — никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку.

«Ничего, — думал он, — выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну, конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдется. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! — злорадно вспомнил он серомордого парня. — Что, получил? Тоже нашел себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в

мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребенка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайных степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор, как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незабываемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдет купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и улочкам.

— Знаешь, Алька, — грустно заговорил Владик, — когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу. А сестра, Влада, уже большая была — семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас

помню, услышал вдруг: «фю-фю». Смотрю — птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она все прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом вспорхнула — и на дерево. Гляжу — на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. Иду, иду — лет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу — это лента от ее платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо еще, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал ее про себя дурой, дрянью и еще как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, да по затылку! Я стою — ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

— Она и сейчас в тюрьме сидит? — спросил не пропустивший ни слова Алька.

— И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит — может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий выпускали, а коммунистов — нет... не выпускают... А потом на другой день пошел я уже один в рощу и назло гнездо разорил и в птицу камнем так свистнул, что насилу она вернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих. — Завтра меня из отряда выгонят, — объяснил он Альке. — Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал, — заглядывая Владика в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел.

— Так ты еще малыш! — рассмеялся Владик.

Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадет: зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет, зачем я тебя к морю утащил? Идем, Алька. Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама в тюрьме была убита, — неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго проканителилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной.

С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врет и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде. Библиотекарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябренку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламма-риона.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно все убрали, и ей досталось только два помидора да холодное вареное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как на-

рочно, уже поджидала ее кастелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спросила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам. — Вася! — крикнула она пробежавшему октябренку Бубякину. — Сбегай, позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом узнай, нашел Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрепал, не нашел.

— Он на меня вчера плюнул, — мрачно заявил Вася, — и я с ним больше не вожусь.

— Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке, — пригрозила Натка. И, обернувшись к кастелянше, она продолжала: — Полотенец у нас уже четырех нехватает. Галстуки еще вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут — может быть, и галстуков уже нехватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что ее тихонько трогает за рукав Алька.

— Ну, что тебе? — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

— Знаешь что? — негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька. — А я тебя искал, искал... Знаешь... Он совсем не виноват. Я сам был и все видел.

— Кто не виноват? — рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: — А две вчерашних безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберется. А у меня... откуда же?

— Он совсем не виноват, — еще тише и взволнованней продолжал Алька. — Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он все письма про се-

стру ждал, ждал. Других выпустили, а ее не выпустили.

— Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! — машинально пригрозила Натка. — Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

— Он на меня фигу показал, — хмуро пожаловался Вася, — и я с ним больше никогда не вожусь. А платка у него все равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался.

— Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков нехватает, Марта Адольфовна.

— Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь, — уже со злобой и едва сдерживая слезы, забормотал Алька. — Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура, и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

— Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? — резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы — нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга спрашивать: где, как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!», то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем. так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошел было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Все это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленей и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припоминались ей какие-то непонятные Алькины слова: «...А я тебя искал, искал... Он все письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез.

«Хорошо, — подумала Натка. — Хорошо, завтра тебе и это все припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И когда, наконец, вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поровнялась с первым фонарем, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

— Не надо, — задыхаясь, сказал он, — не надо...

— Ты нашел? — крикнула Натка. — Где он? Уже дома? В отряде?

— А то как же! — негромко ответил Владик. И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему все равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашел Альку в двух километрах от лагеря в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеяннo прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с ее разбитым

носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что ее хочет видеть Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговоривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и все ходил сначала одиноким, осторожным волчком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолчал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойденный мастер.

И еще что заметила Натка — это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Натка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек.

Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, кажется, забыл ее дома. А Натка очень уверенно ответила, что, кажется, он опять позабыл банку под кустом

или у ручья. И все же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати.

Озадаченная Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика.

А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли веселые ручейки. Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час.

Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха-сторожика сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма.

Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимнастерку, умылся, закурил и только тогда распечатал.

Он прочел. Сел. Перечел еще раз и задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная. Смысл ее был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошел к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. Потом еще издали послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое: давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

— Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи ее! — завопил Карасиков, с негодо-

ванием глядя на хладнокровно остановившегося товарища.

— Доганай! — гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко. — У, глупый... На! — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко. — На! — А сама уже издали звонко крикнула: — Ты Алькин?.. Да? Кушай! — и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

— А ваш Алька вчера ее, Эмку, водой облил, — торжественно съебедничал Карасиков. — А Ваську Бубякина за ухо дернул.

— Что же вы его не поколотите? — любопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

— Его не надо колотить, — помолчав немного, объяснил он. — У него мать была хорошая.

— Откуда вы знаете, что хорошая?

— Знаем, — коротко ответил Карасиков. — Нам Натка рассказывала. — И, помолчав немного, он добавил: — А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся.

Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребяташки кинулись туда.

Потом подошла Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок, до краев наполненный яблоками, грушами и сливами.

— Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим, — объяснил Алька. — Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на-днях уедет со мной в Москву, — неохотно сообщил Сергей. — Так надо, — ответил он на удивленный взгляд Натки. — Надо так, Наташа.

— Ганин! — набравшись решимости, спросила Натка. — А что, Алька когда-нибудь мать свою видел? То есть... видел, конечно... но он ее хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатались по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь, да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку не надолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то и ее отпустят вместе с семьей.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то беспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли дядя... папаха, дядина сабля за печкой... мать с хворостиной... Давно ли пионеротряд... сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два — и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

— Ты что? Спи, малыш! — накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал.

— А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мамка?» Он подумал и показал: «Вон, в

той». Я смотрел, смотрел, все равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон, в той». Чудно, правда, Натка?

— Что же чудно, Алька?

— И в той стороне... и в другой стороне... — протяжно сказал Алька. — Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Натка? — живо продолжал он. — Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи, — быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки.

— Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве:

Плыл кораблик голубой,
А на нем и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звездочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли...

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька. — А я все-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где? — не сдержавшись, быстро спросила Натка.

Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой.

— Нет, не скажу... Это наша с папкой тоже военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приемки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссеной дороги. Сергей завернул к тиру.

Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного — человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подошел к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

— Тридцать пять, — откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик. — Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

— Тридцать выбью, — поколебавшись, решил Иоська.

— Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищей и взял винтовку. Приготавливаясь он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И все-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошел Дягилев.

— Дурная голова! — с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу. — Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернемся — я тогда прежний порву.

— Сорок выбью, — уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку. — Меньше сорока не будет, — твердо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

— Сорок мне не выбить, — сознался Иоська. — У меня после третьего выстрела рука устает.

— А ты не целься по часу, — посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первого же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

— А ты не целься по часу, — повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не во-время нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

— Сорвал! Что ты? Что ты? — зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

— Ну двойка! — разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошел прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

— Не сердись, — успокоил он, задерживая его руку. — Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

— Нет, — сердито ответил Владик. — Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

— Я знаю, — сказал он останавливаясь, — это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

— Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

— И я тоже. — Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек. — Это кто к вам сейчас подходил?

— Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик?

Владик запнулся.

— А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона — тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

— Постой, постой, да ты не кричи! — остановил Владика Сергей. — Кто меня

убил? Какое ружье? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

— Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

— Ну?

— Это мы с Толькой были. На башню, дураки, лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули, да по кустам из нагана...

— Я не по кустам, я в воздух.

— Все равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он — под откос и расшибся.

— А ружье? Ружье где вы взяли?

— А ружье вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись.

— Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот? — настойчиво переспрашивал Сергей.

— Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунул под руку, — с досадой добавил Владик. — Я обернулся, гляжу — он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьем? Раз, раз — и сорвал.

— А ружье где?

— Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом, — уже нехотя закончил Владик. — Если надо, так сходим, можно и найти.

— Владик, — горопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева. — Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с собой Альку и пойдете вместе гулять. Там заодно все посмотрим и пощем.

В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о камни, грязная двустволка стояла в углу. Ее нашли в колючках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чем не виноват.

Вошел Дягилев. Еще с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада со-

всем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками.

Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку-рассыльного и сел напротив Сергея.

— Врешь, что тебя обворовали, — прямо сказал Сергей. — Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил:

— А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли?

— Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть, — быстро ответил не растерявшийся Дягилев. — Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?

Но тут он разглядел стоящую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова.

— Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь напророчил?

— Я ничего не говорил, — испуганно забормотал Шалимов. — Я ничего не видал, ничего не слышал и не знаю. Это бог все знает.

— Святая истина, — мрачно согласился Дягилев. — Ну и что дальше?

— Документы у тебя свои или чужие? — спросил Сергей.

— Документ советский, за свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил, а я-то тут при чем?

В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.

— Владик, — спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева, — этот человек ружье прятал?

Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону.

Почуввав недоброе, Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошел к двери.

— Ты постой, вор! — вскрикнул побледневший Владик. — Здесь еще я стою.

— А ты что за орел-птица? — крикнул озадаченный Дягилев и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

— Отпустите лучше, Сергей Алексеевич, — сказал Дягилев. — Стройка законче-

на. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я — в другую. Всем жрать надо.

— Всем надо, да не все воруют.

— Вам воровать не к чему. У вас и так все свое.

— А у вас?

— А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

— Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй! — окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку.

— Был с кулаком, остался с кукишом, — огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

— Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете, — как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дернул за рукав еще что-то бормотавшего Шалимова. — Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю.

Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, еще мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей неся отчаянный визг. И суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:

— Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивою по голому. И скажи, что за баловная нация!

Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган — на лужайке ли среди беспечных октябрат, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрос-

лые комсомольцы, — всюду ему были рады.

И если бывало кто-нибудь чужой, незнакомый толкнет его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого мальша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошел день, прошел другой, а телеграммы все не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидати Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на теплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали.

— Папка, — трогая за плечо отца, спросил Алька, — Владик говорит, что у одного летчика пробили пулями аэроплан. Тогда он прыгнул, летел, летел и все-таки спустился прямо в руки белым. Зачем же он тогда прыгал?

— Должно быть, он не знал, что попадет к белым, Алька.

— А если бы знал?

— Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьется.

— Не отбил, — с сожалением вздохнул Алька. — Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?

— А у вас, может быть, уж никакой войны не будет.

— А если?

— Ну тогда вырастешь — сам увидишь. Ты почему про летчика вспомнил, Алька?

— По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

— Пойдем, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на полянке папиросы.

— Принеси, Алька, — попросил он, — я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чашу.

— Ау! Где вы? — донесся издали голос Натки.

— Эге-гей! Здесь! — громко откликнулся Сергей. — Сюда, Наташа!

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

— Зачем брата посадил? — глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами. — Хитрый! — протяжно добавил он и погрозил пальцем.

— Иди, просппись, — посоветовал Сергей. — Смотри, ты себе руку о проволоку раскровянил.

— И все-то вы хитрые! — так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

— Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!

— Брат твой кулак и вор — туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи, — резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

— Брат — вор, а я и вовсе бандит! — дико выкрикнул пьяный, и, схватив с земли тяжелый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

— Брось, оставь! — крикнул отклонившийся Сергей.

Но ослепленный злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул.

— Стой!.. Назад... Назад, Алька! — в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он выстрелил по пьяному.

Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрьского отряда мировой революции», такой малыш — Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

— Алька, — почти шопотом попросил Сергей, — ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки и, не поднимая обретенную фуражку, шатаясь, пошел в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая веселая, черно-волосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

— Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

— А он, кажется, уже не спит, — как-то по-чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что пораженная Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу.

И светлым солнечным утром, когда еще во-всю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку.

Что-то там над могилой говорили, когда с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова — шахтер.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскиннет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден.

Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груды тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумаги, то он не нашел там Алькиной фотографии.

Он потерял виски, припоминая, не брал ли

он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого — на себя, на других ли — сердиться.

Он пошел к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинке с красноразветвленным всадником уже не было.

— Завтра я уезжаю, Наташа, — сказал Сергей. — Меня вызвали.

— И я тоже. Мы вместе поедем. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

— Да, теперь вода холодная, — машинально повторил Сергей. — Ты у меня не была сегодня, Наташа?

— Нет, не была. А что... Сережа?

— Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул — не помню. Искал, искал — нету. В Москве у меня еще есть, — словно оправдываясь, добавил он. — А здесь больше нету.

В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Натку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидав Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова.

Они решили ехать завтра рано утром — машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрята. Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами.

Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку.

Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину.

— Зачем это? — с укором спросила Натка. — Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

— Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам, — стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

— Владик, — ласково заговорила Натка, положив ему руку на плечо, — а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится...

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатались по его щекам.

— Да, Натка, — беспомощным, горячим полупопотом заговорил он, — у отца, наверное, еще есть. Он, наверно, еще достанет. А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды.

Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

— Возьми... Это ему и тебе, — отрывисто сказал Владик. — Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке.

Мы попросили садовника. Мы сказали кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рывкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зеленому лагерю:

— До свиданья, до свиданья!

Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору.

Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал яркочерное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень пахло грозами, войнами и цементом новостроек.

Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь в двадцатом был убит и похоронен их сосед, один веселый сапожник, который, перед тем как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал, с тем чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку — Всемиру — никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

— А все-таки где же Алька видел Марицу? — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

— Он видел ее полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей». — «Почему же ты смеешься? Разве тебе не больно?» — «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насунился, присел поближе и потрогал ее косы. «Ладно, и мы их пробьем тоже».

— А почему Алька говорил, что это тайна?

— Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали — пусть ищет. И никому не говорили.

— А потом?

— А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет нехватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно читывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах оружейных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли, росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса — целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом.

— Сережа, — сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку, — ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

— Постой! Как это? — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов. — Сережка Ганин! — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся. — А я смотрю... Кто? Кто это?.. Ты откуда?.. Куда?..

— Мы вместе приехали. А ты его знаешь? — обрадовалась Натка. — Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедem.

— Поедем, поедem, — согласился Шегалов. — Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

— Слов нету, — ответил Сергей. — А к вечеру, Шегалов, я все припомню.

— А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

— Дядя, — перебила сразу насторожившаяся Натка, — идем, дядя. Где машина?

Натка сидела посредине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

— Ну как ты? Конечно, жена есть, дети?

— Дядя, — дергая его за рукав, перебила Натка, — ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

— Как это? — удивился Шегалов. — Твои ноги вон где, а мои шпоры — вот они.

— Не сейчас, — смутилась Натка, — это еще когда мы в машину садились.

— Так неужели не женат? — продолжал Шегалов и рассмеялся. — А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девчонка темноглазая, чернокошая...

— Дядя! — почти испуганно вскрикнула Натка. — Это была... — Она запнулась. — Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

— И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать? — возмутился Шегалов. — То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина, — с досадой ответил

он. — Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером, — обернулся он к Сергею. — А то я на-днях и сам в командировку уеду. Дела, брат! — уже тише добавил он. — Серьезные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается притти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться попознше.

Это очень опечалило Натку. До четырех часов Натка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия. События были тревожные.

«Скорей надо за дело, — опуская газету, подумала Натка. — Домой ли, в Таджикистан ли... все равно. Всюду работа, нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились.»

«Это давно бились, — подумала Натка. — А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать, — думала Натка. — Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа, — писал Сергей. — Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У нее оставалось еще полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются. И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно угрюмый, и ждет, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далекий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидела Сергея.

Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи — тоже.

Но что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

— Сережа! — негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу.

— Ну вот, — сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь. — Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, проважавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он ее понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулочек только потому, что туда прошел с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидела, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидела покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часоушки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкала перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробежал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

1935 г.





ГОЛУБАЯ ЧАШКА



НЕ тогда было тридцать два года, Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной.

Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди.

Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе и нам придумывает.

Только на третий день к вечеру, нако-

нец-то, все было сделано. И как раз, когда собирались мы втроем итти гулять, пришел к Марусе ее товарищ — полярный летчик.

Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.

Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала.

Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком — получился клейстер.

Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу.

Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребятишки.

Потом выскочила из черных сеней босоножая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда компания.

А завтра что-нибудь еще придумаем.

Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея — выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку — я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром — и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девочка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:

— Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет, и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернется она еще не скоро.

— Наклонись, — сказал я Светлане. — Может быть, она и не заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:

— Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлана давно спать пора. А вы обрадовались, что

меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

— Маруся, — ответил я, — мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.

— Завтра доколоти, — приказала Маруся. — А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.

И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку, — все равно обиделись.

Так с обидой и уснули.

А утром — еще новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:

— Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.

Но Маруся нам не поверила.

— Чашки, — говорит она, — не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.

Вот тебе и на лодке поехали!

И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают. А нам совсем не весело.

— Что ж! — говорю я Светлане. — С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку изпод керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

— Конечно, — говорит Светлана, — жизнь совсем плохая.

— А давай-ка, Светлана, надень ты свое

розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твоё яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома, куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

— А куда твои глаза глядят?

— А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там, за горой, — уж этого я и сам не знаю.

— Ладно, — согласилась Светлана, — возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую пачку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку, что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо.

— Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали.

Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.

— Молока надо?

— Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.

— У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, — обиделась молочница. — Вернетесь, так пожалеете.

Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся?

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купанья волосами. А знакомых мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на желтую от куриной слепоты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.

Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за раки-товых кустов летят ему в спину комья земли.

Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:

— А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кулечком вытирает. А мы спрашиваем у него:

— Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:

— Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!

Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не зади-рал, и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

— Идем с нами, Санька, — говорит Светлана. — Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроем сквозь густой раки-тник.

— Вот он, Пашка Букамашкин, — сказал Санька и попятился.

Видим мы, стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках собачонка и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.

Увидел нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька.

Погоди, несчастный фашист. Мы с тобой еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

— Постой, Пашка, — сказал я. — Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Все равно белогвардеец, — упрямо повторил Пашка. — А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревно, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

— Ты тогда уже все рассказывай. И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

— Есть в Германии город Дрезден, — спокойно сказал Пашка, — и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижка: я, Берта, этот человек, Санька, и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижка и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

— Прямо по макушке стукнула, — сказал Санька из-за телеги. — У меня голова загнула, а она еще смеется.

— Ну вот, — продолжал Пашка, — стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове — и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет, нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.

— Врешь, врешь! — выскочил из-за телеги Санька. — Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

— А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижка на место. Ну вот. Метнул он чижка, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хобошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно все громче и громче кричит. Я — за ним через забор. Он — в кусты. Так и скрылся. Вернулся я — гляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу, на бревнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошел я — вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну, погоди, проклятый Санька. Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступиться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросенок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарик. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева — на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

— Но, но... смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

— Папа, — сказала она мне. — А может быть, он вовсе и не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? — спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват, и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло.

— Бой неподалеку! — вскрикнул Пашка.

— Бой неподалеку, — сказал и я. — Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.

— А кто с кем? — дрогнувшим голосом спросила Светлана. — Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка, я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.

— Ишь ты, как козел, скачет! — пробормотал Пашка. — А чем этот дурак над головой размахивает?

— Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! — радостно закричала Светлана. — Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!

Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии. И теперь уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.

Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяным бубенчиком, щипала траву привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом поле не было.

— Так где же тут война? — нетерпеливо спросила Светлана.

— А сейчас посмотрю, — сказал Пашка и влез на пенек.

Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну.

— Мне трава высокая, а я низкая, — приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана. — И я совсем не вижу.

— Смотри под ноги, не задень провод, — раздался сверху громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в сторону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.

Мы попятись и тут увидели, что прямо над нами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец.

Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля.

Еще не успели мы промолвить слово, как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздрогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.

— Плохо дело фашистам! — громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку. — Вот как бьют наши батареи.

— Плохо дело фашистам, — как эхо, повторил хриплый голос.

И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик.

У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжелую суковатую дубинку. А у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.

Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую

трубку, набил ее табаком и стал раскуривать.

Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.

Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.

Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек — отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше; наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма.

Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигнарист. Резко заиграла «отбой» военная труба. Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих жолудя и горюливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.

Военное учение закончилось.

— Ну, видал? — подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка. — Это тебе не чижом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки.

— Странные я слышу разговоры, — двигаясь вперед, сказал бородатый старик. — Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут под горой наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один фашист — этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Все это неторопливо сказал насмешливый

старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей на вытаращившего глаза изумленного Саньку.

— Неправда! — шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька. — Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист — значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

— Надо без дранья мириться, — убежденно сказала Светлана. — Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь. А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

— Назад, Полкан! — крикнул сторож. — Ляжь на землю и своих не трогай!

— Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем.

— И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже прсыт:

— И мы свои, а своих не трогай!

Подозрительно потянул Полкан носом — не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволял.

— Нам пора, — спохватился я. — Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!

— До свидания! — звонко попрощалась со всеми Светлана. — Мы опять уходим далеко.

— До свидания! — дружно ответили уже помирившиеся ребяташки. — Приходите к нам опять издалека.

— До свидания, — улыбнулся глазами сторож. — Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко — это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко — это направо, через луг, через овраги, где роют камень, дальше идите перелеском, обогнете болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставив за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю.

Переглянулись мы со Светланой — что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.

Перешли мы луга и спустились в овраги.

Видали мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь заваливающийся камешек. Навалили уже целую гору. А колеса все крутятся, тачки скрипят. И еще везут. И еще наваливают.

Видно, немало всяких камней под землей запрятано.

Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землей какое-то черное море. И кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба-акула с двумя хвостами: один хвост спереди, другой сзади. И еще почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.

Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьяну на дереве и белого медведя на льдине.

Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видала.

Погрозил я ей пальцем: ой, не врет ли?

Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.

Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге.

Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидела, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.

Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.

Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.

Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали.

Попалось нам дерево, разбитое молнией.

Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая — хоть самому Буденному.

Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки.

Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче.

Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.

И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела — нет. Поискала — не нашла. Сидит и ждет, глупая!

— Папа! — сказала наконец уставшая Светлана. — Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.

Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете.

С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая — синие, красные, голубые, лиловые, — окружали елку душистые цветы и стояли не шелухнувшись.

Даже птицы не пели над той поляной — так было тихо.

Только серая дура-ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр... карр...» — и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.

— Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живет всего только один зверь — длинноухий заяц.

— Даже тысячи зайцев, я и то не боюсь, — смело ответила Светлана, — но ты приходи поскорее все-таки.

Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.

Но она не испугалась и не плакала, а пела.

Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню:

Гей!.. Гей!..
Мы не разбивали голубой чашки.
Нет!.. Нет!..
В поле ходит Красная Армия.
Но мы не лезли за морковкой в огород.
И я не лазила, и он не лез.
А Санька один раз в огород лез.
Гей!.. Гей!..
В поле ходит Красная Армия.
(Это она пришла из города.)
Красная Армия — самая красная.
А белая армия — самая белая.
Тру-ру-ру! Тра-та-та!
Это барабанщики,
Это летчики.
Это барабанщики летят на самолетах.
И я, барабанщица... здесь стою.

Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.

— Ко мне, барабанщица! — крикнул я, раздвигая кусты. — Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.

Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся, прищурив глаза, сказала:

— Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!

Вдруг Светлана притихла и задумалась. А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.

— Это знакомый чиж, — твердо решила Светлана. — Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

— Нет! Нет! — решительно ответил я. — Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте нехватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

— Нет, тот самый! — упрямо повторила Светлана. — Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

— Гей, гей! — печальным басом пропел я. — Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

— У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидела песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно хлопав в ладоши, закричала:

— Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку.

Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалеку за кустами ворочалось и мычало стадо, щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснущатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывала мне в лицо с молчаливым упреком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо?»

— Стой здесь и не сходи с места! — приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чашу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

— Стой, где поставили! — резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза ее замигали и губы дернулись.

— Что же ты кричишь? — дрогнувшим голосом спросила она. — Я босая, а там лягушки — и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

— На, возьми палку, — крикнул я, — и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберемся.

Я опять свернул в чашу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангелевский десант?

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осинкой полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Врт и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

— Эге-гей! Светлана! — закричал я. — Ты стоишь?

— Эге-гей! — тихо донесся из чаши жалобный тоненький голос. — Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водоплады.

И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, водочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.

И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец.

С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашнее на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул — тут ему, раку, и смерть пришла.

Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь — еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей.

Фыркнул еж и поплыл на другой берег. «Вот, — думает, — безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы — подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку.

— Федор! — строго кричала она. — Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

— Во-на! — раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала груженная щепками и травой кастрюля.

— А куда, бесстыдник, решето спрятал?

— Во-на! — все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

— Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу, — пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку.

— Здравствуйте! — сказал я. — Вам отец шлет поклон.

— Спасибо! — отозвалась Валентина. — Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

— Я малину ем, — серьезно сообщил нам Федор. — Два куста объел. И еще буду.

— Ешь на здоровье, — пожелал я. — Только смотри, друг, не лопни.

Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий само-

лет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка — и все стихло.

— Это тот самый летчик пролетел, — с досадой сказала Светлана, — это тот, который приходил к нам вчера.

— Почему же тот? — приподнимая голову, спросил я. — Может быть, это совсем другой.

— Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь».

— Папка, — усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, — расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было.

— Как было? Да все так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и еще ночь...

— И еще тысячу дней! — нетерпеливо перебила Светлана. — Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься...

— Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!

«Было тогда нашей Марусе ссннадцатъ лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиногo отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна».

— Что-то ее жалко становится, — подвигаясь поближе, вставила Светлана. — Ну, рассказывай дальше.

«Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе».

— Что-то уже совсем жалко, — нетерпеливо перебила Светлана. — Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

«Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь».

— С волками?

«Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная Армия, чтобы ее просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемет — на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу — за бугор. «Ага! — думаю. — Стой: белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу — что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папaxe красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня, немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

— Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай.

Вот и день прошел. Здравствуй, вечер. И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце

скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся. И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

— Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?

А я говорю:

— Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?

— Ты спи, — ответила Маруся. — Спи крепко. Я около тебя все дни буду.

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе».

— Папка, — взволнованно спросила тогда Светлана, — это ведь мы не по правде ушли из дому? Ведь она нас любит. Мы только ходим, ходим и опять придем.

— Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.

— Ой, вре-ешь! — покачала головой Светлана. — Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

— Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит. Есть глаза, вот и смотрит.

— Ой, нет! — убежденно возразила Светлана. — Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...

Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.

— А когда любят, смотрят не так.

Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

— Разбойница! — подхватывая Светлану, крикнул я. — А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

— Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнанные смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

— Сейчас муж на станцию поедет, — сказала Валентина. — Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.

— Папа, — таинственным шопотом сообщила она, — этот сын Федор вылез из машины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

— Федор! — позвал я. — Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.

— Федор! — повторил я. — Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопенье.

— Я стою, — раздался наконец сердитый голос, — тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец села.

— Ишь какой важный, — неодобрительно заметила Светлана, — снял штаны и ходит, как барин.

К дому подкатила запряженная парой телега, на крыльцо вышла Валентина.

— Собирайтесь, кони хорошие — домчат быстро.

Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, гащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким хваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только неторопливо вертел пушистым хвостом.

— На! — сказал Федор и сунул котенка Светлане.

— Насовсем? — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

— Берите, берите, если надо, — предложила Валентина. — У нас этого добра много. Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно все видела.

— Сейчас пойду еще дальше спрячу, — успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

— Весь в деда, — улыбнулась Валентина. — Этакий здоровила. А всего только четыре года.

Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик. Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая.

И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Чики-чкики!
 Ходят мыши.
 Ходят с хвостами,
 Очень злые.
 Лезут всюду,
 Лезут на полку.
 Трах-тарарах!
 И летит чашка.
 А кто виноват?
 Ну, никто не виноват,
 Только мыши
 Из черных дыр.
 — Здравствуйте, мыши!
 Мы вернулись.
 И что же такое
 С собой несем?..
 Оно мяукает,
 Оно прыгает,
 И пьет из блюдечка молоко.
 Теперь убирайтесь
 В черные дыры,
 Или оно вас разорвет
 На куски.
 На десять кусков,
 На двадцать кусков,
 На сто миллионов
 Лохматых кусков.

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги. Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа.

— Ты не жульничай! — кричал Берте возмущенный Санька. — То на меня говорили, а то сами нашагивают.

— Кто-то там опять нашагивает, — объяснила Светлана, — должно быть, сейчас снова поругаются. — И, вздохнув, она добавила: — Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжаньем крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

— Это мамка сама на крышу лазила! — взвизгнула Светлана и рванула меня вперед.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

— Смейся, смейся! — разрешила ей подбегавшая Светлана. — Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо. Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет, — твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. — Это все только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

А потом был вечер. И луна и звезды.

Долго втроем сидели мы в саду, под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланки рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.

— Ну что?! — забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светлана. — А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

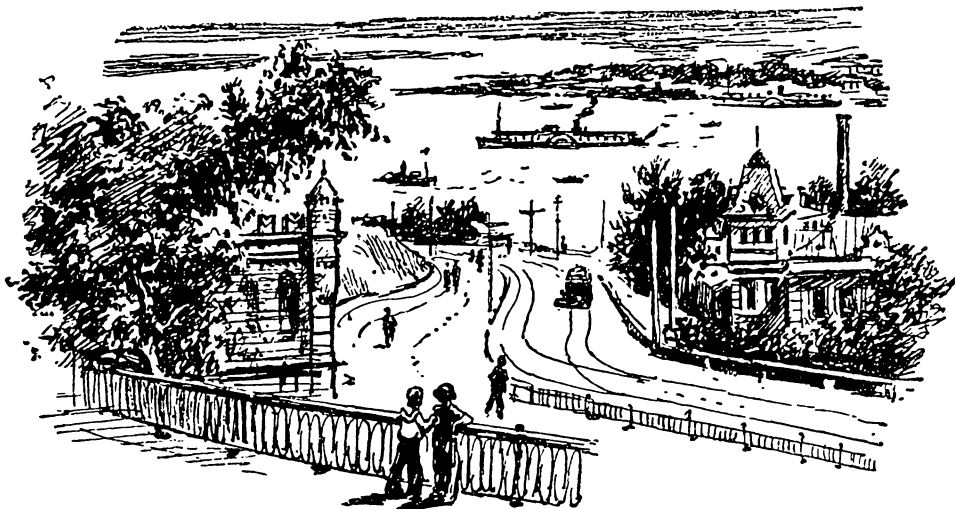
Прогремел на север далекий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.

А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!

1936 г.





СУДЬБА БАРАБАНЩИКА



ОГДА-ТО мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас.

Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой.

Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небогатую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала.

Но тут окончились распределители, разные талоны, хлебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стала чаще и чаще ходить Валентина в кино, то одна, то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая, и что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала.

И как-то вскоре — совсем для нас неожиданно — отца моего назначили директором большого текстильного магазина.

Был на радостях пир. Пришли гости. Пришел старый отцовский товарищ Платон Полозцев, а с ним и его дочка Нина, с которой, как только увидались, мы рассмеялись, обнялись, и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела.

Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаше и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жен их ругала, и крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой.

Много у отца в магазине было сукна, полотна, шелку и разных цветных материй.

Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как узнал я потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой.

Как оно там случилось, не знаю, только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порыжелый отцовский портрет, с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали дворнику, и стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога — неясная, непонятная — прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедем на Кавказ — на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд.

Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень веселый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда.

И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребяташки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей ора-

вой кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму.

Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь.

Однако никто и ни о чем меня не спрашивал. Все там быстро разобрали сами и отца приговорили к пяти годам, за растрату.

Я узнал об этом уже перед сном, лежа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потертую ткань слабо, как звездочки, мерцали желтые искры света.

За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слез глаза смыкались, и мне казалось, что я улываю куда-то очень далеко.

«Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.

Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, березу? А на этой березе, — сказал ты, — сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: карр... карр! И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра, — в серой полыни, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленочек и мычит: муу-муу! Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из леса и сожрут его волки.

Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко, потому что все же я его любил, потому что — зачем врать? — был

он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошел в школу. И когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя!

Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал.

Потом вдруг он надолго замолк. И только чуть ли не через три месяца прислал — но не ей уже, а мне — открытку; откуда-то с дальнего Севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапера перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы.

Два года пронеслись быстро и бестолково.

Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется по фамилии Лобачов. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим чемоданом он переехал к нам.

В июне Валентина оставила мне на месяц сто пятьдесят рублей и укатила с мужем на Кавказ.

Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка и я услышал, как на кухне котенок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один.

Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова.

Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся.

Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы... если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках да если бы не пел мне хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. И весело мне от них и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать, да как-то стыдно, если не с чего.

Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседний корпус к Юрке Ковякину, которому целый месяц я был должен рубль двадцать копеек; и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем.

Юрка был на два года старше меня, он носил значок ворошиловского стрелка, но был прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что заочно готовится на курсы летчиков.

Он вошел вразвалочку, быстро оглядывая стены. Просунул голову на кухню, чего-то понюхал, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.

— Уехала Валентина? — спросил Юрка. — Та-ак! Значит, ясно: оставила она тебе денег, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль двадцать — брал на кино — и семь гривен за эскимо — мороженое; итого рубль девяносто, для ровного счета — два.

— Юрка, — возразил я, — никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте и сел на место.

— Ну вот! — поморщился Юрка. — Я купил на всех шесть штук. Я сидел с краю. Одно взял себе, остальные пять вам передал. Очень хорошо помню: как раз Чарли Чаплин летит в воду, все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, увлекся — не заметил, как и проскочило?

— Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!

— Конечно, отдай! — похвалил Юрка. — Вы ели, а я за вас страдать должен?! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?

— Помню.

— А помнишь, как только он вылез, веревка дернула — и он опять в воду?

— И это помню.

— Ну, вот видишь! Сам все помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось, пожадничала?

— Зачем «пожадничала»! Полтора ста рублей оставила, — ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: — Это на целый месяц оставила. Ты думал — на неделю? А тут еще на керосин, за белье прачке.

— Ну и дурак! — добродушно сказал Юрка. — Этакие деньги да чтобы проесть начисто!

Он удивленно посмотрел на меня и расмеялся.

— А сколько же надо? — недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»

— А сколько?.. Поддай-ка мне счета. Я тебе сейчас, как бухгалтер... точно! Полкило хлеба на день — раз — это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахару на месяц — обопьешься. Вот крупа, картошка — пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну, ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенье. Значит, шестьдесят три, керосин — два... Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого... Итого — живи, как банкир, — семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого. Хочешь, пойдем сейчас и посмотрим?

— Нет, Юрка! — испугался я. — Я лучше не сейчас, а потом... Я еще подумаю.

— Ну, подумай! — согласился Юрка. — На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай... Эх, брат, у тебя все пятерками, а у меня нет сдачи... Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.

Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина, вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой.

— И не проси. Некогда! Сижу, долблю. Элероны, ланжероны, вибрация, деривация... Самолет — не трамвай. Чуть не дотянул — и пошел в штопор, чуть перетянул — еще что-нибудь похуже. То ли ваше дело — пехота!

Он презрительно скривил губы, небрежно приложил руку к козырьку и ушел.

Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаясь огреть его длинной метлой по шее.

Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в библиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.

Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были давным-давно потеряны. Да и запирается там было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.

Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.

Я выдвинул соседний ящик и удивился еще более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, полфлакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкапулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.

И все это заперто от меня не было.

От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.

Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехалось по дачам. Вздывая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Все кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и бревнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.

Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку сидра, кусок колбасы, кружку молока, селедку и сто граммов мороженого.

Пришел, съел и затосковал еще больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец — он взял бы!

Помню, как посадит он меня бывало за весла и плывем мы с ним вечером по реке.

— Папа! — попросил как-то я. — Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо, — сказал он. — Положи весла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листья,
Положди немного —
Отдохнешь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой. — Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился.

— Как не солдатская? Ну, вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, итти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите, — говорит командир, — еще немного, дойдем, собьем... тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!

«Отец был хороший, — подумал я. — Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колот дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».

Но как же, однако, все случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин — тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски — однажды остановился у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца.

Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала: — Тоже... певец! Пьянчужка. Я вот пожалуюсь на него управдому.

Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный он никого не задевал, а только вопил песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.

«Любовь! — думал я. — Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут летчики, и у них, наверное, есть тоже. Однакоже от любви ихней винтовки не ржавеют, самолеты с неба не падают, а все идет своим чередом, как надо».

Оттого ли, что я долго лежал и думал, оттого ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок и ко мне ввалился Юрка.

В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру на Пушкинской

площади Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.

— Знакомься,— сказал Юрка, подталкивая меня к мальчишкам. — Это Женя, Петя и Володя, из восемнадцатой школы. Огонь-ребята, и все, как на подбор, отличники.

«Огонь-ребята» и «отличники» — Женя, Петя и Володя, — как по команде, повернулись в мою сторону, внимательно оглядели меня, и, кажется, я им чем-то не понравился.

— Он парень хороший, — отрекомендовал меня Юрка. — Мы с ним заодно, как братья. Отец в тюрьме, а мачеха на Кавказе.

«Огонь-ребята» молча поклонились мне, а я чуть покраснел: «Мог бы, дурак, про отца помолчать, — хорош гусь, скажут товарищи».

Однако новые товарищи ничего не сказали, и, посоветовавшись, мы все впятером пошли в кино.

Вернувшись домой, я узнал от дворника, дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра же зашел к нему на квартиру, так как у него ко мне есть дело.

Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. Утром меня поджидал первый удар.

Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает.

Взбешенный, я помчался разыскивать Юрку. Но его ни у себя дома, ни во дворе не было, а попался он мне на глаза только к вечеру, когда, усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.

— Экая беда! — пожалел меня Юрка. — Так-таки говорят, что нет и не бывает?

— Так-таки нет и не бывает! — с отчаянием повторил я. — Да что ты притворяешься, Юрка! Ты все и сам знал раньше.

— Ну вот, знал! Что я, фотограф. Что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил —

это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление... Дернул ручку на себя — он вверх пошел, двинул вперед — он книзу. А фотографии — это для меня не люди... а тыфу! То ли дело летчики!..

— Юрка, — попросил я, — давай пойдем к Витьке Чеснокову, пусть он тогда забирал аппарат, а деньги отдаст обратно!

— Что ты! Что ты! — удивился Юрка. — Да у него и денег-то давно уж нет! За тридцатку он вчера купил балалайку, сколько-то отдал жене, сколько-то теще. Ну, может быть, какая-нибудь пятерка осталась. Нет, брат, ты уж лучше терпи.

Горе мое было так велико, что я едва удерживался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни. Юрка заметил это и надо мной сжалился.

— Друг я тебе или нет? — воскликнул он, ударяя себя кепкой о колено.

— Конечно, нет... то есть, конечно, друг... И тогда... что мы делать будем?

— А коли друг, так пойдем со мной! Я тебя из беды выручу.

Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена — сорок рублей, задаток — десять.

— Выкладывай, — торжествующе сказал Юрка. — То-то вас, дураков, учи да учи, а спасибо не дождешься!

— Юрка, — спросил я, — а где же я потом возьму остальную тридцатку?

— Наберешь! Наскребешь понемножку, а нет, так я за тебя аппарат выкуплю. Себе возьму, а ты накопишь денег, мне отдашь, — он тогда, аппарат, опять твой будет!

С тяжелым сердцем заплатил я десять рублей и понуро побрел к дому.

— Не скучай, — посоветовал мне на прощанье Юрка. — Ты по вечерам садись на шестой или на метро и кати чуть что в Сокольники — там мы гуляем весело.

Дома в ящике для почты я нашел от Барышева записку. В ней он ругал меня за то, что я не зашел, и наказывал, чтобы я немедленно сообщил адрес Валентины

начальнику подмосковного пионерского лагеря, куда они хотят позвать меня, чтобы я там побыл до Валентинино приезда.

Я, конечно, обрадовался, но... то не было чернил, то конверта, и адрес я послал только дня через четыре.

А тут беда пришла новая.

Как там на счетах прикидывал Юрка: кило да полкило — это его дело, но деньги, которых и так осталось мало, таяли с быстротой, совсем непонятной.

С утра начинал я экономить. Пил жидкий чай, съедал только одну булочку и жадничал на каждом куске сахара. Но зато к обеду, подгоняемый голодом, купал я наспех совсем не то, что было надо. Спешил, торопился, проливал, портил. Потом от страха, что много истратил, ел без аппетита и, наконец, злой, полуголодный, махнув на все рукой, мчался покупать мороженое. А потом в тоске слонялся без дела, ожидая наступления вечера, чтобы умчаться на метро в Сокольники.

Странная образовалась вокруг меня компания.

Как мы веселились? Мы не играли, не бегали, не танцевали. Мы переходили от толпы к толпе, чуть задевая прохожих, чуть толкая, чуть подсмеиваясь. И всегда у меня было ощущение: то ли мы за кем-то следим, то ли мы что-то непонятное ищем.

Вот «огонь-ребята» улыбнулись, переглянулись. Молчок, кивок, разошлись, а вот и опять сошлись. Был во всех их поступках и движениях непонятный ритм и смысл, до которого я тогда не доискивался. А доискаться, как теперь я вижу, было совсем и нетрудно.

Иногда к нам подходили взрослые. Одного, высокого, с крючковатым облупленным носом, я запомнил. Отойдя в сторонку, Юрка отвечал ему что-то коротко, быстро и мял руками свою клетчатую кепку. Возвращаясь к нашей компании, он вытер платком взмокший лоб, из чего я заключил, что этого носатого даже сам Юрка побаивается.

Я спросил у Юрки:

— Кто это?

— Это артист, — объяснил мне Юрка. —

Он двоюродный брат Шаляпина и женат на дочери начальника милиции, которая мне приходится теткой. Во время пожара он потерял голос, но ему выхлопотали пенсию, чтобы он приходил сюда пить нарзан и успокаивать свои нервы.

Я посмотрел на Юрку: не смеется ли? Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.

В тот же вечер, попозже, меня угостили пивом. Стало весело. Я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Подсел носатый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молот я ему — не помню. И как я попал домой — не помню тоже.

Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напил, задернул штору, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза.

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шншь?
Ти-ше!

А котенок урчал на моей груди: мур... мур... иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце.

Денег у меня оставалось всего двадцать рублей. Я проклинал себя за свою лень — за то, что я не во-время стправил в лагерь кавказский адрес Валентины и теперь, конечно, ее ответ придет еще не скоро. Как я буду жить — этого я не знал. Но с сегодняшнего же дня я решил жить по-иному.

С утра взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но

сжег воротник, начал и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку.

Днем за работой я крепился. Но вечером меня снова потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам и пел песни. Ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Наконец я сдался. «Ладно, — подумал я, — но это будет уже в последний раз».

Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было.

Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светфора глядел на меня не мигая, тревожно.

И опять я заколебался.

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше — целые толпы, сотни... Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо.

И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

Я подошел к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не впускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил два рубля за маску, два за вход и, пройдя через контроль, смешался с веселой толпой.

Бродил я долго. Музыка играла все громче и громче. Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами.

Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая.

В своей дешевенькой полумаске из пахнущего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это веселое, шумливое сборище.

Вдруг — вся в черном и в золотых звездах — вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка; полумаска соскользнула ей на губы. И сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.

Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила:

— Ах, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки... Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг — трах! бабах! — труба... пальба... Бегут какие-то солдаты — все в стороны, все смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет... Ты почему один? Ты тоже потерялся?

— Нет, я не потерялся, — мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем. Постой, — помолчав немного, попросил я, — не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись.

Было, очевидно, в моем лице что-то такое, отчего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто.

Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

Мы обшарили почти весь сад. Мы взбились на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги, бродили меж густых деревьев и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути веселые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались нам на встречу добрые звери и злобные страшилища и чудовища.

Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне едовой шишкой в спину. Но, погрозив

кулаком, я громко гообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах, должно быть выжидать появления другой, более трусливой жертвы.

Но мы не нашли тех, кого искали, вероятно потому, что тот волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо.

И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся.

Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина созналась, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв все на свете, выхватил из кармана бумажник.

— Деньги! А это что — не деньги?

Мы ужинали, я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое.

За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину: когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды тайком в кино.

— Сережа, — с тревогой заметила Нина, — ты, я вижу, что-то очень много тра-тишь.

— Пустое, Нина! Я рад. Пстой-ка, я куплю вот это...

Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе — красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакали, ожидая пуска фейерверка.

Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Легкие упругие шары болтались и хлопали над головами.

Вдруг свет погас, померкли луна и звезды, потому что ударил залп и тысяча стремительных ракет умчалась и затанцовала в небе.

— Когда я буду большая, — задумчиво сказала Нина, — я тоже что-нибудь такое сделаю.

— Какое?

— Не знаю! Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь...

Смотри, Сережа! Огонь... огонь... и еще огонь!

— Что ты бормочешь, глупая! — засмеялся я. — Ну, хорошо, я буду командиром батареи, а потом я буду тяжело ранен...

— Но ты же выздоровеешь, — уверенно подсказала Нина.

— Ну, хорошо, а потом?

— А потом? — Нина улыбнулась. — А потом... потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.

Я вынул нож, обрезал концы бечевки и взял оба шара в руки.

— Гляди, Нина: голубой шар — это ты, красный — это я. Раз, два... полетели!..

Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.

— Не жалею, — сказал я, — им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Вот догнал!

— Но ты сейчас зацепишься за антенну! Правой лети, глупый, правее! Сережа! Почему это я лечу прямо, а ты все крутишься да крутишься?

— Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься и все куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгор-ишь. Ага, испугалась?!

Небо еще раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь.

Ракеты погасли. Стало темно. Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидели совсем неподалеку от нас сестру Нины Зинаиду и всю их компанию.

Пора было расставаться.

— Нина, — спросил я медленно и обдумывая каждое слово, — можно, я изредка буду тебе звонить?

— Звони! — сказала она. — Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый.

Я дал.

— Нина, — спросил я, — а если подойдет к телефону твой отец и спросит, кто звонит? То сказать как?

— Так и скажи, что ты звонишь.

Она подумала и уже твердо добавила:

— Да, да, так и скажи! Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает.

Вот она попросилась, побежала к сестре, и, повидимому, между ними сейчас же вспыхнул спор: кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу.

Сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла.

Ей тогда было тринадцать — четырнадцатый, и она училась в шестом классе двадцать четвертой школы.

Ее отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца.

Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что все это, наверное, ошибка.

Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел, снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфесы сабель, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка, и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий, с потертым орденом на полувоенном френче.

Слава его скромна и высока.

Он дорожит своим честным именем, которое пронес через нужду, войны, революцию...

И на что ему была нужна дружба с ворами!

Во дворе мне сказали, что грачка пришла два раза. Белье оставила у дворника, дяди Николая, а за деньгами (пятнадцать рублей) придет завтра после обеда.

Я хотел поставить чайник — керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.

Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил — никого не было. Это будила меня моя беда.

Нужно было где-то доставать денег. Но

где? Что я, рабочий, служащий или хотя бы дворник, как дядя Николай, который, глядишь, тому дров наколол, тому ведро вынес, тому ковер вытряхнул?..

Однако, зажмурив глаза, я упорно твердил только одно: «Достать, достать... все равно, достать!»

Надо было выкупить фотоаппарат, продать его тут же рядом в скупочный магазин, отдать деньги прачке, а на остаток начинать жить по-новому.

Но где взять тридцать рублей на выкуп?

И сразу: «А что же такое, если не деньги, лежит в запертом ящике письменного стола?»

Конечно, догадливая Валентина не все взяла с собой на Кавказ, а, наверное, часть оставила дома, для того чтобы осталось на первые расходы по возвращении.

Тогда будет все хорошо. Тогда я подберу ключ, выкуплю аппарат, продам его, отдам деньги прачке, тридцатку положу обратно в ящик, а на остаток буду жить скромно и тихо, дожидаясь того времени, когда меня заберут в лагерь.

Ну, до чего же все просто и замечательно!

Но так как, конечно, ничего замечательного в том, чтобы лезть за деньгами в чужой ящик, не было, то остатки совести, которые слабо барахтались где-то в моем сердце, подняли тихий шум и вой. Я же грозно прикрикнул на них и опрометью бросился к дворнику, дяде Николаю, доставать напильник.

— Зачем тебе напильник? — недоверчиво спросил дворник. — Все хулиганство! Вечор тоже мальчишка из шестнадцатой квартиры попросил отвертку, а сам, черт-ка, чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газеты вынимать, а котенок орет, мяучит. Газету исцарапал да полтелеграммы изодрал от страха. Насилю разобрали. Не то в телеграмме «приезжай», не то «не приезжай», не то «подожди езжать, сам приеду».

— Мне, дядя Николай, такими глупостями заниматься некогда, — сказал я. — У меня радиоприемник сломался. Ну вот... там подточить надо.

— То-то, глупостями не заниматься! Что это к нам во двор этот прошельга Юрка зачастил? Ты, парень, смотри! Тут хорошего дела не будет. Возьми напильник в ящике. Да белье захвати. Вон за шкапом узел. Прачка в обед за деньгами притти обещалась. Отец-то ничего не пишет?

— Пишет! — схватив напильник и взваливая на плечи узел, ответил я. — Он, дядя Николай, все что-то там взрывает... грохает... Я, дядя Николай, расскажу потом, а сейчас некогда.

Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и, отложив два, взялся за дело.

Работал я долго и упрямо. Испортил один ключ, принялся за второй. Изредка только отрывался, чтобы напиться из-под крана. Пот выступал на лбу, пальцы были исцарапаны, измазаны опилками и ржавчиной. Я прикладывал глаз к замочной скважине, ползал на коленях, освещал ее огнем спички, смазывал замок из масленки от швейной машины, но он упирался, как заколдованный. И вдруг — крак! И я почувствовал, как ключ туго, со скрежетом, но все же поворачивается.

Я остановился перевести дух. Отодвинул табуретку, собрал и выбросил в ведро мусор, опилки, сполоснул грязные, замасленные руки и только тогда вернулся к ящику.

Дзинь! Готово! Выдернул ящик, приподнял газетную бумагу и увидел черный, тускло поблескивающий от смазки боевой браунинг.

Я вынул его — он был холодный, будто только что с ледника. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек был выщерблен. Я вынул обойму; в ней было шесть патронов, седьмого не достало.

Я положил браунинг на полотенце и стал перерывать ящик. Никаких денег там не было.

Злоба и отчаяние охватили меня разом. Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени — и нашел совсем не то, что мне было надо!

Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газетой и задвинул ящик.

Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался, и замок не закрывался. Мало того: вынуть ключ из скважины было теперь невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Я вставил в ушко ключа напильник и стал, как рычагом, надавливать. Кажется, поддается! Крак — и ушко сломалось; теперь еще хуже! Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок.

В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

Вдруг знакомый протяжный вой донесся из глубины двора через форточку. Это уныло кричал старьевщик.

Я вскочил и распахнул окно. Во дворе, кроме маленьких ребятишек, никого не было. Молча поманил я рукой старьевщика, и пока он отыскивал вход, пока поднимался, я озирался по сторонам, прикидывая, что бы это такое ему продать.

Вон старые брюки. Вон куртка — локоть порван. А если прибавить коньки? До зимы долго. Вон рубашка — все равно рукава мне коротки. Футбольный мяч! Наплевать... теперь не до игры. Я свалил все в одну кучу, вытер слезы и кинулся на звонок.

Вошел старьевщик. Цепкими руками он ловко перерыл всю кучу, равнодушно откинул коньки. Крючковатым пальцем для чего-то еще больше надорвал дыру на локте куртки, высморкался и сказал:

— Шесть рублей.

Как шесть рублей? За такую кучу всего шесть рублей, когда мне надо тридцать?

Я попробовал было торговаться. Но он стоял молча и только изредка лениво поворачивал:

— Шесть рублей. Цена хорошая.

Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.

Опять так же быстро перебрал он вещи, проткнул пальцем в валенках дыру, отодвинул наушники и сказал:

— Пять рублей.

Как пять рублей? За такую кучу, которая теперь заняла весь угол, — шесть да пять, всего одиннадцать?

— Одиннадцать рублей! — вскидывая сумку, сказал старьевщик. — Хочешь — отдавай, нет — пойду дальше.

— Пстой! — с испугом, который не укрылся от его маленьких жестких глаз, сказал я. — Ты погоди, я сейчас еще...

Я пошел в соседнюю комнату. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф.

Сразу же на глаза мне попала серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Что это был за мех, я не знал. Но я уже несколько раз слышал, что она чем-то Валентине не нравится.

Я сдернул ее с крючка. Она была пушистая, легкая и под лучами солнца чуть серебрилась. Стараясь, насколько возможно, быть спокойным, я вынес горжетку и небрежно бросил ее перед старьевщиком на стол.

Стоп! Теперь уже я подметил, как блеснули его рысьи глазки и как жадно схватил он мех в руки!

Теперь цену он сказал не сразу. Он помял эту вещичку в руках, чуть растянул ее, поднес близко к глазам и понюхал.

— Семьдесят рублей, — тихо сказал он. — Больше не дам ни копейки.

«Ого! Семьдесят!» испугался я, но так как отступать было уже поздно, то, собравшись с духом, я сказал:

— Как хочешь! Меньше чем за девяносто я не отдам.

— Молодой иунуш, — громко сказал тогда старьевщик, — я не спорю: может быть, эта вещь и стоит девяносто рублей. Надо даже думать, что стоит. Но вещь эта не твоя, молодой иунуш, и как бы нам с тобой за нее не попало. Семьдесят рублей да одиннадцать — восемьдесят один. Получай деньги — и все дело.

— Как ты смеешь! — забормотал я. — Это мое. Это не твое дело. Это мне подарили.

— Я не спорю, — усмехнулся старьевщик. — Я не спорю. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатский, но такой порядок, чтобы молодой иунуш носил дамские туфли и меховой горжетка, — та-

кой порядок нет и никогда не было. Бери скорей, иунуш, деньги — и конец делу.

Я взял деньги. Но конец делу не пришел. Дела мои печальные только еще начинались.

На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчишке-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии, которая сражалась одна против всего мира.

Мальчишка этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командир и солдаты окончательно уверились в том, что он — вражеский лазутчик.

Но странные дела начали твориться во-круг отряда.

То однажды, под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.

Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчишка, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигнализировал он. Его представили к награде.

Но это была ложь.

То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог подобраться ни один смельчак доброволец, вдруг взвился французский флаг и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево и, как было условлено, сигнализировал соседнему отряду, взывая о помощи. Помощь пришла.

А проклятый музыкант Мишо, который еще с утра случайно остался в замке и все время валялся пьяный в подвале возле бочек с вином, опять сказал, что это сделал он, и его снова наградили и произвели в сержанты.

Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.

«Это я... то есть это он, смелый, хоро-

ший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было, и только, зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.

— Это я — солдат-барабанщик! Эй, ты, ленивый дурак! Слышишь? — сказал я и толкнул котенка кулаком в теплый пушистый живот.

Оскорбленный котенок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами.

— Мяу! — ответил он. — Ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам Валентинных горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан, сначала — трим-тара-рам! потом — трум-тара-рам! Барабанщики — смелые и добрые. Они до краев наливают блюдечко теплым молоком и кидают в него шкурки от колбасы и куски мягкой булки. Ты же забываешь налить даже холодной воды и швыряешь на пол только сухие корки.

Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. И, вероятно, сидел там долго, насторожившись и прислушиваясь: не полез ли я за кочергой или за щеткой?

Но я давно уже крепко спал.

Утром, выбегая за хлебом, я увидел, что дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. И я вспомнил, что, зачитавшись на ночь, это я сам забыл ее закрыть.

А так как голова моя все время была занята мыслью о предстоящем возвращении Валентины и о расплате за взломанный ящик, за продажу вещей, то этот пустяковый случай натолкнул меня на такой выход:

«А что, если (не по ночам, это страшно) днем уходить, оставив дверь незапертой? Тогда, вероятно, придут настоящие воры, кое-что украдут, и заодно на них можно будет свалить и все остальные беды».

За чаем я решил, что замысел мой совсем неплох. Но так как мне жалко было,

чтобы воры забрали что-нибудь ценное, то я вытер досуха ванну, свалил туда все белье, одежду, обувь, скатерть, занавески, так что в квартире стало пусто, как во время уборки перед Первым мая. Утрамбовав все это крепко-накрепко, я покрыл ванну газетами, завалил старыми рогожами, оставшимися из-под мешков с известкой, набросал сверху всякого хлама: сломанные санки, палки от лыж, колесо от велосипеда. И так как ванная у нас была без окон, то я поставил стул на стол и отвинтил с потолка электрическую лампочку.

«Теперь, — злорадно подумал я, — пусть приходят!»

В течение трех дней я ни разу не запер квартиры на ключ. Но — странное дело! — воры не приходили. И это было тем более непонятно, что у нас в доме с утра до вечера только и было слышно: щелк... щелк! Замок, звонок, опять замок.

Запирали дверь, отлучаясь даже на минуту к парадному, к газетным ящикам...

Кроме дверных, навешивали замки наружные. Крючки, цепочки...

А тут три дня стоит квартира незапертой и даже дверь чуть приоткрыта, а ни один вор не сует туда своего носа!

Нет! Неудачи валились на меня со всех сторон.

Я получил от Валентины открытку с требованием ответить, все ли дома в порядке и принесла ли белье прачке.

И даю слово, что если бы Валентина спросила меня, нет ли у меня какой-нибудь беды, не скучаю ли, или хотя бы прислала простую желтую открытку, а не такую, где скалы, орлы, море дразнили и напоминали мне о красивой и совсем не похожей на мою жизнь, и если бы даже, наконец, на протяжении коротенького письма ровно трижды она не упомянула мне о прачке, как будто это было самое важное, — то я честно написал бы ей всю правду. Потому что, хотя приходилась она мне не матерью и даже теперь не мачехой, но была она все же человек не злой, когда-то

баловала меня и даже иногда покрывала мои озорные проделки, особенно, когда я помалкивал и не говорил отцу, кто ей без него звонил по телефону.

И я ответил ей коротко, что жив, здоров, белье прачка принесла и беспокоиться ей нечего.

Я отнес письмо и, насвистывая, притопывая (то есть семь, мол, бед — один ответ), поднялся к себе по лестнице.

Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Дверь, по обыкновению, была чуть приоткрыта. Но стоп! Легкий шум — как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдец, потом подвинул стул — донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на пол-этажа выше.

Вор был в нашей квартире!..

Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять... Вор что-то не торопился. Я слышал его шаги, когда несколько раз он проходил по коридору близ двери. Слышал даже, как он высморкался и кашлянул.

— Тим-там! Тра-ля-ля! Трум! Трум! — долетело до меня из-за двери.

Было очень странно: вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый, опасный. И я уже заколебался, не лучше ли будет спуститься и крикнуть дяде Николаю, который поливал сейчас из шланга двор. Но вот за дверьми, должно быть с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял: это шумел примус. Это уже не лезло ни в какие ворота! Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать.

Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.

— Друг мой, — спросил он, — ты из этой, пятнадцатой квартиры?

— Да, — пробормотал я, — из этой.

— Так заходи, сделай милость. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел, а ты полез наверх и чего-то прячешься.

— Но я не думал, я не знал, зачем вы тут... поете?

— Понимаю! — воскликнул толстяк. — Ты, вероятно, думал, что я жулик, и терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно — твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно точно.

— Она уехала с мужем на Кавказ, — ответил я, — и вернется не скоро.

— Боги великие! — огорчился дядя. — Дорогая сестра уехала, так и не дождавись родного брата! Но она, я надеюсь, предупредила тебя о том, что я приеду?

— Нет, она не предупредила, — ответил я, виновато оглядывая ободранную и неприглядную нашу квартиру. — Когда она уезжала, она, должно быть, растерялась, потому что разбила блюдец и в кастрюльку с кофе насыпала соли.

— Узнаю, узнаю беспечное создание! — укоризненно качнул головой толстяк. — Помню еще, как в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Съела и страдала, крошка, ужасно. Но скажи, друг мой, почему это у вас в квартире как-то не того?.. Сарай — не сарай, а как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.

— Это не после налета! — растерянно оправдывался я. — Это я сам все посодрал и попрятал в ванную, чтобы не пришли и не обокрали вору.

— Похвально, — одобрил дядя. — Но почему же, в таком случае, парадную дверь ты оставляешь открытой?

На мое счастье, в кухне закипел чайник, и неприятный этот разговор оборвался.

Бывший мой дядя оказался человеком веселым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок.

— Неприлично, — объяснил он. — Ко мне могут притти люди, товарищи в боях,

друзья детства, — и вдруг такое безобразие!

После этого он спросил, есть ли у меня деньги. Похвалил за бережливость, дал на расходы тридцатку и ушел до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет десять.

Я побежал к дворничихе и сказал ей насчет уборки.

— Дядечка приехал! — похвалился я. — Добрый! Теперь мне будет весело.

— И то лучше, — сказала дворничиха. — Виданное ли дело — оставлять квартиру на несмышленного ребенка! Дитё — оно дитё и есть. Сейчас умное, а отвернулся — смотришь, а оно еще совсем дурак.

— Это которые маленькие — дураки, — обиделся я. — А я уже не маленький.

— Э, милый! Бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське шестнадцатый. Раньше в таку пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул — да вот три недели в больнице отлежал. Хорошо еще, только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да что я тебе говорю: ты, чай, про это дело лучше моего знаешь!

Я что-то промышал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля.

Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я постлал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу.

Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине.

«Дорогая Валя! — писал я. — К нам приехал твой брат. Он очень веселый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как это ты ее съела? Или у тебя был насморк?..»

Письмо осталось незаконченным, потому что позвонили и я кипулся в прихожую. Вошел дядя и с ним еще кто-то.

— Зажги свет! Где выключатель? — командовал дядя. — Сюда, старик, сюда! Не оступись... Здесь ящик... Дай-ка шляпу,

я сам повешу... Сам, сам, для друга всё сам. Прошу пожаловать! Повернись-ка к свету. Ах, годы!.. Ах, невозвратные годы!.. Но ты еще крепок... Да, да! Ты не качай головой... Ты еще пошумишь, дуб... Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Ученый. Старый партизан-чапачевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал. Но, как видишь, орел!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, пронизательные глаза! Огоны! Фонари! Проекторы!..

Только теперь, на свету, я как следует разглядел дядино знаменитое товарища.

Если по правде сказать, то могучий дуб он мне не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку.

У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым. Он был одет в зеленую диагональную гимнастерку, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени.

Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на мое неоконченное письмо к Валентине.

Он подвинул письмо к себе и стал читать.

Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промышал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу.

— Позор! — тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу. — Смотри на него, старик Яков!

И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер.

— Смотри, Яков, на этого человека — беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо к мачехе. Ну, пусть, наконец (от этого дело не меняется), он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» че-

рез одно «с» и перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взывал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо.

Взволнованный, дядя устало опустил на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой.

Нет! Не за это он звенел кандалами, взывал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это!

— Брось в печку! — с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу. — Или нет, дай я сожгу сам.

Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку.

Подавленный и пристыженный, я возился на кухне у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, приходится дядиным сыновьям и дочерям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю.

«Не вздумал бы он проэкзаменовывать меня по географии, — опасно подумал я. — Что-то тогда со мной будет!»

Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и наконец послал спать.

Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.

— Кто это? — сквозь сон спросил я. — Это вы, дядя?

— Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту?

— Посмотрите в той комнате, у Валентины на полочке Там иод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?

— Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко.

Дядя плотно закрыл за собой дверь.

Через толстую стену голосов их слышно не было. Но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, притор-

ный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то еще какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя какое-нибудь лекарство нечаянно пролил.

Прошла неделя. Днем дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать.

Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата.

Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и, чем-то встревоженный, он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить еще минуточку, потому что дядя еще не видал моего фотоаппарата и мне хотелось сейчас же снять обоих друзей, поразив их своим в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь. Они вышли.

Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, шурясь на солнце, заглянул в окно.

Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо.

Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.

«Хорошо, теперь будет еще интересней! Где-либо на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда — хлоп! — и готово.

Когда же они вернуться к вечеру, то на столе уже будет стоять их готовая фотография. Под стеклом, в рамке и с надписью: «Дорогому дядечке от такого-то...»

Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы.

Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки. Сели на скамью и закурили.

Быстро примостился я меж двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну двадцать пятую. Шелк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова.

На всякий случай я переменял кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали. Приготовиться! Щелк!

Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом.

В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок.

В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома.

Он строго подозвал меня к себе.

В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок.

— Послушай, друг мой, — спросил он в упор. — Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо сюда. И что же выходит?..

Все рухнуло! Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться — сбился, спугался и наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду.

Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню: «Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор».

Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник.

— Время! — грустно сказал дядя. — Тяжкие разочарования! Прыжки и гримасы! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр! Я вижу, что ты рас-

каиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет бога и тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.

Несмотря на то что дядя ругал меня и мошенником и дубиной, я сквозь слезы горячо поблагодарил дорогого дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брился.

— Нет, ты послушай, старик Яков! — гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у kota, глазами. — Какова пошла наша молодежь! — Тут он дернул меня за рукав. — Погляди, мошенник, на зеленую диагональную куртку этого, не скажу — старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь?.. Ага, ты замигал глазами, ты содрогаяешься! Потому что на этой диагональной гимнастерке сверкает орден Трудового Знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься за то, чтобы такие молодые лазили по запертым ящикам и продавали старьевщикам чужие горжетки?

Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. Нет, нет! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал.

Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки.

— Иди и помни! — отпустил меня дядя. — Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щеку. Я знаю, что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идем в ту комнату, и я тебя сам добрею.

Долго они о чем-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковым уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живет и чем дышит родной край.

Тут дядя остановился, сурово посмотрел

на меня и добавил, что сердце его неспокойно после всего, что случилось.

— За тобою нужен острый глаз, — сказал дядя. — И тебя сдержат может только рука властная и крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать все, что тебе прикажут. Но смотри, если ты хоть раз попробуешь итти мне наперекор, я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой!

Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья.

«Какие птицы? Кто вышвырнет? — думал я. — Это добрый-то дядечка вышвырнет! А слушаться я его буду так... что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу, и я, не задумавшись, полез бы с радостью».

Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковом ушел.

Я стал собираться. Достал белье, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду.

Брюки у меня были потертые, в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, отчищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук у другого, потом гвоздь забил молотком и почистил ботинок ваксой.

Беда моя — это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдешь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, быют ею в спорах оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожег у костра на ученической маевке. Если бы еще оставалась подкладка, то ее можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось.

Тогда я решил, что днем буду кепку держать в руках, будто бы мне все время жарко, а вечером сойдет и с дырой.

И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя и Яков. Они принесли новенький чемодан, какие-то

свертки и черный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами.

От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял, разинув рот, и мне начало казаться, что дядя мой немного спятил. Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания.

— Хвалю, — сказал он. — Люблю аккуратность, хотя от тебя и несет, как от керосиновой лавки. Теперь же сними все эти балахоны, ибо в них ты мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это.

И он протянул мне сверток.

В нем были короткие, до колен, защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, желтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой, косая, как у летчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак.

Дрожащими руками я схватил все это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками.

— Чкалов! — воскликнул он. — Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Ты не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром.

Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнес управдому, котенка отдал дворничихе.

Попрощался с дворником, дядей Николаем, и водопроводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осовелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов.

У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и на пыльных стеклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте! Все равно там теперь пусто и никого нет.

Второпях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты, но это меня огорчало сейчас мало.

Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошел к стоянке такси и о чем-то долго там торговался с шофером.

Наконец он подозвал нас. Мы сели и поехали.

Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом Окружной железной дороги. Один за другим замелькали дачные поселки, потом и они остались позади. А машина все мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко.

Через девяносто километров, в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью.

В потемках добрались мы до небольшого, окруженного садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки.

Я не заметил, чтобы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живет его задушевный товарищ.

Впрочем, ничего удивительного в том не было.

Уехал так же года четыре тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно... То да се — вот и все! Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня — кривой, с шилом, у него — прямой, со штопором. Съели по ириске, да и разошлись восвояси.

Не всякая, видно, и дружба навеки!

В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил.

Несколько раз я бегал за газетами, остальное время валялся на траве и читал старую «Ниву». Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь

из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул.

Я пошел поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрепанную «Ниву» и сказал мне, что я еще молод и должен думать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон.

Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем.

— Скоро, — ответил дядя. — Через час поедем на вокзал.

Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

Скоро спустится ночь благодатная,
Над землей загорится луна,
И под нею заснет необъятная
Превосходная наша страна.
Спят все люди с улыбкой умильной,
Одеялом покрывшись своим,
Только мы лишь, дорогою пыльной
До рассвета шагая, не спим.

— Трам-там-там! — Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся. — Что, хороша песня? То-то! А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами. Нет, ты попробуй-ка сочини! Это тебе не то что к мачехе в ящик за деньгами лазить. Что же ты отвернулся? Я тебе любя говорю. Если бы я тебя не любил, то ты давно бы уже сидел в исправдоме. А ты сидишь вот где: кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!

— Он не в голубую даль, — хмуро ответил я. — У него намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со своими вставными зубами.

— Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя — Так беги же скорей, бессердечный осел, к нему на помощь да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался.

Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал:

— Не торопись, старик Яков! Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя большое. Да, да! Что там ни говори — старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Все занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться, — вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану.

Чернокожая девушка взяла сверток и встала. Молодой лейтенант зашурился газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи.

Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это несколько не огорчило, и он велел брать жесткие.

Задрожали стекла, подкатил поезд. Мы вышли на платформу. И здесь, в суতোлке, передо мной вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинута серая плащ; он что-то спросил у дяди, псевдиму где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок — и поезд тронулся.

Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.

— Съешь, Яков! — предложил дядя. — Но что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе нездоровится?

— Пройдет! — сморщив лицо, простонал Яков. — Конечно, трясет, толкает, но я потерплю!

— Он потерпит! — возмущенно вскричал дядя. — Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет, нет! Этого не будет. Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит.

— Сели бы к окошку да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная, — предложила сидевшая напротив старушка. — А вы бы, молодой человек, потише курили, — обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. — От вашего табачища и здорового легко вытошнить может.

Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил.

— Благодарю вас, благородная старушка, — сказал дядя. — Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эй, товарищ проводник! Попросите ко мне начальника поезда да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке семидюймовыми гвоздями.

— Ты мети, голова, потише! — укорил проводника бородатый дядька. — Видишь, у человека душа пыли не принимает.

Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот-де человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать.

Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.

— Упаси бог! — пробормотала старушка. — Или уж, правда, плох очень?

— Что там такое? — спросила проходившая по коридору тетка.

— Да вон в том купе человек, слышь, помирает. — охотно объяснил ей бородатый. — Вот так, живешь-живешь, а где померешь — неизвестно.

— Высадить бы надо, — осторожно посоветовали из-за соседней двери. — Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело: в вагоне покойник! У нас тут женщины, дети.

— Где покойник? У кого покойник?

Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову.

— Ха-ха! Он помрет! Слышишь ли, старик Яков? — дергая его за пятку, спросил дядя. — Они говорят, что ты помираешь. Нет, нет! Дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и легкий сердечный припадок, результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет! Это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда! Конечно, говорю я, он еще улыбается. Но при его измученном борьбе организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны.

Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил:

— Я вижу, что старику партизану-орденоносцу действительно неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди.

Начальник поезда откланялся и ушел. Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили, что вот-де какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, а не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение.

Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они предлагают друг другу чайник, ножик, соли. Берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почему там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни.

Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки.

Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни...

Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, бы-

ло неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.

— Нет, нет, он не расскажет, — громко объяснил дядя. — Он слишком скромн. Да, да! Ты скромн, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули-Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа!

— Послушайте! Вы ведь шутите! — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек. — Так же не бывает.

— Бывает всяко, — задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ: — Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.

Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.

Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.

— Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма, — начал свой рассказ дядя.

Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так называемой Прохладной, или, виноват, Холодной, горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.

«Даешь свободу! — громко тогда воскликнул про себя узник. — Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать, императорской свадьбы, рождения или коронации!»

И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый злоещим свистом пуль.

Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.

Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма...

Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами.

— Но послушайте, вы все шутите, — обиженно заметил сверху круглолицый паренек. — Ведь ничего этого вовсе так не бывает.

— Да, я шучу, молодой человек, — вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. — Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? — хлопнул он меня по плечу. — А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом.

Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собою завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.

В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек; на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.

Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шелопаи, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.

Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.

Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.

Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной, черной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины.

Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.

Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел, должно быть к проводнику за водой.

Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.

— Возьми, — сказал он, протягивая мне серую холщевую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. — Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку. — Понял? — повторил дядя. — Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили.

Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул.

— Иди, — сказал он, — делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо.

Я пошел. По пути я прощупал сумочку: внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, повидимому кожаная и вместо воды набита бумагой.

Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко

склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.

Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака.

Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся? — глотая воздух, подумал я. — Рита-та-та! Трата-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»

— Ну? — спросил, встречая меня, дядя.

— Все сделано, — тихо ответил я.

— Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть — вон на столе колбаса, булка, яблоки.

От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.

— Вы бы мальчика спать уложили, — посоветовала старушка. — Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.

— Ну, что за красные! — ответил ей дядя. — Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра — дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.

— С умным человеком отчего не договориться, — вздохнула старушка. — А у меня сын Володька бывало говорит, говорит. Эх, — говорит, — мама, никак мы с тобой не договоримся!.. Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шелопай, капитаном, что ли.

Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?

Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.

Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так! Били часы. Кричал радиоприемник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:

Сергей - барабанщик,
Солдатский обманщик,
Что ты бьешь в барабан?
Еще спит капитан.

«Но! Но! — говорю я. — Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками».

Ту-у! — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился славки; жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормозы, пассажиры в страхе бросились к окнам.

Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.

Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.

Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчит ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.

— Успокойтесь, граждане! — унылым голосом закричал проводник. — Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!

— Напьются и безобразят! — вздохнул дядя. — Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.

Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошел. И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.

Я постучал в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерианкой. Очевидно, и мягкий вагон трянуло здорово.

Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.

— Пора! Давно пора! — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщевый мешочек.

— Мальчик! — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. — Будешь

проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться.

— Да, да! — болезненным голосом подтвердил Яков. — Попроси, милый!

«Милый»? Хорош «милый»! Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок.

Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму крикну проводника да еще передам ему и эту сумку!

Проводник как раз вошел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла.

Сказать или не сказать?

— Молодой человек, — спросил вдруг проводник, — что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий.

— Да, — пробормотал я, — но мне же нужно... и они меня посылают.

— Я не знаю, что вам нужно, — перебил меня проводник, — а мне нужно, чтобы в мой купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?

«Поздно! — испугался я. — Теперь уже говорить поздно... Смотри, берегись, осторожней!..»

— Да, — вздрагивающим голосом ответил я, — но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке.

— Так давайте мне сюда эту грелку, — протянул руку проводник, — для больного старика я и сам это сделаю.

— Но ему уже больше не нужно, — пряча холщевую сумку за спину, в страхе ответил я. — У него уже совсем прошло.

— Ну, не нужно, так и не нужно! — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник. — А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют.

Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо.

— Молодец! — тихо похвалил меня он. — Талант! Капабланка!

И странно! То ли давно уж меня никто

не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки: и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий.

Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.

— Герой! — с восхищением сказал дядя. — Геркулес! Гений! — Он посмотрел на часы. — Идем, через пять минут станция.

— И тогда что?

— И тогда все! Иди забирай вещи.

Поезд уже гудел; застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарем пошел налево, к выходу. Мы взяли сумки. Изо всего купе не спала только одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь, мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава.

У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились.

Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, подбежал совершенно здоровехонький старик Яков.

Здесь друзья обнялись, как будто не виделись полгода. Поезд свистнул и умчался. А мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла притти розыскная телеграмма. А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники.

Много ли добра было в желтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во время переполюха с внезапной остановкой поезда (тормоз рванул, конечно, дядя), — этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем невеселы. Помню я, как на зеленом пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковом крупный спор. О чем? Не знаю.

Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая, в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживленно разговаривали и все поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идет обо мне.

Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и тверд, потому что счастье мое лежит уже не за горами.

Слушать все это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные еще не окончены.

Но вдруг, где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков.

И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким теплым утром мы подъезжали к какому-то невиданно прекрасному городу.

С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки — птицы, которых я видел первый раз в жизни.

Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвою, до того зеленой и сочной, что, казалось, прыгни на нее сверху — без всякого парашюта, а просто так, широко раскинув руки, — и ты не пропадешь, не разобьешься, а нырнешь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни светлые, величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом.

Дядя дернул меня за плечо.

— Друг мой! Что с тобой: столбняк,

отупение? Я кричу, я дергаю... Давай собирай вещи.

— Это что? — как в полусне, спросил я, указывая рукой за окошко.

— А, это? Это все называется город Киев.

Светел и прекрасен был этот веселый и зеленый город. Росли на широких улицах высокие тополи и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как еще били! Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на веселые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на севере, все были одеты — ярче, проще, легче, — только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

— Кневляне! — вытирая платком лоб, усмехнулся дядя. — Это такой народ! Его колоти, а он все танцовать будет! Сойдем, Сергей, с трамвая, отсюда и пешком недалеко.

Мы свернули от центра. То дома высились у нас над головой, то лежали под ногами. Наконец мы вошли в ворота, прошли через двор в проулок — и опять ворота. Сад густой, запущенный. Акация, слива, вишня, у забора лопух.

В глубине сада стоял небольшой двухэтажный дом. За домом — зеленый откос, и на нем полинялая часовенка.

Верхний этаж дома был пуст, окна распахнуты, и на подоконниках скакали воробы.

— Стой здесь, — сбрасывая сумку, приказал дядя, — а я сейчас все узнаю.

Я остался один. Кувыркаясь и подпрыгивая, выскочили мне под ноги два здоровых дымчатых котенка и, фыркнув, метнулись в дыру забора.

Слева, в саду, возвышался поросший крапивой бугор, на котором торчали остатки развалившейся каменной беседки.

Позади, за беседкой, доска в заборе была выломана, и отсюда по откосу, мимо

часовенки, поднималась тропинка. Справа на площадке лежали сваленные в кучу маленькие скамейки, столы, стулья. И теперь я угадал, что в доме этом зимой бывает детский сад. А сейчас, на лето, они уехали, конечно, куда-либо за город. Оттого наверху и пусто.

— Иди! — крикнул мне показавшийся из-за кустов дядя. — Все хорошо! Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем. Молоко пить будем. Аромат кругом... Красота! Не сад, а джунгли.

Возле заглохшего цветника нас встретили.

Высокая седая старуха с вздрагивающей головой и с глубоко впавшими глазами, опираясь на черную лакированную палочку, стояла возле морщинистого бородатого человека, который держал в руках длинную метлу.

Сначала я подумал, что это старухин муж, но, оказывается, это был ее сын.

— Дорогих гостей прошу пожаловать! — сказала старуха надтреснутым, но звучным голосом. Она сухо поздоровалась со мной и, откинув голову, приветливо улыбнулась дяде.

— Спаситель! Ах, спаситель! — сказала она, постучав костлявым пальцем по плечу дяди. — Полысел, потолстел, но все, как я вижу, попрежнему добр и весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный, а время летит... время!..

В продолжение этой совсем непонятной мне речи бородатый сын старухи не сказал ни слова.

Но он наклонял голову, выкидывал вперед руку и неуклюже шаркал ногой, как бы давая понять, что и он всецело разделяет суждения матери о дядиных благородных качествах.

Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше, положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки, скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника, чирикали птицы.

И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно.

И еще хорошо мне было оттого, что старуха назвала дядю и добрым и благородным. Значит, думал я, не всегда же дядя был пройдохой. А может быть, я и сейчас чего-то не понимаю. А может быть, все, что случилось в вагоне, это задумано злобным и хитрым стариком Яковом. А теперь, когда Якова нет, то, может быть, все оно и пойдет у нас по-хорошему.

Дядя дернул меня за нос и спросил, о чем я задумался. Он был добр. И, набравшись смелости, я сказал ему, что лучше, чем воровать чужие сумки, жить бы нам спокойно вот в такой хорошей комнате, где под окном орешник, черемуха. Дядя работал бы, я бы учился. А злобного старика Якова пусть заперли бы санитары в инвалидный дом. И пусть он сидел бы там, отдыхал, писал воспоминания о прежней своей боевой жизни, а в теперешние наши дела не вмешивался.

Дядя упал на кровать и расхохотался.

— Ха-ха! Хо-хо! Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский! В цирк его, в борцы! Гладиатором на арену! Музыка, туш! Рычат львы! Быки воют! А ты его в инвалидный!

Тут дядя перестал смеяться. Он подошел к окну, сломал веточку черемухи и, постукивая ею по своим коротким ногам, начал мне что-то объяснять.

Он объяснил мне, что вор не всегда есть вор, что я еще молод, многого в жизни не понимаю и судить старших не должен. Он спрашивал меня, читал ли я Чарльза Дарвина, Шекспира, Лермонтова. И тогда у меня от всех его вопросов голова пошла кругом. Я уж не помню, с чем-то я соглашался, чему-то поддакивал. Он оборвал разговор и спустился в сад.

Я же, хотя толком ничего и не понял, остался при том убеждении, что если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарльзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена. Они тянут все, что попадет под руку, и чем больше, тем лучше. Потом, как я видел в

кино, они делят деньги, устраивают пирушку, пьют водку и танцуют с девчонками танец «Елки-палки, лес густой», как в «Путевке в жизнь», или «Танго смерти», как в картине «Шумит ночной Марсель».

Дядя же мой не пьянствовал, не танцевал. Пил молоко и любил простоквашу.

Дядя ушел в город. В раздумье бродил я по комнатам. На стене в коридоре висел пыльный телефон. Очевидно, с тех пор как уехал детский сад, звонили по нему не часто. Заглянул я в чулан — там стояло изъеденное молью, облезлое чучело рыжего медвежонка. Слезил по крутой лесенке на чердак, но там была такая духота и пыльность, что я поспешно спустился вниз.

Вечерело. Я вышел в сад. В глухом уголку, за разваленной беседкой, лежал в крапиве мраморный столб. Я разглядел на его мутной поверхности такую надпись:

Здесь погребен
Действительный Статский
Советник
и
Кавалер
ИОГАНН ГЕНРИХОВИЧ
ШТОКК.

Тут же в крапиве валялся разбитый ящик и рассохшаяся бочка.

Было тепло, тихо, крепко пахло резедой и настурциями. Где-то далеко на Днепре загудел пароход.

Когда гудит пароход, я теряюсь. Как за поручни, хочется схватиться мне за что попало: за ствол дерева, за спинку скамейки, за подокозник. Гулкое, многоголосое эхо его всегда торжественно и печально.

И где бы, в каком бы далеком и прекрасном краю человек ни был, всегда ему хочется плыть куда-то еще дальше, встречать новые берега, города и людей. Конечно, если только человек этот не такой тип, как злобный Яков, вся жизнь которого, вероятно, только в том и заключается, чтобы охать, ахать, представляться больным и тянуть у доверчивых пассажиров их вещи.

Но вот я насторожился. В саду, за вишнями, кто-то пел. Да и не один, а двое.

Мужской голос — ровный, приглушенный и женский — резковатый, как бы надтреснутый, но очень приятный.

Тихонько продвинулся я вдоль аллеи. Это были старуха и ее бородатый сын. Они сидели на скамейке рядом, прямые, неподвижные, и, глядя на закат, тихо пели: «Цветы бездумные, цветы осенние, о чем вы шепчетесь в пустом саду?..»

Я был удивлен. Я еще никогда не слышал, чтобы такие древние старухи пели. Правда, жила у нас во дворе дворничова бабка, так и она, когда качала их горластого Гошку, тоже пела: «Ай, люли, ай, люли! Волки телку увели», но разве же это песня?

— Дитя! — позвала вдруг кого-то старуха.

Я обернулся, но никого не увидел.

— Дитя, подойди сюда! — опять позвала старуха.

Я снова оглянулся — нет никого.

— Тут никого нет, — смущенно сказал я, высываясь из-за куста. — Оно, должно быть, куда-нибудь убежало.

— Кто оно? Глупый мальчик! Это я тебя зову.

Я подошел.

— Пойди и посмотри, не коптит ли на кухне керосинка?

— Хорошо, — согласился я, — только я не знаю, где у вас кухня.

— Как ты не знаешь, где у нас кухня? — строго спросила старуха. — Да я тебя, мерзавца, из дому выгоню... на мороз, в степь... в поле!

Я ахнул и в страхе попятился, потому что старуха уже потянулась к своей лакированной палке, повидимому собираясь меня ударить.

— Мама, успокойтесь, — раздраженно сказал ее сын. — Это же не Степан, не Акимка. Это младший сын покойного генерала Рутенберга, и он пришел поздравить вас со днем ангела.

Трудно сказать, когда я больше испугался: тогда ли, когда меня хотели ударить, или когда я вдруг оказался сыном покойного генерала!

Вскрикнув, шархнул я прочь и помчался к дому. Взбежав по шаткой лесен-

ке, я захопнул на крючок дверь и дрожащими руками стал зажигать лампу. И только что я снял стекло, как услышал шаги. По лестнице за мной кто-то шел...

Крючок был изогнутый, слабенький, и его легко можно было открыть снаружи, просунув карандаш или даже палец.

Я метнулся на терраску и перекинул ногу через перила.

В дверь постучались.

— Эй, там, Сергей! — услышал я знакомый голос. — Ты спишь, что ли?

Это был дядя.

Торопливо рассказал я дяде про свои страхи.

Дядя удивился.

— Кроткая старуха, — сказал он, — осенняя астра! Цветок бездумный. Она, конечно, немного не в себе. Преклонные годы, тяжелая биография... Но ты ее испугался напрасно.

— Да, дядя, но она хотела меня треснуть палкой.

— Фантазия! — усмехнулся дядя. — Игра молодого воображения. Впрочем... всё потемки! Возможно, что и треснула бы. Вот колбаса, сыр, булки. Ты есть хочешь?

За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь, при детском доме, сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то оркестре.

Мы легли спать рано. Окно было распахнуто, и сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни города.

Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.

— Дядя, — спросил я, — отчего эта старуха называла вас днем и добрым и благодарным? Это она тоже с дури? Или что-нибудь тут на самом деле?

— Когда-то, в восемнадцатом, буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста, — ответил дядя. — А я был молод, великодушен и вступился.

— Да, дядя. Но если она была кроткая или, как вы говорите, цветок бездумный, то за что же?

— Там, на войне, не разбирают. Кроме того, она тогда была не кроткая и не бездумная. Спи, друг мой.

— Дядя, — задумчиво спросил я, — а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались, а не спустили и вас вниз головой с моста?

— Я бы им, подлецам, спустил! За мной было шесть всадников, да в руках у меня граната! Лежи спокойно, ты мне уже надоел.

— Дядя, — помолчав немного, не вытерпел я, — а какие это были солдаты? Белые?

— Лежи, болтун! — оборвал меня дядя. — Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова и винтовка-трехлинейка с пятью патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату.

Мои пытливые расспросы, очевидно, встревожили дядю. Через день, когда мы гуляли над Днепром, он спросил меня, хочу ли я вообще возвращаться домой.

Я задумался. Нет, этого я не хотел. После всего, что случилось, Валентинин муж, вероятно, уговорит ее, чтобы меня отдали в какую-нибудь исправительную колонию. Но я оставаться с дядей, который все время от меня что-то скрывал и прятал, мне было не по себе.

И дядя, очевидно, меня понял. Он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то, если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.

Я никогда не слышал о такой школе. Тогда он объяснил мне, что есть такая школа, куда принимают мальчиков лет четырнадцати-пятнадцати. Там же, при школе, они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а потом, кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.

Я вспомнил вчерашний пароходный гудок, и сердце мое болезненно и радостно сжалось. «За что? — думал я. — И для чего же вот этот непонятный и даже какой-то подозрительный человек заботится обо мне и хочет сделать для меня такое хорошее дело?»

— А вы? — тихо спросил я. — Вы тоже будете жить в Одессе?

— Нет, — ответил дядя. — Разве я тебе не говорил, что я живу в городе Вятке, заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой?

«Не беда! — подумал я. — Ну, и пускай в Вятке. Так, может быть, даже лучше. А то вдруг приехал бы в Одессу ненавистный старик Яков, — вот тебе, глядишь, и пропала опять вся научная работа!»

Щеки мои горели, и я был взволнован. «Проживу один, — думал я. — Начну все заново. Буду учиться. Буду стараться. Буду лазить по мачтам. Смотреть в бинокль. Вырасту скоро. Надену черную форменку... Вот я стою на капитанском мостике. Дзинь, дзинь! Тихий ход вперед! Вон она, стоит на берегу и машет мне платком... Нина! Прощай, Нина, прощай! Уплываем в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все — приеду, тебе расскажу и с чужих берегов привезу подарок».

И так замечтался я, что не заметил, как встал со скамьи, куда-то сходил и опять вернулся мой дядя.

— Но пока тебе будет скучно, — сказал дядя. — Несколько дней я буду занят. И чтобы ты мне не мешал, давай познакомимся с кем-нибудь из ребят. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, экое кругом веселье!

Ребят на площадке было много. Они лазили по лестницам и шестам, кувыркались и прыгали на пружинных сетках, толпились около стрелкового тира, бегали, баловались и, конечно, задирали девчонок, которые здесь, впрочем, спуску и сами не давали.

— С кем же мне, дядя, познакомиться? — растерянно оглядываясь, спросил я. — Народу кругом такая уйма.

— А мы поищем — и найдем! — ответил дядя и потащил меня за собой.

Он вывел меня к краю площадки. Здесь было тихо, под липами стояли рабочие столики и торчала будочка с материалом и инструментами.

Тут дядя показал мне на хрупкого белокурого мальчика, который, поглядывая на

какой-то чертеж, выстругивал ножом тонкие белые планочки.

— Ну вот, хотя бы с этим, — подтолкнул меня дядя. — Мальчик, сразу видно, неглупый, симпатичный.

— Дохловатый какой-то, — поморщился я. — Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут.

— Экое дело, скачут! Козел тоже скачет, да что толку? А то мальчик машину какую-то строит. Из такого скакуна клоун выйдет. А из этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь... изобретатель. Да ты про Эдисона слыхал ли?

— Слыхал, — буркнул я. — Это который телефон выдумал.

— Ну, вот и пойди, пойди, познакомься, а я тут в тени газету читаю.

Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я сел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль. Он не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его рабсту, и только тихо сказал:

— Ты, пожалуйста, не сломай планку, она очень тонкая.

— Нет, — усмехнулся я, — не сломаю. Это ты что мастерить? Трактор?

— О, что ты! — удивленно ответил мальчик. — Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.

— «Тонкая!»! «Тонкая!»! — позабывая дядины наставления, передразнил я. — Ты бы лучше шел на сетку вверх ногами прыгать, а то все равно потом выкрасить да выбросить.

Мальчик поднял на меня задумчивые серые глаза. Грубость моя его, очевидно, удивила, и он подыскивал слова, как мне ответить.

— Послушай, — тихо сказал он. — Я тебя к себе не звал. Не правда ли? Если тебе нравится прыгать на сетке, пойди и прыгай. — Он замолчал, сел, взял циркуль и, взглянув на мое покрасневшее лицо, добавил: — Я тоже люблю лазить и прыгать, но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя.

Он вздохнул и улыбнулся.

Краска все гуще и гуще заливала мне щеки, как будто я лицом попал в крапиву.

— Извини, — сказал я. — Это я дурак... Может быть, тебе помочь? Мне все равно делать нечего.

Теперь смугился сероглазый мальчик.

— Почему же дурак? — запинаясь, возразил он. — Зачем это? Ну, если хочешь, возьми этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки. Постой, они тебе так не дадут! У тебя ученический билет не с собой? Ну, тогда возьми мой. — И он протянул мне затрепанную красную книжечку.

Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия — Грачковский. Он был мне ровесник.

Мы дружно мастерили двигатель, когда к нам подошел дядя и протянул две плитки мороженого.

— Мы познакомились, — объяснил я. — Его зовут Славой. И он прыгнул из горящего самолета на парашюте.

— Чаще меня зовут Славка, — поправил мальчик. — А с парашютом это я не сам прыгнул — меня отец выкинул. Я же только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.

— Но она ходит?

— Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. — Он посмотрел на дядю, улыбнулся и спросил: — Это вы вчера стреляли в тире и поправили меня, чтобы я не сваливал набор мушку? Ой, вы хорошо стреляете!

— Старый стрелок-пехотинец, — скромно ответил дядя. — Стрелял в германскую, стрелял и в гражданскую.

«Эге, стрелок-пехотинец! — покосился я на дядю. — Так ты уже давно Славку пригнал! А я-то думал, что мы его в товарищи выбрали случайно!»

Вскоре мы со Славкой расстались и уговорились на завтра встретиться здесь же.

— Вот человек! — похвалил дядя Славку. — Это тебе не то что какой-нибудь молодец, который только и умеет к мачехе... в ящик... Ну, да ладно, ладно! Ты с само-

лета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит! Порох! Ты давай-ка с ним покрепче познакомься... Домой к нему зайди... Посмотришь, как он живет, чем в жизни занят, кто таковы его родители... Эх, — вздохнул дядя, — кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня, вздохи, мечты и слезы... Нет, нет! Ты с ним обязательно познакомься; он скромн, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.

Дядя проводил меня только до церковной ограды.

— Вот, — сказал он, — спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора — и ты в саду, дома. Днем да без вещей здесь куда ближе. А я приду попозже.

Насвистывая, осторожно спускался я по крутому склону. Добравшись уже до разваленной беседки, я услышал шум и увидел, как во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы ее были растрепаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

— Послушай! — запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он. — Не можешь ли ты отрубить ей голову?

— Нет, нет, не могу! — завопил я, отскакивая. — Я... я кричать буду!

— Но она же, дурак, курица! — гневно гаркнул на меня бородатый. — Мы насилие поймали, и у меня дрожат руки.

— Нет, нет! — еще не оправившись от испуга, бормотал я. — И курице не могу... никому не могу... Вы погодите... Вот придет дядя, он все может.

Я пробрался к себе и лег на кровать. Было теперь неловко, и я чувствовал себя глупым. Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.

Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались.

Потом стал читать происшествия. Здесь все было куда как понятней.

Вот автобус налетел на трамвай — стек-

ла выбиты, жертв нет. «Не зевай, шофер, счастливо еще отделался!»

Вот шестилетний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое: его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. «Молодцы люди! А мальчишке дома надо бы задать дёру».

А вот объявление: какой-то дяденька продает велосипед, он же купит заграничную шляпу. «Глупо! Я бы никогда не продал. Чорта ли толку в шляпе да без велосипеда?» А вот, стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот... ищут меня... «Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить: Москва, телефон ГО-48-64».

«Так, так! Значит, вернулась Валентина. Телефон не наш, не домашний, значит ищет милиция».

Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце.

Долго и тупо глядел. «Да, да, вон он и я. Вот брюнет. Вот родинка».

«Разыскивается...» Слово это звучало тихо и приглушенно. Но смысл его был грозен и опасен.

Вот они скользят по проводам, телеграммы: «Ищите! Ищите!.. Задержите!» Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. «Да, — говорят они, — товарищ начальник! Мы найдем гражданина Сергея Щербачова, четырнадцати лет, брюнета с родинкой, — того, что взламывает ящики и продает старьевщикам чужие вещи. Он, вероятно, живет в каком-нибудь городе со своим подозрительным дядей, например в Киеве, и мечтает безнаказанно поступить в мичманскую школу, чтобы плавать на советских кораблях в разные страны. Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвертого отряда, вероятно будет плакать и оправдываться, что все вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но и его отец осужден тоже».

Я швырнул зеркало и газету. Да, все именно так, и оправдываться было нечем.

Ни возвращаться домой, ни попадать в исправительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу. И я решил бороться за свое счастье.

Насухо вытер я глаза и вышел на улицу. Постовые милиционеры, дворники с бляхами, прохожие с газетой — все мне теперь казались подозрительными и опасными.

Я зашел в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка, до тех пор, пока покупатели не стали опасно поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо.

Я попросил тюбик хлородонта и поспешно вышел.

Потом я очутился возле парикмахерской. Зашел.

— Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрин? — равнодушно спросил парикмахер.

— Нет, — сказал я. — Бритвой снимайте наголо.

Пряди темных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове, узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело...

Уши теперь торчали, и голова стала круглой. На лице резче выступил загар.

Вышел, выдавил из тюбика немного зубной пасты, смазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели: попробуй-ка разбери теперь, брюнет или рыжий.

Сверкали на улице фонари. Пахло теплым асфальтом, табаком, цветами и водой.

«Никто теперь меня не узнает и не поймает, — думал я. — Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку.. Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было».

Влажный ветерок охлаждал мою бритую голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начинать заново и быть теперь человеком прямым, смелым и честным.

Было уже поздно, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем.

Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскользываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны — значит, дядя еще не возвращался.

Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие мое останется незамеченным. Тихо, чтобы не разбудить внизу хозяев, подошел я к крыльцу и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится.

Но то дядя, а то я! Мне же, особенно после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно.

Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернется скоро.

Так просидел я с полчаса или больше. На траву, на листья пала роса. Мне становилось холодно, и я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело — курица! А вдруг вот дядя где-нибудь заночует, — что тогда делать?

Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко и оно, кажется, не запирается.

Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сени. Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы никого не потревожить, пробирался домой. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое?.. Спокойней!

Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы.

Кто его знает почему, но мне вдруг показалось что старик Яков совсем не исчез — там, далеко, в Липецке, — а где-то притаился здесь, совсем рядом.

Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело.

Тихонько поднялся я наверх — и опять стоп!

Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома.

Прислушался. Разговаривали двое: дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.

— Вот, — говорил дядя, — сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда. Понятно?

— Понятно!

Куда «туда» и куда «сюда» — мне это было совсем непонятно.

— Теперь все убрать. И куда это мой мальчишка запропал? (Это обо мне.)

— Вернется! Или немного заблудился! А то еще в кино пошел. Нынче дети какие! А мать у него кто?

— Мачеха! — ответил дядя — Кто ее знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно, через своего человека напали. Мачеха на Кавказе. Мальчишка один. Квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет.

«Как кто ее знает? — ахнул я. — Ведь ты же мой дядя!»

— Ну, и последнее готово! Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку. Но куда же все-таки запропал мальчишка?

Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.

— Это ты, бродяга? Наконец-то! — раздался сверху дядин голос.

— Да, я.

— Тогда погоди, штаны да туфли надеву, а то я прямо с постели.

Прошло еще минуты три, пока дядя спустился по лестнице.

— Ты что же полуночничаешь? Где шатался?

— Я вышел погулять... Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, я шел, да и немного заблудился.

— Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил? — проворчал дядя.

Но я уже понял, что ругать он меня не

будет и, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было.

В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел.

И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах — не то эфира, не то еще какой-то дряни. «Очевидно, — подумал я, — дядя опять какое-то лекарство пролил... Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу, и, оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя!»

Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых.

«А может быть, — думал я, — дядя мой совсем и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик. Никто не признает его изобретения, или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается. Но... я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно... Верно, что я уже и сегодня успел соврать и про трамвай и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый. «Ты, — говорит, — погоди... Я только что с постели». Нет, брат! Тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик!»

Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бегал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой.

Однажды в парк зашел Славкин отец,

тоже худой белокурый человек, с тремя шпалами в петлицах.

Прищурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но, оказывается, Славкин отец был совершенно прав.

Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и, тихонько насвистывая, быстро пошел через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятишек.

— Догадливый! — сказал я. — Только подошел, глянул — крак! — и выломал.

— Еще бы не догадливый! — спокойно ответил Славка. — Такая уж у него работа.

— Он военный инженер? Он что строит?

— Разное, — уклончиво ответил Славка и с гордостью добавил: — Он очень хороший инженер! Это он только такой с виду.

— Какой?

— Да вот какой! — смеется и язык высунул... Ты думаешь, он молодой? Нет, ему уже сорок два года. А твоему отцу сколько? Он кто?

— У меня дядя... — запнулся я. — Он, кажется, ученый... химик...

— А отец?

— А отец... отец... Эх, Славка, Славка! Что же ты, искал, искал контргайку, а сам ее каблуком в песок затоптал — и не видишь.

Наклонившись, долго выковыривал я гайку пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с нее песчинки.

Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым, — язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осужден за растрату.

Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего, замаял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу.

На другой день дядя вызвался проводить меня в гости к Славке.

Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой — в одну квартиру.

Встретили нас Славка и его бабка — старуха хлопотливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу.

Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру.

Он был огорчен тем, что не застал Славкиного отца дома, и через полчаса ушел, пообещавшись зайти в другой раз.

Едва только он ушел, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку, причем Славка — нет, чтобы за меня заступиться — сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал.

Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные. Напечатанные на шершавой, грубой бумаге, теперь уже помятые, потертые, они рассказывали о днях гражданской войны.

Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светлосиняя сабля. Небо синее, земля, деревья и трава — черно-синие. Возле человека осталось всего четыре товарища, и на их папах, на мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды.

Внизу, под открыткой, подпись: «Смерть шахтер-комиссара Андрея Бутова с товарищами в бою под Кременчугом». И еще помельче: «Напечатано походной типографией 12-й армии, 1919 г.»

— Это очень редкая открытка, — бережно разглаживая ее, объяснил мне Славка. — Их всего-то, может, и было напечатано штук двести-триста. Но и вот эта тоже попадает не часто. Тут, смотри, со стихами: «Гей, гей! Не робей!» Видишь, это красные гонят Юденича. А вот без стихов... Тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал, должно быть. А на небе тучи... тучи... А это просто так... девчонка с наганом. Комсомолка, наверное. Видишь,

губы сжала, а глаза веселые. Они теперь повзростали. У мамы подруга есть, Камкова Клавдюшка, тоже там была... Так ей теперь уже тридцать шесть, что ли... Э-э, брат! Погоди, погоди! — рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня, потом опять в альбом, потом схватил со столика зеркало. — А это кто?

Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем молоденького паренька в такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура, в руке он держал трубу.

— Как кто? Сигналист! Тут так и написано.

— Это ты! — подвигая мне зеркало, обрадовался Славка. — Ну, посмотри, до чего похоже! Я еще когда тебя в первый раз увидел — на кого, думаю, он так похож? Ну, конечно, ты! Вот нос... вот и уши немного оттопырены. Возьми! — сказал он, доставая из гнезда открытку. — У меня таких две, на твое счастье. Бери, бери да радуйся!

Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник.

Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи, и под их широкой тенью суетливо бегали маленькие желтые цыплята.

— Славка, — осторожно спросил я, — а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?

— Вылечат! — щурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка. — Ну, куда, дурак? Чего кричишь? — Он схватил заблудившегося цыпленка и бережно сунул его в лопухи. — Туда иди. Вон твоя компания. — Он отряхнул руки, прищелкнул языком и добавил: — Нога — это плохо. Ну, ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

— Кто мы?

— Ну, мы... все...

— Кто все? Ты, папа, мама?

— Мы, люди, — упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза. — Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?

Я отвернулся. Я вынул из кармана складной нож. Это был хороший кривой

нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится.

— Возьми, — сказал я. — Дарю на память. Да бери, бери! Ты мне сигналиста подарил, и я взял!

— Но то — пустяк, — возразил Славка. — У меня есть еще, а у тебя другого ножа нет!

— Все равно бери! — твердо сказал я. — Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно.

— Хорошо, я возьму, — согласился Славка. — Спасибо. Только сигналист пусть в счет не идет. Но у меня есть карманный фонарь с тремя огнями — белый, красный и зеленый. И ты его возьмешь тоже... — Он подумал. — Только вот что: он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезет меня к ней в деревню, а сам в тот же день вернется обратно. Я его передам отцу, отец отдаст бабке, а она — тебе. Дай честное слово, что ты зайдешь и возьмешь!

Я дал.

— Так ты уезжаешь? — пожалел я. — Далеко? Надолго?

— Надолго, до конца лета, к маме. Но это не очень далеко. Отсюда парходом вверх по Десне километров семьдесят, а там от пристани километров десять лесом. Ну, пойдем к бабке на кухню.

— Бабушка, — сказал Славка, тыча ей под нос блестящий кривой нож. — Вот, мне подарили. Хорош ножик! Острый.

— Выкинь, Славушка! — посоветовала старуха. — Куда тебе такой страшный? Еще зарежешься.

— Ты уж старая, — обиделся Славка, — и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, не даешь! Значит, сама видишь, что нож хороший! Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Ну, помнишь, я еще тебя около курятника напугал? И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него, запомнишь?

— Да запомню, запомню, — ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха. — Вы тут стойте, не уходите, я сейчас вас кормить буду.

— Только не меня! — испугался я. — Это его... Я уже кормленный...

— Ладно, ладно! — отскакивая к двери, согласился Славка, и уже у самого порога он громко закричал: — Только я гречневой каши есть не буду-у-у!

— Врешь, врешь! Все будешь, — ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартуком, жалобно добавила: — Кабы тебя, милый мой, с ероплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает «не буду»!

Славка проводил меня до калитки, и тут мы с ним попрощались, потому что в следующие два дня он должен был принимать в клинике какие-то ванны и на площадку притти не обещался.

Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу.

Дяди дома не было. Я сел за стол у распянутого окошка, отвинтил крышку дядиной походной чернильницы, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.

Это оказалось вовсе не таким трудным, как говорил мне дядя.

Например, через полчаса уже получилось:

Из Одессы капитан
Уплывает в океан.
На борту стоят матросы,
Лихо курят папиросы.
На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица,
Потому что, налетая,
Всем покоя не давая,
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.

Выходило совсем не плохо. Я уже хотел было продолжать описание дальнейшей судьбы отважного корабля и опечаленных разлукой девиц, как меня позвала старуха.

С досадой высунулся я через окно, раздвинул ветви орешника и вежливо спросил, что ей надо.

Она приказала мне слазить в погреб и поставить для дяди на холод кринку простокваши.

Я покривился, однако тотчас же вышел и полез.

Вернувшись, я попробовал было продолжать свои стихи, но, увы, — вероятно, оттого, что в сыром, темном погребке я стукнулся лбом о подпорку, — вдохновение исчезло, и ничего у меня дальше не получалось.

Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился новому моему таланту.

Однако хорошей бумагой на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди, под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка.

Пачку эту я развернул, достал несколько листков и стал переписывать.

Только что успел я дойти до половины, как опять меня позвала старуха. Я высунулся через окошко и теперь уже довольно грубо спросил, что ей от меня надо.

Она приказала мне лезть в погреб и достать пяток яиц, потому что ей надо ставить тесто для блинчиков, которых, конечно, дядя захочет поест вместе с простоквашей.

Я плюнул. Выскочил. Полез. Долго возился, отыскивая впотьмах корзинку, и, вернувшись, твердо решил больше на старухин зов не откликаться. Сел за стол. Что такое? Листка с моими стихами на столе не было. Удивленный и даже рассерженный, заглянул под стол, под кровать... Распахнул дверь коридора. Нету!

И я решил, что, должно быть, в мое отсутствие в комнату заскочили два наших сумасшедших котенка и, прыгая, кувыркаясь, как-нибудь уволокли листок за окно, в сад.

Вздыхнув, я взялся переписывать наново. Дописал до половины, загляделся на скачущего по подоконнику воробья и задумался.

«Вот, — думал я, — клонет, подпрыгнет, посмотрит, опять клонет, опять посмотрит... Ну, что, дурак, смотришь? Что ты в нашей человеческой жизни понимаешь? Хочешь? Слушай!»

Я потянулся к листку со стихами и, просто говоря, обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро тая-

ла на моих глазах, как сухой белый лед, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

Крепкая рука опустилась мне на плечо, и, едва не слетев со стула, я увидел незаметно подкравшегося ко мне дядю.

— Ты что же это, негодяй, делаешь? — тихо и злобно спросил он. — Это что у тебя такое?

Я вскочил, растерянный и обозленный, потому что никак не мог понять, почему это мои стихи могли привести дядю в такую ярость.

— Ты где взял бумагу?

— Там, — и я ткнул пальцем на кровать.

— Там, там! А кто тебе, дряни такой, туда позволил лезть?

Тут он схватил листки, в том числе и те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разглядел их и положил обратно под матрац, в папку.

Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.

— Что вам от меня надо? — крикнул я. — Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем — ничего не знаю! Вам жалко трех листочков бумаги, а когда в вагонах... так чужого вам не жалко! Что я вас, ограбил, обокрал? Ну, за что вы на меня сейчас набросились?

Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.

Очевидно, дяде и самому вскоре стало неловко.

— Послушай, друг мой, — услышал я над собой его голос. — Конечно, я погорячился, и бумаги мне не жалко. Но скажи, пожалуйста... — тут голос его опять стал раздраженным, — что означают все эти твои фокусы?

Я недоуменно обернулся и увидел, что дядя тычет себе пальцем куда-то в живот.

— Но, дядя, — пробормотал я, — честное слово... я больше ничего...

— Хорошо «ничего»! Я пошел утром переменить брюки, смотрю — и на подтяжках, да и внизу, — ни одной пуговицы! Что это все значит?

— Но, дядя, — пожал я плечами, — для чего мне ваши брючные пуговицы? Ведь

это же не деньги, не бумага и даже не конфеты. А так... дрянь! Мне и слушать-то вас прямо-таки непонятно.

— Гм, непонятно?! А мне, думаешь, понятно? Что же, по твоему, они сами отсохли? Да кабы одна, две, а то все начисто!

— Это старуха срезала, — подумав немного, сказал я — Это ее рук дело. Она, дядя, всегда придет к вам в комнату, меня выгонит, а сама все что-то роется, роется... Недавно я сам видел, как она какую-то вашу коробочку себе в карман сунула. Я даже хотел было сказать вам, да забыл.

— Какую еще коробочку? — встревожился дядя. — У меня, кажется, никакой коробочки... Ах, цветок бездумный и безмозглый! — спохватился дядя. — Это она у меня мыльный порошок для бритвы вытянула! А я-то искал, искал, перерыл всю комнату! Глупа, глупа! Я, конечно, понимаю: повороты судьбы, преклонные годы... Но ты когда увидишь ее у нас в комнате, то гони в шею

— Нет, дядя, — отказался я, — я ее не буду гнать в шею. Я ее и сам-то боюсь. То она меня зовет Антипкой, то Степкой, а чуть что — замахивается палкой. Вы лучше ей сами скажите. Да вон она, возле клумбы цветы нюхает! Хотите, я вам ее сейчас кликну?

— Постой! постой! — остановил меня дядя. — Я лучше потом... Надоело! Ты теперь расскажи, что ты у Славки делал.

Я рассказал дяде, как провел время у Славки, как он подарил мне сигналиста, и пожалел, что через три дня Славку отец увезет к матери.

Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.

— Ты хороший мальчик, — похвалил меня дядя. — С первой же минуты, как только я тебя увидел, я сразу понял: «Вот хороший, умный мальчик, и я постараюсь сделать из него настоящего человека». Ге! Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Начальник мичманской школы — мой друг. Помощник по учебной части — тоже. Там тебе будет хорошо. Да, хорошо. Конечно, многое... то есть, гм... кое-что те-

бе кажется сейчас не совсем понятным но все, что я делаю, это только во имя... и вообще для блага... Помнишь, как у Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь».

— Дядя, — задумчиво спросил я, — а вы не изобретатель?

— Тсс... — приложив палец к губам и хитро подмигнув мне, тихо ответил дядя. — Об этом пока не будем... ни слова!

Дядя стал ласков и добр. Он дал мне пятнадцать рублей, чтобы я их, на что хочу, истратил. Похлопал по правому плечу, потом по левому, легонько ткнул кулаком в бок и, сославшись на неотложные дела, тотчас же ушел.

Прошло три дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось — в парк он больше не приходил.

Бегая днем по городу, я остановился у витрины писчебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.

Вот она и Одесса! Рядом города — Херсон, Николаев, Тирасполь, слева — захваченная румынами страна Бессарабия, справа — цветущий и знойный Крым, а внизу, далеко, до Кавказа, до Турции, до Болгарии, раскинулось Черное море...

...И волны бьшуют вдаль...
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от здешней земли.

Нетерпение жгло меня и мучило.

Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять.

А вот он и север! Кольский полуостров. Белое море. Угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут, на канале, работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки.

Сорока... Сорока! Вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но в последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял. И если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином не торгуют, то я бы полумал, что писал он письмо немного выпивши.

Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за «хвосты» по математике.

Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причем писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть после этого чем похвалиться.

В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь еще не прошла и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропащего.

И это меня тогда удивило, потому что я был не слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорей так: что жизнь еще только начинается. Кроме того, никогда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот, я считал его и умным и хорошим, но только если бы он не растрчивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как лучше!

И я решил, что как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так — я верил сейчас крепко.

Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зовет:

— Мальчик, пойдика сюда!

Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе.

«ГО-48-64!» вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурочек к моей открытой шее.

Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.

«Нет, — с ужасом подумал я, — бежать поздно! Вот она и расплата!»

— Мальчик! — повторил милиционер. — Что же ты стал? Подходи быстрее.

Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел.

— Да, — сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе. — Да! Я вас слушаю!..

— Мальчик, — сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с желтого огня на зеленый, — будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.

Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял.

Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу, и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.

Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

— Так будь же все проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. — Будь ты проклята, — бормотал я, — такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шараться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

Так стоял я, вздрагивая; слезы катились, падали на осыпанные известкой сандали, и мне становилось легче.

Кто-то тронул меня за руку.

— Мальчик, — участливо спросила меня молодая незнакомая женщина, — ты о чем плачешь? Тебя обидели?

— Нет, — вытирая слезы, ответил я, — я сам себя обидел.

Женщина улыбнулась и взяла меня за руку.

— Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?

Я замотал головой, сквозь слезы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу.

Кто его знает почему, мне казалось, что счастье мое было уже недалеко...

И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидел у нас в саду проклятого старика Якова.

Он сидел спиной ко мне, и они о чем-то оживленно разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями.

Я проскользнул за кусты и боком, боком, вокруг холма с развалинами беседки, вышел к крылечку и прокрался наверх.

Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка. Поперхнулся. Зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь еще совсем недавно. Полотенце было сырое — не просохло. На подоконнике валялся только один окурочок, а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялись дядина кепка и мятая газета. Вот и все! Нет, не все. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черемухи я видел, что оба друга все еще разговаривают. Я открыл портфель.

Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл. Орден Трудового Знамени, орден Красной Звезды, значок МОПР, иголки, катушка ниток, пұзырек с валериановыми каплями. Еще носки, носки... А это? И я осторожно вытащил из уголка портфеля черный браунинг.

Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да!.. Вот она, выщербленная рукоятка. Выдвинул обойму. Так и есть: шесть патронов, и одного нет.

Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку.

«Что же делать? А что делается сейчас дома? Плевать там, конечно, на сломанный замок, на проданную горжетку! Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентинному мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут потерянные день-

ги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продается и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее».

Коской отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был не Яков и не дядя — они всё еще сидели в саду.

Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине.

Вошла старуха.

Лицо ее показалось мне что-то чересчур веселым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой — свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой. Потом взяла с тумбочки дядино зеркало. Посмотрела в него, улыбнулась. Потом, счеvidно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула. Подумала. Сняла со стены полотенце и плевков с пола вытерла. «Ах ты, старая карга! — рассердился я. — А я-то этим полотенцем лицо вытираю!»

Потом старуха примерила белую кепку. Пошарила у дяди в карманах. Достала целую пригоршню мелочи. Отобрала одну монетку — я не разглядел, не то гривенник, не то две копейки, — спрятала себе в карман. Прислушалась. Взяла портфель. Порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова. Поддержала ее, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и легкой, пританцовывающей походкой вышла из комнаты.

Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад.

Очутившись позади холма, я взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в рас-

шелину. Спустился. Вылез через дыру. Промыгнул кругом вдоль забора и остановился перед калиткой.

Тут я перевел дух, вытер лицо, достал из кармана компас и, громко напевая: «По военной дороге...», распахнул калитку.

Дядя и старик Яков сразу же обернулись.

Как бы удивленный тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова. Подошел, поздоровался и показал компас.

— Дядя, — сказал я, — посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?

— Моряк! Лаперузо! Дитя капитана Гранта! — похвалил меня дядя, очевидно довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит — без усов, без диагоналевой гимнастерки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе. — Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу: он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу.

Это было что-то новое. Но я не показал виду и молча кивнул головой.

— Ты должен быть терпелив, — сказал дядя. — Терпение — свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане... Впрочем, расскажу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?

— Домой торопился, — объяснил я. — Думал, как бы не опоздать к обеду.

— Нас сегодня старик Яков угощает, — сообщил дядя. — Не правда ли, добряк, ты сегодня тряхнешь бумажниксм? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдем в комнату. Там он с дороги отряхнется, почистится, и тогда двинем к ресторану.

Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света.

Не прошло и трех минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним, без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков.

— Сергей! — закричал он. — Не видел ли ты здесь старуху?

— А она, дядечка, на заднем дворике голубей кормит. Вот, слышите, как она их зовет? «Гули, гули!»

— «Гули, гули!» — хрипло зарычал старик Яков. — Я вот ей покажу «гули, гули!»

— Только ласково! Только ласково! — предупредил на ходу дядя. — Тогда мы сейчас же... Мы это разом...

Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскокивших к ней мужчин.

— Только тише! Только ласково! — оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться еще от самой калитки.

— Добрый день, хорошая погода! — торпливо заговорил дядя. — Птица-голубь — дар божий. Послушайте, мамаша, вы нам сейчас принесли в комнату разные.. цветочки, василечки, лютики?..

— Для своих друзей, — начала было старуха, — для хороших людей... Ай-ай!.. Что он на меня так смотрит?

— Отдай добром, дура! — заорал вдруг старик Яков. — Не то тебе хуже будет!

— Только ласково! Только ласково! — загремел на Якова дядя. — Послушайте, дорогая: отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что вам оно? Вы женщина благоразумная (молчи, Яков!), лета ваши преклонные... Ну, что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу... Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено... Да затвори, Яков, калитку! Кого еще там чорт несет?!

Но затворять было уже поздно: в проходе стоял бородатый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и коленопреклоненного дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чем дело.

— Мама, отдайте! — строго сказал ее сын. — Зачем вы это сделали?

— Но на память! — жалобно завопила старуха. — Я только хотела на добрую, дорогую память!

— На память! — взбесился тогда не вытерпевший дядя. — Хватайте ее! Берите!.. Вон он лежит у нее в кармане!

— Натей! Подавитесь! — вдруг совершенно спокойным и злым голосом сказала ста-

руха и бросила на траву красную резино-вую подвязку.

— Это моя подвязка! — торжественно сказал старик Яков. — Сам на-днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!

Старуха швырнула ему под ноги две копейки и вывернула карман. Больше в карманах у нее ничего не было. Два часа билась трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись... Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой.

До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного, и тогда, охрипшие, обозленные, дядя и Яков пошли одеваться.

Старик Яков переменял взмокшую рубашку. С удивлением глядел я на его могучие плечи; у него было волосатое загорелое туловище, и, как железные шары, перекачались и играли под кожей мускулы.

«Да, этот кривоногий дуб еще пошумит, — подумал я. — А ведь когда он оденется, согнетса, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка!»

Перед тем как нам уже уходить на пристань, подошел старухин сын и сообщил, что в уборной в яме плавает вторая красная подвязка.

Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же, по злобе, утопила и браунинг...

Но делать было нечего! Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому темному делу посторонних никто не захотел.

Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своем и, конечно, молчал.

На речной вокзал мы пришли рано. Только еще объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу.

Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он

то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову.

Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.

— Ба! — удивленно воскликнул он. — Посмотри-ка! А вот идет твой друг Славка!

— Разве тебе ехать в эту сторону? — бросаюсь к Славке, спросил я.

— Я же тебе говорил, что вверх, — ответил Славка. — Ну-ка, посмотри, вода течет откуда?.. А ты куда? До Чернигова?

— Нет, Славка! Мы только провожаем одного знакомого.

— Жаль! А то вдвоем прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный... восьмикратный.

— Глядите, — остановил нас дядя. — Вон на воде какая комедия!

Крохотный сердитый пароходишко, черный от дыма, отчаянно колотил по воде колесами и тянул за собой огромную, груженную лесом баржу.

Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда, сквозь щель меж занавесок, выглядывали его противные выпученные глаза.

«Сидишь, сыч, а свету боишься», подумал я и потащил Славку на другое место.

Пароход дал второй гудок.

Дядя пошел к Якову, а мы попрощались со Славкой.

— Так не забудь зайти за фонарем, — напомнил он. — Отец вернется завтра обязательно.

— Ладно, зайду! Прощай, Славка! Будь счастлив!

— И ты тоже! Гей, папа! Я здесь! — крикнул он и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу.

Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер и, где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца.

Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, поло-

жил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечевкой и украдкой от дяди вышел на улицу.

Тут я спросил у прохожего, где здесь в Киеве «стол находок».

В Москве из такого «стола» Валентина получила однажды позабытый в трамвае сверток с кружевами.

«Киев, — думал я, — город тоже большой, следовательно и тут люди теряют всякого добра немало».

Мне объяснили дорогу.

Я рассчитывал, что, зайдя в этот «стол находок», я суну в окошечко сверток. «Вот, — скажу, — посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда». И сейчас же удаюсь прочь. Пусть они как там хотят, так и разбираются.

Но первое, что мне не понравилось, — это то, что «стол» оказался при управлении милиции.

Поколебавшись, я все же вошел. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было.

Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров.

В очереди передо мной стояли двое.

— Итак, — спрашивал милиционер востроного и рыжеусого человека, — ваше имя — Павло Федоров Павлюченко. Адрес: Большая Красноармейская, сорок. Означенная калоша, номер четырнадцатый, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер сорок шесть. Так ли я записал?

— Так точно, — ответил рыжеусый. — Я как был вчера выпивши, то, значит, зашел сегодня, чтобы опять... этого самого...

— Это к факту не относится, — перебил его милиционер. — Получайте квиток и расписывайтесь.

— Это я распишусь — отчего же! Гляжу я... Мать честная! Лежит она, самая калоша... сияет. Я искал, искал — другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы еще пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу! Может, и потерял ее свой же брат, труженик.

— Одна! — сурово заметил милицио-

нер. — Кабы и пара, все равно съесть надо. Этакое глупое у вас разумение... Значит, сюда только и тащи, что самому не надо? Подходи следующий.

— Я человек честный, — пряча квитанцию, бормотал рыжеусый. — Мне не то что две... три нашел, и то снес бы. Да как-то ка нога номер четырнадцатый? Вон у меня нога... в самый раз... аккуратная. А это что же? На столбы обувка?..

Пошатываясь, он пошел к выходу, а вслед за ним проскользнул и я.

«Нет, — думал я, — если из-за одной калоши тут столько распросов, то с моей походкой скоро мне не отвертеться».

Опечаленный, вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумывать что-то другое.

К вечеру я побежал на окраину, к Славкиной бабке.

— Не приезжал отец! — сказала она. — И то три раза из управления звонили да два раза с завода... Ну, вот, слышите? Опять звонят! — И, отодвинув шипящую сковородку, она вперевалку пошла к телефону.

— Чистая напасть! — вздохнула она вернувшись. — Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу... Так не дадут дня человеку побыть с женой да с матерью! Завтра приходи, милый! Да куда ж ты?.. Скушай пирожка, котлетку! Я и то наготовила, а есть некому.

Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался.

По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошел поближе и прочел, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приема во все учебные заведения и цена всему этому делу полтинник.

Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу города Одессы. За ответом велели приходить через полчаса.

В ожидании я пошел шататься по соседним улочкам, заглядывал в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна.

Наконец-то полчаса прошли! Помчался к киоску. Схватил протянутую мне бумажку,

...Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было.

Я зашатался. Горе мое было так велико, что я не мог даже плакать, и мне тогда хотелось, чтобы дядю этого убило громом или пусть бы он оступился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обнадеживало и не согревало.

Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда. И тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей сто или двести и уйду куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход. А может быть, спрячусь тайком в трюме, — в открытом море матросы ведь не выбросят... Впрочем, чего жалеть? Может быть, и выбросят... Вздор! Мысли путались.

Пришел домой и сразу лег спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку.

— Ты чего кричишь? Ляжь, как надо, а то ишь разбросался! И надо тебе целый день по солнцу шататься!

Я повернулся и точно опять куда-то провалился.

Проснулся. Солнце. Зелень. Голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки — невкусно.

Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и неосторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашел. Очевидно, дядя носил их с собой.

Вышел и задумчиво побрел куда-то. Шеки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду.

Устал наконец и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладело мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. Поле, луг, речка. Тиль-тиль, тирлюли! И я опять вспоминаю: отец и я. Он поет:

Между небом и землей
Жаворонок вьется...

«Папа, — говорю ему я, — это замечательная песня. Но это же, право, не сол-

датская!» — «Как не солдатская? — и он хмурится. — Ну, вот весна, пахнет разогретой землей. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет шинель теплое солнышко. Вот залегла цепь... Боя еще нет. А он сверху: тиль-тиль, тирлюли, тирлюли!.. Спокойно кругом, тихо... И вот тебе кажется: я лежу с винтовкой... А ведь кто-нибудь вспомнит и про меня и вздохнет украдкой. Как же не солдатская? Ну, что? Теперь понял?» — «Да, да! Понял!»

Кто-то тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурил снова.

Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо мое загорело, лоб был влажен; он же был чем-то расстроен и не узнал меня.

— Мальчик, — спросил он, показывая на калитку, — ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?

Молча качнул я головой.

— Э! Да ты, я вижу, братец, совсем спишь! — с досадой сказал он и, крикнув что-то шоферу, вскочил в машину и уехал.

Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома и что человек этот только что стучался в их запертую калитку.

Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номером дома. Когда-нибудь напишу я Славке письмо.

Что-то вдруг странно все, дико и непонятно.

Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес.

Нашел! Стоп! Карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью.

Это был клочок, который дала мне в парке при прощании Нина. На нем был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти:

«Г0-48-64»

Так, значит, это искала меня не милиция! Но кто же? Зачем? Но, может быть, я

ошибся, и в газете телефон записан совсем не тот? Надо было проверить. Скорей! Сейчас же!

Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина.

Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина.

— Машина? — тихо переспросила она, и губы ее задергались. — Ах, что мне машина! Я и сама уже все знаю.

Я взглянул на нее и ужаснулся: глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину и сейчас он в больнице лежит при смерти.

Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. И, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду.

Дома на столе я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу.

По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от «больной бабушки» старик Яков вернулся что-то очень скоро.

— Убийцы! — прошептал я помертвевшими губами. — Вы сбросите меня под колеса поезда, и плыви тогда капитан в далекую Индию... Так вот зачем я был вам нужен!

«Пойди, познакомься, — вспомнил я разговор в парке, — он мальчик, кажется, хороший». Бандиты, — с ужасом понял я, — а может быть, и шпионы!

Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что, против своей воли, сажусь на пол.

Кое-как бухнулся в кровать. Дотянулся до графина. Жадно пил.

«ГО-48-64»

Вынул газету. Да, номер тот же самый! Лег. Лежал. Сон — не сон. Полудрема.

«Эх, дурак я, дурак! Так вот и такие бывают шпионы, добрые!.. «Скушай колбасы, булку»... «Кругом аромат, цветы, природа». А праздник — веселое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии? А, не для нас же, чтоб вы сдохли, плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев!..»

Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил.

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре.

— Но то в Москве, а это Киев, — ответил мне удивленный голос. — Даю вам междугородную.

Опять голос:

— Слушает междугородная!

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре, — все тем же усталым и настойчивым голосом попросил я.

— Москва занята, — певуче ответил телефон. — Наш лимит еще тридцать минут. На очереди три разговора. Если останется время, я вас вызову. Повторите номер.

Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

Опять звонок. Длинный-длинный. Опомился и сразу к телефону.

Г о л о с. Через три минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте: в вашем распоряжении остается пять минут.

Стало легче.

И вдруг — на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло! Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.

Г о л о с дяди. А мальчишки все нет. Вот проклятый мальчишка!

Я к о в. Чорт с ним! Надо бы торопиться.

Дядя (ругательство). Нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст.

Я к о в (ругательство). Вот еще бестолковый дьявол! (Ругательство, еще и еще ругательство.)

Звонок по телефону. Я замер.

Я к о в. Не подходи!

Дядя. Нет, почему же? (В трубку.) Да! (Удивленно.) Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. (Трубка повешена.) Чорт его знает что: «Сейчас с вами будет говорить Москва!»

Опять звонок.

Дядя. Да нет же, не вызывали! Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам говорю, что весь день сижу в комнате и никто не подходил к телефону. Как вы смеете говорить, что я хулиганю?.. (Трубка брошена. Торопливо.) Это что-то не то! Давай-ка собирайся, старик Яков!

«Они сейчас уйдут! — понял я. — Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.

«Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут? — строго спросил меня кто-то изнутри. — А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который бы завернул браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик! — повторил мне тот же голос. — Выпрямляйся, пока не поздно».

— Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку, — виновато прошептал я.

Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо — за сырыми, холодными камнями.

Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухе... Она из окошка показывает им язык. Остановились... Пошли.

Они не хотят идти почему-то через калитку — через улицу, а направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки, через дыру забора, выйти на глухую тропку.

Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне горящий самолет, и, как брошенный камень, оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой — Славка.

Я открыл глаза и потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как

стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. — Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился.

Как будто бы легла поперек песчаной дороги глубокая пропасть — разом остановились оба изумленных друга.

Но это длилось только секунду. И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть! С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился.

Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером! И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло.

Но, даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы.

Гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю.

Гром пошел по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. А могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду!»

(Много-много, целую большую пловучую льдину!) Распахните окна! (Широко-широко, так, чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши!) Быстро приготовьте шприц! Теперь спокойней!..»

Гром стих. Тучи стали. И ветер прорвался наконец к задыхавшемуся горлу.

Сколько времени все это продолжалось, я, конечно, тогда не знал.

Когда я очнулся, то видел сначала над собой только белый потолок, и я думал: «Вот потолок — белый».

Потом, не поворачивая головы, искоса через пролет окна видел краешек голубого неба и думал: «Вот небо — голубое».

Потом надо мной стоял человек в халате, из-под которого виднелись военные петлицы, и я думал: «Вот военный человек в халате».

И обо всем я думал только так, а больше никак не думал.

Но, должно быть, продолжалось это немало времени, потому что, проснувшись однажды утром, я увидел на солнечном подоконнике, возле букета синих васильков, полное блюдце яркокрасной спелой малины.

И я удивился, смутно припоминая, что еще недавно в каком-то саду (в каком?) малина была крошечная и совсем зеленая.

Я облизал губы и тихонько высвободил плечо из-под легкого покрывала.

И это первое, вероятно, осмысленное мое движение не прошло незамеченным. Тотчас же передо мной стала девушка в халате и спросила:

— Ну, что? Хочешь малины?

Я кивнул головой. Она взяла блюдечко, села на край постели и осторожно стала опускать мне в рот по одной ягодке.

— Я где? — спросил я. — Это какой город?

— Это не город. Это Ирпень! — И так как я не понял, она быстро повторила: — Это Ирпень — дачное такое место недалеко от Киева.

— А, от Киева?

И я все вспомнил.

Прошла еще неделя. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь целыми днями сидел я в тени под липами.

Пробитое пулей горло заживало. Но разговаривать мог я еще только вполголоса.

Два раза приходил ко мне человек в военной форме. И тут же, в саду, вели мы с ним неторопливый разговор.

Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал.

Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка.

— Юрка?.. Это был мелкий мошенник.

— А тот... артист?.. Ну, что сошел с поезда в Серпухове?

— Это был крупный наводчик-вор.

— А старик Яков?

— Он был не старик, а просто старый бандит.

— А он... Ну, который дядя?

— Шпион, — коротко ответил военный.

— Чей?

Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце.

— Ну, вот видишь? Так, со ступеньки на ступеньку, и вот наконец до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?

Это меня задело.

— Добрался! Так кто же такой, по-вашему, я?

— Когда: теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы!.. А раньше был ты перед ними круглый дурак. Но не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки и не таких, как ты, бывало обрабатывали.

Он вытащил из папки фотоснимок.

— Не узнаешь?

Еще бы! Вот она, церковь, скамья. Вот он, — ишь ты, как улыбается, — дядя. А вот он выпучил глаза — старик Яков.

— Так вы еще в Москве догадались достать кассеты у Валентины из ящика и проявить их?

— Да, мы давно обо всем догадались. Но все разыскать нелегко было.

Теперь он вытянул листок бумаги и, хитро глянув на меня, продекламировал:

На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.

— Это ты сочинял?

— Да, — сознался я. — Но скажите, что это за листы? И еще скажите: что это были за склянки... и почему так часто пахло лекарством?

— Мальчик, — ответил он, — ты не должен у меня ничего спрашивать! Отвечать я тебе не могу и не стану.

— Хорошо, — согласился я. — Но я уже и сам догадываюсь: это, наверное, был какой-нибудь секретный состав для бумаги!

— А это догадывайся сам, сколько тебе угодно.

— Ладно, — сказал я. — Я ничего не буду спрашивать. Только одно: Славкин отец умер?

— Жив, жив! — охотно ответил он. — Я и позабыл, что он тебе велел кланяться.

— За что? — удивился я.

— За что? Гм... гм... — Он посмотрел на часы. — Ну, прощай, поправляйся! Больше я не приду. Да, — он остановился и улыбнулся. — Нет, — и он опять улыбнулся. — Нет, нет! Скоро все сам узнаешь.

У ног моих лежал маленький, поросший лилиями пруд. Тени птиц, пролетавших над садом, бесшумно скользили по его темной поверхности. Как кораблик, гонимый ветром, бежал неведомо куда сточенный червем или склонутый птахой и рано сорвавшийся с дерева листок. Слабо просвечивали со дна зеленовато-прозрачные водоросли.

Тут я мог сидеть часами и быть спокоен. Но стоило мне поднять голову — и когда передо мной раскидывались широкие желтеющие поля, когда за полями, на горизонте, голубели деревеньки, леса, рощи, когда я видел, что мир широк, огромен и мне еще непонятен, тогда казалось, что в этом маленьком саду мне нехватит воздуха. Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тогда охватывала меня необъяснимая тоска.

Вдруг примчался ко мне Славка. Я его узнал, еще когда он сходил с легковой машины.

В замешательстве, как бы ища опоры, я оглянулся.

Но с первых же слов он меня перебил, замахал руками и засмеялся.

— Я все знаю! Я больше тебя знаю! Ты лежишь, а я на воле. Папа тебе шлет привет! Это он мне дал свою машину. Но ты уж совсем не такой худой и бледный, как говорил Герчаков.

— Кто?

— Герчаков! Ну, майор из НКВД, который с тобой разговаривал! Он заходил к нам часто. Ты знаешь, у него несчастье: пошел он на Днепр купаться — бултых в воду! А часы-секундомер с руки не снял. У него часы хорошие — еще в двадцать четвертом ему на работе подарили. Они и стали. Отнес — починили. Опять стали. Так он чуть не плачет. Это, говорит, я все распутывал ваши дела, заработался... Вот тебе и прыгнул!.. Послушай! Вот я тебе привезу фонарик. Все слово твердо.

— Славка, — настойчиво спросил я, — зачем они твоего отца убить хотели?

Славка задумался.

— Видишь ли, когда вы... — тут Славка покраснел и быстро поправился, — то есть когда они обокрали в вагоне папиного помощника, то ничего нужного в сумке они, конечно, не нашли... Ну, они рассердились...

— Славка, — еще упрямей повторил я, — ну, не нашли, но зачем же все-таки они хотели убить твоего отца?

— Видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной военной машиной... Ну, а им этого не хочется. Нет, нет! Дальше ты меня лучше не спрашивай! Я тоже однажды спросил у отца: что за машина? Вот он посадил меня с собой рядом, взял карандаш и говорил, говорил, объяснял, объяснял... Вот тут винт, тут ручка, тут шарниры, здесь шарикоподшипник. При вращении развивается огромная центробежная сила. А здесь такой металлический сосуд... Я все слушал, слушал — да вдруг как закричу: «Папка! Что ты все врешь? Это же ты мне объясняешь, как устроен молочный

сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» Тогда он хохотал, хохотал, а потом и я захохотал. Так вот, с той поры я уж его и сам ни о чем не спрашиваю. Нельзя! — вздохнул Славка. — Не наше пока это дело.

— Их посадили? — угрюмо спросил я.

— Кого их?

— Ну, этих, который дядя — и Яков.

— Но ты же... ты же убил Якова, — пробормотал Славка и, повидимому, сам испугался, не сказал ли он мне лишнего.

— Разве?

— Ну да! — быстро затараторил Славка, увидев, что я даже не вздрогнул.

— Ты встал, и ты выстрелил. Но дом-то ведь был уже окружен и от калитки и от забора — их уже выследили. Тебе бы еще подождать две-три минуты, так их все равно бы захватили!

— Вон что! Значит, выходит, что и стрелял-то я напрасно!

— Ничего не выходит! — вступился Славка. — Ты-то ведь этого не знал. Нет, нет! Все выходит, что очень даже не напрасно. Да! — И Славка, смущенно пожав плечами, протянул мне завернутый в салфетку узелок, от которого еще за пять шагов пахло теплыми плюшками да ватрушками. — Это тебе бабка прислала. Я не брал. Я отказывался: «На что ему? Там и так кормят». Так разве она слушает! «Да ты бери, бери! Так с салфеткой и бери». Подумаешь, салфетка! Знамя, что ли?

Мы распрощались. Все еще чуть прихрамывая, он быстро добежал до машины и махнул мне рукой.

Славка уехал. Долго сидел я. И улыбался, перебирая в памяти весь наш разговор. Но глаза подняты от земли к широкому горизонту боялся.

Как-то я сидел на террасе и задумчиво глядел, как крупный мохнатый шмель, срываясь и неуклюже падая, упрямо пытается пролететь сквозь светлое оконное стекло. И было необъяснимо, непонятно, зачем столько бешеных усилий затрачивает он на эту совершенно бесплодную затею, в то

время когда совсем рядом вторая половина окна широко распахнута настежь.

Мимо меня, как-то чудно глянув и то-ропливей, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька.

Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька; она была взволнована.

— Ну, вот и хорошо! Ну, вот и хорошо! — шепнула она, не вытерпев. — Вот и за тобой, милый, из дому приехали.

Как из дому?.. Валентина? Вот это новость!

Я запахнул халат и вышел на крыльцо.

Резкий крик вырвался у меня из еще не окрепшего горла. Я кинулся вперед и тут же зашатался, поперхнулся, ухватился за перила. Кашель душил меня, в горле резало. Я затопал ногами, замотал головой и опустил на ступеньки.

По песчаной дорожке шел доктор, а рядом с ним — мой отец.

Мне сунули ко рту чашку воды со льдом, с валерианкой, с мятой; тогда наконец кашель стих.

— Ну, можно ли так кричать? — укорил меня доктор. — Ты бы вскрикнул шопотом, потихоньку... Горло-то у тебя еще слабое.

Вот мы и рядом. Я лежу. Лоб мой влажен. Я еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, я еще ничему не верю.

И я ему говорю:

— Это ты?

— Да, я!

Голос его. Его лицо. На висках, как паутина, легкая седина. Черная гимнастерка, галифе, сапоги. Да, это он!

И я осторожно спрашиваю:

— Но ведь тебя...

Он сразу понимает, потому что, улыбнувшись — вот так, по-своему, как никто, а только он — правым уголком рта, — отвечает:

— Да! Я был виноват! Я оступился. Но я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили...

— И теперь ты...

— И теперь я совсем свободен.

— И тебя выпустили так задолго раньше срока? — бормочу я.

— Я взрывал землю, — настойчиво повторяет отец. — Верно! Я старый командир, сапер. Я был на германской с четырнадцатого и на гражданской с восемнадцатого. Верно! Ну, так за эти два года я забурил, заложил и взорвал земли больше, чем за все те восемь. (Вот, я вижу, он опять улыбается, шире, шире. Сейчас, конечно, дотронется рукой до подбородка. Есть!) — И доканчивает: — Но и она мне, земля, кое-что вдолбила в голову крепко!

Я смотрю на его левую руку: большого пальца до половины нет. Смотрю на голову: слева, повыше виска, шрам. Раньше его не было. Я спрашиваю:

— Это что?

Он треплет меня по плечу.

— Это вода шла на нас в атаку, а мы динамитом заставили ее свернуть в сторону.

— И ты был...

— А я был бригадиром подрывной бригады.

...Вот и все! Нет, не все. Теперь мой черед. Теперь должен говорить я. Все вспоминать и объяснять, издали, с самого начала.

Но отец сразу же меня перебивает:

— Ты уж молчи! Я все сам знаю.

Счастье! Вот оно, большое человеческое счастье, когда ничего не нужно объяснять, говорить, оправдываться и когда люди уже сами все знают и все понимают.

Я с благодарностью сжимаю его руку, и мне хочется ее поцеловать. Но он тихонько ее выдергивает и крепко жмет мою.

Больше об этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

В висках постукивает. И вдруг налетает догадка, и я почти кричу:

— Папа, а кто это меня искал через газету?

— Кто? Да, конечно, сначала Платон Половцев, а потом я.

— Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре? Так это меня искали вы? Вместе?

Вот он откуда, загадочный московский телефон!

— Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю.

Я отгалкиваю его руку и поднимаю с подушки голову.

— Ты пусти, папа. Я встану. Мне хорошо!

Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом.

Широки поля. Мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело. Я толкаю отца локтем и, чтобы он меня расслышал, громко кричу:

— Папа, а все-таки «Жаворонок» — это не солдатская песня!

Он, конечно, сейчас же хмурится:

— А какая же?

— Да так! Просто человеческая.

— Ну и что же, человеческая! А солдат не человек, что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет для него ничего святей знамен Красной Армии, и поэтому все, что ни есть на свете хорошего, это у него — солдатское.

А может быть, он и прав!

Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. Все и во всем будут равны. Но Красная Армия останется еще надолго. И только когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко — человеческие.

Мы подлетаем к Москве в сумерки.

С волнением вглядываюсь я в смутные очертания этого могучего города. Уже целыми пачками вспыхивают огни.

И вдруг мне захотелось отсюда, сверху, найти тот огонек от фонаря шахты, что светил ночами в окна нашей несчастливой квартиры, где живет сейчас Валентина и откуда родилось и пошло за нами наше горе.

Я говорю об этом отцу. Он склоняется к окошку.

Но что ни мгновение, огней зажигается все больше и больше. Они вспыхивают от края до края прямыми аллеями, кривыми линиями, широкими кольцами. И вот уже они забушевали внизу, точно пламя. Их много, целые миллионы! А навстречу тьме они рвались новыми и новыми тысячами.

И отыскать среди них какой-то один маленький фонарик было невозможно... да и не нужно!

Самолет опустился на землю. Взявшись за руки, они вышли и остановились, щурясь на свету прожектора.

И те люди, что их встречали, увидели и поняли, что два человека эти — отец и сын — крепко и нерушимо дружны теперь навеки. На усталые лица их легла печать спокойного мужества. И, конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто.

И тогда те люди, что их встретили, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

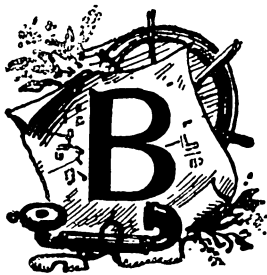
— Здравствуйте!

1938 г.





ТИМУР И ЕГО КОМАНДА



От уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте.

В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче.

Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила:

— Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. Можешь бровями не дергать и губы не облизывать. Потом запри дверь.

Книги отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграмму. Затем садись в поезд и приезжай на дачу... Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя сестра...

— И я твоя тоже.

— Да... но я старше... и, в конце концов, так велел папа.

Когда во дворе зафырчала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась. Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыльному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца.

Хорошо! Пусть Ольга старше и пока ей нужно слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови.

И, вероятно, такой же, как у него, будет характер.

Она ту же перевязала косынкой волосы. Сбросила сандалии. Взяла тряпку. Сдернула со стола скатерть, сунула под кран ведро и, схватив щетку, поволокла к порогу груды мусора.

Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус.

Пол был залит водой. В бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена. А прохожие с улицы удивленно поглядывали на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике третьего этажа, смело протирали стекла распахнутых окон.

Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле. На коленях у нее лежал рыжий котенок и теребил лапами букет васильков.

У тридцатого километра их нагнала походная красноармейская мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели.

При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам еще незрелые яблоки, кричали вдогонку «ура» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в полынь и крапиву стремительными кавалерийскими атаками.

Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей.

Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу.

Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышей этого сарая развевался маленький красный флаг.

Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина — это

была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены.

Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и пошла в сад.

На стволах обклеванных воробьями вишен блестела горячая смола. Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода.

Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину.

Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка.

Тут Ольга услышала быстрый тревожный шопот. И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лестница — та, что была приставлена к окну чердака сарая — с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, гулко брякнулась о землю.

Веревочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, котенок кувыркнулся в крапиву. Недоумеваемая, Ольга остановилась, осмотрелась, прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим забором, ни в черном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно.

Она вернулась к крыльцу.

— Это ребятишки по чужим садам озоруют, — объяснила Ольге молочница. — Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ пошел... хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную Армию служить проводила. И как пошел, вина не пил. «Прощай, — говорит, — мама». И пошел и засвистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, взгрустнулось, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь одинокий, заступиться некому... А много ли мне, старой, надо? Кирпичом по голове стукни — вот я и готова. Однако бог миловал — ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Кадка у меня во дворе стояла — дубовая, вдвоем не своротишь, — так ее шагов на двадцать к воротам подкатили. Вот и все. А что был за народ, что за люди — дело темное.

В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. Тут из кожного футляра бережно достала она белый, сверкающий перламутром аккордеон — подарок отца, который он прислал ей ко дню рождения.

Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею песенки:

Ах, если б только раз
Мне вас еще увидеть,
Ах, если б только... раз...
И два... и три...
А вы и не поймете
На быстром самолете,
Как вас ожидала я до утренней зари.
Да!
Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь...
хоть когда-нибудь.

Еще в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько раз бросала она короткие настороженные взгляды в сторону темного куста, который рос во дворе у забора.

Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, громко спросила:
— Послушайте! Зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?

Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он наклонил голову и вежливо ей ответил:

— Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать. И вот я стоял и слушал.

— Да, но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор.

— Я? Через забор?.. — обиделся человек. — Извините, я не кошка. Там, в углу забора, выломаны доски, и я с улицы проник через это отверстие.

— Понятно! — усмехнулась Ольга. — Но вот калитка. И будьте добры проникнуть через нее обратно на улицу.

Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошел через калитку, запер за собой задвижку, и это Ольге понравилось.

— Погодите! — спускаясь со ступени, остановила его она. — Вы кто? Артист?

— Нет, — ответил человек. — Я инженер-механик, но в свободное время я играю и пою в нашей заводской опере.

— Послушайте, — неожиданно просто предложила ему Ольга. — Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестренку. Уже темно, поздно, а ее все нет и нет. Я никого не боюсь, но я еще не знаю здешних улиц. Однако постойте, зачем же вы открываете калитку? Вы можете подождать меня и у забора.

Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на темную, пахнущую росой и цветами улицу.

Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий, фамилия его Гараев и он работает инженером-механиком на автомобильном заводе.

Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда, наконец прошел и третий, последний.

— С этой негодной девчонкой хлебнешь горя! — огорченно воскликнула Ольга. — Ну, если бы еще мне было лет сорок или хотя бы тридцать. А то ей тринадцать, мне — восемнадцать, и поэтому она меня совсем не слушается.

— Сорок не надо! — решительно отказался Георгий. — Восемнадцать куда как лучше! Да вы зря не беспокойтесь. Ваша сестра приедет рано утром.

Перрон опустел. Георгий вынул портсигар. Тут же к нему подошли два молодеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои папиросы.

— Молодой человек, — зажигая спичку и озаря лицо старшего, сказал Георгий. — Прежде чем тянуться ко мне с папиросой, надо поздороваться, ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Михаил Квакин. Не так ли?

Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял Ольгу за локоть и повел ее к дому.

Когда они отошли, то второй мальчишка сунул замусоленную папиросу за ухо и небрежно спросил:

— Это еще что за пропагандист высказался? Здешний?

— Здешний, — нехотя ответил Квакин. — Это Тимки Гараева дядя. Тимку бы поймавать, излупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, кажется, гнут против нас дело.

Тут оба приятеля заметили под фонарем в конце платформы седого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался по лесенке.

Это был местный житель, доктор Ф. Г. Колокольчиков. Они помчались за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек. Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, поэтому, обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошел своей дорогой.

С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту.

Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекресток двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо.

Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла за рога упрямую козу.

— Скажи, дорогая, пожалуйста, — кричала ей Женя: — как мне пройти отсюда на почту?

Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом. Женя огляделась: уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу.

— Скажите, пожалуйста, — не открывая дверь, громко, но очень вежливо спросила Женя: — как бы мне отсюда пройти на почту?

Ей не ответили. Она постояла, подумала,

открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла большая светлорыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и, тихо зарывав, легла поперек пути у двери.

— Ты, глупая! — испуганно растопырив пальцы, закричала Женя. — Я не вор! Я у вас ничего не взяла. Это вот ключ от нашей квартиры. Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала:

— Ну вот! Ты лежишь? И лежи... Очень хорошая собачка... такая с виду умная, симпатичная.

Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычаньем вскочила, и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги.

— Очень странно, — чуть не плача, заговорила она. — Ты лови разбойников и шпионов, а я... человек. Да! — она показала собаке язык. — Дура!

Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дожидаться хозяев.

Но прошел час, другой... Уже стемнело. Через открытое окно доносились далекие гудки паровозов, лай собак и удары волейбольного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь, около серой дачи, все было глухо и тихо.

Положив голову на жесткий валик дивана, Женя тихонько заплакала.

Наконец она крепко уснула.

Она проснулась только утром.

За окном шумела пышная, омытая дождем листва. Неподалеку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, было попрежнему тихо.

Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты легкой простыней. Собаки на полу не было.

Значит, сюда ночью кто-то приходил!

Женя вскочила, откинула волосы, одернула помятый сарафанчик, взяла со стола

ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать.

И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, когда будешь уходить, хлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур».

«Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы увидеть и поблагодарить этого человека».

Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных краг, лежал старый, ободраный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла клинок над своей головой и посмотрелась в зеркало.

Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом притащить в школу карточку! Можно было бы соврать, что когда-то отец брал ее с собой на фронт. В левую руку можно взять револьвер. Вот так. Это будет еще лучше. Она доотказа стянула брови, сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок.

Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна. Упало на пепельницу настольное зеркало. И, оставив на столе и ключ и телеграмму, оглушенная Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома.

Каким-то путем она очутилась на берегу речки. Теперь у нее не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказывать все: и про собаку, и про ночевку в пустой даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про выстрел. Скверно! Был бы папа, он бы понял. Ольга не поймет. Ольга рассердится или, чего доброго, заплачет. А это еще хуже. Плакать Женя и сама умела. Но при виде Ольгиных слез ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши.

Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать свою дачу.

Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уставилась на Женю.

— Оля, здравствуй! — останавливаясь на верхней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала Женя. — Оля, ты ругаться не будешь?

— Буду! — не свдя глаз с сестры ответила Ольга.

— Ну, ругайся, — покорно согласилась Женя. — Такой, знаешь ли, странный случай, такое необычайное приключение! Оля, я тебя прошу, ты бровями не дергай, ничего страшного, я просто ключ от квартиры потеряла, телеграмму папе не отправила...

Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом.

Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, низко опустив рога, помчалась в глубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене босоногая девчонка.

Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный разговор и кинулась в сад выгонять козу.

Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу за рога.

— Девочка, ты ничего не потеряла? — быстро сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками.

— Нет, — не поняла Женя.

— А это чье? Не твое? — И девчонка показала ей ключ от московской квартиры.

— Мое, — шопотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону террасы.

— Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отправлена, — все так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка.

И, сунув Жене в руку бумажный сверток, она ударила козу кулаком.

Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом, за калигкою они исчезли.

Сжав плечи, как будто бы поколотили ее, а не козу, Женя раскрыла сверток.

— Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит, кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто? Ага, вот записка! Что же это такое?

В этой записке крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от меня ничего не узнает. А ниже стояла подпись: «Тимур».

Как замороженная, тихо сунула Женя записку в карман. Потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге.

Ольга стояла все там же, возле неразожженного примуса, и на глазах ее уже выступили слезы.

— Оля! — горестно воскликнула тогда Женя. — Я пошутила. Ну за что ты на меня сердилась? Я прибрала всю квартиру, я протерла окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя люблю! Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши прыгну?

И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась к ней на шею.

— Да... но я беспокоилась, — с отчаянием заговорила Ольга. — И вечно нелепые у тебя шутки... А мне папа велел... Женя, оставь! Женька, у меня руки в керосине! Женька, налей лучше молоко и поставь кастрюлю на примус!

— Я... без шуток не могу, — бормотала Женя в то время, когда Ольга стояла возле умывальника.

Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежавшую в кармане записку и спросила:

— Оля, бог есть?

— Нет, — ответила Ольга и подставила голову под умывальник.

— А кто есть?

— Отстань! — с досадой ответила Ольга. — Никого нет!

Женя помолчала и опять спросила:

— Оля, а кто такой Тимур?

— Это не бог, это один царь такой, — намыливая себе лицо и руки, неохотно от-

ветила Ольга, — злой, хромой, из средней истории.

— А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?

— Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе Тимур дался?

— А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека.

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо. — Что ты все там бормочешь, выдумываешь, не даешь спокойно умыться. Вот погоди, придет папа, и он в твоей любви разберется.

— Что ж папа! — скорбно, с пафосом воскликнула Женя. — Если он и придет, то так не надолго. И он, конечно, не будет обижать одинокого и беззащитного человека.

— Это ты-то одинокая и беззащитная? — недоверчиво спросила Ольга. — Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только ты уродилась!

Тогда Женя опустила голову и, разглядывая свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумывая ответила:

— В папу. Только. В него. Одного. И больше ни в кого на свете.

Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своем саду и чинил стенные часы.

Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля.

Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле вот уже целый час, как он держал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится.

Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на свое место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца-края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и сведущего. И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал Коле знаки столь странные и загадочные, что даже пятилетняя

Колина сестра Татьяна, которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно завопила и дернула deduшку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла.

Наконец пружина легла на свое место.

— Человек должен трудиться, — поднимая влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно произнес седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков. — У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Поддай отвертку и возьми клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же душевного благополучия как раз не хватает. Например, вчера ты съел четыре порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился.

— Она врет, бессовестная! — бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный Коля. — Три раза я давал ей откусить по два раза. Она же пошла на меня жаловаться да еще по дороге стянула с маминого стола четыре копейки.

— А ты ночью по веревке из окна лазил, — не поворачивая головы, хладнокровно лягнула Татьяна. — У тебя под подушкой есть фонарь. А в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камень. Кинет да посвистит, кинет да еще свистнет.

Дух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой deduшка на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал. Очень кстати в сад тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться:

— А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую кадку со двора не своротили. А сегодня люди говорят, что чуть свет у меня на крыше двух человек видели: сидят на трубе, проклятые, и ногами болтают.

— То есть как на трубе? С какой же это, позвольте, целью? — начал было спрашивать удивленный джентльмен.

Но тут со стороны курятника раздался лягз и звон. Отвертка в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина,

вылетев из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьяна, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чем дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором.

Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого, так же как из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гирей по отрезку стальной рельсы. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил:

— Слушай... Я не пойму. Это что?.. Тревога?

— Да нет! Это, кажется, по форме номер один позывной сигнал общий.

Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. Здесь с ними столкнулся широкоплечий крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бесшумно, проворно, одним только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь:

— Это тревога?

— Да нет! Это форма номер один позывной общий.

— Какой позывной? Это не «три — стоп», «три — стоп». Это какой-то болван кладет колесом десять ударов кряду.

— А вот посмотрим!

— Ага, проверим!

— Вперед! Молнией!

А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темно-волосый мальчуган лет тринадцати. На нем были легкие черные брюки и темносиняя безрукавка с вышитой красной звездой.

К нему подошел седой лохматый старик. Холщевая рубаха его была бедна. Широкие штаны — в заплатках. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый, ободраный револьвер.

— «Девочка, когда будешь уходить, хлопни крепче дверь, — насмешливо прочел

старик. — Итак, может быть ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?

— Одна знакомая девочка, — неохотно ответил мальчуган. — Ее без меня задержала собака.

— Вот и врешь! — рассердился старик. — Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее знаю.

— Не знал. И ты оставил ее утром одну... в квартире? Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший. Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Ну, хорошо, что револьвер был заряжен холостыми. А если бы в нем были патроны боевые?

— Но, дядя... боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли... просто деревянные.

Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал:

— Ты смотри! Я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные, и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери.

Приступившая деревяшкой, старик пошел вверх по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду.

— Ага, Рита! Мы с тобой попались. Ничего, он сегодня добрый. Он сейчас петь будет.

И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание. Потом этакое тра-ля-ля!.. И наконец низкий баритон запел:

...Я третью ночь не сплю. Мне чудится все
то же
Движенья тайные в угрюмой тишине...

— Стой, сумасшедшая собака! — крикнул Тимур. — Что ты мне рвешь штаны и куда ты меня тянешь?

Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду.

В углу веранды возле небольшого телефона дергался, прыгал и колотился о стену

подвязанный к веревке бронзовый колокольчик.

Мальчуган зажал его в руке, замотал бечевку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка ослабла, должно быть где-то лопнула. Тогда, удивленный и рассерженный, он схватил трубку телефона.

Часом раньше, чем все это случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики.

Вошла Женя и достала пузырек с иодом. — Женя, — недовольно спросила Ольга, — откуда у тебя на плече царапина?

— А я шла, — беспечно ответила Женя, — а там стояло на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось.

— Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого? — передразнила ее Ольга.

— Неправда! У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий и острый. Вот посмотри, срежешься!.. Олечка, не ходи на инженера, ходи на доктора, — заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало. — Ну погляди: какой из тебя инженер? Инженер должен быть — вот... вот... и вот... (Она сделала три энергичные гримасы.) А у тебя — вот... вот... и вот... — Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась.

— Глупая! — обнимая ее, целуя и логонько отталкивая, сказала Ольга. — Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбежала к колодцу за водой.

Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила:

— Знаешь, Оля! Подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Так с виду ничего себе — блондин, в белом костюме, и спрашивает: «Девочка, тебя как зовут?» Я говорю: «Женя...»

— Женя, не мешай и инструмент не трогай, — не оборачиваясь и не отрываясь от книги, сказала Ольга.

— «А твою сестру, — доставая аккордеон, продолжала Женя, — кажется, зовут Ольгой?»

— Женька, не мешай и инструмент не трогай! — невольно прислушиваясь, повторила Ольга.

— «Очень, — говорит он, — твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории?» (Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо.) «Нет, — говорю я ему, — она уже учится по железобетонной специальности». А он тогда говорит: «А-а!» (Тут Женя нажала один клавиш.) А я ему говорю: «Бэ-э!» (Тут Женя нажала другой клавиш.)

— Негодная девчонка! Положи инструмент на место! — вскакивая, крикнула Ольга. — Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками?

— Ну и положу, — обиделась Женя. — Я не вступала. Это вступил он. Хотела я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. Вот погоди, придет папа, он тебе покажет!

— Мне? Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься.

— Нет, тебе! — хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя. — Я ему расскажу, как ты меня по сто раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь! Я тебе не грузовик, не конь и не трактор.

Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад.

Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста.

Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая.

Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие веревочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака.

Очень странно! Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь,

два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик.

Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон.

Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила: пусть голуби будут чайками, этот старый сарай с его веревками, фонарями и флагами — большим кораблем. Она же сама будет капитаном.

Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели. Ветер зашумел и погнал зеленые волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается.

— Лево руля на борт! — громкоскомандовала Женя и крепче налегла на тяжелое колесо.

Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье. Но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой.

С силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды.

Но вот острые прямые лучи прожектора поблекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучу. Это разгромленная вражья эскадра шла ко дну.

Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала; она думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку.

Голос звонкий и резкий спрашивал:

— Алло! Алло! Отвечайте. Какой осел обрывает провода и подает сигналы глупые и непонятные?

— Это не осел, — пробормотала озадаченная Женя. — Это я — Женя!

— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти испуганно прокричал тот же голос. — Оставь штурвальное колесо и беги прочь.

Сейчас примчатся... люди, и они тебя поколотят.

Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова: это был Гейка, за ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, а вслед лезли еще и еще мальчишки.

— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя. — Уходител.. Это наш сад. Я вас сюда не звала.

Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула.

В то же мгновенье в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темно-волосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда.

— Тише, Женя! — громко сказал он. — Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я — Тимур.

— Ты Тимур?! — широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя. — Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?

Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил:

— А вот оставайся с нами! Садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно.

На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята.

У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем.

Неподалеку от Тимура сидела Женя и настроенно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому неизвестного штаба. Говорил Тимур:

— Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею (он показал на Женю) провода.

— Он проспит, — хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку

Гейка. — Он просыпается только к завтраку и к обеду.

— Клевета! — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. — Я встаю вместе с первым лучом солнца.

— Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно, — упрямо продолжал Гейка.

Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакали.

По дороге в клубах пыли мчался конноартиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки.

Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. Дивизион умчался.

— Это они на вокзал, на погрузку поехали, — важно объяснил Коля Колокольчиков. — Я по их обмундированию вижу: когда они скачут на учение, когда на парад, а когда и еще куда.

— Видишь — и молчи! — остановил его Гейка. — Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную Армию!

— Нельзя, — вмешался Тимур. — Это затея совсем пустая.

— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля. — А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?

— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.

— Как по шее? — вспыхив и еще больше покраснев, вскричал Коля Колокольчиков. — Это... своих-то?

— Да вот!.. — И Тимур вздохнул. — Это своих-то! А теперь, ребята, давайте к делу.

Все расселись по местам.

— В саду дома номер тридцать четыре по Кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню, — обиженно сообщил Коля Колокольчиков. — Они сломали две ветки и помяли клумбу.

— Чей дом? — И Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь. — Дом красноармейца Крюкова. Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?

— Я, — раздался сконфуженный голос.
 — Кто это мог сделать?
 — Это работал Мишка Квакин и его помощник под названием «Фигура». Ябло- ня мичуринка, сорт «золотой налив», и, ко- нечно, взята на выбор.
 — Опять и опять Квакин! — Тимур задумался. — Гейка! У тебя с ним разговор был?
 — Был.
 — Ну и что же?
 — Дал ему два раза по шее.
 — А он?
 — Ну и он сунул мне раза два тоже.
 — Эк у тебя все — «дал» да «сунул»... А толку что-то нет. Ладно! Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше.
 — В доме номер двадцать пять у стару- хи-молочницы взяли в кавалерию сына, — сообщил из угла кто-то.
 — Вот хватил! — И Тимур укоризненно качнул головой. — Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков, ты?
 — Я.
 — Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Взятся сделать — сделай хорошо. Люди придут — смеяться будут. Давайте дальше.
 Вскочил Сима Симаков и зачастил уве- ренно, без запинки:
 — В доме номер пятьдесят четыре по Пушкиревой улице коза пропала. Я иду, ви- жу — старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по закону!» Она говорит: «Коза пропала. Ах, будь ты проклята!» — «Да куда же она пропала?» — «А вон там, в овраге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!»
 — Погоди! Чей дом?
 — Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка — его дочь, зовут Нюрка. Коло- тила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза се- рая, со спины черная. Зовут Манька.
 — Козу разыскать! — приказал Тимур. — Пойдет команда в четыре человека. Ты... ты, ты и ты. Ну, всё, ребята?
 — В доме номер двадцать два девчонка плачет, — как бы нехотя сообщил Гейка.
 — Чего же она плачет?
 — Спрашивал — не говорит.

— А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил... обидел?
 — Спрашивал — не говорит,
 — А велика ли девчонка?
 — Четыре года.
 — Вот еще беда! Кабы человек... а то — четыре года! Пстой, а чей это дом?
 — Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно убили на границе.
 — «Спрашивал — не говорит», — огор- ченно передразнил Гейку Тимур. Он нахму- рился, подумал. — Ладно... Это я сам. Вы к этому делу не касайтесь.
 — На горизонте показался Мишка Ква- кин! — громко доложил наблюдатель. — Идет по той стороне улицы. Жрет яблоко. Тимур! Выслать команду: пусть дадут ему тычка или взащеину!
 — Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро.
 Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова:
 — У калитки, в поле моего зрения, не- известная девица, красивого вида, стоит с кувшином и покупает молоко. Это, навер- но, хозяйка дачи.
 — Это твоя сестра? — дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно пре- достерег: — Ты смотри не вздумай ей отсю- да крикнуть.
 — Сиди! — выдергивая рукав, насмешли- во ответила ему Женя. — Тоже ты мне начальник...
 — Не лезь к ней, — поддразнил Гейка Колю, — а то она тебя поколотит.
 — Меня? — Коля обиделся. — У нее что? Когти? А у меня — мускулатура. Вот... руч- ная, ножная!
 — Она поколотит тебя вместе с ручною и ножною. Ребята, осторожно! Тимур под- ходит к Квакину.
 Легко помахивая сорванной веткой, Ти- мур шел Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.
 — Здорово, комиссар! — склонив голову набок, негромко сказал он. — Куда так то- рописься?

— Здорово, атаман! — в тон ему ответил Тимур. — К тебе навстречу.

— Рад гостю, да угощать нечем. Разве вот это? — Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко.

— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.

— Они самые, — объяснил Квакин. — Сорт «золотой налив». Да вот беда: нет еще настоящей спелости.

— Кислятина! — бросая яблоко, сказал Тимур. — Послушай: ты на заборе дома номер тридцать четыре вот такой знак видел? — И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке.

— Ну, видел, — насторожился Квакин. — Я, брат, и днем и ночью все вижу.

— Так вот: если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили.

— Ой, комиссар! Какой ты горячий! — растягивая слова, сказал Квакин. — Хватит, поговорили!

— Ой, атаман, какой ты упрямый, — не повышая голоса, ответил Тимур. — А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний.

Никто со стороны и не подумал бы, что это разговоривают враги, а не два теплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чем-то с хулиганом Квакиным.

— Не знаю, — с сердцем ответила молочница. — Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то все возле вашего дома околачивается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестренку не отколошматили.

Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек, прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа как не показывала глаз домой.

Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум.

Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене.

— Ну что? — спросил он. — Теперь тебе все понятно?

— Все, — ответила Женя, — только еще не очень. Ты объясни мне проще.

— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры все равно сейчас нет дома.

Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу.

Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом.

Они остановились у домика, где жила старуха-молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч которой действительно изгибался, как пивка.

Он уверенно обровнял лучи, заострил и выпрямил.

— Скажи, зачем? — спросила его Женя. — Ты объясни мне проще: что все это значит?

Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер покрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал:

— А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную Армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?

— Да! — с волнением и гордостью ответила Женя. — Он командир.

— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.

Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь на заборе была начерчена звезда. Но прямые светлые лучи ее были обведены широкой черной каймой.

— Вот! — сказал Тимур. — И из этого дома человек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее.

Он сказал все это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был теплый и даже душный.

Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила:

— А разве Гейка добрый?

— Да, — ответил Тимур. — Он сын моряка, матроса. Он часто бранит малыша и хвастунишку Колокольчикова, но сам везде и всегда за него заступается.

Окрик резкий и даже гневный заставил их обернуться. Неподалеку стояла Ольга.

Женя дотронулась до руки Тимура: она хотела подвести его и познакомить с ним Ольгу.

Но новый окрик, строгий и холодный, заставил ее от этого отказаться.

Виновато кивнув Тимуром головой и недоуменно пожав плечами, она пошла к Ольге.

— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голосе сказала Ольга. — Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой. Тебе понятно?

— Но, Оля, — пробормотала Женя, — что с тобою?

— Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке, — твердо повторила Ольга. — Тебе тринадцать, мне восемнадцать. Я твоя сестра... Я старше. И когда папа уезжал, он мне велел...

— Но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь! — с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправдаться. Но она не могла. Она была не вправе. И, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова.

Сразу же она легла в постель. Но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слышала, как ночью постучали в окно и подали от отца телеграмму.

Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. Старуха-молочница открыла калитку и прогнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов и они бросились к колодцу.

— Качай!

— Давай!

— Бери!

— Хватай!

Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую бочку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу.

К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил:

— Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. Скорей, торопитесь! Старуха пойдет сейчас обратно.

Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур стал под деревом и свистнул. Не дождавись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завернутые в одеяло ноги.

Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал:

— Коля, вставай! Колька!

Спящий не пошевелился. Тогда Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя.

Легкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался хрипловатый изумленный вопль. Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну.

Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева.

А седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил.

Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Коло, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика.

Тут Тимур увидел, что старуха-молочница с коромыслом и ведрами выходит из калитки за водой.

Он юркнул за акацию и стал наблюдать. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краев бочки прямо ей под ноги.

Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли замок у двери. И, наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседке.

Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить. Уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода все еще исправлены не были.

Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходившее в сад окно.

У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала.

Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты.

Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ею же самой оборванные провода.

Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала:

— Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит.

— Ну вот, — огорченно ответил Тимур, — и мой дядя тебя тоже!

Он хотел уйти, но она его остановила.

— Пстой, причешишь. Ты сегодня очень лохматый.

Она вынула гребенку, протянула ее Тимуру, и тотчас же позади, из окна, раздался негодующий окрик Ольги:

— Женя! Что ты делаешь?..

Сестры стояли на террасе.

— Я тебе знакомых не выбираю, — с отчаянием защищалась Женя. — Каких? Очень простых. В белых костюмах. «Ах,

как ваша сестра прекрасно играет!» Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот смотри! Я уже обо всем пишу папе.

— Евгения! Этот мальчишка — хулиган, а ты глупа, — холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной, Ольга. — Хочешь, пиши папе, пожалуйста, но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твердое?

— Да... мучительница! — со слезами ответила Женя. — Это-то я знаю.

— А теперь возьми и читай. — Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла.

В телеграмме было написано:

«На-днях проездом несколько часов буду Москве число часы телеграфирую дополнительно тчк Папа».

Женя вытерла слезы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала:

— Папа, приезжай скорей! Папа! Мне, твоей Женьке, очень трудно.

Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трехлетний братишка Нюрки — человек, как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевернутому вверх дном корыту.

Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с другими вихрем ворвался во двор.

Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из

крыла галки, и вся четверка рванулась укладывать дрова в поленницу.

Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора, возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щелку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор.

Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора.

Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони.

Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться.

Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стегнула Симу Симакова по рукам крапивой.

Размахивая обожженными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбежала закончившая свою работу четверка.

Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты.

За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила:

— Это кто же тут без меня работает?

Малыш, укладывая бересту в поленницу, важно ответил:

— А ты, бабушка, не видишь — это я работаю.

Во двор вошла молочница, и обе старухи оживленно начали обсуждать эти странные происшествия с водой и с дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша. Однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и еще

пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и с четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять ускакали.

В калитку вошла Нюрка.

— Нюрка, — спросила ее бабка, — ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал?

— Я козу искала, — уныло ответила Нюрка. — Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала.

— Украли! — горестно пожаловалась бабка молочнице. — А какая была коза! Ну, голубь, а не коза. Голубь!

— Голубь! — отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка. — Как почнет шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает.

— Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бесптолковая! — закричала бабка. — Оно, конечно, коза была с характером. И я ее, козушку, продать хотела. А теперь вот моей голубушки и нету.

Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу. Подхватив тяжелый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась.

И тут все увидели, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено:

Я коза — коза,
Всех людей гроза.
Кто Нюрку будет бить,
Тому худо будет жить.

А на углу за забором хохотали довольные ребяташки.

Воткнув в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел:

Мы не шайка и не банда,
Не ватага удалцов,
Мы веселая команда
Пионеров-молодцов.
У-ух, ты!

И, как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умчались прочь.

Работы на сегодня было еще немало, но, главное, сейчас надо было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум.

Как составляются ультиматумы, этого еще никто не знал, и Тимур спросил об этом у дяди.

Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер, но в конце для вежливости полагается приписать:

«Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к Вам почтении».

Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы.

Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели; во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще, на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами.

За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем — от родных и от друзей, знакомых и незнакомых.

Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко и в темном лесу он не одинок.

Держа куклу сверху ногами, так, что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная.

Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на

свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени.

Девочка посмотрела на Женю и спросила:

— Это ты со мной играешь?

— Да, с тобой. Хочешь, я к тебе прыгну?

— Здесь крапива, — подумав, предупредила девочка. — И здесь я вчера обожгла себе руку.

— Ничего, — прыгивая с забора, сказала Женя, — я не боюсь. Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива? Вот эта? Ну, смотри: я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть: ты держи зайца, а я возьму куклу.

Ольга видела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и прыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дому, подошла к воротам и открыла калитку.

Женя и девчурка стояли уже у окна, возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке.

По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна.

— Вы на нее не сердитесь, — негромко сказала Ольге женщина. — Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе... — Женщина помолчала. — Я плачу, а она, — женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила: — а она и не знает, что ее отца недавно убили на границе.

Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно.

— А я одна, — продолжала женщина. — Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко, братья в армии, сестер нет.

Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила:

— Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?

— Нет, — быстро ответила Женя. — Это

не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших.

— Кто? — И Ольга непонимающе взглянула на Женю.

— Я не знаю, — испугавшись, заговорила Женя, — это не я. Я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди.

За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира.

— Это ко мне, — сказала женщина. — Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий...

Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам, и, очевидно расслышав ее последние слова, старший — капитан — сказал:

— Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете.

— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина. — Вами?

— Нет, — ответил летчик-капитан, — нашими и вашими товарищами.

Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.

— Мама, — попросила она, — сделай мне качели, и я буду летать туда-сюда, туда-сюда. Далеко-далеко, как папа.

— Ой, не надо! — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать. — Нет, не улетай так далеко... как твой папа.

На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правой картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты.

Денег у игроков не было, и они резались «на тычка», «на щелчка» и на «оживи покойника». Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И

этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратий своих, которые, жалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым голеням, икрам и пяткам.

Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы.

Это снаружи у стены стояли посланцы от команды Тимура.

Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а боконогий суровый Гейка держал склеенный из оберточной бумаги пакет.

— Это что же тут за цирк или комедия? — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой. — Мишка! — оборачиваясь, заорал он. — Брось карты, тут к тебе какая-то церемония пришла!

— Я тут, — залезая на ограду, отозвался Квакин. — Эге, Гейка, здорово! А это еще что с тобой за хлюпик?

— Возьми пакет, — протягивая ультиматум, сказал Гейка. — Сроку на размышление вам двадцать четыре часа дадено. За ответом приду завтра в такое же время.

Обиженный тем, что его называли хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек оба парламентаря с достоинством удалились.

— Это что же такое? — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин. — Жили-жили, ни о чем не тужили... Вдруг... труба, гроза! Я, братцы, право, ничего не понимаю!..

Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать:

— «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину...» Это мне, — громко объяснил Квакин. — С полным титулом, по всей форме. «...и его, — продолжал он читать, — гнуснопрославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой...» Это тебе, — с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. — Эх они завернули: «гнуснопрославленный!» Это уж что-то очень по-благодарному, могли

бы дурака назвать и попроще. «...а также ко всем членам этой позорной компании ультиматум». Это что такое, я не знаю, — насмешливо объявил Квакин. — Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.

— Это такое международное слово. Бить будут, — объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка.

— А, так бы и писали! — сказал Квакин. — Читаю дальше. Пункт первый:

«Ввиду того что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак — красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймой, вам, трусливым негодьям, мы приказываем...»

Ты посмотри, как, собаки, ругаются! — смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. — А какой дальше слог, какие запятыя! Да!

«...приказываем: не позже чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки.

А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».

То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин. — Мы их, кажется, пока никуда не заперали.

— Это такое международное слово. Бить будут, — опять объяснил бритоголовый Алешка.

— А, тогда так бы и говорили! — с досадой сказал Квакин. — Жаль, что ушел Гейка; видно, он давно не плакал.

— Он не заплачет, — сказал бритоголовый, — у него брат — матрос.

— Ну?

— У него и отец был матросом. Он не заплачет.

— А тебе-то что?

— А то, что у меня дядя матрос тоже.

— Вот дурак — заладил! — рассердился Квакин. — То отец, то брат, то дядя. А что к чему — неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, Фигура?

— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить, — коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом Фигура.

На том и порешили.

Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у Фигуры:

— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?

— Ну, я.

— Так вот... — с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену. — Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду...

— Хорошо, — согласился Фигура. — А что ты мне пальцем на чертей тычешь?

— А то, — скривив губы, ответил ему Квакин, — что ты мне хоть и друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а скорей вот на этого толстого и поганого чорта.

Утром молочница не застала дома троих постоянных покупателей. На базар было итти уже поздно, и, взвалив бидон на плечи, она отправилась по квартирам.

Она ходила долго бестолку и наконец остановилась возле дачи, где жил Тимур.

За забором она услышала густой приятный голос: кто-то негромко пел. Значит, хозяева были дома и здесь можно было ожидать удачи.

Пройдя через калитку, старуха нараспев закричала:

— Молока не надо ли, молока?

— Две кружки! — раздался в ответ бабистый голос.

Скинув с плеча бидон, молочница обернулась и увидела выходящего из кустов косматого, одетого в лохмотья хромоноого старика, который держал в руке кривую обнаженную саблю.

— Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли? — оробев и попятившись, предложила молочница. — Экий ты, отец мой, с виду серьезный! Ты что ж это, саблей траву кошишь?

— Две кружки. Посуда на столе, — ко-

ротко ответил старик и воткнул саблю клинком в землю.

— Ты бы, батюшка, купил косу, — то-ропливо наливая молоко в кувшин и опасно поглядывая на старика, говорила молочница. — А саблю лучше брось. Этакой саблей простого человека и досмерти напугать можно.

— Платить сколько? — засовывая руку в карман широченных штанов, спросил старик.

— Как у людей, — ответила ему молочница. — По рубль сорок — всего два во-семьдесят. Лишнего мне не надо.

Старик пошарил и достал из кармана большой ободраный револьвер.

— Я, батюшка, потом... — подхватывая бидон и поспешно удаляясь, заговорила молочница. — Ты, дорогой мой, не трудись! — прибавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она. — Мне деньги не к спеху.

Она выскочила за калитку, захлопнула ее и сердито с улицы закричала:

— В больнице тебя, старого чорта, держать надо, а не пускать по воле. Да, да! На замке, в больнице.

Старик пожал плечами, сунул обратно в карман вынутую оттуда трешницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад вошел пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков.

С лицом сосредоточенным и серьезным, опираясь на палку, прямою, несколько деревянную походкой он шагал по песчаной аллее.

Увидав чудного старика, джентльмен кашлянул, поправил очки и спросил:

— Не скажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой дачи?

— На этой даче живу я, — ответил старик.

— В таком случае, — прикладывая руку к соломенной шляпе, продолжал джентльмен, — вы мне скажете: не приходится ли вам некий мальчик, Тимур Гараев, родственником?

— Да, приходится, — ответил старик. — Этот некий мальчик — мой племянник.

— Мне очень прискормно, — откашливаясь и недоуменно косясь на торчавшую в

земле саблю, начал джентльмен, — но ваш племянник сделал вчера утром попытку ограбить наш дом.

— Что?! — изумился старик. — Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?

— Да, представьте! — заглядывая старику за спину и начиная волноваться, продолжал джентльмен. — Он сделал попытку во время моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло.

— Кто? Тимур вас ограбил? Похитил байковое одеяло? — растерялся старик. И спрятанная у него за спиной рука с револьвером невольно опустилась.

Волнение овладело почтенным джентльменом, и, с достоинством пятясь к выходу, он заговорил:

— Я, конечно, не утверждал бы, но факты... факты! Милостивый государь! Я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, не знаю, чему приписать... Но ваш вид, ваше странное поведение...

— Послушайте, — шагая к джентльмену, произнес старик, — но все это, очевидно, недоразумение.

— Милостивый государь! — не спуская глаз с револьвера и не переставая пятиться, вскричал джентльмен. — Наш разговор принимает нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направление.

Он выскочил за калитку и быстро пошел прочь, повторяя:

— Нет, нет, нежелательное и недостойное направление...

Старик подошел к калитке как раз в ту минуту, когда шедшая купаться Ольга поровнялась с взволнованным джентльменом.

Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она остановилась. Но джентльмен проворно, как козел, перепрыгнул через канаву, схватил Ольгу за руку, и оба они мгновенно скрылись за углом.

Тогда старик расхохотался. Возбужденный и обрадованный, бойко притопывая своей деревяшкой, он пропел:

А вы и не поймете
На быстром самолете,
Как вас ожидала я до утренней зари.
Да!

Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную ногу и, на ходу сдирая парик и бороду, помчался к дому.

Через десять минут молодой и веселый инженер Георгий Гараев сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, чтобы она караулила дом, нажал стартер и, вскочив в седло, помчался к реке разыскивать напуганную им Ольгу.

В одиннадцать часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум.

— Ты иди ровно, — ворчал Гейка на Колю. — Ты шагай легко, твердо. А ты ходишь, как цыпленок за червячком скачет. И все у тебя, брат, хорошо — и штаны, и рубашка, и вся форма, а виду у тебя все равно нет. Ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Ну, вот скажи: зачем ты идешь и языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, и пусть он там и лежит на своем месте... А ты зачем появился? — спросил Гейка, увидав выскочившего наперерез Симу Симакова.

— Меня Тимур послал для связи, — затараторил Симаков. — Так надо, и ты ничего не понимаешь. Вам свое, а у меня свое дело. Коля, дай-ка я дудану в трубу. Экий ты сегодня важный! Гейка, дурак! Идешь по делу — надел бы сапоги, ботинки. Разве послы босиком ходят? Ну, ладно, вы туда, а я сюда. Гоп-гоп, до свиданья!

— Этакий балабон! — покачал головой Гейка. — Скажет сто слов, а можно бы чепухе. Труби, Николай, вот и ограда.

— Подайвай наверх Михаила Квакина! — приказал Гейка высунувшемуся сверху мальчишке.

— А заходите справа! — закричал из-за ограды Квакин. — Там для вас нарочно ворота открыты.

— Не ходи, — дергая за руку Гейку, прошептал Коля. — Они нас поймают и поколотят.

— Это все на двоих-то? — надменно спросил Гейка. — Труби, Николай, громче. Нашей команде везде дорога.

Они прошли через ржавую железную калитку и очутились перед группой ребят,

впереди которых стояли Фигура и Квакин.

— Ответ на письмо давайте, — твердо сказал Гейка.

Квакин улыбался, Фигура хмурился.

— Давай поговорим, — предложил Квакин. — Ну, сядь посиди, куда торопишься?

— Ответ на письмо давайте, — холодно повторил Гейка. — А разговаривать с вами будем мы после.

И было странно, непонятно: играет ли он, шутит ли, этот прямой коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле которого стоит маленький, уже побледневший трубоч? Или, прищурив строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя за собою и право и силу?

— Н-а, возьми, — протягивая бумагу, сказал Квакин.

Гейка развернул лист. Там был грубо нарисован кукиш, под которым стояло ругательство.

Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разорвал бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки.

Они не сопротивлялись.

— За такие ультиматумы надо бы вам набить шею, — подходу к Гейке, сказал Квакин. — Но... мы люди добрые. До ночи мы запрем вас вот сюда, — он показал на часовню, — а ночью мы обчистим сад под номером двадцать четыре наголо.

— Этого не будет, — ровно ответил Гейка.

— Нет, будет! — крикнул Фигура и ударил Гейку по щеке.

— Бей хоть сто раз, — зажмурившись и вновь открывая глаза, сказал Гейка. — Коля, — подбадривающе буркнул он, — ты не робей. Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер один обший.

Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили его деревянным клином.

— Ну, что? — подходу к двери и прикладывая ко рту ладонь, закричал Фигу-

ра. — Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:

— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет.

Фигура плюнул.

— У него брат — матрос, — хмуро объяснил бритоголовый Алешка. — Они с моим дядей на одном корабле служат.

— Ну, — угрожающе спросил Фигура, — а ты кто — капитан, что ли?

— У него руки схвачены, а ты его бьешь. Это хорошо ли?

— На! и тебе тоже! — обозлился Фигура и ударил Алешку наотмашь.

Тут оба мальчишки покатались на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали...

И никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова.

Винтом соскользнул он на землю. И напрямик, через чужие огороды, помчался к Тимуру, к своим на речку.

Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке пляжа и читала.

Женя купалась. Неожиданно кто-то обнял ее за плечи.

Она обернулась.

— Здравствуй, — сказала ей высокая темноглазая девочка. — Я приплыла от Тимура. Меня зовут Таней, и я тоже из его команды. Он жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, очень злая?

— Пусть он не жалеет, — покраснев, пробормотала Женя. — Ольга совсем не злая, у нее такой характер. — И, всплеснув руками, Женя с отчаянием добавила: — Ну, сестра! сестра! и сестра! Вот погодите, приедет папа...

Они вышли из воды и забрались на крутой берег, левой песчаного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку.

— Девочка, ты меня узнала? — как всегда быстро и сквозь зубы, спросила она у Жени. — Да! я тебя узнала сразу. А вон Тимур! — сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противоположный бе-

рег. — Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю, — обернулась она к Тане. — Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку?.. Гей! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу. — Девочки, давайте в воду прыгнем!

Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная, эта маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка.

Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода.

— Ну, прыгнули?

— Прыгнули!

И они разом бросились в воду.

Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый.

Это, как он был — в сандалиях, трусах и майке — Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь, длинными сажонками он поплыл на другой берег.

— Беда, Женя! Беда! — прокричал он обернувшись. — Гейка и Коля попали в за-суду!

Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались.

— Я ехал, — объяснил ей Георгий, — смотрю, вы идете. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге.

— Неправда! — не поверила Ольга. — Вы стояли и ожидали меня нарочно.

— Ну, верно, — согласился Георгий. — Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А знаете, ведь хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине.

Ольга отрицательно качнула головой.

Он положил ей букет на книгу.

Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и... бросила его на дорогу.

Этого Георгий не ожидал.

— Послушайте!—огорченно сказал он.— Вы хорошо играете, поете, глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди... даже самой железобетонной специальности.

— Цветов не надо! — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга. — Я... и так, без цветов, с вами поеду.

Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги.

Дорога раздвигалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле.

— Вы не туда повернули, — крикнула Ольга, — нам надо направо!

— Здесь дорога лучше, — отвечал Георгий, — здесь дорога веселая.

Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рошу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их, собака. Но нет! Куда там! Далеко.

Как тяжелый снаряд, прогудела встречная грузовая машина. И когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидели дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города.

— Это наш завод! — прокричал Ольге Георгий. — Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику.

Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась.

— Прямо! — предостерегающе кричала Ольга. — Давайте только прямо домой.

Вдруг мотор заглох, и они остановились.

— Подождите, — соскакивая, сказал Георгий, — маленькая авария.

Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать.

— Вы кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, спросила Ольга. — Почему у вас грим такой суровый и страшный?

— Я играю старика-инвалида, — не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий. — Он бывший партизан, и он немного... не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и

обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые, — смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные... Катюши!

Георгий нахмурился и тихо запел:

За тучами опять померкнула луна.

Я третью ночь не сплю в глухом

дозоре.

Ползут в тиши враги. Не спи, моя

страна!

Я стар. Я слаб. О, горе мне...

о, горе!

Тут Георгий переменял голос и, подражая хору, пропел:

Старик, спокойно... спокойно!

— Что значит «спокойно»? — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга.

— А это значит, — продолжая стучать ключом по втулке, объяснял Георгий, — это значит, что: спи спокойно, старый дурак! Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте... Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?

— Говорила, я ее выругала.

— Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «а», она мне «бэ»!

— С этой забавной девочкой хлебнешь горя, — снова повторила Ольга. — К ней привязался какой-то мальчишка, зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отвратить.

— Тимур!.. Гм... — Георгий смущенно кашлянул. — Разве он из компании? Он, кажется, не того... не очень... Ну ладно! Вы не беспокойтесь... Я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь — инженер! Я и сам инженер, а что толку?

— Разве вы плохой инженер?

— Зачем плохой? — подвигаясь к Ольге и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий. — Совсем не плохой, но вы очень хорошо играете и поете.

— Послушайте, Георгий, — смущенно отодвигаясь, сказала Ольга. — Я не знаю, какой вы инженер. но... чините вы машину как-то очень странно.

И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу.

— Ничего не странно. Все делается так, как надо. — Он вскочил и стукнул ключом по раме. — Ну, вот и готово! Оля, ваш отец командир?

— Да.

— Это хорошо. Я и сам командир тоже.

— Кто вас разберет! — пожала плечами Ольга. — То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?

— Нет, — усмехнулся Георгий. — Летчики глушат бомбами по головам сверху, а мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце.

И опять перед ними замелькали рожь, поля, роши, речка. Наконец вот и дача.

На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала:

— Ох, какая ты сегодня счастливая!

Условившись встретиться неподалеку от сада дома № 24, мальчишки из-за ограды разбежались.

Задержался только один Фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали и на вопросы и окрики Фигуры не отзывались.

Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было.

И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном.

— Эй, кто там? — бросаясь к двери, рассердился Фигура. — Эй, не балуй, а то дам по шее!

Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса. Заскрипели петли ставен. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками.

Затем внутри часовни раздался смех. И от этого смеха Фигуре стало плохо.

Наконец наружная дверь распахнулась. Перед Фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин.

— Открой второй засов! — не двигаясь, приказал Тимур. — Открой сам, или будет хуже!

Нехотя Фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка.

— Лезь на их место! — приказал Тимур. — Лезь, гадина, быстро! — сжимая кулаки, крикнул он. — Мне с тобой разговаривать некогда!

Захлопнули за Фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок.

Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал:

«Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером».

Затем все скрылись. Через пять минут за оградой зашел Квакин.

Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертый Фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери.

От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал:

— Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты еще до вечера настучишься.

Дальше события развертывались так.

Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбежали на рыночную площадь.

Там, где в беспорядке выстроились ларьки — квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое, — у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники.

В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго.

В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы.

Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много — двадцать-тридцать. А через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали всё новые и новые люди.

Таню и Нюрку отослали обратно. Женя

сидела дома. Она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу.

На чердаке у колеса стоял Тимур.

— Повтори сигнал по шестому проводу, — озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. — Там что-то не отвечают. Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина.

Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома № 24.

— Пора, — сказал Тимур. — Всем приготовиться!

Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем под неровным светом бегущей меж облаков луны медленно поднялся и заколыхался флаг команды — сигнал к бою.

Вдоль забора дома № 24 продвигалась пепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал:

— Все на месте, а Фигуры нет.

— Он хитрый, — ответил кто-то. — Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет.

Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка.

Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. Пятая — Коли Колокольчикова — задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла.

Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие — послушать, что делается внутри сада.

От канавы отделилось трое. И в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки. И, не успев крикнуть, он отлетел от забора.

— Гейка, — пробормотал он, поднимая лицо, — ты откуда?

— Оттуда, — прошипел Гейка. — Смотри молчи! А то я не посмотрю, что ты за меня заступался.

— Хорошо, — согласился Алешка, — я молчу. — И неожиданно он пронзительно свистнул.

Но тотчас же рот его был зажат широ-

кой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь.

Свист в саду услышали. Квакин обернулся. Свист больше не повторялся. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.

— Фигура! — негромко окликнул Квакин. — Это ты там, дурак, прячешься?

— Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то. — Это идут хозяева!

Но это были не хозяева.

Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей. И, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков.

— Бей, не отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин. — Рви фонари с руками! Это идет он... Тимка!

— Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, вырываясь из-за куста, Симаков.

И еще десяток мальчишек рванулись с тылу и с фланга.

— Эге! — заорал Квакин. — Да у них сила! За забор вылетай, ребята!

Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору.

Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки.

Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса:

— Пусти!

— Оставь!

— Не лезь! Не тронь!

— Всем тише! — раздался в темноте голос Тимура. — Пленных не бить! Где Гейка?

— Здесь Гейка!

— Веди всех на место.

— А если кто не пойдет?

— Хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону богородицу.

— Пустите, черти! — раздался чей-то плачущий голос.

— Кто кричит? — гневно спросил Тимур. — Хулиганить мастера, а отвечать боитесь! Гейка, давай команду, двигай!

Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим протолкнули за дверь.

— Михаила Квакина ко мне, — попросил Тимур.

Подвели Квакина.

— Готово? — спросил Тимур.

— Все готово.

Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок.

— Ступай, — сказал тогда Тимур Квакину. — Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен.

Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.

— Ступай, — повторил Тимур. — Возьми вот этот ключ и отпри часовню, где сидит твой друг Фигура.

Квакин не уходил.

— Отпри ребят, — хмуро попросил он. — Или посади меня вместе с ними.

— Нет, — отказался Тимур, — теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего.

Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился.

— Бить буду! — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимур. — Бить буду тебя одного. Один-на-один, досмерти! — И, отпрыгнув, он скрылся в темноте.

— Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны, — сказал Тимур. — У тебя что?

— Дом номер двадцать два перекатать бревна, по Большой Васильковской.

— Хорошо. Работайте!

Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился.

— Симаков и твоя пятерка, у тебя что?

— Дом номер тридцать восемь по Малой Петраковской. — Он рассмеялся и добавил: — Наше дело, как всегда: ведра, кадка да вода... Гоп! Гоп! До свиданья!

— Хорошо, работайте! Ну, а теперь... сюда идут люди. Остальные все по домам... Разом!

Гром и стук раздался по площади. Ша-рахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загоре-

лись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат:

Прохожие, не жалея!

Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей.

Ключ от замка висит позади этого плаката, и тот, кто отогреет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых.

Поздняя ночь. И черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут.

Сад того дома, где живет маленькая девочка. С ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они, эти новые качели.

Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя. Спят и его товарищи: веселый Симаков, молчаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка.

Часы на каланче отбивают четверти: «Был день — было дело! Дин-дон... раз, два!..»

Да, уже поздно.

Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов.

Эти цветы рвала Женя.

Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озаренное луною крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это — Тимур.

Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал-концерт и гулянье.

Девчонки убежали в рощу еще спозаранку. Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платья, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка.

Ольга подняла и прочла:

«Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур».

— Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайна у этой скрытной и лукавой девчонки? Нет! Этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел... Надо действовать решительно и быстро».

В окно постучал Георгий.

— Оля, — сказал он, — выручайте! Ко мне пришла делегация. Попросят что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день — отказать было нельзя. Давайте аккомпанируйте мне на аккордеоне.

— Да... Но это вам может сделать пианистка! — удивилась Ольга. — Зачем же на аккордеоне?

— Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами! У нас получится хорошо. Можно, я к вам через окно прыгну? Оставьте уют и выньте инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду.

— Послушайте, Георгий, — обиженно сказала Ольга, — в конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери...

В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, с булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками.

Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков.

На полянах разногласо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью.

Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бранил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными «кошками».

— С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься.

— Так ведь, папаша, здесь же без билета, бесплатно!

— Все равно нельзя. Здесь пение. Ты бы еще с собой телеграфный столб приволок. И ты, гражданин, обойди тоже, — остано-

вил он другого человека. — Здесь люди поют... музыка. А у тебя бутылка торчит из кармана.

— Но, дорогой папаша, — заикаясь, пытался возразить человек, — мне нужно... я сам тенор.

— Проходи, проходи, тенор, — показывая на монтера, отвечал старик. — Вон бас не возражает. И ты, тенор, не возражай тоже.

Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла за сцену, нетерпеливо ерзала по скамье.

Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно: ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться.

Но никто не смеялся.

Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих.

Но вот Ольга накинута ремень на плечо. Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он ссутулился, наклонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом он запел:

Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине.
Винтовка руку жжет. Тревога сердце гложет,
Как двадцать лет назад ночами на войне.
Но если и сейчас я встречу с тобою,
Наемных армий вражеский солдат,
То я, седой старик, готовый встану к бою,
Спокоен и суров, как двадцать лет назад.

— Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! Молодец, молодец... — бормотала Женя. — Так, так. Играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа.

После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее.

— Все так, — говорила Ольга. — Но я не знаю, куда пропала Женя.

— Она стояла на скамье, — ответил Георгий, — и кричала: «Браво, браво!» Потом к ней подошел... — тут Георгий запнулся, — какой-то мальчик, и они исчезли.

— Какой мальчик? — встревожилась Ольга. — Георгий, вы старше, скажите, что мне с ней делать? Смотрите! Утром я у нее нашла вот эту бумажку!

Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился.

— Не бойся — это значит не слушайся. Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку, то-то бы я с ним поговорила!

Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело, кругом смеялись, и, опять взявшись за руки, они пошли по аллее.

Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с другой парой, которая, так же дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя.

Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись.

— Вот он! — дергая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга. — Это и есть тот самый мальчишка.

— Да, — смутился Георгий. — а главное, что это и есть Тимур — мой отчаянный племянник.

— И ты... вы знали! — рассердилась Ольга. — И вы мне ничего не говорили!

Откинув его руку, она побежала по аллее. Но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку, и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед Фигурой и Квакиным.

— Послушай, — подходя к нему вплотную, сказала Ольга. — Мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки; мало того, что от вас бегут даже собаки, — ты портишь и настраиваешь против меня сестренку. У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто... негодяй.

Тимур был бледен.

— Это неправда, — сказал он. — Вы ничего не знаете.

Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю.

Тимур стоял и молчал.

Молчали озадаченные Фигура и Квакин.

— Ну что, комиссар? — спросил Квакин. — Вот и тебе, я вижу, бывает не весело?

— Да, атаман, — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. — Мне сейчас тяжело, мне не весело. И лучше бы вы меня поймали, неслотили. Избили, чем мне из-за вас слушать... вот это.

— Чего же ты молчал? — усмехнулся Квакин. — Ты бы сказал: это, мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом.

— Да! Ты бы сказал, а мы бы тебе за это наподдали, — вставил обрадованный Фигура.

Но совсем не ожидавший такой поддержки Квакин молча и холодно посмотрел на своего товарища. А Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошел прочь.

— Гордый, — тихо сказал Квакин. — Хочет плакать, а молчит.

— Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет, — сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой.

— Он... гордый, — хрипло повторил Квакин, — а ты... ты — сволочь! — И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по лбу.

Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину.

Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку; отряхивая, ударил ее о колено, подошел к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками.

На поляне возле стрелкового тира Тимур нашел Гейку и Симу.

— Тимур! — предупредил его Сима. — Тебя ищет (он, кажется, очень сердит) твой дядя.

— Да, иду, я знаю.

— Ты сюда вернешься?

— Не знаю.

— Тима! — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку. — Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав...

— Да, знаю... то он не боится ничего на свете. Но ему все равно больно.

Тимур ушел.

К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.

— Оля!

— Уйди! — не глядя на сестру, ответила Ольга. — Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без

меня можешь гулять с кем хочешь, хоть до рассвета.

— Но, Оля...

— Я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву. А там подождем папу.

— Да! Папа, а не ты — он все узнает! — в гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура.

Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.

— Его позвали домой, — сказал Гейка. — На него за что-то из-за тебя очень сердит дядя.

В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала:

— Вот так... ни за что... и пропадают люди!

Она обняла ствол березы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.

— Женька! — закричала Таня. — Что с тобой? Женя, бежим! Там пришел баянист, там начались танцы — пляшут девчонки.

Они схватили ее, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны.

— Женя, плакать не надо! — так же, как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка. — Меня когда бабка колотит, и то я не плачу! Девочки, давайте лучше в круг! Прыгнули!

— Пр-прыгнули! — передразнила Нюрку Женя.

И, прорвавшись через цепь, они закружились, завертелись в отчаянно веселом танце.

Когда Тимур вернулся домой, его подождал дядя.

— Мне надоели твои ночные похождения, — говорил Георгий. — Надоели сигналы, звонки, веревки. Что это была за странная история с одеялом?

— Это была ошибка.

— Хороша ошибка! К этой девочке ты больше не лезь: тебя ее сестра не любит. — За что?

— Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству.

— Она лжет, — возмутился Тимур, — а еще комсомолка! Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на все ответил.

— Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще если ты будешь самовольничать, то я тебя тотчас же отправлю домой к матери.

Он хотел уходить.

— Дядя, — остановил его Тимур, — а когда вы были мальчишкой, что вы делали? Как играли?

— Мы?.. Мы бегали, скакали, лазили по крышам, бывало, что и дрались. Но наши игры были просты и всем понятны.

Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву.

В Москве никакого дела у нее не было. И поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у нее дотемна и только часам к десяти пришла на свою квартиру.

Она открыла дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула: к двери была пришпилена телеграмма.

Ольга сорвала телеграмму и прочла ее. Телеграмма была от папы.

К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевавшая игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки.

Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина — мать белокурой девчурки. Девочка лежала у нее на руках и дремала.

Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась.

— Я хотела оставить у вас дочку, — сказала она. — Я не знала, что нет сестры... Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву — встретить маму.

— Оставьте ее, — сказала Женя. — Что же Ольга... А я не человек, что ли? Кладите ее на мою кровать, а я на другой лягу.

— Она спит спокойно и теперь проснет-

ся только утром, — обрадовалась мать. — К ней только изредка нужно подходить и поправлять под ее головой подушку.

Девчурку раздели, уложили. Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кровать, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка.

Только что они убежали, как на крыльцо вошел почтальон. Он стучал долго, а так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город.

— Нет, — отвечал сосед, — девочку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму.

Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго.

Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел почтальон.

— Вот, — сказал он. — И что за пожар, спешка? Прими, друг, и вторую телеграмму.

Сосед расписался. Было уже совсем темно. Он прошел через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и опустил через нее обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу.

Но Женя их не заметила. Придя домой, при свете луны она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котенка, разделась и легла спать.

Она лежала долго, раздумывая о том: вот она какая бывает жизнь! И она не виновата, и Ольга как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой всерьез поссорились.

Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она прыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут увидела на подоконнике телеграммы.

Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклею и прочла.

В первой было:

«Буду сегодня проездом от двенадцати ночи до трех утра тчк Ждите на городской квартире папа».

Во второй:

«Приезжай немедленно ночью папа будет в городе Ольга».

С ужасом глянула на часы. Было без четверти двенадцать. Накинув платье и схватив сонного ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу. Одумалась. Положила ребенка на кровать. Выскочила на улицу и помчалась к дому старухи-молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки.

— Чего стучишь? — сонным голосом спросила она. — Чего озоруюшь?

— Я не озорую, — умоляюще заговорила Женя. — Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела ей оставить ребенка.

— И что городишь? — хлопывая окно, ответила соседка. — Хозяйка еще с утра уехала в деревню гостить к брату.

Со стороны вокзала донесся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором.

— Простите! — пробормотала она. — Вы не знаете, какой это гудит поезд?

Джентльмен вынул часы.

— Двадцать три пятьдесят пять, — ответил он. — Это сегодня на Москву последний.

— Как последний? — глотая слезы, прошептала Женя. — А когда следующий?

— Следующий пойдет утром, в три срока. Девочка, что с тобой? — хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик. — Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?

— Ах нет! — сдерживая рыдания и убегая, ответила Женя. — Теперь уже мне не может помочь никто на свете.

Дома она уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомилась, отдернула одеяло, столкнула с подушки рыжего котенка.

Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали.

Нет! Оставаться одной и терпеть такую муку сил у ней больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад пошла к сараю.

Вот и чердак. Веревка, карта, мешки, флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо.

Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол.

Тимур вскочил.

— Ты что? — спросил он, не понимая. — Что-нибудь случилось?

Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услышал звон бронзового колокольчика.

Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона.

— Да, я, Тимур, у аппарата. Это кто? Это ты... Ты, Женя?

Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто.

— И только на три часа? — волнуясь, спросил он. — Женя, ты плачешь? Я слышу... Ты плачешь. Не смей! Не надо! Я приду скоро...

Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов.

— Да, вот он, последний, в двадцать три пятьдесят пять. Следующий пойдет только в три сорок. — Он стоит и кусает губы. — Поздно! Неужели ничего нельзя сделать? Нет! Поздно!

Но красная звезда днем и ночью горит

над воротами Жениного дома. Он зажжет ее сам, своей рукой, и ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами.

Дочь командира в беде! Дочь командира нечаянно попала в засаду.

Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли.

— Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен.

— К вам, — ответил Тимур.

— Ко мне? — Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал: — Тогда прошу пожаловать!..

Они говорили недолго.

— Вот и все, что мы делаем, — поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур. — Вот и все, что мы делаем, как играем и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля.

Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел.

Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо.

— Вставай, — сказал он, — тебя зовут.

— Но я ничего не знаю, — испуганно тараща глаза, заговорил Коля. — Я, дедушка, право, ничего не знаю.

— Вставай, — сухо повторил ему джентльмен. — За тобой пришел твой товарищ.

На чердаке на охалке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.

— Это ты? — удивилась Женя. — Что тебе надо?

— Я не знаю, — тихо и испуганно отвечал Коля. — Я спал. Он пришел. Я встал. Он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз, к калитке.

— Зачем?

— Я не знаю. У меня у самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю.

Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да! Он знал — так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая.

— Рита! — горько сказал он, становясь на колени и целуя собаку в морду. — Ты не сердись! Я не мог поступить иначе.

Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них, послышался треск мотора. Слепленные, они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас, мотор заглох и перед ними очутился Тимур.

— Коля, — сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая, — ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед! В Москву!

Женя вскрикнула, что было у нее силы обняла Тимура и поцеловала.

— Садись, Женя, садись! — стараясь казаться суровым, кричал Тимур. — Держись крепче! Ну, вперед! Вперед, двигаем!

Мотор затрещал, гудок рывкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли.

Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи.

— Да, — важно шагая, бормотал он. — Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью!

Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник и лежали обрезки колбасы, сыра и булки.

— Через полчаса я уеду, — сказал он Ольге. — Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?

— Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко, она тебя так ждала.

Теперь она совсем сойдет с ума. А она и так сумасшедшая.

— Оля, — вставая, сказал отец, — я не знаю, я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет! Не такой у нее характер.

— Ну вот! — огорчилась Ольга. — Ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. А чего там такой! Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять уют, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было четыре платья. Два — уже тряпки. Из третьего она выросла, одно я ей носить пока не даю. А три новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытарашит. Ну, конечно, все думают — цветок, а не девочка. А пойдика. Ого! Цветок! Тронешь и обожжешься. Папа, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи! Она три дня на трубе плясать будет.

— Ладно, — обнимая Ольгу, согласился отец. — Я ей скажу. Я ей напишу. Ну и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, что мы вернемся скоро и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира.

— Все равно будет, — прижимаясь к отцу, сказала Ольга. — И я дочь командира. И я буду тоже.

Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку.

Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась портьера. И, как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя.

Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб ее был забрызган грязью, памятое патье в пятнах. И Ольга в страхе спросила:

— Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?

Не поворачивая головы, Женя отмахну-

лась кистью руки, и это означало: «Погоди!.. Отстань!.. Не спрашивай!..»

Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб.

— Да, хорошо! Ты молодец человек, Женя!

— Но ты вся в грязи, лицо черное! Как ты сюда попала? — опять спросила Ольга.

Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура.

Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он наклонил голову.

— Папа! — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя. — Ты никому не верь! Они ничего не знают. Это Тимур — мой очень хороший товарищ.

Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени — одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все еще недоумевающая, подошла к Тимуру:

— Ну... тогда здравствуй...

«Вскоре часы пробили три.

— Папа, — испугалась Женя, — ты уже встаешь? Наши часы спешат.

— Нет, Женя, это точно.

— Папа, и твои часы спешат тоже. — Она подбежала к телефону, набрала «время», и из трубки донесся ровный металлический голос:

— Три часа четыре минуты!

Женя взглянула на стену и со вздохом сказала:

— Наши спешат, но только на одну минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!

— Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?

— Есть.

— В мягком?

— В мягком.

— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..

И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй на Сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста.

На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправляться?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три часа пятьдесят три минуты. — Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком?

— Да! В мягком...

Тяжелая стальная дверь с грохотом хлопывается за ним.

Ровно, без толчков, без лязга вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз. Плывут орудийные башни. Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает.

Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери.

Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца.

Красноармеец вынул пакет и спросил:

— Товарищ Гараев?

— Да.

— Георгий Алексеевич?

— Да.

— Примите пакет и распишитесь.

Красноармеец ушел. Георгий посмотрел

на пакет и понимающе свистнул. Да! Вот и оно, то самое, чего он уже давно ждал.

Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызвать его мать телеграммой сюда, на дачу.

В комнату вошел Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.

— Тише! — сказала Ольга. — Ни кричать, ни стучать не надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже.

— Да, — подхватила Женя, — вы на него не кричите. Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет.

Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается и спрашивает:

— Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?

— Да, это была я. Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину.

На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.

— Это что же? — тихо спросила Ольга. — Это опять... новая роль оперы?

— Нет, — отвечал Георгий. — Я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма.

— Это, — показывая на петлицы и чуть покраснев, спросила Ольга, — то самое?.. «Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце»?

— Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь-дорогу.

Он сел. Ольга взяла аккордеон.

...Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь...
хоть когда-нибудь.

Гей! Да где б вы ни были,
На земле, на небе ли,
Над чужими ль странами —
Два крыла,
Крылья красноезвездные,
Милые и грозные,
Жду я вас попрежнему,
Как ждала.

— Вот, — сказала она. — Но это все про летчиков, а о танкистах я такой хорошей песни не знаю.

— Ничего, — попросил Георгий. — А вы найдите мне и без песни хорошее слово.

Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза.

Женя, Тимур и Таня были в саду.

— Слушайте, — предложила Женя, — Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху!

— Не надо, — отказался Тимур.

— Почему?

— Не надо! Мы других так никого не провозжали.

— Ну, не надо, так не надо, — согласилась Женя. — Вы тут посидите, я пойду воды напиться.

Она ушла, а Таня рассмеялась.

— Ты чего? — не понял Тимур.

Таня рассмеялась еще громче.

— Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька! «Я пойду воды напиться»!

— Внимание! — раздался с чердака звонкий, торжествующий голос Жени. — Подаю по форме номер один позывной сигнал общий.

— Сумасшедшая! — подскочил Тимур. — Да сейчас сюда примчится сто человек! Что ты делаешь?

Но уже закрутилось, заскрипело тяжелое колесо, вздрогнули, задержались провода: «Три—стоп», «три—стоп», остановка! И загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. Сто не сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала.

— Оля, — ворвалась Женя на террасу, — мы пойдем провожать тоже! Нас много. Выгляни в окошко.

— Эге, — отдергивая занавеску, удивился Георгий. — Да у вас команда большая. Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тимура, Женя. — Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. А жаль! Я бы и то куда-нибудь там... в бой, в атаку. Пулеметы на линию огня!.. Пер-р-вая!

— Пер-р-вая... ты на свете хвастунишка и атаман! — передразнила ее Ольга, и, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала:

— Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой.

Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки — это вырвался вперед самодельный оркестр, и грянула песня.

Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали: почему шум, гром, визг? О чем и к чему песня? Но, разобравшись, они улыбались и кто про себя, а кто и вслух желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон.

В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобелей. Потом — вагоны с конями. Кони

мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «ура». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой.

Эшелон исчез, подошел поезд. И Тимур попрощался с дядей.

К Георгию подошла Ольга.

— Ну, до свиданья! — сказала она. — И, может быть, надолго?

Он покачал головой и пожал ей руку.

— Не знаю... Как судьба!

Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел.

Ольга была задумчива.

В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье.

Тимур взволнован, но он крепится.

— Ну вот, — чуть изменившимся голосом сказал он, — теперь я и сам остался один. — И, тотчас же выпрямившись, он добавил: — Впрочем, завтра ко мне приедет мама.

— А я? — закричала Женя. — А они? — Она показала на товарищей. — А это? — И она ткнула пальцем на красную звезду.

— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. — Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.

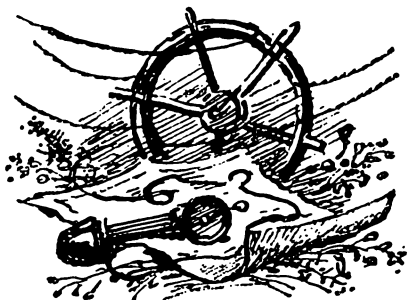
Тимур поднял голову.

Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!

Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:

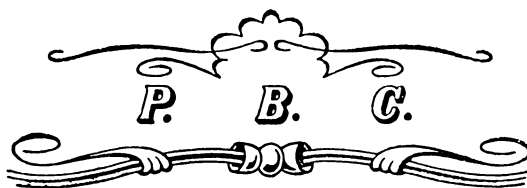
— Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже.

1940 г.









1

РАНЫШЕ сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полу-сгнившими грудами.

А с тех пор, когда атаман Криволюб, тот самый, у которого желто-голубая лента

тянулась через всю папаху, расстрелял здесь четырех москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинутыми лопухами.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боятся маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрился безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьиим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врвался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина?

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! — подумал он. — Вот теперь мать задаст трепку, а то и поест, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внима-

ния, несмотря на то что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана.

Братишка Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину. Обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отворачиваясь. — Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

— Это дядя сапогом двинул, — пояснил Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастерке. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — удивился Димка. — Ты откуда?

— Оттуда, — последовал короткий ответ.

— Ты зачем Шмеля ударил?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтoб тебе самому кто-нибудь свернул! — с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтoб служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убежденно сказал Димка. — Ни у красных, ни у бе-

лых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребенка бьешь? — вступилась Димкина мать. — Нашел с кем связываться.

Головень покраснел еще больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за нее-то он и получил кличку) и ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет.

После ужина Димка забился в сени, улегся на груды соломы за ящиками, укрылся матиной поддевкой и долго лежал не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберешь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занял его на-днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

В сенях темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приглатываясь видеть продолжение интересного, но недосмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель.

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям желтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Неспokoйны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревенку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то.

«Винтовка! — удивился Димка. — Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и наган есть?»

Как раз в это время утихло все кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход — через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохотали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. «Приклад!» Прислушался: на дво-

ре — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх подается. Отдвинул на себя доотказа. «Умею!» горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку.

«И куда лезет, чорт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запиртал почти все, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка. — Я спал... — И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как расшаривший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка. — Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не смей!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь

рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не смей! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после. — Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний, — хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия?.. На обратном пути проверим. — Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

2

Высохли на глазах слезы. Утихла понемногу боль. Но итти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная, посерединке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он. — Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят — картошку с салом или еще что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть.

В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая издали мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился: за поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая слова:

Та-ваа-риши, та-ва-риши,—
Сказал он им в ответ,—
Да здра-вству-ит
Ра-сия!
Да здра-вству-ит
Совет!

«А, чтоб тебе! Вот наяривает!» с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидел небольшого худенького мальчишку, лежавшего возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, повидимому удовлетворенный ответом. — Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А то смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я Жиган, — горделиво ответил тот. — Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поешь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем, тогда «Алешаша» либо про буржуев. Белым — так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Расея», ну а потом «Яблочко» — его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришел?

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, гозорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков ловить будем!

— Не соврешь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянув за платок, сказал серьезно:

— Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил.

— Мало тебе! — ответила она оборачиваясь. — Не так бы надо...

Но Димка слышит в ее словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

Пришел как-то на речку скучный-скучный Димка.

— Убежим, Жиган! — предложил он. — Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

— А тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерется. Из-за меня мамку и Топа гонит.

— Какого Топа?

— Братишку маленького. Топают он чудно, когда ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело все. Ну, что дома?

— Убежим! — оживленно заговорил Жиган. — Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так: спою я что-нибудь, а потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтение, чтобы был вам не фронт, а одно развлечение. Получать хлеба по два фунта, табаку по осмьюшке, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке». Тут, как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не

особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже, наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зеленых, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зеленых и регулярно получал свою порцию, по полгуса в день.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить, — заявил Димка, — а то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

— Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл — вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принес с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Заперто только, а ключ с собой носит.

— Ничего! — заявил Жиган. — Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

— Зачем у сараев? — возразил Жиган. — Можно еще куда-либо... А то рядом с мертвыми!

— А тебе что мертвые? — насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три спички.

— Нельзя помногу, — пояснил он. — У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решен окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Еще ближе несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы дрались меж собой. Крепок был атаман Козолуп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман! Хитер, как чорт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы, так же как и он сам. Но с тех пор, как отбил его из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Левка, написал другой.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Левку и Козолупа вне закона» — и все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий! На трех войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зеленые, человек двадцать. Заходили двое к Головню. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством. Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

— Димка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставлю, оставлю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплевываясь, вылетел на двор. Возле сараев он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а чорт ее знает — зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомне-

нием возразил Димка. — Тут не так что-то. Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было еще немного: два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшись к опушке никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожание звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место, возле покрывившегося крылечка. А когда сел, то подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. — Разве же после среды воскресенье бывает?

— Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунились любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донесся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше.

Уо-уу-уу...

А потом вдруг как хряснуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое. Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше.

— Лежи, лежи! Вот придет гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек. и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату wszел вооруженный Головень.

Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

Утром встретились ребята рано.

— Жиган, — спросил Димка, — ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

— А почему ты знаешь? Может, я кругом! — обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перубивать не стал.

— Машина вчера езджала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!.. — сигнал, значит.

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят — дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убег. Бомбу бросил рядышком, у Онуфрихиной хаты все стекла полопались. По нем из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды, да и утек.

— А машина?

— Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убежать, один гранатой запустил. Всю искарежил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня еще поспел. Гудок стащил. Нажмешь резину, а он как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зеленые ускакали еще ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу.

Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошел обедать.

Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах, черти! — выругался он. — Это не иначе, как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хоро-

шем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот. — Вку-усно...

— Вкусно! — напустился на него разозленный Димка. — А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дороге что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоровый!

— А отсюда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врет.

И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теревить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал, — с негодованием подтвердил Жиган. — И кусок-то какой жирный!

Перепрятали все повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только, — с сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот если поубивают, — начал опять Жиган и добавил серьезно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже, — сознался Димка. — А то что, в яме-то... вон как эти. — И он кивнул головой туда, где покривившийся крест

чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее.

Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик? — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует, — шопотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо итти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем, — согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали. Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и снова заворчал тревожно, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс? — упавшим голосом ответил Жиган. — А только почему же это он раньше их не чуял?

И добавил негромко:

— Холодно что-то. Давай побежим, Димка!

— А большевик тот, что убег, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаимные полчаски соли. А у нее в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришел, слышу из сенец, ругается кто-то: «...И бросил, — говорит, — какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, поглядывая на Димку, и только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О, Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидела меня, села на нее Горпина сей же секунду и велит: «Подай ему, старый, с полчаски», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забежали и заблестели.

И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и всё поодиночке.

На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей ты! У меня спина не каменная.

— Темно очень, — шопотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и прыгнул. — Есть!

— Жиган, — спросил Димка, — а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем койбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо, — поспешно ответил Димка. — Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хоро-оший!

— Воробушков? — серьезно спросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бедные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — И Жиган полез в щель, под крышу. — Димка, тут темно, — тревожно прошептал он. — Я не найду ничего...

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Испугался уж!

Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там... — И Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услышал доносившийся из темной глубины сарая тяжелый, сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

3

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?.. Рубашка... стон... А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут», подумал Димка и пополз. Завернул за груды рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился, испугавшись. В углу, на солонке, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Питы!

Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое белье. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяволенок, чего ты завихлялся?», то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись уже ясней и внятней незнакомец спросил:

— Красные далеко?

— Далеко. И не слышать вовсе.

— А в городе?

— Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет

— Жигану разве!

— Это с которым вы бежать собирались?

— Да, — смутившись, ответил Димка. — Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

— Ты чего? — спросил Жиган.

— Тише! Лезь сюда... Надо.

— Так ты позвал бы, а то на-ко... камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — И Димка тихонько подтолкнул его вперед.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил лопот хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти все время молча.

Пуля зеленых ранила человека в ногу;

кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего Головню: «Не смей!» — Вы славные ребяташки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

— Не должны бы! — неуверенно встал Жиган.

— Как не должны бы? — разозлился Димка. — Ты говори: нет, да и все... Да вы его не слушайте, — чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу. — Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны, значит... ни в ксем случае.

И Димка увидел, как незнакомец снова улыбнулся.

За обедом Топ сидел-сидел, да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головня не было, мать доставала похлебку из печки, а бабка была туговата на ухо.

И Димка проговорил шопотом, подтачивая Топу ногой:

— Дай пообедаю, у меня уже припасен. «Чтоб тебе неладно было! — думал он, вставая из-за стола. — Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный железный гвоздь и отнес Топу.

— Большой больно, Димка! — сказал Топ, угловато поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и

все. А тут долб сидеть можно: тук, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашел у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решил раздобыть иоду.

Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог, лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодаяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных кринок дали, повидимому, другое направление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чем-то, улыбаясь.

Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд на Димку и спросил, не поднимаясь:

— Ты что, чадо, ко мне или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.

— Мамка прислала. Повредилась немного, так поди, говорит, не даст ли попадья малость иоду. И пузырек вот прислала махонький.

— Пузырек... Гм... — с сомнением кашлянул отец Перламутрий. — Пузырек что!.. А что ты, хлопец, руки назад держишь?

— Сала тут кусок. Говорила мать, если нальет, отдай в благодарность...

— Если нальет?

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо, — проговорил отец Перламутрий поднимаясь. — Нет, чтобы просто прислать, а вот: «если нальет»... — И он покачал головой. — Ну, давай, что ли, сало... Старое!

— Так нового еще ж не кололи, батюшка.

— Знаю и сам, да можно бы пожирнее... хоть и старое. Пузырек где? Что это мать

тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

— Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял, немного раздумывая.

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же?

Но Димка отчаянно замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте, — поспешно заговорил Димка, — а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всеу». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причем Димка подивился их необычным размерам — и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

— На́ вот, — проговорил он выходя. — Только от доброты своей... — И спросил, подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

— От доброты! — разозлился Димка. — Меньше половины... — И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: — У нас, батюшка, кур нету, одни пехухи только.

Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И все же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чем-то.

— Ну что, мальчуганы, не слыхать, как там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за

свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьет... — пояснил он. — Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красивые, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулеметный начальник, потому что раз возле тебя солдат был с «лыонсом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да и нет.

И с тех пор Димка еще больше захотел, чтобы скорее пришли красные.

А неприятностей у него набиралось все больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то что получал их, все-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое, так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно...

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспokoйно на стуле и съехал под устремленными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику... — неуверенно ответил он. — У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю. — И потом добавил, поглядывая как-то стран-

но: — А к тому же ты врешь, кажется. — И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент? — с негодованием вставил отец Перламутрий. — А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси. — При этом он поднял многозначительно большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Димка, а говорят про нашего-то на деревне, — огорошил его при встрече Жиган. — Тут, мол, он недалеко где-либо. Поэтому рубашка... а к тому же Семка старостин возле Горпининога забора книжку нашел, тоже кровяная. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.» и палочки, вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

— Жиган, — шопотом сказал он, хотя кругом никого не было, — надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

— Что же, — сказал он, — будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть, — вставил Жиган. — Кабы не теперь, я спел бы, — хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся, знаем, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка

ушел раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошел ближайшим путем — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то. — Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, повидимому попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту.

Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволенок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, чорт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — спит! — И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать. — Каким каблуком? Да у него с весны и обуви нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, повидимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

— Гм... — промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу. — Ошибка вышла... Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга... — Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил все-таки.

— Как убил?! — переспросила мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и все тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок,

зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько.

Когда утихло все, ушел на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала успокаивая:

— Ну будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахаивающего хвостом Шмеля, и еще с большей силой он затрясся и еще крепче втиснул голову в намокшую от слез овчину.

— Эх ты! — проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал!» А что я говорил?.. Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к Левке или еще к кому — даешь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его взгляде только легкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята... — И даже не рассердился, как будто не о нем и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему нечем было оправдываться, да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе. Нищий Авдей пришел. Много, говорит, и все больше на конях. — Потом он поднял глаза и сказал все тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, попробуешь как-нибудь... успею еще.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьезно остановившиеся на нем большие темные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшейся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в левом углу те же три за-

гадочные буквы «Р. В. С.» и потом палочки, как на часах.

— Вот, — проговорил он подавая, — возьми, Жиган... ставлю аллюр, два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись смотри.

— Ты не подкачай, — добавил Димка. — А то не берись вовсе... Дай я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли? И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукой и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошел дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять отмахал! — подумал он. — Хорошо бы дальше также без задержки». Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клена по-вечернему звонко пересвистнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик. Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

Жиган разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Оттуда... — И он, махнув рукой, загнулся, придумывая дальше. — С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее — хоть не ворочайся.

— Не видели... Телка тут бродила какая-то, так ту наши еще в утро сожрали... А тебе не попадались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей. — Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова... — жалобно завопил Жиган. — Куда я поеду?..

— Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты еще сболтнешь подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам, — ничто не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зеленых. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду Левки, ожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там, — мелькнула вдруг мысль, — да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дорсги.

— Куда, дьяволенок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой!.. Не стреляй: все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гушу леса Жиган. Напролом через чашу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и со-

образил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Левка! — подумал он. — Не иначе, как к нему Головень. — И сразу же сжалось сердце. — Хоть бы не поспели до темноты: ночью все равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками, — догадался он. — Скорей надо, а тут на-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окруженным всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидав среди них Головню. Но то ли потому, что тот всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец, — спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами, — тебя куда дьявол несет?

— С хутора... — начал Жиган. — Корова у меня... черная, и пятна на ей...

— Врешь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган еще больше и ответил запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал.

— Слышали? — перебил первый. — Я ж говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли, — заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган, — на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал всадник. — Как они смели!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый чорт...

— Слышали?! — заревел зеленый. — Это я обжираться?

— Обжирается, — подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница. — Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это все ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить еще не один десяток обидных для достоинства Козолупы слов, но тот и так был взбешен до крайности и потому рывкнул грозно:

— По коням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что еще так легко отделался.

«Сейчас схватятся, — подумал он на бегу. — А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звезды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шел, тяжело дыша, то изредка останавливался — перевести дух. Один раз, слышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгоряченный, несколько глотков холодной воды. Один раз шарханул испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и все конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадалась на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле кюстра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была темная дорога. И только соловей всю насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Еще новое! Теперь-то по какой?» И он остановился.

Го-го... — донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!» чуть не вскрикнул он. И только сейчас взглядел почти

что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь.

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос прсговорил негромко:

— Господи, кого ж еще-то несет?

— Отворите! — повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой еще, к чорту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое... Васькой зовут... Я ж еще малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Они ж обе с краю!.. Разве через дверь поймешь!

Очевидно раздумывая, помолчали немного за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут недалеко, с версту всего. Сразу за опушкой.

— Только-то! — И, окрыленный надеждой, Жиган снова пустился бегом.

На кривых улочках его сразу же остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

— Какую еще записку! Приходи утром. — Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: — Эй, там!.. Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р. В. С.»,

сразу же подвинул огонь. И только прочитал — к телефсну: «Командира!.. Комиссара!», а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивленно крикнул один.

— Он!.. Конечно, он! — радостно перебил другой. — Его подпись, его бланк. Кто привез?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он?

— Черный... в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из нее красный флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только скорей бы, — добавил Жиган, — светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомленный Жиган несколько раз повторившихся слова: «Конечно, армия!.. Он!.. Реввоенсовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стекла.

— Где? — Порывисто распахнув дверь, вошел вооруженный маузером и шанкой командир. — Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его с земли и усадил на лошадь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца. — Вы должны успеть!

— Даешь! — ответили эхом десятки голосов.

Потом:

— А-аррш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой, — несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет, — мотал он головой, — не пойду. Выбрался из щели, разворочил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча: было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к башке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то раздумывая.

Наступал вечер. В сарае резче и резче проглядывала темная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже.

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо.

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано еще.

Все смолкло. Прошел еще час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот слышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде, — ответил другой. — Только сдается мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» узнал Димка, а незнакомец протянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителиться из-за Левки сколько!

— Темно! — повторил кто-то. — Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай. а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костер. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клок соломы.

Рассвет не приходил долго. Задрожала наконец зарница, помутнели звезды.

Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка, — шопотом проговорил незнакомец, — скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворста, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! — И незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слезы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух. — Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у... — взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «люисов» — все это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они... — отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревней, еще кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил:

— Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в сторону. Ворвался

свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось откуда-то — и командир, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Димка, — захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган, — я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалился!..

— Ты врешь, Жиган... Обязательно врешь... У тебя и сабли-то нету, — ответил Димка и засмеялся сквозь не высохшие еще слезы.

Весь день было весело.

Димка вертелся повсюду. И все ребята дивились на него здорово и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и командиры и красноармейцы.

Написал он Димке всякие бумаги, и на каждую бумагу печать поставили, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жиган среди бойцов чортом ходил и песни такие заорачивал, что только ну! И хохотали над ним красноармейцы и тоже дивились на его глотку.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минуту Жиган, как будто легкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьи-ить! Даешь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них перенял:

Ночь прошла в полевом лазарети;
День весенний и яркий настал
И при солнечном, теплом рассвете
Молодой командир умирал...

Хоро-ошая песня! Я спел — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты, — говорю, — бабка?» — «Та умирал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне». — «А когда только в песне, — говорит, — а сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только, — добавил он, запнувшись немного, — некоторые из товарищей не доверяют. «Катись, — говорят, — колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Украдешь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему, в самом деле, — предложил кто-то.

— Напишем, напишем!

И написали ему, что «есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездом и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой — целые пол-листа да еще на обратной. Даже рябой Пантюшкин, тот, который еще только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дать печать. Прочитал комиссар.

— Нельзя, — говорит, — на такую бумагу полковую.

— Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый с Сергеевым?

— Он, язвы его шельма.

— Но уж в виде исключения... — И тиснул по бумаге.

Сразу же на ней РСФСР, серп и молот — документ.

И такой это вечер был, что давно не запомнили поселяне. Уж чего там говорить, что звезды, как начищенные кирпичом, блестели или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал все. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали дивчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговой бревнах перед обступившей его кучкой, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньками разбросанные домики. Ушли старики, ребяташки. Но долго еще по залитым лунным светом улочкам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всеми солдатами незнакомец крепко пожал руки ребяташкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде, — проговорил он, об-

ращаясь к Димке. — А тебя... — и он запнулся немного.

— Может, где-нибудь, — неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладыны, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

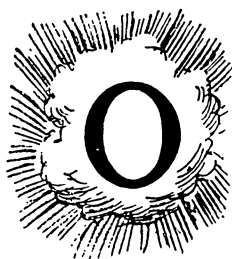
На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — больше никого.

1926 г.





ПУСТЬ СВЕТИТ



ОТЦУ запаздывал, и за стол к ужину сели трое. Босой парень Ефимка, его маленькая сестренка Валька и семилетний братишка по прозвищу Николашка-баловашка.

Только что мать пошла доставать кашу, как внезапно погас свет.

Мать из-за перегородки закричала:

— Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, идоленок, добалуешься!

Николашка обиделся и сердито ответил:

— Сама не видит, а сама говорит. Это не я потушил, а, наверно, пробки перегорели.

Тогда мать приказала:

— Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу. Да поставь сначала сахарницу на полку, а то эти граждане в темноте разом сахар захапают.

Вышел Ефим в сени, смотрит: что за беда? И на улице темно, и на станции темно, и кругом темно. А тут еще небо в черных тучах и луна пропала.

Забежал Ефим в комнату и сказал:

— Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверно, что-нибудь на заводе случилось.

Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак.

— Наверное, это вы опять куда-нибудь

задевали? — спросил он у притихших ребятишек.

— Это Валька задевала, — сказал Николашка. — Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад.

— Ефимка, а Ефимка, — тревожным шопотом спросил Николашка, — что это такое на улице жужукает?

— Я вст вам пожужукаю, — ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды. — Я вот ей хворостиной пожужукаю!

Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение.

Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.

— Ты куда? — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.

— Пусти, мама! — Ефимка рванулся и выбежал на крыльцо.

Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору — в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.

В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.

— Кто там? — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.

— Не спишь, Маша? — послышался дребезжащий старческий голос.

И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.

— Какой тут сон, — быстро заговорила обрадованная мать. — И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще Ефимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили.

— Комсомольцы, — с грустью проговорила бабка.

Слышно было, как отодвинула она та-

буретку и положила руку на клеенчатый стол.

— Вот так и Верка у меня, как потух свет да услышала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: «Куда ты, дура?.. Ну мужики, ну парнишки... А ты ведь еще девчонка... Шестнадцать годов». А она постояла, подумала. «Бабуня, — говорит, — не сердись. Это белый аэроплан. Это тревога. У нас сбор... У меня там товарищи». Схватила в сенях с гвоздя сумку да, как кошка, прыгнула. Вот, Маша! Только я ее и видела.

— Сумку-то какую взяла? — спросила мать.

— А бог ее знает! Недавно притащила, сначала в комнате повесила. Да я сказала: «Убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет».

— Это военно-санитарная сумка, — вставил Николашка. — Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.

— Ты да не узнаешь! — вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила: — Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а сн — грох... грох.

— Мама, — стодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка. — А что это такое далеко бубухает: бубух да бубух?

— Где, паршивец, бубухает? — тихо переспросила вздрогнувшая мать.

И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька оказалась ей тяжелой, как большой камень.

Она подвинулась к окошку. И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало, но это был не ветер и не гроза, это глухо и часто бабахали боевые орудия.

Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди, хлопали калитки, громыхали ворота и тархтели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.

— Бежим скорее, Верка. Ты не знаешь, где это бабахают?

— Погоди, Ефим! Подержи-ка сумку. Я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг — гудит. Насилу от бабки вырвалась.

— Что чулок, — ответил Ефим, забирая пахнущую лекарствами сумку. — Что чулок! У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка.

У поворота они столкнулись с двумя. Один был незнакомый, длинный, с винтовкой, другой — без винтовки, с наганом. И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.

— Стойте, — приказал Собакин. — Вы куда? На сбор? Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. Пятнадцать подвод сразу на Верхние бугры, и пусть ждут у школы. Десять — по Спасской в самый конец. А все остальные к ревкому.

— Дай винтовку, Собакин, — попросил Ефим. — Раз я дежурный, то давай винтовку.

— Дай ему, Степа, — обернулся Собакин к своему длинному сутулому товарищу.

— Не дам, — ответил товарищ. — Вот еще мода!

— Дай, а я на сборе сейчас же скажу, чтобы тебе другую выдали.

— Не дам! — уже сердито ответил товарищ. — Другая то ли еще будет, то ли нет. А эта на месте. — И, хлопнув ладонью по прикладу, он ловко закинул винтовку через плечо.

— Ну, хоть штык дай, — рассердился торопящийся Собакин.

— Это дам, — согласился товарищ.

И, сняв с пояса, он протянул Ефиму тяжелый немецкий штык в блестящих ободанных ножнах.

— Как бритва, — добродушно сказал он нахмурившемуся Ефиму. — Сам своими руками целый час точил.

Они добежали до перекрестка темной и пустой дороги.

— Сядем под кустом, — тихо сказал

Ефим. — Заодно я в сапог травы натолкаю, а то как бы и вовсе не сбить ногу без портянки.

Свернули и сели. Ефим сдернул сапог и, ощупав рукою траву, спросил:

— А что, Верка, нет ли у тебя в сумке широкого бинта или марли? Тут не трава, а кругом сухая полынь.

— Вот еще, Ефимка! И бинт есть и марля есть, только я не дам: это для раненых, а не на твои портянки.

— Пожалела уж, дуреха, — рассердился Ефим и, осторожно ступая, пошел в кусты.

Он ожог руку о крапиву. Наколол пятку колючкой. Наконец, нащупав большой лопух, он сел на землю и стал завертывать босую ногу в широкие пыльные листья.

Он обул сапог и задумался. Еще только позавчера он спокойно шел по этой дороге. Вот так же булькал ручей. Вот так же тихо насвистывала пичужка. Но не грохали тогда орудия. Не полыхало на черном небе зарево и не гудел издалека тяжелый церковный колокол: доон!.. доон!..

— Белые, — пробормотал он, вспомнив клубные плакаты, — белые казаки.

И вдруг, как будто бы только сейчас впервые за весь вечер, он по-настоящему понял, что это уже не те безвредные намаленные казаки, что были приляпаны вместе с плакатами на стенах ревкома и в клубе, а что это мчатся живые белогвардейцы на быстрых конях, с тяжелыми шашками и с плетеными нагайками.

Он вскочил и пошел к Верке.

— Верка, — сказал он, крепко сжимая ее руку, — ты что? Ты не бойся. Скоро пойдём на сбор, там все наши.

— Дай ножик, Ефимка. Почему ты так долго?

— На, возьми, — и Ефим протянул ей холодный маслянистый клинок немецкого штыка.

В темноте что-то хрустнуло и разорвалось.

— Бери, — сказала Верка. — Завернешь ногу, лучше будет. Слышишь, стучит? Это, кажется, наши подводы едут.

— Вот глупая! — выругался Ефим, по-

чувствовал, как вместе с клинком она сунула ему в руку что-то теплое и мягкое. — Вот дура. И зачем ты, Верка, свой шерстяной платок разрежала?

— Бери, бери. На что он мне, такой длинный? А то собьешь ногу... Нам же хуже будет.

Пятнадцать подвод пошли на Верхние бугры. Десять — до конца Спасской. Но последние подводы сильно запаздывали. И только к полуночи позабытые всеми Ефим и Верка вернулись к реерку.

Орудия гремели уже где-то совсем неподалеку. Вблизи загорелась старая деревня Шуповка. Свет опять погас. Захлопывались ставни, запирались ворота, и улицы быстро пустели.

— Вы что тут шатаетесь? — закричал появившийся откуда-то Собакин.

— Собакин! Чтoб ты сдох! — со злобой крикнул побелевший Ефимка. — Кто шатается? Где отряд? Где комсомольцы?

— погоди, — переводя дух, ответил узнавший их Собакин. — Отряд уже ушел. Вы с подводами? Берите две подводы и катайте скорее на Песочный проулок. Там остались женщины и ребята. Сейчас Соломон Самойлов прибежал. Все уехали, а они остались. Оттуда приезжайте прямо к новому мосту. За мостом сбор. Дальше — на Кожуховку. А там наши.

Собакин быстро кинулся прочь и уже откуда-то из темноты крикнул Ефиму:

— Смотри... ты... боевой! Вы отвечать будете, если беженцы с проулка не попадут на место.

— Верка, — пробормотал Ефим, — а ведь это наши остались. Это Самойловы, Васильевы, мать с ребятами, твоя бабка.

— Бабке что? Она старая, ей ничего, — шопотом ответила Верка. — А Самойловым плохо: они евреи.

Крепко схватившись за руки, они бежали туда, где только что оставили две подводы.

Но сколько они ни бегали, сколько ни кричали, подводчик как провалился.

— Едем сами, — решил Ефим. — Прыгай, Верка. А ждать больше некогда.

На повороте они чуть не сшибли женщину. В одной руке женщина тащила узел, другою держала ребенка, а позади нее, всхлипывая, бежали еще двое.

— Ты куда, Евдокия? Это за вами подвода! — крикнул Ефим. — Стой здесь и никауда не беги. А мы сейчас воротимся.

Еще не доезжая до дома, он услышал крики, плач и ругань.

— Соломон, где ты провалился? — закричала старая бабка Самойлиха. И с необычайной для ее хромой ноги прытью она вцепилась в Ефимкину телегу.

— Это я, а не Соломон, — ответил Ефим. — Тащите скорее ребят и садитесь.

— Ой, Ефимка! — закричала обрадованная мать.

И тотчас же бросилась накладывать на телегу мешки, посуду, корзинки, ребят, подушки, все в одну кучу.

— Мама, не наваливайте много, — предупредил Ефим. — На дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Соломон где? — уже в десятый раз спрашивала Самойлиха. — Он побежал лошадей доставать. Куда же без Соломона?

— Не видел я Соломона. Это мои подводы, — ответил Ефим, и, забежав во двор, он отвязал с цепи собачонку Шурашку.

Вернувшись к первой подводе, он увидел, что мать взваливает ножную швейную машину.

— Мама, оставьте машину, — попросил Ефим. — Где же место? Ведь у меня на дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Что, Евдокия?.. Я вот тебе оставлю! — угрожающе и тяжело дыша, ответила мать. — Я тебе, дьяволу, покажу, как бегать... — И, кроме машины, она бухнула на телегу помятый медный самовар.

— Бросьте машину! — с внезапной злобой вскрикнул Ефимка. И, вскочив на телегу, одним пинком он сшиб самовар, потом рванул за край машину и сбросил ее на дорогу.

— Верка! — крикнул он, отталкивая оцепеневшую мать. — Бери вожжи. Сейчас трогаем.

Трах-та-бабах... — грохнуло где-то уже совсем неподалеку.

— Соломон,— застонала старуха Самойлиха.— Как же мы без Соломона?

— Некогда Соломона... Найдется... Не маленький... Верка, поехали.

Трах-та-бабах... — грохнуло где-то еще ближе.

Быстро захватив на перекрестке Евдокию Васильеву с ребяташками, Ефим с силою ударил вожжами. И тогда обе телеги, гремящие чайниками, корзинами, кастрюлями, жестянками, рванулись вперед по пыльной опустевшей дороге.

Трах-та-бабах... — ударило еще три раза подряд.

Ошалелые кони шарахнулись в сторону. Собачонка Шурашка метнулась в проулочек. А Ефимка рванул вправо, потому что возле нового моста уже загорелась разбитая снарядами ветхая извозчицья халупа.

У противоположной окраины проселка кое-как они перебрались через старый, прогнивший мостик... Когда они очутились на другом берегу, мать замолчала, бабка заплакала, Евдокия перекрестилась, а Ефимка сразу же круто свернул в лес.

Дорога попалась узкая и кривая. Близилось утро, но в лесу было еще так темно, что только по стуку колес Ефимка угадывал, что вторая подвода идет следом.

Ефим подстегнул коня, и телеги выкатили на просторную светлеющую опушку.

И тут Ефим понял, где они.

Кожуховка-то, в которую собирались отряды и беженцы, была где-то далеко, влево за лесами, а впереди совсем близко дымяло трубами уже проснувшееся село Кабакино. Но, угадав, куда они выехали, Ефим вовсе не обрадовался. Он попридержал коня и задумался.

— Кабакино,— тихо сказал он Верке, показывая рукою на окутанное туманами серое и угрюмое село.

— Что ты? — испуганно переспросила Верка.

— Оно самое. Видишь, колокольня с золоченым крестом. Это ихняя, другой нет.

— Куда, господи, занесло! — в страхе сказала мать. — Что же мы теперь делать будем, Ефимка?

— А я почему знаю,— сердито ответил Ефимка, очищая кнутом замасленные дегтем сапоги.— То ругаться, а теперь — что, что? Подержи-ка вожжи, Верка.

Он спрыгнул и пошел к опушке. У опушки остановился и стал присматриваться: нет ли другой дороги, чтобы миновать стороной это опасное село.

Это было село богатых садоводов, то самое знаменитое Кабакино, в котором полгода тому назад погиб весь первый взвод Тамбовского преследования и возле которого только две недели тому назад разбили бомбами легковую машину губпродекома. И теперь, когда кругом шныряли прорвавшиеся через фронт белые, чего хорошего могли ожидать беженцы на этом незнакомом пути?

Но влево никакой дороги не было.

И вдруг Ефимка увидел, как со стороны Кабакина выезжают навстречу три подводы, а сбоку подвод гарцует на конях кучка черных всадников.

Тогда, отскочив назад и низко пригибаясь, как будто бы кто-то ударил его палкой по животу, Ефимка помчался к подводам.

Он схватил за узду и круто заворотил телегу.

— Гони, Верка! Да замолчите, чтобы вы сдохли! — крикнул он, услышав, как дружно заорали разбуженные рывками и толчками ребята.

И, подскакивая на выбоинах и ухабах, обе подводы покатились назад. Так катили они долго. Ефимка молча нахлестывал измотавшегося коня и оборачивался по сторонам, отыскивая, куда бы свернуть с дороги.

Наконец он заметил маленькую тропку.

Задевая за пни и корни, подводы тихо подвигались по узенькой кривой тропинке. Иногда деревья склонялись так низко, что дуги лошадей с шорохом цеплялись за спутанные ветви.

Давно уже и далеко позади простучали и стихли колеса кабакинских подводчиков, но беженцы шаг за шагом все глубже и глубже забирались в чашу леса.

Наконец ветви раздвинулись. Сверкнуло солнце. И подводы тихо въехали на маленькую круглую поляну.

Здесь тропка оканчивалась. Здесь нужно было остановиться, отдохнуть и подумать, что же делать дальше.

Остановились и стали разбираться.

— Доехали, Верка, — невесело сказал Ефим, бросая вожжи и устало подсаживаясь на сухое трухлявое бревно.

Они молча посмотрели друг на друга.

Лицо Ефимки горело и было в красных пятнах, как будто бы он только недавно упал голсвой в крапиву. Рубаха — в пыли, сапоги — в грязи. И только ободранные ножны штыва у пояса сверкали на солнце, как настоящие серебряные.

В черных косматых волосах Верки запутались сухие травинки и серо-красная голова репейника. От шеи к плечу тянулась яркая, как после удара хлыстом, полоска. А смятое ситцевое платье было разодрано от бедра до колена.

Верка взяла ведро и пошла за водой. Ходила она долго, но хорошей воды не нашла и принесла из болота. Вода была прозрачная, но теплая и пахла гнилушками. Пришлось разводить костер и кипятить.

Ефим распряг коней и повел поить.

— Где вода? — спросил Ефим у Верки, которая, укрывшись мешком, сидела и гадала, как бы зачинить разлохмаченное платье.

— Пойдем, я сама покажу... Все равно скоро не зачинишь, — сказала она, показывая на схваченные булавками лохмотья. — Посмотри-ка, Ефимка, что это у меня на шее?

— Ссадина, — ответил Ефим. — Здоровенная. Ты крепко зашиблась, Верка?

— Плечо ноет да колено содрано. А тебе меня жалко, что ли?

— Ладно еще, что вовсе голову не свернуло, — огрызнулся Ефим. — Я ей говорю: «Бежим скорее!» А она: «Погоди... чулок поправлю». Вот тебе и нарвалась на Собакина. Ребята в отряде. Все вместе... кучей. А ты теперь возись, как старая баба, с ребятами.

— Ефимка! — помолчав, сказала Вер-

ка. — А ведь белые бьют всех евреев начисто.

— Не всех. Какой-нибудь банкир... Зачем им его бить, когда они сами с ним заодно. Ты бы лучше книжки читала, чем по вечеринкам шататься. А то иду я, сидит она, как принцесса, да семечки пощелкивает. А возле нее Ванька Баландин на балалайке... Трынди-брынди...

— У Самойловых отец не банкир, а кочевар, — покраснела Верка. — У Евдокии Стёпан в пулеметчиках, взводный, что ли! Да и Вальку с Николашкой тоже было бы жалко. А ты заладил... Собакин... Собакин...

— Почему «тоже бы»? — обозлился догадавшийся Ефим. И, чтобы обидеть ее, он с издевкой напомнил: — Как на собрании, так она дура дурой, а тут: «тоже бы». Ее спрашивают, кто такой Фридрих Энгельс. А она думала, думала, да и лягнула: «Это, — гсворит, — какой-то народный коммиссар...»

— Забыла, — упрямо повторила Верка. — Я его тогда с Луначарским спутала.

— Как же можно с Луначарским? — опешил Ефимка. — То Фридрих Энгельс, а то Луначарский. То в Германии, а то в России. То жив, а то умер.

— Забыла, — незлобиво созналась Верка. — Я мало училась. — И, помолчав, она хмуро сказала: — А что нам с тобой ссориться, Ефимка? Ведь ото всех наших мы с тобой только одни остались.

Вскоре запылал костер, зашумел чайник, забурилась картошка, зафыркала каша, и все пошло дружно и споро.

А когда разостлали брезент на траве и, голодные и усталые, сели обедать всем табором, показалось, что среди этой звонкой лесной тишины забыли всё — и о своей неожиданной беде и о своих тяжелых думах.

Но как ни забывай, а беда висела не пустяковая: куда итти, как выбирать?

И когда после обеда маленькие ребята завалились спать, собрались вокруг Ефимки и ворчливая бабка, и тихая Евдокия, и глубоко оскорбленная Ефимкой мать...

И так прикидывали и так думали... Наконец решили, что пока все останутся на месте, а Ефимка пойдет через лес разведывать дорогу. Итти никуда Ефимке не хотелось, а крепко хотелось ему спать. Но он поднялся и позвал Николашку, который тихонько подслушивал, о чем говорят старшие.

— Возьми, Николай, — отстегивая штык, сказал Ефимка, — повесь его на пояс. И будешь ты вместо меня комендантом.

— Зачем? — спросила мать. — На что такое баловство? Еще зарежется. Дай, Николашка, я спрячу.

Но, крепко сжав штык, Николашка отлетел чуть ли не на другой конец поляны, и мать только махнула рукой.

— Спрячь, Верка, — позевывая, сказал Ефим, подавая ей клеенчатый бумажник, из которого высовывался рыжий комсомольский билет.

— Зачем это? — не поняла мать. И вдруг, догадавшись, она нахмурилась и сказала, не глядя Ефимке в глаза: — Ты, Ефимка, того... Поосторожней...

— Как бы ночевать не пришлось, — драгиваясь до почерневших жердей, сказал Ефим. — Наруби-ка ты, Верка, с комендантом веток да зачините у шалаша крышу. А то ударит гроза, куда ребятишек денем!

Переобув сапоги, он подошел к телегам, похлопал каурого конька по шее, взял с воза ременный кнут и, посмотрев на солнышко, пошел, не оборачиваясь, в лесную гущу.

— Как бы грозы не было, — сказала Евдокия, поглядывая на небо, — ишь, как тучи воротит.

Верка одернула наспех зашитое платье и, вспомнив Ефимкино приказание, крикнула Николашке, чтобы он бежал к ней со штыком рубить ветки и чинить худой шалаш.

На кусты налетели целой ватагой Николашка, Абрамка, Стенка. Вскоре навалили целую гору. Закидали дыры, натащили внутрь большие охапки пахучей травы, занавесили ход. И, еще не дожидаясь наступления грозы, ребятишки один за другим дружно полезли в шалаш.

Небо почернело. Кони настороженно зашевелили ушами. На притихшую зеленую полянку опускались тревожные сумерки.

Лежа у костра и изредка поправляя горячие картофелины, Верка вдруг подумала: «А что же будет, если белые ударят так сильно, что не справится с ними и погибнет вся Красная Армия? Какая тогда будет жизнь?»

Костер совсем погас, угли подернулись пеплом, и только одна головешка, черная и корявая, тихонько потрескивая, чадила едким и синеватым дымком.

И тут же, кто его знает почему, Верка вспомнила, как давно однажды пришел ее отец веселый, потому что был праздник — или родился, или женился какой-то царь. И отец сказал, что на радостях дяде Алексею назначили досиживать в тюрьме не полтора года, как оставалось, а всего только восемь месяцев.

Все обрадовались, а Верка всех больше. Потому что раньше, когда дядя Алексей еще не сидел в тюрьме, он часто приходил в гости и дарил Верке или копейку, или пряник.

А однажды на именины он подарил ей голубую блестящую ленту, такую невиданно красивую, что перепуганная от радости Верка, схватив подарок, как кошка умчалась на чердак и не слезала до тех пор, пока мать не прогнала ее оттуда веником.

«Нет, не может быть, чтобы разбили...» подумала она.

И опять вспомнила, как однажды, уже после смерти отца, мать взяла ее с собой в один дом на кухню.

Когда мать стирала белье, дверь тихонько отворилась, и, лениво позевывая, на кухню вошла огромная и гордая собака. Она подошла к углу, где стояла широкая тяжелая миска, сняла зубами крышку и достала большой кусок сочного вареного мяса. Широко вылупив глаза и боясь пошевелиться, Верка смотрела на то, как спокойно, почти равнодушно съела собака этот кусок, потом сама накрыла миску крышкой и, не глядя ни на кого, так же лениво и гордо ушла в глубину тяжелых прохладных комнат.

«Нет, не погибнет! — опять успокоила

себя Верка. — Разве же можно, чтобы погибла?»

Дым от головешки попал ей в лицо. Верка сощурилась, протирая глаза кулаком, и перед нею всплыло беззлобное лицо тихой побирушки Маремьяны, муж которой, стекловар, умер от ожога на заводе. Эта побирушка ходила под окнами и робко просила милостыню, но когда добиралась она до крыльца Григория Бабыкина, который был хозяином стекольного завода, то, крестясь и страшно ругаясь, грозно стучала палкой в тяжелые ворота.

И тогда Григорий Бабыкин высылал дворника Ермилу. А дворник Ермила, тихонько подталкивая побирушку, бормотал хмуро и виновато: «Уходи, Маремьяна. Мне что... Я человек нанятой. Уходи от греха. Видно, уж бог вас рассудит».

— Разве же можно, чтобы погибла? — убежденно повторила Верка и сердито хлопнула по голому плечу, в которое больно кололи черные невидимые комары.

— Что одна? Посидим вместе, — раздался за ее спиной знакомый голос.

— Ефимка... Дурак! — вскрикнула испуганная Верка.

И, не зная, что сказать от радости, она схватила его за плечи, потом выхватила из-под пепла костра две горячие картофелины и, перекатывая их на ладонях, протянула ему.

— Садись. Ешь. Это я для тебя испекла. Я жду, жду, а тебя нет и нет.

— И то дело, — устало опускаясь на траву, согласился Ефимка. — Есть хочу, как собака.

Заслышав голос, вылезла мать, за нею Евдокия, и даже бабка Самойлиха, которая никак не могла уложить Розку, высунула из шалаша седую голову.

Но в том, что рассказал Ефимка, хорошего было мало: от встретившегося старика-пастуха он узнал, что — один с утра, другой к полудню — проскакали по дороге два казачьих разъезда, что впереди, в Кабакине, бушует белая банда.

Значит, оставалось только одно: бросить телеги, навьючить коней и двигаться к Кожухову через леса, через овраги пешком.

Все замолчали.

— Ефим, — предложила мать, — а что, если попробовать выбраться по-другому?

— Как еще по-другому? — удивился Ефимка.

— А так. У нас на лбу не написано, что мы беженцы. Мало ли кто. Ну, из голодающей губернии... ну, погорельцы. Женщины да ребята. Кто нас тронет?

— Нельзя, — насторожилась Верка. — Самойловы евреи. А белые бьют их начисто.

— Ну, так давайте тогда разделимся, — рассердилась мать, — и пусть каждый идет сам по себе. Если мы целым табором, так нас каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет.

— Так нельзя, — опять перебила Верка и с удивлением посмотрела на молчавшего Ефимку.

— Тебя не спрашивают, — оборвала ее мать. — А двадцать верст с ребятишками по оврагам, болотам да лесом — это разве можно? Ты думаешь, мне добра жалко? Мне не жалко, бог с ним. Можно одну телегу Евдокии отдать, другую Самойлихе. А мы и так потихоньку доберемся. Где я Вальку поднесу, где ты, Ефимка, поможешь.

Ефимка молчал, но он видел, как сбоку все больше и больше высовывается седая трясущаяся голова Самойлихи и как яростно укачивает Самойлиха плачущую Розку, стараясь не пропустить ни слова.

Ефимка молча поднялся от костра.

— Ты куда? — спросила притихшая мать.

Ефимка ничего не ответил и, ударив кулаком любопытного каурого конька, плюнул и пошел к телегам.

— Что ты, Ефимка? — спросила Верка, подходя к нему в то время, когда он стаскивал с телеги брезентовое полотнище.

— Ничего. Спать надо, — коротко ответил Ефимка. — Укрываться чем будем?

Когда Верка притащила широкую жесткую дерюгу, Ефимка, сидя на разостланном брезенте, перематывал портянки.

— Чтоб он пропал, этот Собакин! — опять выругался Ефимка и озабоченно

спросил: — Розка-то чего орет? Только еще нехватало, чтоб заболела.

Легли рядом, укрылись дерюгой и замолчали.

Черные тучи, которые так беспросветно обложили вечером горизонт, тяжело и упрямо двигались на запад, обнажая холодное, блистающее звездами небо.

И вдруг среди великого множества Верка узнала одну знакомую звезду. Верка повернулась на спину, чтобы получше рассмотреть, не ошиблась ли. Нет, ошибки не было. Так же, крючком, стояли три звезды справа, четыре слева. Сверху не то змейка, не то блестящий птичий клюв, а посредине сияла спокойная, светлая голубая — та самая, которую видела однажды Верка из окна, когда лежала она на жесткой койке тифозного барака.

— Ефимка, — с любопытством сказала, повернувшись на бок, Верка, — а какой, по-твоему, будет социализм? Ну вот, например, то так люди жили, а то будут как?

— Еще что! — ссыным голосом отозвался Ефимка. — Как будут? Да очень просто.

— Ну, а все-таки. Как просто? То, например, работаешь, работаешь, пришла получка — получил, потом истратил, потом опять работаешь, потом воскресенье. Пошел гулять, или пить, или в гости, потом опять работаешь, потом опять воскресенье. Или, скажем, мужик... Смолотил он пшеницу, свез в город, купил корову, потом корова сдохла. Вот он опять посеял... У одного уродилась, он еще корову купил. А у другого или не уродилась, или градом побил...

— Почему же это сдохла? — удивился и не почая Ефимка. — Ты бы лучше книжки читала. А то: не уродилась... сдохла... Мелешь, а что, сама не знаешь.

— Ну, пускай не сдохла, — упрямо продолжала Верка. — Все равно. Я, Ефимка, книжки читала. И программу коммунистов. Самое-то главное я поняла. А вот как по-настоящему все будет — этого я еще не поняла. Ну, скажем, один рабочий хорошо работает, другой плохо. Так неужели же им всего будет поровну?

— Спи, Верка, — почти жалобно попросил Ефимка. — Что я тебе, докладчик, что ли? Нам вставать чуть свет. Тут еще белые... война. А она вон про что.

— Интересно же все-таки, Ефимка, — разочарованно ответила Верка и, дернув за край дерюги, обидчиво спросила: — Что же это ты, Ефимка, на себя всю дерюгу стащил? У тебя ноги в сапогах, а у меня совсем голые.

— Вот еще! Чтоб ты пропала! — заворчал Ефимка. И, сунув ей конец дерюги, он отвернулся и сердито закрыл лицо фуражкой.

Проснулся Ефимка оттого, что кто-то тихонько поправил ему изголовье.

Открыл глаза и узнал мать.

— Ты что? — добродушно спросил он.

— Ничего, — пзевывая, ответила мать и села рядом — Так что-то не спится. Лежу, думаю. И так думаю и этак думаю. А что придумаешь? Тошно мне, Ефимка!

— Хорошего мало! — согласился Ефимка. — Всем плохо. А мне, думаешь, весело?

— Тебе что! — с горечью продолжала мать. — Что ты, что она — ваше дело десятое. Ей пятнадцать, тебе шестнадцать. А мне сорок седьмой пошел. Вот сплю, проснулась — смотрю... что таксе? Кругом лес... шалаш. Ни дсма, ни Семена. Ребятишки в траве, как кутята, приткнулись. Вышла — гляжу, ты валяешься под дерюгой. Господи, думаю, зачем же это я тридцать лет крутилась, вертелась... Все старалась, чтобы как у людей, как лучше. И вдруг что же... Погас свет. Зажужжало, загрохало. И не успела я опомниться, как на, возьми... шалаш, лес. И как будто бы все эти тридцать лет так разом впустую и ухнули.

Мать замолчала.

— Сапоги-то отцовские утром переодень, — равнодушно предложила она. — Сапоги новые, малы ему. Всё на муку променять хотел. Теперь все равно бросать, а тебе как раз впору.

— Это хорошо, что сапоги, — обрадовался Ефимка. — Да ты, мама, не охай. Вот погоди, отгрохает война — и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома построят огромные... в сорок этажей. Тут

тебе и столовая, и прачечная, и магазин, и все, что хочешь, — живи да работай. Почему не веришь? Возьмем да и построим. И над сорок первым этажом поставим каменную башню, красную звезду и большущий прожектор... Пусть светит!

— А куда он светить будет? — с любопытством, высовывая из-под дерюги голову, спросила Верка.

— Ну, куда? — смутился застигнутый врасплох Ефимка. — Ну, куда. А что ему не светить? Тебе жалко, что ли?

— Не жалко, — созналась Верка. — Я и сама люблю, когда светло. Пусть светит!

Верка хотела было уже поподробней выспросить Ефимку, как будет и что, но тут ей показалось, что Ефимкина мать тихонько плачет. Тогда она сунула голову под дерюгу и замолчала. Догадавшись, о чем мать собирается говорить, Ефимка притворился сонным и замолчал.

Мать посидела, вздохнула, встала и ушла в палатку.

— Это сна на меня обиделась, — вполголоса объяснил Ефим и, закрывая голову, угрожающе предупредил: — А если ты, Верка, опять со мной начнешь разговаривать, то я спихну тебя с брезента, и спи тогда, где хочешь.

Утром, разбирая и скидывая ненужный скарб, старуха Сзмойлиха нашла в телеге под соломой ободранную трехлинейную винтовку.

Как она сюда попала, этого никто не знал.

И обрадованный Ефим решил, что винтовку забыл потерявшийся подводчик.

Все домашнее барахло — мешки, узлы, зимнюю одежду — стащили в гущу орешника, закрыли брезентом, закидали хворостом на тот случай, если приведет судьба вернуться.

На каурога конька сложили одеяла, сумки с остатками провизии, котелок, ведро и чайник. К боку тошей коняки ухитрились приспособить старенькую плетеную корзину. Сунули в нее подушку и посадили двоих несмышленных малышей.

— Сейчас трогаем, — сказал Ефим, закидывая винтовку за плечо. — А где Верка?

— Здесь, здесь! Никуда не делась, — откликнулась Верка, выбегая из-за куста.

Взамен вчерашнего рваного платья на ней была короткая юбка клешем и синяя блузка-матроска.

— Ишь ты, как вырядилась! Откуда это? — удивился Ефим.

— Бабка в узелок сунула. Выбрасывать, что ли? — задорно ответила Верка, на ходу пристегивая подвязки к новым чулкам.

И тут Ефимка увидел, что не только одна Верка, но и его мать и тихая Евдокия тоже были наряжены в новые башмаки и платья.

— Как к празднику, — усмехнулся Ефим и, хлопнув кнутовищем по высоким голенищам новеньких отцовских сапог, обернулся к ребятишкам и скомандовал: — А ну, кавалерия... Давай вперед!

Сначала было неплохо. Мальчишки шныряли по кустам, подбирая грибы, выламывая хлыстики и обципывая грозди ярко-красных волчьих ягод.

Но вскоре дорога ухудшилась. Попадались болотца, потом овраги, некрутые, но частые, после которых приходилось останавливаться на роздых и перевязывать кое-как притороченные выюки.

Уже спустились сумерки, когда усталые, измотанные беженцы очутились опять без дороги в таком густом лесу, что ни клочка неба, ни единой звездочки нельзя было разглядеть сквозь шатер шумливой листвы.

Наспех выбрали бугорок посуше. Кое-как раскидали оставшееся барахло, вздули костер, и весь табор сразу же завалился спать.

Первой проснулась Верка. Вздрагивая от холода, сна пробралась к костру. Нескольких крупных капель упало на ее плечи. Рванул ветер. И с тяжелыми перегудами и перекатами загремели невиданные тучи.

Сгрудили ребятишек кучею. Накрыли их брезентовым полотнищем и, укрывшись кто чем попало, спрятались под дерево сами.

Гроза стихла только к рассвету. Все перемскли, продрогли, но вокруг не оставалось ни клочка сухой травы. Чтобы хоть немного согреться на ходу, решили сейчас же двигаться дальше. Но тут явилась новая беда. Испуганная ночью грозой, сорвалась с привязи и пропала куда-то их старая кляча. Мокрый каурый конек ходил рядом, а клячи не было.

Долго рыскал Ефимка по лесу. Кидался то в одну, то в другую сторону. Свистел, прикрикивал, прислушивался — и все бесплодно.

Спускаясь по глинистому скату, он поскользнулся и шлепнулся в холодную липкую грязь.

Молча выбрался, сел на пенек и опустил голову.

— Что, брат, попался! — тихо пробормотал Ефимка, зажмуривая красные, опухшие глаза.

— Ефимка, — сказала Верка, выбегая ему навстречу, — а тут совсем рядом дорога.

— Какая дорога, откуда?

— Не знаю. Я тоже бегала искать коня. Вдруг гляжу — дорога. На дороге чья-то убитая лошадь. В кустах телега. А под телегой двое — старик и мальчишка.

— Подожди здесь, Верка, — сказал Ефимка, когда выбрались они к дороге.

Он выглянул.

Свесив морду в придорожную канаву, валялась мокрая серая лошаденка. Тут же рядом, у телеги, на соломе сидели старик и небольшой парнишка.

Заметив человека с винтовкой, парнишка забеспокоился. Но старик, повернув голову, продолжал сидеть не двигаясь.

— Здравствуй, дедушка, — сказал Ефим, оглядываясь по сторонам и пытаясь угадать, что же это тут произошло.

— Здравствуй, коли здороваешься, — хриплым басом ответил старик. — Откуда в такую рань бог несет?

— Не здешний, — ответил Ефимка. — Ты скажи, куда эта дорога идет?

— Разно куда идет. Один конец в одну сторону, другой в другую Тебе куда надо?

— Мне? — и Ефим запнулся. — Мне никуда не надо. Я так спрашиваю.

— Ну, а никуда, так и гуляй по лесу. На что тебе дорога? — грубо ответил старик и, нахмутив косматые брови, прямо и безбоязненно спросил: — Это из вашей, что ли, банды мне коня ночью угробили? Я с парнишкой еду, вдруг: «Стой! Кто едет?» Потом бах, бах... Погодите, разбойники, добабахаетесь.

Старик тяжело повернулся и продолжал:

— Банда-то ваша откуда, кабакинские? Кто у вас там верховодит, Гришка Кумаков, что ли? Так и скажи ты этому Гришке, что повесить его, подлеца, мало. Что же ты молчишь, рот раззявил? Или ты думаешь, я винтовки твоей испугался?

— Мне Гришка Кумаков не нужен, — ответил Ефимка, с уважением разглядывая этого крепкого старика. — Ты скажи лучше, как бы это мне поскорее да похитрее на Кожуховку выбраться.

— Так бы и говорил, что на Кожуховку, — помолчав, ответил старик и охотно рассказал Ефимке, куда ему надо держать путь.

Вернулся тогда Ефимка в табор, напоил каурого коня, из подушки и веревок смастерил плохонькое седлышко, приладил за плечи винтовку и сунул в карман кусок хлеба.

Молча обступили его всем табором. Теперь оставалась только одна надежда, что сумеет Ефимка пробраться в лес, переплыть через реку и доберется до Кожухова с просьбой о подмоге.

Провожала его Верка до самой дороги. Здесь они остановились.

— Ступай, — сказал Ефимка. — Коли не вернусь к ночи, попробуй пробраться сама. Ну, иди... Чего же ты стала, как столб!

— Ефимка, — добравшись рукою до веревочного стремени, тихо сказала Верка, — ты смотри, если с тобою что-нибудь случится, то и мне и всем нам будет тебя очень-очень жалко.

— А мне вас, дура, разве не жалко! — сердитым и дрогнувшим голосом выкрикнул Ефимка и ударил по коню каблуками.

Высунувшись из-за кустов, Верка виде-

ла, как быстро помчался он по сырой дороге. Остановился у ветхого мостика через ручей, оглянулся назад и, махнув ей рукой, круто свернул в лес.

Стало теперь как-то пусто, тихо и уныло в таборе. Никто уже не покрикивал, не поругивался, не распоряжался. Пригреваемые солнышком, уснули продрогшие за ночь ребятишки. Еле-еле разгорался сырой костер.

К вечеру опять где-то загремело, загрохотало. Потом по дороге с шумом и звоном промчалось несколько всадников.

Тогда потушили костер и собрались все в кучу.

Ждали, очень крепко ждали и надеялись они на своего хорошего и смелого парня — на Ефимку.

Свернув с дороги в лес, Ефимка вскоре очутился на той тропке, о которой рассказывал ему старик. Здесь было тихо и пусто. Бойко и задорно поддавал ходу каурый конек.

Рысью промчались они мимо густых зарослей осинника. Разбрызгивая грязь; пролетели они хлюпкое болотце. Потом на горку — по сухому песку. Потом поворот... Еще поворот. Мимо ушей посвистывал теплый влажный ветер. Ефимка крепче нагнул фуражку, поправил на скаку винтовку и улыбнулся, радуясь тому, как быстро и просто остаются позади версты.

Опять поворот, еще поворот. Вдруг что-то грохнуло и, едва не перелетев через голову коня, Ефимка остановился.

Не дальше как в сотне шагов от него, там, где тропка перекрещивалась с дорогой, стояли три всадника. И двое из них старательно целились вверх, сбивая выстрелами изоляционные чашечки телеграфных проводов.

И не успел Ефимка опомниться, как одна пуля с визгом пронеслась мимо его головы, а другая чуть не вышибла его из седла, крепко рванув приклад перекинутой за плечи винтовки.

Тогда Ефимка пригнулся так, что едва не обхватил руками шею каурого, и опомнился только после того, как почувство-

вал, что каурый тихо шагает среди низкорослого болотистого леса.

Ефимка остановился. Шапки на нем не было. Кусок приклада был вырван пулей. Потрогал мокрый лоб — пальцы покраснели. Вероятно, на скаку содрал он кожу о сухую ветку. Посмотрел на солнце. Солнце висело теперь уже не слева от него, а впереди и чуть справа.

«Как же выбираться? Плутать буду», с тревогой подумал Ефимка.

В сырой прохладе однотонно, как нечаянно тронутая струна, звенела болотная мошкара. Далеко и грустно куковала кукушка.

...Что же ты нам клялся до зари,
Что ж ты обещался, говорил..

вспомнил Ефимка немудреную песенку, которую еще так недавно пели заводские девчата, возвращаясь с комсомольской вечерки.

А теперь, поникнув бледной головой,
Ты стоишь, проклятый, сам не свой.

Все тогда пели, и Верка пела, и он подпевал тоже.

И тут Ефимка почувствовал, как крепче и крепче колотится его сердце, как горячее, ярче краснеет его лицо и как тяжела и гордая злоба начинает давить ему пересохшее горло. Был завод, школа, дом, комсомол, песня. А теперь ничего, кроме этих усталых женщин да побледневших, измученных ребятишек, которые его ждут, на него надеются, в то время как он тут бестолку месит грязь в болоте.

— Ах, собаки!.. Ах, императоры!.. — незаметно для себя так же протяжно и с той же злобою повторил он, как и тот избитый бандитами мужик, который встретился недавно в лесу.

Ефим прыгнул с коня. Плеснул болотной водою на окровавленный лоб. Подтянул седло и поправил винтовку.

Солнце опять стало слева. Славный каурый двинул рысью. И слегка сгорбившись Ефимке вдруг показалось, что теперь уже никто и ничто не сможет помешать ему пронестись, пробиться, прорваться к своим — в Кожуховку.

Конь вынес его на ту же тропку. Вскоре засверкало широкое поле. Вправо на бугорке виднелся хутор. Кто-то махал Ефиму шапкой и кричал, повидимому приказывая остановиться. Вскоре трое верховых, отделившись от огады, кинулись за ним вдогонку.

Первая пуля слабо взвизгнула где-то высоко и в стороне. Потом вторая.

«Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь!» злорадно подумал Ефимка, заскакывая на опушку негустой рощицы. И вдруг он увидел, что рощица быстро расступается. Внизу под горкой голубеет спокойная широкая река, а за рекой, за просторными лугами раскинулось на горе село Кожухово.

Вот они — мельница, колокольня, старый барский дом над обрывом, а на высоком шпиле дома бодро колышется еле-еле заметный отсюда красный флаг.

Ти-у... — опять взвизгнула пуля, но теперь уже неподалеку.

— Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь, — гордо повторил Ефимка и вместе с конем бултыхнулся в воду.

Холодная вода залила сапоги. Еще несколько шагов, и вода подошла к седлу. Слева и справа от коня полетели брызги. Тогда, не раздумывая, Ефимка свалился в воду, ухватился за гриву, и облегченный каурый, высоко подняв морду, рванулся впласть.

Только что успели они выскочить к кустам на берег, как вдруг каурый вздрогнул, поднялся на дыбы, упал на колени. Он попробовал встать, но не встал, а грузно повалился на бок, задергал ногами и захрипел. И тотчас же Ефимка услышал плеск воды.

— Ах, вот как! — стиснув зубы, гневно пробормотал Ефимка. И, низко пригибаясь, он пополз обратно к берегу.

Отсюда, из-за куста, ему было видно, как три всадника один за другим уверенно спускались в воду.

Тогда, сдерживая дыхание, Ефимка медленно оттянул предохранитель и нацелился в грудь первого. Но рука дрожала и не слушалась.

Он положил качающееся дуло на сук, на-

целился с упора и, невольно зажмурившись, выстрелил.

Когда он открыл глаза, то увидел, что двое поспешно поворачивают назад, а одинокий конь, фырча и отряхиваясь, уже выбирается на этот берег.

Конь был буланый, белогривый, седло добротное, казачье, и Ефимка крепко сцепился в мокрый ременный повод.

Солнце светило ему прямо в лицо, и, щурившись, никого не видя, Ефимка домчался до кладбищенской огады, где его сразу же окликнули и остановили.

Он не знал пароля и от волнения ничего не мог объяснить. Тогда его спешили, отобрали винтовку и вместе с винтовкой и конем повели в штаб.

Но шаг за шагом он начал приходить в себя. Телеги, подводы, походная кухня, распахнутые ворота, оседланные кони, пулеметные двуколки, и вдруг откуда-то шарахнула песня — знакомая, такая близкая и родная.

Ефимка поднял глаза на своего конвоира и улыбнулся.

— Чего смеешься, — удивился долговзый головастый парень и настороженно приподнял винтовку.

— Хорошо! — сказал Ефимка и больше ничего не сказал.

— Это правда, — снисходительно согласился парень. — Белых-то из-под Козлова вчера ох как шарахнули.

Вдруг парень отпрянул и вскинул винтовку, потому что Ефимка вскрикнул и круто свернул вправо, где стояла кучка командиров.

— Собакин! Чтоб ты пропал, — громко и радостно выругался Ефимка.

— Ты! Отку-у-да? — развел руками Собакин.

— Отту-уда! — передразнил его Ефимка. — Наши здесь? Отец здесь? Самойлов здесь?

— Здесь... Все здесь... — ответил Собакин, и, обернувшись к долговзому конвоиру, он насмешливо крикнул: — Да ты что, ворона, винтовку на нас наставил? Смотри, убьешь, кто хоронить будет?

Уже совсем ночью сорок всадников тихо подвигались по дороге, сопровождая телеги с разысканными беженцами.

Несмотря на то что Ефимка встал с рассветом и с тех пор почти не сходил с коня, спать ему не хотелось.

Где-то за черными полями разгоралось зарево, и оттуда доносились отголоски оружейных взрывов.

— В Кабакине, — негромко сказал начальник отряда. — Это четвертый Донецкий полк дерется.

— Так я останусь? — уже во второй раз спросил у начальника Ефимка.

— Где останешься?

— У вас в отряде, вот где. Конь у меня есть, седло есть, винтовка есть. Отчего мне не остаться!

— Эх, как бабахает! — приподнимаясь на стременах и прислушиваясь к канонаде, сказал начальник. — Видно, там крепкое у них затевается дело... Оставайся, — обернулся он к Ефимке и тотчас же приказал: — Давай-ка скажи, чтобы задние подводы не тарахтели. Что у них там, ведра, что ли?

Возвращаясь, Ефимка задержался возле первой телеги.

— Ты не спишь, Верка?

— Нет, не сплю, Ефимка.

— Я останусь! Завтра прощай, Верка. Оба замолчали.

— Ты будешь помнить? — задумчиво спросила Верка.

— Что помнить?

— Все. И как мы лесом и тропками с ребятами и как тогда ночью разговаривали. Я так до самой смерти не позабуду.

— Разве позабудешь!

Ефимка сунул руку в карман и вытащил яблоко.

— Возьми, съешь, Верка, это сладкое. Слышишь, как грохают. И это везде, повсюду и грохает и горит.

— И грохает и горит, — повторила Верка.

Выбравшись на бугорок, Ефимка остановился и посмотрел в ту сторону, где полыхало разбитое снарядами Кабакино.

Огромное зарево расстилалось все шире и шире. Оно освещало вершины соседнего леса и тревожно отсвечивало в черной воде спокойной реки.

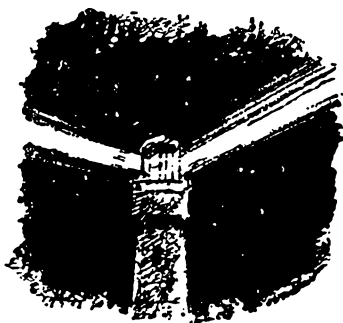
— Пусть светит! — вспомнив ночной разговор, задорно сказал Ефимка, показывая рукою на багровый горизонт.

— Пусть. — горячо ссгласилась Верка. И, помолчав, она попросила: — Ты смстри не уезжай. не прощавшись. Может, больше и не встретимся.

— Нет, не уеду, — махнул ей рукою Ефимка.

Он дернул повод и мимо телег, мимо молчаливых всадников быстрою рысью помчался доложить начальнику, что его приказание исполнено.

1933 г.





ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

К

ОЛЬКЕ было семь лет. Нюрке—восемь. А Ваське и вовсе шесть.

Колька и Васька — соседи. Обе дачи, где они жили, стояли рядом. Их разделял за-

бор, а в заборе была дыра. Через эту дыру мальчуганы лазили друг к другу в гости.

Нюрка жила напротив. Сначала мальчишки не дружили с Нюркой. Во-первых, потому, что она девчонка, во-вторых, потому, что на Нюркином дворе стояла будка с злошей собакой, а в-третьих, потому, что им и вдвоем было весело.

А подружались вот как.

Приехал однажды к Ваське из Москвы его задушевный товарищ — Исайка Гольдин.

Исайка был ровесником Васьки и был похож на Ваську. Только что чуть-чуть потолще, да волосы у Исайки почернее, да еще было у Исайки ружье, которое стреляло пробками, а у Васьки не было.

Приехал Исайка с отцом в выходной день. И вздумали ребята в лапту играть. А в лапту, известное дело, втроем не играют — обязательно нужно четвертого.

Пошли за Павликом Фоминым. Но у Павлика болел живот. В лапту играть его не пустили, сидел он дома совсем печальный, потому что выпил недавно касторки.

Что тут будешь делать? Где взять четвертсго?

Вот Васька и говорит Кольке:

— А что если давай позовем Нюрку?

— Давай, — согласился Колька. — У нее ноги все какие длинные, она не хуже козы бегаёт.

Исайка согласился тоже.

— Только, — говорит Исайка, — хоть у меня ноги и короткие, а я тоже хорошо бегаю, потому что Нюрка без припрыга бегаёт, а я с припрыгом.

Позвали Нюрку:

— Иди, Нюрка, с нами в лапту играть.

Нюрка сначала очень удивилась. Но потом видит, что ребята всерьез зовут.

— Я-то бы пошла, да мне сначала огурцы полить надо. А то взойдет солнце, и рассада повянет.

Увидели ребята, что дело это с полливкой долгое будет. Тут Исайка и выдумал:

— Давайте мы тоже поливать будем. Одни воду подтаскивать, другие поливать, тогда раз-раз — и готово. А то одна она и до полдня прокопается.

Так и сделали. Сыграли в лапту десять конов. Сбегали на речку искупаться. Потом Исайка с отцом уехали в город.

И с того-то самого дня подружались Васька и Колька с Нюркой.

Жили они от Москвы недалеко, в поселке, у самого края. Дальше начиналось поле, поросшее мелким кустарником. А еще дальше, на горке, виднелись мельница, церковь и несколько домиков с красными крышами — то ли станция, то ли деревенька, издали не разберешь. Как-то Васька спросил у отца, как называется эта деревенька.

— Это не настоящая, — ответил отец, — это все нарочно сделано.

— Как же не настоящая? — удивился Васька. — Как же не настоящая, когда и мельница, и церковь, и дома? Все видно.

— А так и не настоящая, — рассмеялся отец. — Отсюда кажется, что и мельница и дома... А подойдешь поближе, там ничего нет.

Удивился Васька, но не поверил. И решил, что отец посмеялся или просто сказал так, чтобы от него отстали.

Полез к Кольке через заборную дыру. Глядит, а Колька с Нюркой сидят на заборе и что-то интересное в поле высматривают. Обиделся Васька.

— Вы что же это, сами интересное высматриваете, а меня не позвали?

А Колька отвечает:

— Я давно уже хотел сбегать за тобой. Залезай скорее на забор. Посмотри, какие красноармейцы с пушками приехали.

Залез Васька, смотрит: совсем рядом в кустах кони стоят, повозки на двух колесах и пушки.

— Ну и ну! — сказал Васька. — Это что же такое дальше будет?

— А вот посмотрим, — ответила Нюрка. — Мы уже давно здесь сидим и все дождаемся.

— Ладно, — напомнил им Васька, — другой раз и я тоже раньше вашего сяду и вам ничего не скажу.

Но все-таки на этот раз они не поссорились, потому что в кустах начиналось что-то очень занятное.

Лошадей у каждой пушки было по шесть штук — по три пары на пушку. Лошади отцепились от пушек как-то сразу. Красноармейцы возле пушек забегали и что-то такое крутили, ворочали, потом отбежали назад. Остался рядом с пушкой только один. И тот, который остался, держал в руке длинный шнур, привязанный к пушке.

— Ты, Колька, не знаешь, зачем это он за шнурок держится? — спросил Васька, усаживаясь поудобнее.

— Не знаю, — сознался Колька, — только если держится, то уж, значит, так нужно.

— Обязательно так нужно, — подтвердила Нюрка.

— А то, если бы он не держался, тогда как же? — продолжал Колька.

— Ну конечно, — согласился Васька, — если бы не держался, тогда как же...

Но тут красноармейский командир, который стоял позади телефонной трубки, что-

то громко закричал. Другой командир, который стоял поближе к пушке, тоже что-то крикнул, махнул рукой; тогда красноармеец дернул за шнурок.

Сначала сверкнул огромный огонь. Потом так ударило, как будто бы громом грохнуло над самой печной трубой.

Ребята слетели с забора на траву.

— Ну и бабахнуло! — сказал Васька поднимаясь.

— Здорово бабахнуло, — согласилась побледневшая Нюрка.

— Это вот когда дернут, тогда и бабахает, — объяснил Колька. — А вы говорите — зачем шнурок да зачем! Я теперь сразу угадал зачем... А вот скажи, Васька, почему ты с забора соскочил и меня с Нюрок спихнул?

— Я не соскочил, — обиделся Васька. — Это Нюрка первая соскочила, тряхнула забор, и я свалился.

— Я не первая, — отказалась Нюрка. — Если бы я первая, то как же бы я Кольке на спину упала? Это он сам первый.

— Вот еще! — рассердился Колька. — Это ты просто побоялась в крапиву падать и нарочно выбрала так, чтобы мне на спину. А я вот не побоялся и всю руку изжег. — И, обернувшись к Ваське, он добавил: — Они все, девчонки, крапивы боятся. Куда уж им!

С тех пор красноармейцы с пушками приезжали часто. Только в среду да понедельник стрельбы не бывало, а то каждый день.

Как только приедут артиллеристы, так бегут ребята прямо к кустам. Сядут на бугорочке, совсем близко, и смотрят. С бугорочка все видно и все слышно. Телефонист послушает в трубку и потом говорит командиру:

— Прицел 6-5, трубка 7-2.

Тогда командир кричит:

— Второе орудие!.. Прицел 6-5, трубка 7-2.

И бегут сразу красноармейцы ко второму орудью. Покрутят какое-то колесо, и орудие немного вверх приподнимается. Покрутят другое, и ствол орудия немного в

сторону отойдет. Тут, когда нацелятся артиллеристы, махнет командир рукою, — дернет красноармеец-наводчик за шнурок. Вот тебе и трах-бабах!

Как летит снаряд, этого ребятам не видно. Но когда долетит и разорвется, то тогда уже видно, потому что над этим местом поднимается целое облако пыли и черного дыма.

И все снаряды рвались то около церкви, то около мельницы, то около домиков, которые виднелись далеко на горке.

— А страшно в той деревеньке жить! — сказала однажды Нюрка. — Я бы ни за что не осталась там жить. А ты, Васька?

— И я бы не остался, — ответил Васька. — А отчего это отец говорил, что там никакой деревеньки нет и все это только отсюда кажется?

— Деревенька есть, — решил Колька, — да только из нее перед стрельбой все уходит.

— А лошадей куда?

— И лошадей тоже уводят.

— И коров тоже? — спросил Васька.

— И коров тоже, и разных там свиней, и баранов.

— И куриц тоже уводят? — полюбопытствовала Нюрка. — И уток тоже... и всех?

— Должно быть, уж и всех, — ответил Колька и замолчал, потому что самому ему чудным показалось такое дело.

Тут как раз стрельба окончилась, подвезли красноармейцам котел на колесах — кухню. Стал наливать им повар в котелки что-то — суп или борщ, а красноармейцы садились тут же на траву и ели.

Тогда Васька сказал:

— Побежим домой, я что-то тоже поесть захотел.

Но Колька остановил:

— Погоди-ка немного: сюда командир едет.

Подъехал верхом командир. И возле самого бугорка остановился: закурить захотел. Вынул папиросы, вынул спички, стал зажигать, да то ли коня слепень укусил, то ли просто он забаловался, а только дернул коня и зафыркал.

Ухватился командир за повод.

— Стой, — говорит, — шальной! Чего крутишься? — А спички-то и выронил.

— Ребята, — попросил командир, — подайте-ка мне спички.

Васька всех ближе стоял. Схватил он коробку, да поскользнулся и упал. А Кольке обидно стало, что Васька подавать хочет. Подскочил он к Ваське и вырвал у него коробку. Васька как заорет да Кольку кулаком по голове. Тут и началась у них драка. А Нюрка тем временем тихонько, боком, боком... подобрала спички, да и подала их командиру. Вот тебе и тихоня!

Посмеялся над ребятами командир, сказал им «спасибо» и ускакал.

Тогда Васька и Колька перестали драться и хотели отлупить Нюрку: зачем она со спичками вперед сунулась.

Но Нюрка испугалась и убежала. А разве ее, длинноногую, догонишь?

Так вот и поссорились ребята.

На другой день ни Васька к Кольке через заборную дыру не лезет, ни Колька к Ваське. А Нюрка тоже у себя на дворе возится.

Походил-походил по двору Васька — скучно! Достал палку, сел на нее верхом и проехал кругом двора три раза — все равно скучно.

Заглянул он в дыру — видит: Колька с луком и стрелами ходит. В фуражку перо воткнул и будто бы индеец. Обидно стало Ваське. Просунул он голову в дыру и закричал:

— Отдай, Колька, перо! Оно не твое, а наше. Это ты у нашего петуха из хвоста выщипал.

Тут Колька поднял с грядки ком земли. Как запустит его в Ваську, да прямо в живот! Хоть и не больно было Ваське, а все-таки он заревел.

Васькина мать на крыльцо вышла и начала Кольку ругать. Да и Ваське заодно попало. На другой день ребята — враги. На третий день — враги тоже.

А тут как раз подошло грибное время. Другие ребяташки с соседних улиц соберутся с утра и идут или в Борковский лес, или на Тихие овраги. Глядишь, к обеду та-

шат — кто корзинку, кто лукошко. Да грибы-то все какие — белые! Сахар, а не грибы.

А Ваське одному итти скучно, он и не идет. Колька тоже не идет. А Нюрка и по-давно: скучно одной.

Сидит как-то Васька у себя на дворе и играет в поезд. Паровоз у него не настоящий, а из ящичков сделан, но все-таки интересно. Приладил он старую самоварную трубу, да и дудит: ду-у-у-у! А сам раскачивается. Ящики хотя и не едут, но стучаются один о другой: так-так-так-так! Ну, прямо как вагоны!

Вдруг слышит Васька — упало что-то рядом. Видит — стрела. И видит он, что высунул из дыры голову Колька. И жалко этому Кольке нечаянно улетевшей стрелы, и боится он пролезть за нею.

Посмотрел Васька и говорит:

— А хочешь, Колька, я тебе стрелу подам?

Слез с паровоза, поднял стрелу и подал Кольке. Взял Колька стрелу, ничего не сказал и ушел.

Походил-походил, а потом высунулся опять из дыры и кричит:

— А у меня, Васька, свисток, как у кондуктора, есть. Хочешь, я тебе дам поиграть? Только не насовсем.

Принес Колька свисток, да так и остался на Васькином дворе. Наигрались и сговорились завтра утром за грибами итти.

Подошел Колька к забору и кричит:

— Нюрка, пойдешь завтра за грибами? А Нюрка боится.

— Вы, — говорит, — опять драться будете.

— Ну вот — драться! Что мы, хулиганы, что ли? Это только хулиганы каждый день дерутся. А мы разве каждый?

Так и помирились.

Васька был неграмотным — мал еще. А Колька немного грамоте знал. Вечером, перед тем как лечь спать, подошел он к календарю, оторвал листочек и прочел на нем: «Вторник». Посмотрел на оставшийся листок и прочел: «Среда».

«Завтра уж среда», подумал Колька и похвалился:

— А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередке недели висит. Верно я говорю?

— Верно, — согласилась мать. — Ты бы лучше спать шел.

«И то правда, — подумал Колька. — Завтра вставать за грибами рано... в шесть часов».

Когда Колька уснул, вернулся с какого-то собрания отец. Посмотрел он на календарь и спросил:

— Разве у нас завтра среда?

— Нет, — ответила мать, — завтра еще только вторник. Это Колька по ошибке лишний листок вырвал. Вот оно и получилось, что завтра среда.

Вероятно, Колька и Васька проспали бы, если бы их не разбудила Нюрка.

Солнце еще только взошло, трава была мокрая, и сначала босым ногам было холодно.

Направились в перелесок.

Но грибов в перелеске попадалось немного, и ребята решили свернуть к Тихим оврагам, где кусты были погуще, а место посуше.

В корзине у Нюрки и Кольки лежало уже по нескольку штук, а у Васьки все еще ни одного.

— Ты, Нюрка, не иди со мной рядом, — попросил он, — а то все раньше меня срываешь. Ты иди лучше вбок, там и срывай.

— А ты не зевай! — ответила Нюрка и, кинувшись в кусты, вытащила оттуда большой крепкий березовик. — Вот смотри, какой ты гриб прозевал!

— Я не прозевал, — уныло ответил Васька, — я только хотел за куст посмотреть, а ты уже и выскочила.

Но вскоре, когда очутились они возле Тихих оврагов, грибы начали попадаться так часто, что даже Васька нашел четыре осиновика да один белый — здоровый и без одной червинки.

Так бродили они по кустам долго, и уже высоко поднялось солнце и подсохла роса на полянках, когда вышли они на опушку.

— А ну-ка... а ну-ка, — сказал Колька, — посмотрите, ребята, куда мы зашли.

Высокий кустарник кончился. Дальше, насколько хватал глаз, расстилалось перед ними холмистое, покрытое мелкой порослью поле. И через то поле не пролегала ни одна проезжая дорога — всюду только кустики да трава. Торчало на том поле несколько высоких деревянных башенок с пустыми площадками наверху. А вправо, не дальше чем за километр, увидели ребята ту самую деревеньку с мельницей и церковью, которая видна была с окраины их поселка.

— Пойдемте посмотрим, — предложил Колька. — Мы скоренько... Посмотрим только, а потом спустимся под гору, да все прямо, прямо... Так к дому и выйдем.

— А вдруг стрелять начнут?

— А что, если красноармейцы приедут? — почти в один голос спросили Васька и Нюрка.

— Сегодня не приедут. Сегодня среда, — успокоил их Колька. — Пойдемте посмотрим, да и домой.

Итти пришлось по кочковатому, поросшему полю. И чем ближе подходили они, тем чаще попадались им бугры свежей, еще не заросшей травой земли, узкие глубокие канавы и круглые, залитые дождевой водой ямки.

Казалось, что огромный крот еще совсем недавно рылся в этом пустом и тихом поле.

— Это от снарядов, — догадался Колька. — Попадет снаряд в землю, рванет — вот тебе и яма. А вот это окопы. Сюда от пуль солдаты прячутся во время войны.

— Грязно очень, Колька, — с недоумением заглядывая в сырую глиняную канаву, сказала Нюрка. — Сюда если спрячешься, то вся вымажешься.

Но тут Васька, копавшийся около маленького кустика с почерневшей, точно опаленной листвой, закричал:

— Вот и нашел! Вот это так нашел!

И он побежал к ним, держа что-то в руках.

Сначала ребята думали, что он тащит гриб, но когда он подбежал, то увидели они, что это не гриб, а толстый кусок металла с неровными острыми краями.

— Это осколок от снаряда, — опять догадался Колька. — Ты отдай мне его, Васька. Я тебе за него три гриба дам... Потрогай-ка, Нюрка, какой он тяжелый.

Но Нюрка поспешно отдернула руку и стала за спину Васьки.

— Положи его, Коленька, — робко попросила она, — а то вдруг он да и выстрелит.

— Глупая! — успокоил ее Колька. — Он уже выстреленный. Как же он без пороха выстрелит? Дай мне его, Васька, — попросил он опять, — а я тебе за него три гриба дам. Да еще стрелу с гвоздем дам, как только домой придем.

— Что грибы! — ответил Васька, бережно засовывая осколок в корзину. — Грибы съешь, да и все. Я лучше не дам тебе его, Колька. Пускай он у меня будет... — Он помолчал, потом добавил: — А ты будешь приходить и смотреть. Как только ты попросишь, так я тебе и дам посмотреть. Что мне, жалко, что ли? Смотри, сколько хочешь.

Они подходили к деревеньке. Не видно было ни мужиков, ни ребятишек. Не хрюкали свиньи, не мычали коровы, не лаяли собаки, как будто бы все повымерло.

— Я говорил, что все ушли отсюда! — тихо сказал Колька. — Разве же тут можно жить: смотри, какие снарядные ямины.

Сделали еще несколько шагов и остановились, широко вытаращив глаза. Только теперь разглядели они, что деревеньки-то никакой и нет. И мельница, и церковь, и домики сделаны были из тонких выкрашенных досок, без стен и без крыш.

Как будто бы кто-то огромными ножницами вырезал раскрашенные картинки и приклеил их на подставке среди зеленого поля.

— Вот так деревня! Вот так мельница! — закричал Васька. — А мы-то думали, думали...

Со смехом вбежали ребята в игрушечную деревеньку. Кругом росла высокая трава; было тихо. Жужжали шмели и порхали яркие бабочки.

Ребята бегали вокруг раскрашенных домиков, рассматривая их со всех сторон. Здесь же неподалеку были врыты столбы,

к которым были прибиты тяжелые, толстые доски, в некоторых местах разорванные и расщепленные снарядами. Это были мишени, по которым стреляли артиллеристы. Перед обманчивой деревенькой тянулись в два ряда изломанные окопы, окутанные ржавой колючей проволокой.

Вскоре ребята наткнулись на какой-то погреб. Дверь в погреб была приоткрыта. С робостью спустились они по каменным ступенькам и очутились в глубоком каменном подвале. В подвале стояла скамья. К стене была приделана полочка, а на полочке торчал небольшой огарок.

— Зажжем свечку, — предложил Колька. — У меня спички есть. Я с собой захватил, чтобы костер разжечь.

Он достал спички, но тут они услышали доносившийся сверху лошадиный топот.

— Побежим лучше домой, — тихо предложила Нюрка.

— Сейчас побежим. Там, наверху, кто-то есть. Как только проедут, так и побежим. А то заругаться могут. «Вы, — скажут, — зачем сюда лазили?»

Топот смолк. Ребята выбрались из погреба и увидели, как скачут, удаляясь, двое кавалеристов.

— Посмотри на вышку, — показал Васька, — вон на ту... Туда кто-то забрался.

Посмотрели — и верно: на одной из вышек сидел человек, и отсюда он казался маленьким-маленьким, как воробей.

Хотели уже бежать домой, но тут Васька захныкал, потому что в погребе он позабыл осколок.

Полезли опять. Зажгли свечку. Теперь, при тусклом свете, можно было разглядеть сырые толстые стены из цемента и потолок, насланный из крепких железных балок.

Вдруг глухой далекий гул заставил вздрогнуть ребятишек. Как будто где-то упало на землю огромное тяжелое бревно.

— Колька, — шопотом спросила Нюрка, — что это такое?

— Не знаю, — также шопотом ответил он.

Гул повторился, но теперь грохнуло уже совсем близко. Ребятишки притихли и робко жались друг к другу. Васька раскрыл

рот и, крепко сжимая найденный осколок, смотрел на Кольку. Колька хмурился, а по щеке у Нюрки покатила слеза, и она сказала жалобно, готовая вот-вот заплакать:

— А мне, Колька, кажется... мне что-то кажется, что сегодня вовсе и не среда...

— И мне тоже, — уныло сказал Васька. И вдруг громко заплакал, а за ним и остальные.

Долго плакали притаившиеся в углу, повалившиеся в беду ребяташки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх затем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалеку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали Васька с Нюркой, сел с ними рядом.

Поплавав немного, он опять пополз наверх, к тяжелой, окованной железом двери погребца, захлопнул ее и отполз вниз.

Гул сразу стих, и только по легкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжелый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалеку.

— До нас не дострелят, — еще всхлипывая, но уже успокаивая своих друзей, сказал Колька. — Мы вон как глубоко сидим! И стены из камня, и потолок из железа. Ты... не плачь, Нюрка, и ты не плачь, Васька. Вот скоро кончат стрелять, тогда мы вылезем, да и побежим.

— Мы бы-ы... мы бы-ы-ст-ро побегим... — глотая слезы, откликнулась Нюрка.

— Мы как... мы как припустимся, как припустимся, так и сразу домой, — добавил Васька. — Мы прибежим домой и никому ничего не скажем.

Огарок догорал. Пламя растопило последний кусочек стеарина. Фитиль упал и погас. Стало темно-темно.

— Колька, — прохныкала Нюрка, отыскивая в темноте его руку, — ты сиди тут, а то мне страшно.

— Мне и самому страшно, — сознался Колька и замолчал.

И в погребе стало тихо-тихо. Только

сверху едва доносились заглушенные отзвуки частых ударов, как будто бы кто-то вколачивал в землю тяжелые гвозди гигантским молотом.

— Колька, Васька! — опять раздался жалобный голос Нюрки. — Вы чего молчите? И так темно, а вы еще молчите.

— Мы не молчим, — ответил Колька. — Мы с Васькой думаем. Ты сиди и тоже думай.

— Я вовсе и не думаю, — откликнулся Васька, — я просто так сижу.

Он заворочался, пошарил, нащупал чью-то ногу и дернул за нее.

— Это твоя нога, Нюрка?

— Моя! — отдергивая ногу, закричала испугавшаяся Нюрка. — А что?

— А то, — сердитым голосом ответил Васька, — а то... что ты своей ногой прямо в мою корзину и какой-то гриб раздавила.

И как только Васька сказал про гриб, так сразу же веселей стало и Кольке, и Нюрке, и самому Ваське.

— Давайте разгсваривать, — предложил Колька, — или давайте песню споем. Ты пой, Нюрка, а мы с Васькой подпевать будем. Ты, Нюрка, будешь петь тонким голосом, я — обыкновенным, а Васька — толстым.

— Я не умею толстым, — отказался Васька. — Это Исайка умеет, а я не умею.

— Ну, пой тогда тоже обыкновенным... Начинай, Нюрка.

— Да я еще не знаю, какую, — смутилась Нюрка. — Я только мамину знаю, какую она поет.

— Ну, пой мамину...

Слышно было, как Нюрка шмыгнула носом. Она провела рукой по лицу, насухо вытирая остатки слез, потом облизала губы и запела тоненьким, еще немного прерывающимся голосом:

Ушел казак на войну.
Бросил дома он жену,
Бросил свою деточку,
Дочку-малолеточку.

— Ну, пойте последние слова: «Бросил свою деточку», — подсказала Нюрка.

И когда Колька с Васькой пропели, то Нюрка еще звончее и спокойнее продолжала:

С той поры прошли года,
Прошли, прокатились.
Все казаки по домам
Давно воротились.
Только нету одного,
Всеми позабытого,
Казачонка моего —
И-э-эх! — давно убитого...

Нюрка забирала все звончее и звончее, а Колька с Васькой дружно подпевали обыкновенными голосами. И только когда наверху грохало уж очень сильно, то голоса всех троих чуть вздрагивали, но песня все же, не обрываясь, шла своим чередом.

— Хорошая песня, — похвалил Колька, когда они кончили петь. — Я люблю такие песни, чтобы про войну и про героев. Хорошая песня, только что-то печальная.

— Это мамина песня, — объяснила Нюрка. — Когда у нас на войне папу убили, вот она такую песню все и пела.

— А разве у тебя, Нюрка, отец казак был?

— Казак. Только он не простой казак был, а красный казак. То все были белые казаки, а он был красный казак. Вот его за это белые казаки и зарубили. Когда я совсем маленькая была, то мы далеко — на Кубани — жили. Потом, когда папу убили, мы сюда, к дяде Федору, на завод приехали.

— Его на войне убили?

— На войне. Мать рассказывала, что он был в каком-то отряде. И вот говорит один раз начальник отцу и еще одному казаку: «Вот вам пакет. Скачите в станицу Усть-Медвединскую, пусть нам помощь подают». Скажут отец да еще один казак. Уже и кони у них устали, а до Усть-Медвединской все еще далеко. И вдруг заметили их белые казаки и пустились за ними вдогонку. У белых казаков лошади свежие, того и гляди догонят. Тогда отец и говорит еще одному казаку: «На тебе, Федор, пакет, и скачи дальше, а я возле мостика останусь». Слез с коня возле мостика, лег и начал стрелять в белых казаков. Долго стрелял, до тех пор, пока не пробрался

казаки сбоку, через брод. Тут они и зарубили его. А Федор — это другой-то казак — в это время далеко уже ускакал с пакетом, так и не догнали его. Вот какой у меня папа казак был! — закончила рассказ Нюрка.

Сильный грохот заставил вскрикнуть ребяташек. Должно быть, ветром распахнуло верхнюю дверь, и раскаты взрывов ворвались в погреб.

— Колька... за-к-крой! — заикаясь, закричал Васька.

— Закрой сам, — ответил Колька. — Я уже закрывал.

— Закрой, Колька! — громко расплакавшись, повторил Васька.

— Эх, ты! — неожиданно вставая, крикнула возбужденная своим же рассказом Нюрка. — Эх, вы!.. — Она отбросила Васькину руку, добралась до верхней двери, захлопнула ее и задвинула на запор.

Гул смолк.

Опять замолчали. И так сидели долго. До тех пор, пока Колька, который чувствовал себя виноватым и перед маленьким Васькой и перед Нюркой, не сказал:

— А ведь наверху-то больше не стреляют.

Прислушались — наверху тихо. Подождали еще минут десять — так же тихо.

— Бежим домой! — вскакивая, крикнул Колька.

— Домой, домой! — обрадовался Васька. — Вставай, Нюрка!

— Я боюсь... — захныкала Нюрка. — А вдруг опять...

— Бежим! Бежим! — в один голос закричали Колька и Васька. — Не бойся, мы как припустимся...

Выбрались наверх. После черного подвала день показался сияющим, как само солнце.

Осмотрелись.

Тяжелые деревянные щиты, что стояли не очень далеко от погреба, были разбиты. Повсюду валялись разбросанные щепки и чернели ямы возле еще не обсохшей, раскиданной земли.

— Бежим, Нюрка! Дай я возьму твою

корзину, — подбадривал ее Колька. — Мы быстренько...

Перепрыгнули через окоп, пробрались через проход среди колючей разорванной проволоки и побежали под гору.

Толстый Васька с неожиданной прытью помчался впереди, одной рукой держа корзину, другой — крепко сжимая драгоценный осколок.

Колька и Нюрка бежали рядом, и Колька свободной левой рукой помогал ей тащить большую неуклюжую корзину.

Они уже спустились со ската и бежали теперь по мелкой поросли, как воздух опять задрожал, загудел, и снаряд, пронесаясь где-то поверху, разорвался далеко позади них. Нюрка неожиданно села, как будто бы в ноги ей попал осколок.

— Бежим, Нюрка! — закричал Колька, бросая свою корзину и хватая ее за руку. — Бросай корзину! Бежим!

Артиллерийский наблюдатель с площадки вышки заметил среди мелкого кустарника три движущиеся точки.

«Вероятно, козы», подумал он, поднося к глазам бинокль. Но, присмотревшись, он ахнул и, схватив телефонную трубку, крикнул на батарею, чтобы перестали стрелять.

В бинокль он ясно видел, как, то показываясь, то исчезая за кустами, по полю мчались двое мальчуганов и одна девочка.

Один мальчуган крепко держал за руку девочку. Другой, путаясь ногами в высокой траве и спотыкаясь, бежал немного позади, крепко прижимая что-то обеими руками к груди. Затем он увидел, как из-за кустов выскочили двое посланных с батареи кавалеристов и, остановившись около ребят, соскочили с коней.

Конвоируемые двумя красноармейцами, ребята дошли до батарей. Командир был рассержен тем, что пришлось остановить учебную стрельбу, но, когда он увидел, что виноваты в этом трое перепуганных и плачущих малышей, он не стал сердиться и подозвал их к себе.

— Как они пробрались через оцепление? — спросил он.

Ребята молчали. И за них ответил один из конвоиров:

— А они, товарищ командир, забрались еще спозаранку, до того, как было выставлено оцепление. А потом, когда наши разъезды кусты осматривали, так они говорят, что в погребе сидели. Я думаю, что они в четвертом блиндаже прятались. Они как раз с той стороны бежали.

— В четвертом блиндаже? — переспросил командир. И, подойдя к Нюрке, погладил ее. — В четвертом блиндаже! — повторил он, обращаясь к своему помощнику. — А мы-то как раз этот участок обстреливали. Бедные ребята!

Он провел рукой по разлохматившейся голове Нюрки и спросил ласково:

— Скажи, девочка, а зачем вы туда забрались?

— А мы деревеньку... — тихо ответила Нюрка.

— Мы хотели деревеньку посмотреть, — добавил Колька.

— Мы думали — она настоящая, а там одни доски! — вставил Васька, ободренный добрым видом командира.

Тут командир и красноармейцы заулыбались. Командир посмотрел на Ваську, который прятал что-то за спину.

— А что это у тебя в руках, мальчуган?

Васька засопел, покраснел и молча протянул командиру снарядный осколок.

— Это он не взял, это он под кустом нашел, — заступился за Ваську Колька.

— Это я под кустом, — виновато ответил Васька.

— Да зачем он тебе нужен?

Тут командир опять заулыбался, а обступившие их красноармейцы громко рассмеялись. И Васька, который никак не мог понять, над чем они смеются, ответил им нахмурившись:

— Так ведь такого осколка ни у кого нет, а у меня теперь есть.

— Ну, бегите, — сказал им командир. — Эх, вы, малыши!

Он повернулся, посмотрел в записную книжку и закричал уже совсем другим голосом — громким и строгим:

— Стрелять третьему орудию! Прицел 6-6, трубка 6-2!

Трах-бабах! — грохнуло позади ребят, когда вприпрыжку, довольные тем, что легко отделались, понеслись они домой. Трах-бабах... Но это уже было не страшно.

В выходной день приехал с отцом Исайка. Привез он с собой ружье, которое стреляло пробками, и стал хвалиться ружьем перед Васькой. И странное дело: на этот раз Ваське нисколько не завидно было, что у Исайки есть ружье, а у него нет.

Пока Колька и Нюрка рассматривали и хвалили Исайкино ружье, Васька пошел домой, отодвинул ящик, в котором лежали сломанный ножик, мячики — один с дыркой, большой, другой без дырки, маленький, — молоток, гайки, три гвоздя и еще кое-что из его имущества. Он вынул из этого ящика бережно завернутый осколок и понес его Исайке.

— А у меня вот что есть, Исайка, — сказал он, подавая осколок.

Но Исайка то ли глуп был, то ли не хотел показать вида, только он равнодушно посмотрел на осколок и сказал Ваське:

— Ну, это-то что! У нас в чулане старых железин сколько хочешь.

Васька даже не обиделся. Он посмотрел на Нюрку, на Кольку; они хитро улыбались друг другу и вчетвером побежали на окраину, где начиналось военное поле.

Артиллеристы в тот день не приезжали. Ребята показали Исайке, где становятся

пушки, объяснили ему, для чего среди поля стоят деревянные башенки. Рассказали ему, какая странная раскинулась на горе деревенька, около которой и окопы и каменный, с железным потолком погреб, который называется «блиндаж». Они рассказали ему, как попали в блиндаж и как сидели там до тех пор, пока не окончилась стрельба.

Исайка слушал с любопытством, но когда они кончили рассказ, то он сказал довольно равнодушно.

— Жалко, что меня с вами не было. А то я бы тоже полез сидеть. Пойдемте, сыграем в чижа.

И опять улыбнулись Васька, Колька и Нюрка.

Глупый, глупый Исайка! Он думает, что в блиндаже сидеть так же просто, как играть в чижа.

Он не слышал еще ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрывающегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжелую дверь блиндажа, как Кольке и Нюрке, и не приходилось бежать с тяжелым осколком в руках по изрытому воронками полю, как Ваське.

И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребенком.

А когда Исайка поднял на них свои глаза, удивленные и обиженные этим непонятым смехом, то они схватили его за руки и потащили играть в чижа.

1931 г.





ДЫМ В ЛЕСУ



ОЯ мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса.

На нашем дворе в шестнадцатой квартире жила девочка. Звали ее Феня. Ее отец был летчиком.

Однажды, когда Феня стояла на дворе и смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету.

Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и глядел на запад, где далеко за рекой Кальвой, как говорят, на сухих торфя-

ных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес.

Но огня я не увидел, а разглядел только облачко белесоватого дыма, едкий запах которого доносился к нам до поселка и мешал людям сегодня ночью спать.

Услыдав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился в спину мальчишки. Он взвыл от страха. Выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь.

Я сказал Фене, чтоб она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету. Потому что если все люди будут доедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало.

А чтобы даром добро не пропадало, мы подманили серого кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался — должно быть, думал, что суют чурку или камень. Но когда раскусил, то весь затрясся, задержался от радости и стал нас хватать за ноги.

— Я бы попросила у мамы другую, — задумчиво сказала Феня, — только мама сегодня сердитая и, пожалуй, другой не даст.

— Должна дать, — решил я. — Пойдем к ней вместе. Я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжалится.

Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была шестнадцатая квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что было ей тогда года четыре, ну, может быть, пять, а мне уже давно пошел двенадцатый.

Мы поднялись на самый верх и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик.

Дверь в квартиру была не заперта, и едва мы вошли, как Фенина мать бросилась дочке навстречу. Лицо ее было заплакано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку.

— Горе ты мое горькое! — воскликнула она, подхватывая Феню на руки. — И где ты так измызгалась, извзякалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое создание! Ой, у меня и без тебя беды немало!..

Все это она говорила быстро-быстро. А сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук. Тут же смахивала со своих щек слезы и, видать, куда-то очень торопилась.

— Мальчик, — попросила она, — ты человек хороший. Ты мою дочку любишь. Я через окно все видела. Остаешься с Феней на час в квартире. Мне очень некогда. А я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю.

Она положила руку мне на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво.

Я был занят, мне пора было идти к сапожнику за маминими ботинками, но я не смог отказаться и согласился, потому что когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми, тревожными словами, то, значит, пустяк этот совсем не пустяк и, значит, беда ходит где-то совсем рядом.

— Хорошо, мама, — вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня. — Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно.

— Возьмите сами, — ответила мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.

— Ой, да она от комода все ключи оставила. Вот чудо! — стаскивая со стола связку, воскликнула Феня.

— Что же тут чудесного? — удивился я. — Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники.

— Мы не разбойники, — согласилась Феня. — Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот недавно разлилось варенье и потекло на пол.

Мы достали по конфете да по прянику, а кутенку Брутику кинули сухую баранку и намазали нос медом.

Мы подошли к распахнутому окошку.

Гей! Не дом, а гора. Как с крутого утеса, отсюда видны были и зеленые поляны, и длинный пруд, и кривой овраг, за которым один рабочий убил зимой волка. А кругом леса, леса...

— Стой, не лезь вперед, Фенька! — вскрикнул я, сталкивая ее с подоконника. И, закрывшись ладонью от солнца, я глянул в окно.

Что такое? Это окно выходило совсем не туда, где речка Кальва и далекие, в дыму, торфяные болота. Однако не больше как в трех километрах из чащи леса поднималась густая туча крутого темносерого дыма. Как и когда успел туда пожар перейти, это было мне непонятно.

Я обернулся. Лежа на полу, Брутик жадно грыз брошенный Феней пряник, а сама Феня стояла в углу и смотрела на меня злыми глазами.

— Хулиган! — сердито сказала она. — Тебя мама оставила со мной играть, а ты зовешь меня Фенькой и от окна толкаешься. Возьми тогда и уходи совсем из нашего дома!

— Фенечка, — позвал я, — беги сюда скорее, смотри, что внизу делается!

Внизу же делалось вот что.

Промчались галопом по улице два всадника.

С лопатами за плечами мимо памятника Кирову по круглой Первомайской площади торопливо прошагал отряд человек в сорок.

Распахнулись главные ворота завода, и оттуда выкатились пять грузовиков, набитых людьми доотказа. С воем обгоняя пеший отряд, грузовики исчезли за поворотом у школы.

Внизу по улицам стайками шныряли мальчишки. Они, конечно, всё уже разнюхали, разужнали. Я же должен был сидеть и караулить девчонку. Обидно!

Но когда наконец завывла пожарная сирена, я не вытерпел.

— Фенечка, — попросил я, — ты посиди здесь одна, а я не надолго во двор сбегаяю.

— Нет, — отказалась Феня, — теперь я боюсь. Ты слышишь, как оно воет?

— Экое дело, воет! Так ведь это труба, а не волк воет! Что она тебя, съест, что ли? Ну хорошо, ты не хнычь. Давай с тобой вместе во двор спустимся. Мы там постоим минутку — и назад.

— А дверь? — хитро спросила Феня. — Мама от двери ключей не оставила. Мы хлопнем, замок защелкнется, и тогда как? Нет, Володька, ты уж лучше сядь тут и сиди.

Но мне не сиделось. Поминутно бросался я к окну и громко досадовал на Феню.

— Ну почему я должен тебя караулить? Что ты, корова или лошадь? Или ты не можешь маму одна дожидаться? Другие девчонки всегда сидят и ждут. Возьмут какую-нибудь тряпку, лоскутик... куклу сделают — ай-ай, бай-бай. Ну, не хочешь тряпку — сидела бы слона рисовала, с хвостом, с рогами.

— Не могу, — упрямо ответила Феня. — Я если одна останусь, то могу открыть кран, а закрыть позабуду. Или могу раз-

лить на стол всю чернильницу. Вот один раз упала с плиты кастрюля, а другой раз застрял в замке гвоздик. Мама пришла, ключ толкала-толкала, а дверь не открывается. Потом позвала дядьку, и он замок выломал. Нет, — вздохнула Феня, — одной оставаться очень трудно.

— Несчастная! — завопил я. — Кто же это тебя заставляет открывать кран, опрокидывать чернила, спихивать кастрюли и заталкивать в замок гвозди? Я бы на месте твоей мамы взял веревку да вздул тебя хорошенько.

— Дуть нельзя, — убежденно ответила Феня и с веселым криком бросилась в переднюю, потому что вошла ее мать. Быстро и внимательно посмотрела она на свою дочку. Оглядела комнату и, усталая, опустилась на диван.

— Пойди вымой лицо и руки, — приказала она Фене. — Сейчас за нами придет машина, и мы поедим на аэродром, к папе.

Феня взвизгнула, наступила на лапу Брутику, сдернула с крючка полотенце и, волоча его по полу, убежала на кухню.

Меня бросило в жар. Я еще ни разу не был на аэродроме, который находился километрах в пятнадцать от нашего завода.

Даже в День авиации, когда всех школьников возили туда на грузовиках, я не поехал, потому что перед этим я выпил четыре кружки холодного квасу, чуть не оглох и, обложенный грелками, целых три дня лежал в постели.

Я проглотил слюну и осторожно спросил у Фениной матери:

— И долго вы там с Феней на аэродроме будете?

— Нет. Мы только туда и сейчас же обратно.

Пот выступил на моем лбу, и, вспомнив обещание сделать для меня добро, набравшись смелости, я попросил:

— Знаете что, возьмите и меня с собой на аэродром.

Фенина мать ничего не ответила и, казалось, просьбы моей не слыхала. Она подвинула к себе зеркальце, провела напудренной ватой по своему бледному лицу, что-то прошептала, потом поглядела на меня.

Должно быть, вид мой был очень смешон и печален, потому что, слабо улыбнувшись, она одернула съехавший мне на живот пояс и сказала:

— Хорошо! Я знаю, что ты любишь мою дочку. И если тебя дома отпустят, тогда поезжай.

— Он меня вовсе не любит, — вытирая лицо, сурово ответила из-под полотенца Феня. — Он обозвал меня коровой и сказал, чтобы меня дули.

— Но ты же меня, Фенечка, первая обругала, — испугался я. — И потом, я просто пошутил. Я же за тебя всегда заступаюсь.

— Это верно, — с азартом растирая полотенцем щеки, подтвердила Феня. — Он за меня всегда заступается. А Витька Крюков только один раз. А есть такие, сами хулиганы, что ни одного раза.

Я помчался домой, но во дворе наткнулся на Витьку Крюкова. И тот, не переводя духа, выпалил мне разом, что через границу к нам пробрались три белогвардейца и это они подождли лес, чтобы сгорел наш лучший завсд.

Тревога! Я ворвался в квартиру, но тут было все тихо и спокойно. За столом, склонившись над листом бумаги, сидела моя мама и маленьким циркулем наносила на чертеж какие-то кружочки.

— Мама, — взволнованно окликнул я, — ты дома?

— Осторожней, — ответила мать, — не тряси стол.

— Мама, что же ты сидишь? Ты уже слышала про белогвардейцев?

Мать взяла линейку и провела по бумаге длинную тонкую черточку.

— Мне, Володька, некогда. Ну, перебежали. Ну, их и без меня скоро поймают. Ты бы сходил к сапожнику за моими ботинками.

— Мама, — взмолился я, — до того ли теперь? Можно, я поеду с Феней и ее матерью на аэродром? Мы только туда и сейчас же обратно.

— Нет, — ответила мать. — Это ни к чему.

— Мама, — настойчиво продолжал я, — помнишь, как вы с папой хотели взять меня на машине в Иркутск? И я уже собрался, но пришел еще какой-то товарищ. Места нехватало, и ты тихонько попросила (тут мать оторвалась от чертежа и на меня посмотрела), и ты меня попросила, чтобы я не сердился и остался. И я тогда не сердился, замолчал и остался. Ты это помнишь?

— Да, теперь помню.

— Можно, я с Феней поеду на машине?

— Можно, — ответила мать и огорченно добавила: — варвар ты, а не человек, Володька! У меня и так времени в обрез до зачета, а теперь я сама должна идти за ботинками.

— Мама, — счастливо забормотал я, — а ты не жалеешь... Ты надень свои новые туфли и красное платье. Погоди, я вырасту — подарю тебе шелковую шаль, и совсем ты у нас будешь, как грузинка.

— Ладно, ладно, проваливай! — улыбнулась мать. — Заверни себе на кухне две котлеты и булку. Ключ захвати, а то вернешься, меня дома не будет.

Я быстро собрался. В левый карман затолкал сверток, в правый сунул оловянный, но похожий на настоящий браунинг и выскочил во двор, куда как раз въезжала легковая машина.

Первой прибежала Феня, за ней Брутик. Мы важно сидели на мягких кожаных подушках, а маленькие ребятишки толпились вокруг машины и нам завидовали.

— Знаешь что, — покосившись на шофера, сказала мне шопотом Феня: — давай возьмем с собой Брутика. Посмотри, как он прыгает и вихляется.

— А твоя мама?

— Ничего. Она сначала не заметит, а потом мы скажем, что сами не заметили. Иди сюда, Брутик!.. Да иди ты, дурачок лохматый!

Схватив кутенка за шиворот, она втащила его в кабину, затолкала в угол, закрыла платком и, такая хитрющая девка, заметив подхажившую мать, стала пристально разглядывать электрический фонарик на потолке кабины.

Машина выкатилась за ворота, поверну-

ла и помчалась по шумной и встревоженной улице. Дул сильный ветер, и запах дыма уже заметно щипал ноздри.

На ухабистой дороге машину качало и подбрасывало. Кутенок Брутик, высунув голову из-под платка, недоуменно прислушивался к тарахтению мотора.

По небу металась встревоженные галки. Пастухи громким щелканьем бичей сердито сгоняли обеспокоенное и мычашее стадо. Возле одинокой сосны стояла стреноженная лошадь и, насторожив уши, нюхала воздух.

Промчался мимо нас мотоциклист. И так быстро летела его машина, что только успели мы обернуться к заднему окошечку, как он уже показался нам маленьким-маленьким, как шмель или даже как простая муха.

Мы подъехали к опушке высокого леса, и тут красноармеец с винтовкой загородил нам дорогу.

— Дальше нельзя, — предупредил он, — поворачивайте обратно.

— Можно, — ответил шофер: — это жена летчика Федосеева.

— Хорошо, — сказал тогда красноармеец, — вы подождите.

Он вынул свисток и, вызывая начальника, дважды свистнул.

Пока мы ожидали, подошли еще двое военных. Они держали на привязи огромных собак. Это были ищейки из отряда охраны — овчарки Ветер и Лютта.

Я поднял Брутика и сунул его в окошко. Увидав таких страшил, он робко вильнул хвостиком. Но Ветер и Лютта не обратили на него никакого внимания.

Подошел человек без винтовки, с наганом. Узнав, что это едет жена летчика Федосеева, он приложил руку к козырьку и, пропуская нас, махнул рукой часовому.

— Мама, — спросила Феня, — отчего если едешь просто, то тогда нельзя, а если скажешь «жена летчика Федосеева», то тогда можно? Хорошо быть женой Федосеева. Правда?

— Молчи, глупая! — ответила мать. — Что ты городишь, и сама не знаешь!

Запахло сыростью. В просвет между деревьями мелькнула вода. И вот оно раскинулось справа — длинное и широкое озеро Куйчук.

Странная, невиданная картина открылась перед нашими глазами. Дул ветер, белыми барашками пенились волны озера, а на далеком противоположном берегу ярким пламенем горел лес. Даже сюда, через озеро, за километр, вместе с горячим воздухом доносился гул и треск.

Охватывая хвою смолистых сосен, пламя мгновенно взвивалось к небу и тотчас же падало на землю. Оно крутилось волчком понизу и длинными жаркими языками лизало воду озера. Иногда валилось дерево, и тогда от его удара поднимался столб черного дыма, но тут же налетал ветер и рвал его в клочья.

— Там подождли ночью, — хмуро объяснил шофер. — Их давно бы изловили собаками, но огонь замел следы, и Лютте работать трудно.

— Кто зажег? — шопотом спросила меня Феня. — Разве это зажгли нарочно?

— Злые люди, — тихо ответил я. — Они хотели бы сжечь всю землю.

— И они скоро сожгут?

— Еще что! А ты видела наших с винтовками? Их переловят быстро.

— Их переловят, — поддакнула Феня. — Только скорей бы, а то жить страшно. Правда, Володя?

— Это тебе страшно, а мне нисколько. У меня папа на войне был, и то не боялся.

— Так ведь то папа... И у меня тоже папа...

Машина вырвалась из лесу, и мы очутились на большой поляне, где раскинулся аэродром.

Фенина мать приказала нам вылезти и не отходить далеко, а сама пошла к дверям большого бревенчатого здания.

И когда она проходила, то все летчики, механики и все люди, что стояли у крыльца, разом притихли и молча с ней поздоровались.

Пока Феня бегала с Брутиком вокруг машины, я притерся к кучке людей и из их разговора понял, что Фенин отец, летчик Федосеев, на легкой машине вылетел

вчера вечером обследовать район лесного пожара. Но вот уже прошли почти сутки, а он еще не возвращался.

Значит, с машиной случилась авария или у нее была вынужденная посадка. Но где? И счастье, если не в том краю, где горел лес, потому что за сутки огонь разметало почти на двадцать квадратных километров.

Тревога! Нашу границу перешли три вооруженных бандита! Их видел конюх совхоза «Истра».

Но выстрелами вдогонку они убили его лошадь, ранили самого в ногу, и поэтому конюх добрался до окраины нашего поселка так поздно.

Разгневанный и взволнованный, размахивая своим оловянным браунингом, я шагал по полю до тех пор, пока не стукнулся лбом об орден на груди высокого человека, который шел к машине вместе с Фениной матерью.

Сильной рукой человек этот остановил меня. Посмотрел на мой оцарапанный лоб и вынул из моей руки оловянный браунинг.

Я смутился и покраснел.

Но человек этот не улыбнулся, не сказал ни одного насмешливого слова. Он посмотрел, взвесил на своей ладони мое оружие. Вытер его о рукав кожаного пальто и вежливо протянул мне обратно.

Позже я узнал, что это был комиссар эскадрильи. Он проводил нас до самой машины и еще раз повторил, что летчика Федосеева беспрестанно ищут с земли и с воздуха.

Мы покатали домой.

Уже вечерело. Почувяв, что дело неладно, опечаленная Феня тихонько сидела в уголке, с Брутиком больше не играла. И, наконец, уткнувшись матери в колени, она нечаянно задремала.

Теперь все чаще и чаще нам приходилось замедлять ход и пропускать встречных.

Проносились грузовики, военные повозки. Прошла саперная рота. Промчался легковой красный автомобиль, не наш, а чей-то чужой — должно быть, какого-нибудь начальника из Иркутска.

И только что дорога стала посвободней, только что наш шофер дал ходу, как вдруг что-то хлопнуло, и машина остановилась.

Шофер слез, обошел машину, выругался, подняв с земли оброненный кем-то железный зуб от грабеля, и, вздохнув, заявил, что лопнула камера и ему придется менять колесо.

Чтобы шоферу легче было поднимать машину домкратом, Фенина мать, я, а за мной и Брутик вышли.

Пока шофер готовился к починке и доставал из-под сиденья разные инструменты, Фенина мать ходила по опушке, а мы с Брутиком забегали в лес и здесь, в чаще, стали бегать и прятаться. Если он меня долго не нахсдил, то от страха начинал выть ужасно.

Мы заигрались. Я запыхался, сел на пенек и задумался. Услышав далекий гудок, я подскочил и, кликнув Брутика, помчался.

Однако через две-три минуты я остановился, сообразив, что это гудела никак не наша машина. У нашей звук был многоголосый, певучий, а эта рывкала грубо, как грузовик. Тогда я повернул вправо и, как мне показалось, направился прямо к дороге.

Издали донесся сигнал. Теперь уже гудела наша машина. Но откуда, я не совсем понял.

Круто повернув еще правей, я побежал из всех сил.

Путаясь в траве, маленький Брутик скакал за мной.

Если бы я не растерялся, я должен был бы стоять на месте или продвигаться потихоньку, выжидая новых и новых сигналов. Но меня охватил страх. С разбегу я врзался в болотце, кое-как выбрался на сухое место. Чу, опять сигнал! Мне нужно было повернуть обратно. Но, опасаясь топкого болотца, я решил обойти его, завертелся, закрутился и наконец напрямик, через чащу, в ужасе понесся, куда глядели глаза.

Уже давно скрылось солнце. Огромная, меж облаков сверкала луна. А дикий путь мой был опасен и труден. Теперь я шел не

туда, куда мне было надо, а шагал там, где дорога была полегче.

Молча и терпеливо бежал за мной Брутик. Слезы давно были выплаканы, горло от криков и ауканья охрипло, лоб был мокрый, фуражка пропала, а поперек щеки моей тянулась кровавая царапина.

Наконец, измученный, я остановился и опустил на сухую траву, что раскинулась по вершине отлогого песчаного бугра.

Так лежал я неподвижно до тех пор, пока не почувствовал, что передохнувший Брутик с ожесточенным упорством тычетя носом в мой живот и нетерпеливо царапает меня лапой. Это он учуял в моем кармане сверток и требовал еды. Я отломил ему кусок булки, дал полкотлеты. Нехотя сжевал остальное сам, потом разгреб в теплом песке ямку, нарвал немножко сухой травы, вынул свой оловянный браунинг, прижал к себе кутенка и лег, решив ждать рассвета не засыпая.

В черных провалах меж деревьями, в неровном, неверном свете луны все мне чудились то зеленые глаза волка, то мохнатая морда медведя. И казалось мне, что, прильнув к толстым стволам сосен, повсюду затаились чужие и злобные люди. Проходила минута, другая — исчезали и таяли одни страхи, но со всех сторон возникали другие. И так этих страхов было много, что, отвертев себе шею, вконец ими утомленный, я лег на спину и стал смотреть только в небо.

Хлопая посоловелыми глазами, чтобы не заснуть, я принялся считать звезды. Насчитал шестьдесят три штуки, сбился, плюнул и стал следить за тем, как черная, похожая на бревно туча нагоняет другую и хочет ударить ей прямо в широко открытую зубастую пасть. Но тут вмешалось третье, худое, длинное облако, и своей кривой лапой оно взяло да и закрыло светлый фонарь луны.

Стало темно, а когда просветлело, то ни тучи-бревна, ни зубастой тучи уже не было, а по звездному небу плавно летел большой самолет.

Широко распахнутые окна его были ярко освещены. За столом, отодвинув вазу с цветами, сидела над своими чертежами

моя мама и изредка поглядывала на часы, удивляясь тому, что меня так долго нет.

И тогда, испугавшись, как бы она не пролетела мимо моей лесной поляны, я выхватил свой оловянный браунинг и выстрелил. Дым окутал всю поляну, залез мне в нос и в рот. И эхо от выстрела, долетев до широких крыльев самолета, дважды звякнуло, как железная крыша под ударом тяжелого камня.

Я вскочил на ноги.

Уже светало. Оловянный браунинг мой валялся на песке. Рядом с ним сидел Брутик и недовольно крутил носом, потому что переменявшийся за ночь ветер пригнал на поляну струю угарного дыма. Я прислушался. Впереди, вправо, брякало железо. Значит, сон мой был не совсем сон. Значит, впереди были люди, и, следовательно, бояться мне было нечего.

В овраге, по дну которого бежал ручей, я напился. Вода была совсем теплая, почти горячая, пахла смолой и сажей. Очевидно, истоки ручья находились где-то в полосе сгня.

За оврагом начинался невысокий лиственный лес, из которого все живое при первом же запахе дыма убралось прочь, и только одни муравьи, как и всегда, тихо копошились возле своих рыхлых построек да серые лягушки, которым все равно посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали у зеленого болота.

Обогнув болото, я попал в чащу. И вдруг совсем неподалеку я услышал три резких удара железом о железо, как будто бы кто-то бил молотком по жестяному днищу ведерка.

Осторожно двинулся я вперед. Мимо деревьев со сломанными, точно срезанными верхушками, мимо свежих ветвей, листья и сучьев, которыми густо была усыпана земля, я вышел на крохотную полянку. И здесь как-то боком, задрав нос и закинув крыло на ствол погнувшейся осины, торчал самолет. Внизу, под самолетом, сидел человек. Стальным гаечным ключом он равномерно колотил по металлическому кожуху мотора.

И этот человек был Фенин отец — летчик Федосеев.

Ломая ветви, я продрался к нему и его окликнул. Он отбросил гаечный ключ. Повернулся в мою сторону всем туловищем (встать он, очевидно, не мог) и, внимательно оглядев меня, удивленно спросил:

— Гей, чудное виденье! Из каких небес по мою душу?

— Это вы? — не зная, как начать, сказал я.

— Да, это я. А это... — он ткнул пальцем в опрокинутый самолет, — это лошадь моя. Дай спички. Народ близко?

— Спичек у меня нет, Василий Семенович, а народу никакого нет тоже.

— Как нет? О, черт! — и лицо его болезненно перекосилось, потому что он тронул с места укутанную тряпкой ногу. — А где же народ, люди?

— Людей нет, Василий Семенович. Я один, да вот... моя собака.

— Один? Гм... Собака?.. Ну у тебя и собака!.. Так что же, скажи на милость, ты здесь один делаешь? Грибы жареные собираешь, золу, уголья?

— Я ничего не делаю, Василий Семенович. Я мчался, вдруг слышу — брякает. Я и сам думал, что тут люди. А это вы, оказывается. А вас все ищут, ищут...

— Та-ак, люди... А я, значит, уже не «люди». Отчего это у тебя вся щека в крови? Возьми банку, смажь иодом да катика ты, милый, во весь дух к аэродрому. Скажи там поласковой, чтобы скорей за мной послали. Они меня ищут бог знает где, а я-то совсем рядом. Чу, слышишь? — И он потянул ноздрями, пригнувываясь к сладковато-угарному порыву ветра.

— Это я слышу, Василий Семенович, только я никуда дороги не знаю. Я, видите ли, и сам заблудился.

— Фью, фью! — присвистнул летчик Федосеев. — Ну, тогда, как я вижу, дела у нас с тобой плохи, товарищ. Ты в бога веруешь?

— Что вы, что вы! — удивился я. — Да вы меня, Василий Семенович, наверное, не узнали? Я же Володька. В вашем дворе живу, в сто двадцать четвертой квартире.

— Ну вот, Володька: ты нет, и я нет. Значит, на чудеса нам надеяться нечего.

Залезь-ка ты на то дерево, и что оттуда увидишь, про то мне расскажешь.

Через пять минут я уже был на самой вершине. Но с трех сторон я видел только лес, лес... А с четвертой, километрах в пяти от нас, из лесу поднималось облако дыма и медленно продвигалось в нашу сторону.

Ветер был неустойчивый, неровный, и каждую минуту он мог рвануть во всю силу.

Я слез и рассказал обо всем этом летчику Федосееву.

Он взглянул на небо: небо было неспокойное.

Летчик Федосеев задумался.

— Послушай, — спросил он, — ты карту знаешь?

— Знаю, — ответил я. — Москва, Ленинград, Минск, Киев, Тифлис...

— Эх ты, хватил в каком масштабе! Ты бы еще начал: Европа, Америка, Африка, Азия. Я тебя спрашиваю: если я тебе по карте начерчу дорогу, ты разберешься?

Я замаялся.

— Не знаю, Василий Семенович. У нас это по географии проходили, да я что-то плохо...

— Эх, голова! То-то, «плохо»... Ну ладно, раз плохо, тогда лучше и не надо. Вот, смотри. — Он вытянул руку. — Отойди на поляну дальше. Повернись лицом к солнцу. Теперь повернись так, чтобы солнце светило тебе как раз на край левого глаза. Это и будет твое направление. Подойди и сядь.

Я подошел и сел.

— Ну, говори, что понял?

— Чтобы солнце сверкало в край левого глаза, — неуверенно начал я.

— Не сверкало, а светило. От сверкания глаза ослепнуть могут. И запомни: что бы тебе в голову ни втемяшилось, не вздумай свернуть с этого направления в сторону, а кати все прямо да прямо до тех пор, пока километров через семь-восемь ты не упрешься в берег реки Кальвы. Она тут, и деваться ей некуда. Ну, а на Кальве, у Четвертого яра, там всегда народ: там рыбаки, плотовщики, косари, охотники... Кого

первого встретишь, к тому и кидайся. А что сказать...

Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолет, на свою неподвижную, укутанную тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой.

— А что сказать им... ты и сам, я думаю, знаешь.

Я вскочил.

— Постой! — сказал Федосеев. Он вынул из бокового кармана бумажник и протянул его мне. — Возьмешь с собой.

— Зачем? — не понял я.

— Возьми, — повторил он. — Я могу заболеть, потеряю. Потом отдашь мне, когда встретимся. А не мне, так моей жене или нашему комиссару.

Это мне совсем не понравилось, и я почувствовал, что к глазам моим подкатываются слезы, а губы у меня вздрагивают.

Но летчик Федосеев смотрел на меня строго, и поэтому я не посмел его слушаться. Я положил бумажник за пазуху, затянул покрепче ремень и свистнул Брутика.

— Постой! — опять задержал меня Федосеев. — Если ты раньше моего увидишь кого-либо из НКВД или нашего комиссара, то скажи, что в районе пожара, на двадцать четвертом участке, позавчера, в девятнадцать тридцать, я видел трех человек. Думал — охотники. Когда я снизился, то с земли они ударили по самолету из винтовок, и одна пуля пробила мне бензиновый бак. Остальное все будет понятно. А теперь, герой, ну, вперед двигай!

Тяжелое дело — спасая человека, бежать через чужой угрюмый лес к далекой реке Кальве. без дорог, без тропинок, а выбирая путь только по солнцу, которое неуклонно должно светить в край левого глаза.

Часто по пути мне приходилось обходить непролазную гущу, крутые овражки, сырые болота. Если бы не строгое предупреждение Федосеева, я десять раз успел бы сбиться и заблудиться, потому что частенько казалось мне, что солнце солнцем, а я бегу уже назад, прямо к месту моей вчерашней ночевки.

Так упорно продвигался я вперед и вперед, изредка останавливаясь, вытирал мокрый лоб и гладил глупого Брутика, который, вероятно, от страха катил за мной, не отставая, и, высунув длинный язык, печально глядел на меня ничего не понимающими глазами.

Через час подул резкий ветер, серая мгла наглухо затянула небо. Некоторое время солнце еще слабо обозначалось пятном, туманным и расплывчатым, потом и это пятно совсем растаяло.

Я продвигался быстро и осторожно. Но через короткое время почувствовал, что начинаю плутать.

Небо надо мной сомкнулось, хмурое, ровное. И не то что в левый, а даже в оба глаза я не мог различить на нем ни малейшего просвета.

Прошло еще часа два. Солнца не было. Кальвы не было, сил не было, и даже страха не было, а была только сильная жажда, усталость, и я наконец повалился в тень под кустом ольхи.

«И вот она, жизнь! — закрыв глаза, думал я. — Живешь, ждешь. Вот, мол, придет какой-нибудь случай, приключение, тогда я... я... А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Там раненый летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах».

Звонкий свист пичужки раздался где-то совсем близко. Я вздрогнул. Тук-тук! Тук-тук! — послышалось сверху. Открыв глаза, почти у себя над головой, на стволе толстого ясеня я увидел дятла.

Тут только я заметил, что лес этот уже не глухой и не мертвый. Здесь кружились над поляной желтые и синие бабочки, блистали стрекозы и неумолчно трещали кузнечики.

И не успел я приподняться, как мокрый, словно мочалка, Брутик кинулся мне прямо на живот, подпрыгнул и затрясся, широко разбрасывая холодные мелкие брызги, — он где-то выкупался.

Я вскочил, бросился в кусты и радостно вскрикнул, потому что и всего-то шагах в сорока от меня в блеске сумрачного дня катила свои серые волны широкая река Кальва.

Я подошел к берегу и огляделся. Ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того Четвертого яра, на который я должен был выйти по указанию летчика Федосеева. Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок, и там, возле маленького шалаша, стояла запряженная в телегу лошадь.

Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи передернулись, как в лихорадке, потому что я понял, что мне нужно будет переплывать Кальву. Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал в поселке позади кирпичных сараев. Больше того, я мог переплыть его даже туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком месте вода доставала мне не выше подбородка.

Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья пухлой пены.

И я знал, что, раз нужно, я переплыву Кальву — она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал и то, что стоит мне на мгновение растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды, и я пойду ко дну, как это со мной было год тому назад на совсем неширокой речонке Лугарке.

Я подошел к берегу, вынул из кармана тяжелый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду.

Браунинг — это игрушка, а теперь мне было не до игры.

Еще раз посмотрел я на противоположный берег, зачерпнул пригоршню холодной воды. Глотнул, чтобы успокоилось сердце. Несколько раз глубоко вздохнул, шагнул в воду. И, чтобы не тратить даром сил, по отлогому песчаному скату шел я до тех пор, пока вода не достигла мне до подбородка.

Дикий вой раздался за моей спиной. Это, как сумасшедший, скакал по берегу Брутик.

Я поманил его пальцем, откашлялся, сплюнул и, оттолкнувшись ногами, стараясь не брызгать, поплыл.

Теперь, когда голова моя была над водой низко, противоположный берег казался мне очень далеким, и, чтобы не пугаться, я опустил глаза на воду.

Так, полегоньку, уговаривая себя не волноваться, а главное, не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперед.

Вот уже и вода похолодела, прибрежные кусты побежали вправо — это потащило меня течение. Но я это предвидел и поэтому не испугался. Пусть тащит. Мое дело — спокойней, раз, раз... вперед и вперед... Берег понемногу приближался, уже видны были серебристые, покрытые пухом листья осинника, и вода стремительно несла меня к песчаному повороту.

Ничего плохого в этом пока не было.

Вдруг позади себя я услышал голоса. Я хотел повернуться, но не решился.

Потом за моей спиной раздался плеск, и вскоре я увидел, что, высоко подняв морду и отчаянно шлепая лапами, выбиваясь из последних сил, сбоку ко мне подплывает Брутик.

«Ты смотри, брат! — с тревогой подумал я. — Ты ко мне не лезь, а то потонем оба».

Я рванул в сторону, но течение столкнуло меня назад, и, воспользовавшись этим, проклятый Брутик, больно царапаясь когтями, полез ко мне прямо на шею.

«Теперь пропал! — окунувшись с головой в воду, подумал я. — Теперь дело кончено!»

Фыркая и отплевываясь, я вынырнул на поверхность, взмахнул руками и тотчас же почувствовал, как Брутик с отчаянным визгом лезет мне на голову.

Тогда, собравши последние силы, я отшвырнул Брутика, но тут в рот и в нос мне ударила волна. Я захлебнулся, бестолково замахал руками и опять услышал на оставленном мною берегу голоса, шум и лай.

Тут налетела еще волна, опрокинула меня с живота на спину, и последнее, что я помню, — это луч солнца сквозь тучи и чью-то страшную морду, которая, широко открыв зубастую пасть, кинулась мне на грудь.

Как узнал я позже, два часа спустя после того, как я ушел от летчика Федосеева, по моим следам от проезжей дороги собака Лютта привела людей к летчику. И, прежде чем попросить чего-либо для себя, летчик Федосеев показал им на покрытое тучами небо и приказал догонять меня.

В тот же вечер другая собака, по прозвищу Ветер, настигла в лесу трех вооруженных людей. Тех, что перешли границу, чтобы сжечь леса, а с ними и наш новый большой завод.

Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им — мы знали — пощады не будет.

Я лежал дома в постели.

Под одеялом было тепло и мягко. Привычно стучал будильник. Из-под крана на кухне брызгала вода. Это умывалась мама. Вот она вошла и сдернула с меня одеяло.

— Вставай, хвастунишка! — сказала она, терпеливо расчесывая гребешком свои густые черные волосы. — Я вчера зашла к вам на собрание и от дверей слышала, как это ты разошелся. «Я вскочил», «я кинулся», «я рванулся»... А ребяташки, глупые, сидят, уши развесили. Думают — и правда.

Но я хладнокровен.

— Да, — с гордостью говорю я, — а ты попробуй-ка, переплыви в одежде Кальву!

— Хорошо «переплыви», когда тебя самого из воды собака Лютта за рубашку вытащила! Уж ты бы лучше, герой, помалкивал. Я у Федосеева спрашивала. «Прибежал, говорит, ваш Володька ко мне бледный, трясется... У меня, говорит, по географии «плохо». Насилу-насилу уговорил я его бежать к реке Кальве».

— Ложь! — Лицо мое вспыхивает, я вскакиваю и гневно гляжу в глаза матери.

Но тут я вижу, что это она просто смеется, что под глазами у нее еще не растаяла бледносиневатая дымка. Значит, совсем недавно крепко она обо мне плакала. И только не хочет в этом сознаться. Такой уж у нее, в меня, характер.

Она ерошит мне волосы и говорит:

— Вставай, Володька. За ботинками сбегай. Я до сих пор так и не успела.

Она берет свои чертежи, готовальню, линейки и идет готовиться к зачету.

Я бегу за ботинками, но во дворе, увидав меня с балкона, отчаянно визжит Феня.

— Иди! — кричит она. — Да иди же скорей, тебя зовет папа.

«Ладно, — думаю я, — за ботинками успею».

И поднимаюсь наверх.

Наверху Фенька с разбегу хватает меня за ноги и тянет к отцу в комнату. У него вывих ноги, и он лежит в постели забинтованный. Рядом с лекарствами возле него на столике лежат острый ножичек и стальное шило. Он над чем-то работал. Он здоровается со мной и расспрашивает меня о том, как я бежал, как заблудился и как снова нашел реку Кальву.

Потом он сует руку под подушку и протягивает мне похожий на часы, блестящий, никелированный компас с крышкой, с запором и с вертящейся фосфорной картушкой.

— Возьми, — говорит он, — учись разбирать карту. Это тебе от меня на память.

Я беру. На крышке аккуратно обозначен год, месяц и число. То самое, когда я встретил Федосеева в лесу у самолета. Внизу надпись: «Владимиру Курнакову от летчика Федосеева».

Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. И нет им от меня сожаленья, нет пощадь!

Я жму летчику руку и выхожу к Фене. Мы стоим с ней у окна, и она что-то бормочет, бормочет, а я не слышу и не слышу.

Наконец она дергает меня за рукав и говорит:

— Все хорошо, только жаль бедного: он утонул, Брутик!

Да, Брутика жаль и мне. Но что поделаешь: раз война, так война.

— Если бы мы тогда не запахали ему в рот конфету, он бы к нам не привязался, — печально говорит Феня.

— Кто знает, — утешаю ее я, — а может быть, тогда пришли бы собачники, поддели бы его крюком, посадили в ящик, а потом содрали с него шкуру. Вот тебе и другая гибель. И разве она лучше?

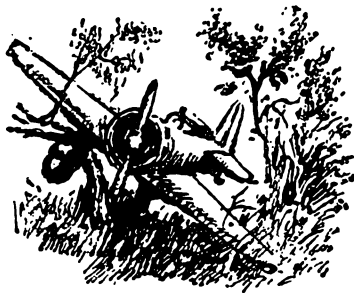
Через окно нам видны леса. Огонь потушен, и только кое-где подымается дымок. Но и там заканчивают свое дело последние бригады.

Через окно виден наш огромный завод, тот самый, на котором работает почти весь наш новый поселок.

Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам под деревянными щитами день и ночь стоят часовые.

Даже отсюда нам с Феней слышно бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжелые удары парового молота. Что на этом заводе делают, мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного — товарища Ворошилова.

1939 г.





ЧУК И ГЕК



ЖИЛ человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.

Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятами к нему в гости.

Ребятишек у него было двое — Чук и Гек.

А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете.

Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва.

Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Гekom был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.

Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто развела драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им

играть вместе. А в одном часе — тик да так — целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.

Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь.

Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо.

Тогда они закричали:

— Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.

Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уж целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.

Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов.

Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала.

Она только турнула их с дивана.

Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями.

Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом.

Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.

— Отец не приедет, — откладывая письмо, — сказала мать: — у него еще много работы, и его в Москву не отпускают.

Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным.

Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.

— Он не приедет, — продолжала мать, — он он зовет нас всех к себе в гости.

Чук и Гек спрыгнули с дивана.

— Он чудак-человек, — вздохнула мать. — Хорошо сказать — в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал...

— Да, да, — быстро подхватил Чук, — раз он зовет, так мы сядем и поедем.

— Ты глупый, — сказала мать. — Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!

— Гей-гей! — Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.

И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.

Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер.

Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже.

Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.

Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.

Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились!

У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там был нарисован танк, самолет или красноармеец), галчинные перья для стрел, конский волос для китай-

ского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.

И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.

Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит:

P-pal P-pal Ура!
Эй! Бей! Турумбей!

Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.

Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой, разломанная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги — сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберет в дальнюю дорогу.

И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол.

Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.

Громко завопил оскорбленный Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!», в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек.

Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма.

То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем

добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.

Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:

— Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь — телеграмма! Нам и без телеграммы весело.

— Врать нельзя, — вздохнул Гек. — Мама за вранье всегда еще хуже сердится.

— А мы не будем врать! — радостно воскликнул Чук. — Если она спросит, где телеграмма, — мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.

— Ладно, — согласился Гек. — Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.

И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.

— Отвечайте, граждане, — отряхиваясь от снега, спросила мать, — из-за чего без меня была драка?

— Драки не было, — отказался Чук.

— Не было, — подтвердил Гек. — Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.

— Очень я люблю такое раздумье, — сказала мать.

Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты: один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.

А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.

Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.

Ночью Гек проснулся, чтобы напиться.

Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.

Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек отбился, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука — не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался.

Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.

Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходили еще десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками.

Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.

Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.

Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:

— Это кто же здесь толкается?

Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче.

Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел

брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место.

Гек проскользнул под свое одеяло и при- тих. Вагон покачивало, шумел ветер.

Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном.

Наконец заснул и Гек.

...И снился Геку странный сон:
Как будто ожил весь вагон,
Как будто слышны голоса
От каждого от колеса.
Бегут вагоны — длинный ряд —
И с паровозом говорят.

Первый. Вперед, товарищ! Путь далек
Перед тобой во мраке лег.
Второй. Светите ярче, фонари,
До самой утренней зари!
Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!
Крутись, колеса, на Восток!
Четвертый. Тогда закончим разговор,
Когда домчим до Синих гор.

Когда Гек проснулся, колеса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного.

Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, — вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.

Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду — кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, — Гек за это время увидел через окно немало.

Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках вы-

скочил на крыльцо мальчишка. Трах! — кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.

Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки — стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься!

Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.

Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.

Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пытело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные — ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в полвагона, бревнами.

Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул — му-у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет.

А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.

Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Гekom решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против кого-нибудь бой.

Да, немало всякого они за дорогу пови-

дали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.

И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела ссадить Чука с Гekom и принять от военного вещи, как поезд умчался.

Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.

Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Гekom поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо.

Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал.

Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала.

Буфет был маленький. За стойкой пытел толстый, ростом с Чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.

Пока Чук с Гekom пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько он возьмет, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много — целых сто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.

— Отец и не знает, что мы уже приехали, — сказала мать. — То-то он удивится и обрадуется!

— Да, он обрадуется, — прихлебывая чай, важно подтвердил Чук. — И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.

— И я тоже, — согласился Гек. — Мы подведем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!

— Я под кровать не полезу, — отказалась мать, — и выть не буду тоже. Лезьте и войте сами... Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.

— Я лошадей кормить буду, — спокойно объяснил Чук. — Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать!

Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки! Теперь впереди только лес, горы и опять густой, темный лес.

Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю.

Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стучать друг друга укутанными в башлыки лбами.

Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням — и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцовали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:

— Эй, эй! Ого-го!.. Берегись: задавим!

Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких Синих гор.

Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.

— Здесь ночуем, — сказал ямщик, соскакивая в снег. — Это наша станция.

Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.

Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продуктами.

Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту.

За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.

Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.

Гек не любил спать ни у стены, ни по середине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слышал песню «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», Гек все равно всегда спал с краю.

Если же его клали в серединку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом.

Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, мать посредине, а Гек с краю.

Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку.

Луна была за тучами, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черносиними.

«Вот как далеко занесло нашего папу!» удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и не много осталось мест на свете.

Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип: снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть! Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось,

и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.

— Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда и не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!

Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это отявазшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено.

Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый.

Приснился Геку странный сон:
Как будто страшный Турворон
Плюет слюной, как кипятком,
Грозит железным кулаком.
Кругом пожар, блестят штыки.
И чьи-то грозные полки,
Ударив в медный барабан,
Идут войной из дальних стран.

«Постойте! — закричал им Гек. — Вы не туда идете! Здесь нельзя!» Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.

В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой — и разом ударили залпом его тяжелые и грозные орудия. «Хорошо! — похвалил Гек. — Только стрелните еще, а то одного раза им, наверное, мало...»

Мать проснулась оттого, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель.

Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб.

Вскоре Гек засофел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас.

Тогда мать встала и в чулках, без вале-нок, подошла к окошку.

Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко.

И — удивительное дело! — тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и не много осталось мест на свете.

Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.

Наконец под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщик сказал:

— Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоит ихняя база... Эй, но-о!.. Наваливай!

Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено.

Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке.

Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.

Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.

— Ты куда же нас привез? — в страхе спросила у ямщика мать. — Разве нам сюда надо?

— Куда рядились, туда и привез, — ответил ямщик. — Вот эти дома называются «Разведывательно-геологическая база номер три». Да вот и вывеска на столбе... Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров двести совсем в иную сторону.

— Нет, нет! — взглянув на вывеску, ответила мать. — Нам нужна эта самая. Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а куда же девались люди?

— Я не знаю, куда б им деваться, — удивился и сам ямщик. — На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять... Вот еще забота! Не волки же их всех поели... Да вы постройте, я пойду посмотрю в сторожку.

И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.

Вскоре он вернулся.

— Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.

— Да что он мне расскажет! — ахнула мать. — Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.

— Это я уж не знаю, что он расскажет, — ответил ямщик. — А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.

С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сени и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи.

В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча разделала перепуганных ребятишек.

— Ехали к отцу, ехали — вот тебе и приехали!

Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пусто и что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет да не скоро вернется? Тогда как?

А ведь отсюда до ближайшей станции и телеграфа почти сто километров!

Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.

— Сторож к ночи вернется, — успокоил он. — Вон в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес... А то как хотите, — предложил ямщик. — Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.

— Нет, — отказалась мать. — На станции нам делать нечего.

Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и, пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.

Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало — должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:

— Это что же за гости сюда приехали?

— Я жена начальника геологической партии Серегина, — сказала мать, соскакивая с печки, — а это его дети. Если нужно, то вот документы.

— Вон они, документы: сидят на печке, — буркнул сторож и осветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека. — Как есть в отца — копия! Особо вот этот толстый, — и он ткнул на Чука пальцем.

Чук и Гек обиделись: Чук — потому, что его назвали толстым, а Гек — потому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.

— Вы зачем, скажите, приехали? — гля-

нув на мать, спросил сторож. — Вам же приезжать было не велено.

— Как не велено? Кем это приезжать не велено?

— А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, а в телеграмме ясно написано; «Задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу». Раз Серегин пишет «задержись» — значит, и надо было держаться, а вы самовольничаете.

— Какую телеграмму? — переспросила мать. — Мы никакой телеграммы не получили. — И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека.

Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.

— Дети, — подозрительно глянув на сыновей, спросила мать, — вы без меня никакой телеграммы не получали?

На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.

— Отвечайте, мучители! — сказала тогда мать. — Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали?

Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затынул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.

— Вот где моя погибель! — воскликнула мать. — Вот кто, конечно, сведет меня в могилу! Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело.

Однако, услышав, что мать собирается итти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче, и прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затаили свой печальный рассказ.

Ну что с таким народом будешь делать? Поколстить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать.

Сторож сказал, что разведывательная

партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше чем дней через десять.

— Но как же мы эти десять дней жить будем? — спросила мать. — Ведь у нас с собой нет никакого запаса.

— А так вот и живите, — ответил сторож. — Хлеба я вам дам, вон подарю зайца — обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду; мне капканы проверять надо.

— Нехорошо, — сказала мать. — Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери...

— Я второе ружье оставлю, — сказал сторож. — Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне — я вам прямо скажу — нянчиться с вами тоже некогда...

— Эдакий злой дядька! — прошептал Гек. — Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.

— Вот еще! — отказался Чук. — Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем.

— Что ж папа! Папа еще долго...

Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу.

Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клочок.

— Достань из печки ши, — сказал матери сторож. — Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.

— Ты хозяин, — сказала мать. — Ты достань, ты и угощай. А полушубок дай: я лучше твоего заплаताю.

Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.

— Эге! Да вы, я вижу, упрямые, — пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.

— Это где так разорвалось? — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.

— С медведем не поладили. Вот он мне и царапнул, — нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.

— Слышишь, Гек? — сказал Чук, когда сторож вышел в сени. — Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.

Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поспориться и подраться с самим медведем.

Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза.

Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины Синих гор.

Кур мать пошростила умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову.

Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют.

После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла.

Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане.

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо; как сказочные замки и башни, поднимались к небу остроконечные утесы Синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега.

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов.

Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса.

Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже.

Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком.

Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери и, чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половином окна, хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь — не человек и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда выюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается.

Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала.

— Чук, — спросил Гек, — почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?

— И ведьмы и черти чтобы были тоже? — спросил Чук.

— Да нет! — с досадой отмахнулся Гек. — Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали.

— А на чем бы он полетел, Гек?

— Ну, на чем... Замахал бы руками или там еще как. Он уж сам знает.

— Сейчас руками махать холодно, — сказал Чук. — У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я ташил полено, у меня пальцы совсем замерзли.

— Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?

— Я не знаю, — заколебался Чук. — Помнишь, во дворе, в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.

— И хорошо он нагадывал?

— Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили.

— Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?

— Конечно, жулик, — согласился Чук. — Да, я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо... Ты бы лучше спал, Гек, все равно я с тобой больше разговаривать не буду.

— Почему?

— Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже...

На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхvatаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек.

После такого обеда Гек был грустен, и

матери показалось, что у него повышена температура.

Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток, — тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать.

А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведро опрокинулось, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки.

Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было.

Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку.

Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликнулся. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было.

Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели.

Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан, под навес с дровами... Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы.

Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор.

Следов за четыре дня было натоптано немало.

Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес.

На дороге было пусто.

Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз.

Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас.

С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это, услышав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать.

Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втокнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды.

У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.

— Что за беда? Что за стрельба? — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.

— Пропал мальчик, — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.

— Стой, не плачь! — гаркнул сторож. — Когда пропал? Давно? Недавно?.. Назад, Смелый! — крикнул он собаке. — Да говорите же, или я уйду обратно!

— Час тому назад, — ответила мать. — Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.

— Ну, за час он далеко не уйдет, а в одежде и в валенках сразу не замерзнет... Ко мне, Смелый! На, нюхай.

Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаке калоши Гека.

Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.

— За мной! — распахивая дверь, сказал сторож. — Иди ищи, Смелый!

Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.

— Вперед! — строго повторил сторож. — Ищи, Смелый, ищи!

Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.

— Это еще что за танцы? — рассердился сторож. И, опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник.

Однако Смелый за сторожем не пошел; он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы.

Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул.

Тогда сторож сунул ружье в руки отопелой матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.

Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал:

— Эй-ля! Эй-ли-ля!..

Лохматый пес Смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба.

Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул.

Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.

— Вот, — сказал он, — получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году.

Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик! Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку.

Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать — за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть

что, хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что наконец Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже.

Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено беспорядочно.

Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога.

А собака Смелый пошла. Она пошла прямо по свежевывытому полу, подошла к Гекку и ткнула его холодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать.

Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сорокам на смех.

Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал «спасибо» и ушел; все чему-то удивляясь и покачивая головой.

На следующий день было решено готовить к Новому году елку.

Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!

Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутков и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и наvertsели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда принес дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от заертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.

Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной за-

вод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.

Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся.

Ладно! Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо — прямоносые и лупоглазые — и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было.

Это была настоящая таежная красавица — высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки.

Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года.

Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду.

И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.

— Теперь смотрите, — сказал им сторож: — вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правой большой вершины, потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.

Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с грузеными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы.

Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики.

Почувявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса. А за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников.

И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: «Ура!»

Тогда Гек не вытерпел, прыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «ура» громче всех.

Днем чистились, брились и мылись.

А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год.

Когда был накрыт стол, потушили лампы и зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакали и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.

А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.

Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.

Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую — я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.

— Теперь садитесь, — взглянув на часы, сказал отец. — Сейчас начнется самое главное.

Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так:

Тир-лиль-лиль-дон!
Тир-лиль-лиль-дон!

Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы.

И этот звон — перед Новым годом — сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море.

И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против кого-нибудь бой, слышал этот звон тоже.

И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.

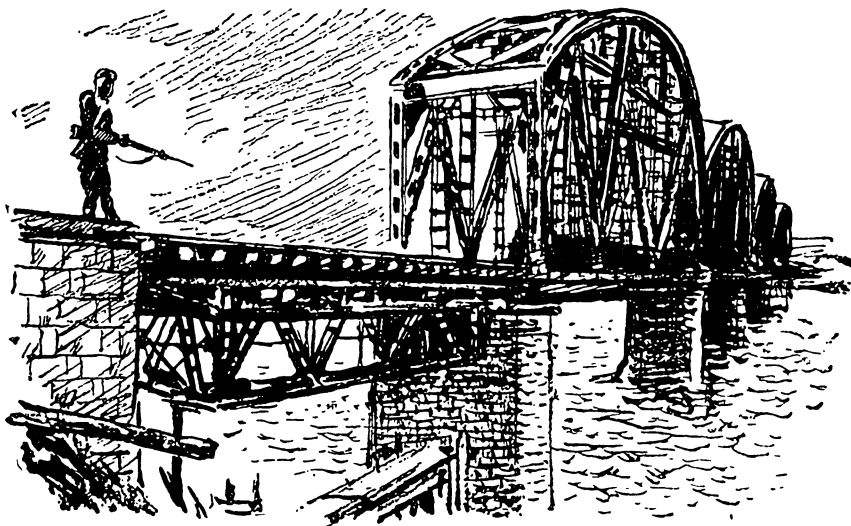
Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.

1939 г.









**БЕРИСЬ ЗА ОРУЖИЕ,
КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!**



ВОЙНА!

Ты говоришь: я ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину.

Все тебе кажется простым и ясным. Приклад к плечу, нажал спуск — загремел выстрел.

Лицом к лицу, с глазу на глаз — сверкнул яростно выброшенный вперед клинок, и с пропоротой грудью враг рухнул.

Все это верно. Но если ты не сумеешь поставить правильно прицел, то твоя пуля бесцельно, совсем не пугая и даже ободряя врага, пролетит мимо.

Ты bestолково бросишь гранату, она не разорвется.

В гневе, стиснув зубы, ты ринешься на врага в атаку. Прорвешься через огонь, занесешь штык. Но если ты не привык бегать, твой удар будет слаб и бессилён.

И тебе правильно говорят: учись, пока не поздно. Когда тебя призовут под боевые знамена, командиры будут учить тебя, но твой долг знать военное дело, быть всегда готовым к боям.

Тебе дадут винтовку, автомат, ручной пулемет, разных образцов гранаты. В умелых руках, при горячем, преданном Родине сердце это сила грозная и страшная.

Без умения, без сноровки твое горячее сердце вспыхнет на поле боя, как яркая сигнальная ракета, выпущенная без цели и смысла, и тотчас же погаснет, ничего не показав, истраченная зря.

Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в бою.

Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым. Приходи к нам таким, чтобы ты сразу, вот тут же рядом, быстро отрыл себе надежный окоп, хлопнул по рыхлой груди земли лопатой, обнял ладонью ямку для патронов, закрыл от песка лопухом гранату, метнул глазом — поставил прицел. Потом закурил и сказал: «Здравствуйте все, кто есть слева и справа».

Поняв, что ты начал не с того, чтобы сразу просить помощи, что тебе не нужно ни военных нянек, ни мамок, тебя полюбят и слева и справа.

И знай, что даже где-то на далеком фланге подносчик патронов, связной или перевязывающий раны санитар кому-то непременно скажет:

— Прислали пополнение. Видел одного. Молодой и, наверное, комсомолец.

— Ну! Прыгает?

— Ничего не прыгает. Сел на место, окопался, молчит и работает.

Двадцать два года тому назад, в эти же августовские дни, я, тогда еще мальчишка, комсомолец, был с комсомольцами на фронтах Украины в этих же местах.

Какие были среди нас политики! Какие стратеги! Как свободно и просто разрешали мы проблемы европейского и мирового масштаба. Но, увы! Учились мы военному делу тогда мало. Дисциплина хромала. Стреляли неважно и искренне думали, что

обрезать напильником стволы у винтовки нам не разрешают только из-за косности военспецов главного штаба.

Но нас в армии было тогда еще немного. За молодость бородатые дяди нас любили. Многое нам прощали и относились к нам покровительственно, благодушно.

Теперь время совсем не то. Сейчас комсомол — большая сила в армии.

В грозные для одного большого города дни встали недавно у сложных орудийных расчетов студенты-математики, комсомольцы.

За баррикадами из мешков песка, возле тяжелых противотанковых пулеметов стояли запасными номерами наводчики-комсомольцы.

На окраинах города уже шел бой, а они все еще спешно и жадно, как перед самым важным в жизни экзаменом, заглядывали в стрелковые таблицы.

Вот и ты приходишь с учебы, с работы. Ты знаешь, что тебе ночью еще нужно дежурить на чердаке, на крыше, и все-таки, наверное, ты берешь боевой устав. Ты идешь в военный кружок. Ты становишься в строй.

Жжет ли солнце, льет ли дождь, покрыты ли суровой тьмой улицы твоего родного города, люди слышат твои твердые шаги, слова команды и стук винтовочного приклада, опущенного на гулкую мостовую.

А ночью за черной маскировочной шторой ты, наверное, сидишь, изучая тяжелую ручную гранату, огонь которой вместе с огнем твоих глаз и твоего сердца взорвет и испепелит тех, кого мы все так клятвенно и непримиримо ненавидим.

Берись за оружие, комсомольское племя!

1941 г.



ВОЙНА И ДЕТИ



ПЫЛОВАЯ железнодорожная станция на пути к фронту. Водонапорная башня. Два прямых старых тополя. Низкий кирпичный вокзал, опоясанный густыми акациями.

Воинский эшелон останавливается. К вагону с кошкой в руках подбегают двое поселковых ребятишек.

Лейтенант Мартынов спрашивает:

— Почем смородина?

Старший отвечает:

— С вас денег не берем, товарищ командир.

Мальчишка добросовестно наполняет стакан верхом, так что смородина сыплется на горячую пыль между шпал. Он опрокидывает стакан в подставленный котелок, задирает голову и, прислушиваясь к далекому гуду, объявляет:

— Ханкель гудит... Ух!.. Ух! Задохнулся. Вы не бойтесь, товарищ лейтенант, вон они наши пошли истребители. Здесь немцам по небу прохода нет.

Он подхватывает кошку и мчится дальше. У вагона остается его белобрый, босоногий братишка лет семи от роду. Он сосредоточенно прислушивается к далекому гуду зениток и серьезно объясняет:

— Ось! Там вона бухает...

Лейтенанта Мартынова это сообщение заинтересовывает. Он садится на пол у дверей и, свесив ноги наружу, поедая смородину, спрашивает:

— Гм! А что же, хлопец, на той войне люди делают?

— Стреляют, — объясняет мальчишка, — берут ружье или пушку, наводят... и бах! И готово.

— Что готово?

— Вот чего! — с досадой восклицает мальчишка. — Наведут курок, нажмут, вот и смерть будет.

— Кому смерть — мне? — И Мартынов невозмутимо тычет пальцем себе в грудь.

— Да ни! — огорченно вскрикивает удивленный непонятливостью командира мальчишка. — Пришел якийсь-то злыдень, бомбы на хаты швыряет, на сараи. Вот там бабку убили, двух коров разорвало. О то чего, — насмешливо пристыдил он лейтенанта, — наган нацепил, а как воевать, не знает.

Лейтенант Мартынов сконфужен. Окружающие его командиры хохочут.

Паровоз дает гудок.

Мальчишка, тот, что разносил смородину, берет рассерженного братишку за руку и, шагая к тронувшимся вагонам, протяжно и снисходительно ему объясняет:

— Они знают! Они шутят! Это такой народ едет... веселый, отчаянный! Мне один командир за стакан смородины бумажку трехрублевую на ходу подал. Ну, я за вагоном бежал, бежал. Но все-таки бумажку в вагон сунул.

— Вот!.. — одобрительно кивает головой мальчишка. — Тебе что! А он там на войне пусть квасу или ситра купит.

— Вот дурной! — ускоряя шаг и держась вровень с вагоном, снисходительно говорит старший. — Разве на войне это пьют? Да не жмись ты мне к боку! Не крути головой! Это наш «И-16» — истребитель, а немецкий гудит тяжело, с передыхом. Война идет на второй месяц, а ты своих самолетов не знаешь.

Фронтальная полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток, к перекрестку села, машина останавливается.

На ступеньку вскакивает хлопчик лет пятнадцати. Он чего-то просит. Скотина мычит, в клубах пыли шелкает длинный бич. Тарахтит мотор, шофер отчаянно сигналит, отгоняя бестолковую скотину, которая не свернет до тех пор, пока не стукнется лбом о радиатор. Что мальчишке надо? Нам непонятно. Денег? Хлеба?

Потом вдруг оказывается:

— Дяденька, дайте два патрона.

— На что тебе патроны?

— А так... на память.

— На память патронов не дают.

Сую ему решетчатую оболочку от ручной гранаты и стреляющую блестящую гильзу.

Губы мальчишки презрительно кривятся:

— Ну вот! Что с них толку?

— Ах, дорогой! Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? Может быть, тебе дать вот эту зеленую бутылку или эту черную, яйцом, гранату? Может быть, тебе отцепить от тягача вот ту небольшую противотанковую пушку? Лезь в машину, не ври и говори все прямо.

И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, уверток, хотя в общем нам уже все давно ясно.

Сурово сомкнулся вокруг густой лес, легли поперек дороги глубокие овраги, распластались по берегам реки топкие камышовые болота. Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. А он еще молод, но ловок, смел. Он знает все лошинки, последние тропинки на сорок километров в округе.

Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет. И, не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запыленные губы, он ждет жадно и нетерпеливо.

Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму. Это — обойма от моей винтовки. Она записана на мне. Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в ту, куда надо, сторону.

— Как тебя зовут?

— Яков.

— Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? Что же ты, из пустой кринки стрелять будешь?

...Грузовик трогается. Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то несурзное, бестолковое. Он смеется и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. Потом, двинув кулаком по морде

вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли.

Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую кринку.

Дети! На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, уже хотя бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую силу.

Остро, чаще острее, чем взрослые, подрастают — мальчуганы, девочки — переживают события Великой Отечественной войны.

Они жадно, до последней точки, слушают сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают имена героев, их звания, их фамилии.

Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт эшелоны, с безграничной любовью встречают прибывающих с фронта раненых.

Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта. И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига.

Перед боем на берегу одной речки встретил я недавно парнишку.

Разыскивая пропавшую корову, чтобы сократить путь, он переплыл реку и неожиданно очутился в расположении немцев. Спрятавшись в кустах, он сидел в трех шагах от фашистских командиров, которые долго разговаривали о чем-то, держа перед собой карту.

Он вернулся к нам и рассказал о том, что видел.

Я у него спросил:

— погоди! Но ведь ты слышал, что говорили их начальники, это же для нас очень важно.

Паренек удивился:

— Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки!

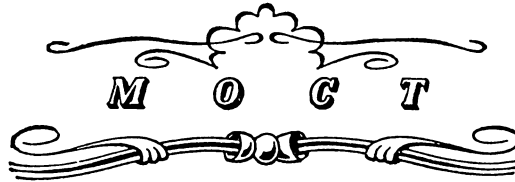
— Знаю, что не по-турецки. Ты сколько окончил классов? Девять? Так ты же должен был хоть что-нибудь понять из их разговора!

Он уныло и огорченно развел руками:
— Эх, товарищ командир! Кабы я про эту встречу знал раньше...

Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с радо-

стью вспоминать о том, что когда-то, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, не сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране в ее тяжелой и очень важной борьбе с человеконенавистным фашизмом.

*Действующая армия
1941 г.*



ПРЯМОЙ и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать-тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли — спрятан прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в кустарнике, — артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя непрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.

Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.

По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.

Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набекрень крышей возникает связанной от батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и топью. По-

этому нижняя половина его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светлосерой пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорчатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, который пугливо исследует рваные дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:

— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на час-два одолжите мне вон ту плетеную корзину, то, вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.

Старшина Дворников оборачивается.

— На что тебе корзина?

— Не могу сказать, товарищ старшина: военная тайна.

— Не дам корзины, — заявляет старшина. — Вы у нас мешок взяли и не вернули.

— Мешок, товарищ старшина, готов был

к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленный материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.

— Ты мне зубы не заговаривай, — невольно улыбнувшись, сказал старшина. — Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут — арсенал, цейхгауз?

— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже нехватило. У меня еще пара круглых лимонов лежит в кармане. Хорошая это штука для ночной разведки: огонь яркий, звук резкий; который немец не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.

— Какая операция? — недоумевает старшина. — Ты, друг, что-то заболтался.

Старшина смотрит на Ефимкина.

Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые, угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цыгарку, — сразу скажешь: «Это боевой парень».

— Возьми, — говорит старшина, — да скажи вашему лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть придет на уху щурят или ершей и на нашу долю.

— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить, — поспешно забирая корзину, говорит Ефимкин. — Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за прпуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокый у вас пост, товарищ старшина, — со вздохом добавляет Ефимкин. — Мы что — у нас трава, канавы, земля, кустарники. А вы... стойте на глазах у всего света.

Ефимкин берет корзину и, грязно-сизый,

пыльный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилиям. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощутив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов. Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайных песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.

Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он хотел бы сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов: «хальт» (стой), «хэндэ хох» (руки вверх), «вафэн хинлэгэн» (бросай оружие), Ефимкин ничего не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.

Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос, к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясно и всенная тайна и вся операция Ефимкина. Утром снарядам разбило фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и не опасная для моста музыка.

Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.

Но, прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»

Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга, к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.

Еще одна, две... три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли в ладонях, грозный железный мост.

Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого Советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем, что в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах, на перекрестках, но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.

Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, под которыми блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток, и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.

Два шага направо, два шага налево.

Вот и весь ход у часового.

Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.

Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огромного шквала.

Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много — тридцать, сорок. Вот они один за другим ложатся на

боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.

Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно его подхватила на свой станковый пулемет пехота.

И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы, раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.

Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.

Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.

Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.

И вот, прежде чем связисты успеют наладить порванный воздушной волной левой провод, прежде чем начальник охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.

Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.

Проходят долгие, томительные минуты... пять, десять, и вдруг...

Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, с заборов, несутся радостные крики:

— Пошли, пошли!

— Наши тронулись!

Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.

— Значит, все в порядке!

К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, оглушенной немецкими бомбами рыбой и говорит:

— Добрый вечер! Все целы?

Ему наперебой сообщают:

— Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожог сапог, обжег ногу.

Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.

Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный,

кажущийся сейчас ажурным переплет моста светит луна.

Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.

Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь, вскоре после огня и гула, громко поют девчата.

Ефимкин удерживает старшину за рукав.

— Высокий у вас пост, товарищ старшина! — опять повторяет он. — Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять все слышно...

*Действующая армия
1941 г.*

У ПЕРЕПРАВЫ



Н АШ батальон вступал в село. Пыль походных колонн, песок, разметанный взрывами снарядов, пепел сожженных немцами хат густым налетом покрывали шершавые листья кукурузы и спелые несобранные вишни.

Застигнутая врасплох немецкая батарея второпях ударила с пригорка по головной заставе зажигательными снарядами.

Огненные змеи с шипением пронесли мимо. И тотчас же бледным, прозрачным на солнце пламенем вспыхнула соломенная кровля пустого колхозного сарая.

Прежде чем броситься на землю, секретарь полкового комсомола Цолак Купалин на одно-другое мгновение оглянулся: все ли перед боем идет своим установленным чередом и где сейчас находится комбат?

Командир батальона старший лейтенант Прудников был рядом, за углом хаты. Соскочив с коня и бросив поводья ординар-

цу, он уже приказывал четвертой роте броском занять боевой рубеж, пятой — поддержать огнем четвертую, а шестой — усилить свой фланг и держаться к локтю пятой.

Дальше следовали приказы разведчикам, пулеметчикам, минометчикам, взводам связи, связным от артиллерии...

И вот пошла четвертая, пошла пятая. Все пошло — вернее, поползло по пшенице, по гречихе, головой в песок, лицом по траве, по земле, по сырому торфяному болоту.

Грохот усиливается. Бьют вражеские минометы. Горят хаты. Людей не видно. И поэтому сначала кажется, что среди этого разноголосого визга и грома никакого осмысленного порядка нет и быть не может.

Но вскоре оказывается, что свой незримый железный порядок у этого боя есть.

Вот в ложине спешно складывают свой тяжелый груз и открывают огонь минометчики.

С холма по картофельному полю кубарем, перекатываясь с боку на бок, тянет телефонный провод комсомолец Сергиенко. Радист ставит под густым орешником маленькую, похожую на ежа станцию.

Вдруг — ба-бах! — не туда поставил. Обжегся, поежился, перетащил ящик в канаву, нацепил наушники и что-то там накручивает, настраивает.

Четвертая рота врывается на рубеж. Вот крайняя хата. Три минуты назад здесь был враг. Он убежал. В панике, в спешке. Еще и сейчас внизу, меж кустами, перебегают вражеские солдаты. Один, два, три... пятнадцать... сорок! Стоп! Уже не сорок.

Взмокший пулеметчик с ходу рванул пулемет, нажал на спуск «максима», и счет разом изменился.

Хата. Сброшены на пол подушки, перины. Здесь они спали.

Стол. На столе тарелки, ложки, опрокинутая кринка молока. Здесь они жрали.

Настежь открытый сундук, скомканное белье. Вышитое петушками полотенце. Детский валенок. Здесь они грабили.

Над сундуком в полстены жирным углем начерчен паучий, фашистский знак.

Стены мирной хаты дрожат от взрывов, от горя и гнева. Бой продолжается. По пшенице быстро шагает чем-то взволнованный начальник штаба батальона Шульгин.

Вдруг он приседает. Потом поднимается, недоуменно смотрит на свою ногу. Нога цела, но голенище сапога срезано осколком. Он спрашивает:

— Где комбат? Прудникова не видали? Он сейчас был там.

«Там», за пригорком, где только что был командный пункт, миною взорван сарай, он раскидан и горит, поджигая вокруг колосья густой пшеницы.

На лице начальника штаба тревога за своего комбата.

Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии.

Это он, когда, надрывая душу, надсадно, угрожающе, запугивающе запели, заныли немецкие трубы, пугая атаками, на вопрос командира полка по телефону: «Что это такое?», сжав чуть оттопыренные губы, с усмешкой ответил:

— Все в порядке, товарищ командир. Начинается музыка. Сейчас и я впишу пулеметами свою гамму.

С биноклем через шею, с простым пистолетом «ТТ» в кобуре, внезапно возникает из-за дыма целый и невредимый комбат.

Ему рады. На вопросы о себе он не отвечает и приказывает:

— Переходим на оборону. Здесь у врага большие силы. Дайте мне связь с артиллерией. Всем командирам рот прочно окопаться.

По торфяному полю опять тянет провод Сергиенко. Вот он упал, но не ранен. Он устал. Он уткнулся лицом в мокрый торф и тяжело дышит. Вот он поворачивает голову и видит, что совсем рядом перед ним, перед его губами — воронка от взрыва мины и, как на дне блюдечка, скопилось в ней немного воды.

Он наклоняет голову, пьет жадно, потом поднимает покрытое бурым торфом лицо и ползет с катушкой дальше.

Через несколько минут связь с полком налажена. Поступает приказание:

«Немедленно переходите...»

И вдруг приказ обрывается. Комбат сурово смотрит на Купаяна: куда переходить?

На этом фронте, слева и впереди нас, ведется бой. Идет сражение большого масштаба, борьба за узловую город. Может быть, приказ означает: «Немедленно переходите в атаку на превосходящие силы противника?»

Тогда командиров бросить вперед. Коммунистов и комсомольцев тоже вперед. Собрать всю волю в кулак и наступать.

Комбат отдает последние распоряжения...

Вдруг связь опять заработала. Оказывается, что приказ гласит:

«Немедленно выходите из боя. Перейти вброд реку и занять высоту «165».

Красноармеец-связист опять хочет пить. Он забегает в крайнюю хату.

Он видит развал, погром.

Он видит паучий крест на стене.

Он плюет на него.

Зачеркивает углем. И быстро чертит свою красноармейскую звезду.

Батальон собирается у брода.

На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

— Товарищи, а вы меня перенесете?

— Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле. полуоглохшие минометчики.

— Слышишь? Это, обеспечивая тебе пе-

реправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу.

*Действующая армия
1941 г.*

У ПЕРЕДНЕГО КРАЯ



ПРОХОДА через тяжелую, обшитую грубым тесом баррикаду милиционер проверил мой пропуск на выход из осажденного города.

Он посоветовал мне подъехать к передовой линии на понутной машине или повозке, но я отказался. День был хороший и путь недалекий. А кроме того, на пригорках по машинам иногда открывалась стрельба минами. На одиноко же идущего человека мину тратить — не расчет. Да и в случае чего пешему всегда легче во-время бухнуться в придорожную канаву.

Я шел мимо опустевших, покинутых домиков с заколоченными окнами и закрытыми воротами. Было тихо. Тарахтела трещотка, и охотились за воробьями голодные кошки.

Через сады, среди которых желтели размытые дождем бомбозащитные траншеи, я вышел на скат оврага и зацепил ногой за полевой провод. Прикинув направление, я взял путь по проводу напрямик, потому что мне нужны были люди.

Вдруг раздался удар. Казалось, что грохнул он над самым гребнем моей сталь-

ной каски. Быстро перелетел я в старую воронку, осторожно огляделся и увидел неподалеку замаскированный бугор дзота, из темной щели которого торчал ствол коренной пушки.

Я спустился к дзоту и, поздоровавшись, спросил у старшего сержанта, чем его люди сейчас заняты.

Ясно, что, прежде чем ответить, сержант проверил мой пропуск, документы. Спросил, как живет Москва. Только после этого он готов был отвечать на мои вопросы.

Но тут вдалеке, вправо, послышались очень частые взрывы.

Телефонист громко спрашивал соседний дзот через телефонную трубку:

— Что у тебя? Говори громче. Почему ты говоришь так тихо? Ах, около тебя рвутся мины! А ты думаешь, что если будешь говорить громко, то они испугаются?

От таких простых слов вспыхнули улыбки в притихшем, насторожившемся дзоте. Потом раздалась суровая команда, и взревела наша пушка.

Ее поддержали соседи. Враги отвечали. Они били снарядами «205» и дальнобойными минами.

Мины. О них уже много писали. Писали, что они ревут, воют, гудят, похрапывают. Нет! Звук на полете у мины тонок и мелодично-печален. Взрыв сух и резок. А визг разлетающихся осколков похож на мяу-канье кошки, которой внезапно тяжелым сапогом наступили на хвост.

Грубые, скрепленные железными скобами бревна потолочного наката вздрагивают. Через щели на плечи, за воротник сыплется сухая земля. Телефонист поспешно накрывает каской миску с гречневой кашей, не переставая громко кричать:

— Правей ноль двадцать пятью снарядами! Теперь точно! Беглый огонь!

Через пять минут огневой шквал с обеих сторон, как обрубленный, смолкает.

Глаза у всех горят, лбы влажные, люди пьют из горлышка фляжек. Телефонист запрашивает соседей, что и где случилось.

Выясняется: у одного воздухом опрокинуло бак с водою; у второго оборвали полковой телефонный провод; у третьего дело хуже: пробили через амбразуру осколком щит орудия и ранили в плечо лучшего батарейного навсдчника; у нас накопало вокруг ям, воронок, разорвало в клочья и унесло, должно быть за тучу, один промокший сапог, подвешенный красноармейцем Коноплевым у дерева под солнышком на просушку.

— Ты не шахтер, а ворона,— укоризненно ворчит сержант на красноармейца Коноплева, который задумчиво и недоуменно уставился на уцелевший сапог. — Теперь время военное. Ты должен был взять бечевку и провести отсюда к сапогу связь. Тогда, чуть что, потянул и вытащил сапог из сектора обстрела в укрытие. А теперь у тебя нет вида. Во-вторых, красноармеец в одном левом сапоге никакой боевой ценности не представляет. Ты бери свой сапог в руки, неси его как факт к старшине и объясни ему свое грустное положение.

Пока все, обернувшись, с любопытством слушали эти поучения, через дверь дзота кто-то вошел. На вошедшего сначала внимания не обратили: думали — кто-то свой из орудийного расчета. Потом спохватились. Сержант подошел отдавать начальнику рапорт.

По какому-то единому, едва уловимому движению мне стало ясно, что этого человека здесь и уважают и глубоко любят.

Лица заулыбались. Люди торопливо оправили пояса, одернули гимнастерки. А красноармеец Коноплев быстро спрятал свою босую ногу за пустые ящики из-под снарядов.

Это был старший лейтенант Мясников, командир батальона.

Мы пошли с ним вдоль запасной линии обороны, где красноармейцы — в большинстве донецкие шахтеры — дружно и умело рыли ходы сообщения и окопы полного профиля.

Каждый из этих бойцов — это инженер, вооруженный топором, киркой и лопатой. Путаные лабиринты, укрытия, гнезда, блиндажи, амбразуры они строят под огнем быстро, умело и прочно. Это народ бывалый, мужественный и находчивый. Вот навстречу нам из-за кустов по ложине вышел красноармеец. Присутствие командира его на мгновение озадачивает.

Вижу, командир нахмурился, вероятно усмотрел какой-то непорядок и сейчас делает красноармейцу замечание. Но тот, не растерявшись, идет прямо навстречу. Он веселый, крепкий, широкоплечий.

Приблизившись на пять-семь метров, он переходит на уставный, «печатный» шаг, прикладывает руку к пилотке и, подняв голову, торжественно и молодежато подходит мимо.

Командир останавливается и хохочет.

— Ну боец! Ну молодец! — восхищенно заливаясь он, глядя в сторону скрывшегося в окопе бойца.

И на мой недоуменный вопрос отвечает:

— Он (боец) шел в пилотке, а не в каске, как положено. Заметил командира, деваться некуда. Он знает, что я люблю выправку, дисциплину. Чтобы замять дело, он и рванул мимо меня, как на параде. Шахтеры! — с любовью воскликнул командир. — Бывалые и умные люди. Пошли меня в другую часть, и я пойду в штаб и буду о своих шахтерах плакать.

Мы пробираемся к переднему краю. На одном из поворотов командир зацепил плащом о рукоятку лопаты. Что-то под от-

воротом его плаща очень ярко блеснуло. На первом же уступе я осторожно, скосив глаза, заглянул сверху на грудь командирской гимнастерки.

А вот что: там под плащом горит «Золотая Звезда». Он, лейтенант, — Герой Советского Союза.

Но вот мы уже и у самого переднего края. Боя нет. Враг здесь наткнулся на твердую стену. Но берегись! Здесь, наверху, все простреливается и врагом и нами. Здесь властвуют хорошо укрытые снайперы. Здесь узкий, как жало, пулемет «ДС» может выпустить через амбразуру от семисот до тысячи пуль в одну точку из одного ствола в одну минуту.

Здесь, на подступах к городу, бесславно положил свои пьяные головы не один фашистский полк. Здесь была разгромлена

начисто вся девяносто пятая немецкая дивизия.

Идет одиночная стрельба. Через узкую щель уже хорошо различается замаскированный вал вражеских окопов. Вот что-то за бугром шевельнулось, шарахнулось и под выстрелом исчезло.

Темная сила! Ты здесь! Ты рядом! За нашей спиной стоит светлый, большой город. И ты из своих черных нор смотришь на меня своими жадными бесцветными глазами.

Иди! Наступай! И прими смерть вот от этих тяжелых шахтерских рук. Вот от этого высокого спокойного человека с его храбрым сердцем, горящим золотой звездой.

*Действующая армия
1941 г.*

РАКЕТЫ И ГРАНАТЫ



ДЕСЯТЬ разведчиков под командой молодого сержанта Ляпунова крутой тропкой спускаются к речному броду.

Бойцы торопятся. Темнеет, и надо успеть в последний раз на ночь перекурить в покинутом пастушьем шалаше, близ которого расположился и окопался полевой караул сторожевой заставы.

Дальше — где-то на том берегу — враг. Его надо разыскать.

Пока десять человек в лежку — голова к голове — жадно затягиваются крепким махорочным дымом, начальник разведки молодой сержант Ляпунов такого же молодого начальника караула сержанта Бурыкина предупреждает:

— Пойдем назад, так я тебе, дорогой, с того берега пропуск орать не буду. И ты по этому поводу огонь по мне открывать не вздумай. Я вышлю бойца вперед. Ты его окрихни с берега на воду тихо. Он подойдет, тогда скажет.

— Знаю, — важно отвечает Бурыкин. — Наука нехитрая.

— То-то, нехитрая! А вчера часовой так громко крикнул, что противник мог бы услышать. Что на том берегу? Тихо?

— Две ракеты вот так в направлении. Потом два выстрела, — объясняет Бурыкин. — Иногда ветер дунет — тарихит что-то. Да! Потом самолет прилетал, разведчик. Покрутился, покружился да вон туда, сволочь, скрылся.

— Самолет — хищник неба, — солидно говорит сержант Ляпунов, — а наше дело — шарь по земле, по траве и по лесу. Ну! — сурово поворачивается он. — Как, перекурили? И какая у меня мечта — это некурящая разведка, а они без табачной соски жить не могут.

Подвесив на шею патронташи, держа над водой винтовки и гранаты, темная цепочка переходит реку.

Голубоватым огоньком мерцает над волнами яркий циферблат компаса на руке сержанта.

Выбравшись на лесную опушку, сержант отстегивает светящийся компас, прячет его в карман, и безмолвная разведка исчезает в лесной чаще.

Ядро разведки движется по лесной дорожке. Два человека впереди, по два слева и справа. Через каждые десять минут без часов, без команды, по чутью разведка останавливается. Упершись прикладами в землю, опустившись на колени, затаив дыхание, люди напряженно вслушиваются в ночные звуки и шорохи.

Чу! Прокричал где-то еще не сожранный немцами петух.

Потом что-то вдалеке загудело, звякнуло, как будто бы стукнулись буферами два пустых вагона.

А вот что-то затарахтело... Это мотор. Здесь где-то бродят мотоциклисты. Их надо разыскать во что бы то ни стало.

Из темноты возникает красноармеец Мельчаков и, запыхавшись, докладывает:

— Товарищ сержант, на пригорке, через дорогу, под ногами — провод.

Сержант идет вперед. Он ощупывает провод рукою и раздумывает: итти по проводу влево или вправо? Но оказывается, что слева провод уходит в топкое болото. Нога вязнет, и сапог с трудом выдирается из липкой грязи. Вправо то же самое.

К сержанту подходит Мельчаков, вынимает нож и предлагает:

— Разрешите, товарищ сержант, я провод перережу.

Сержант Мельчакова останавливает. Он хмурится, потом хватается за провод, наматывает его на ножны штыка и с силой тянет. Провод поддается. В болоте что-то чавкает.

И вот на дорогу выползает тяжелый камень.

Сержант торжествует. Ага, значит провод фальшивый. Так и есть, на другом конце провода привязан и заброшен в осокую кусок железной рессоры.

— «Перережу, перережу!» — передразнивает сержант Мельчакова. — «Товарищ сержант, доношу, что телефонную связь между двумя батальонами болотных лягушек уничтожил». Очень ты, Мельчаков, на все тороплив. Иди вперед. Ищи. Где-нибудь неподалеку тут есть настоящий провод.

Опять слышится впереди фырчанье мотора. Разведка движется ползком по песчаной опушке. Отсюда виден за кустарником силуэт хаты. У хаты — плетень. За плетнем — неясный шум.

Сержант шопотом приказывает:

— Приготовить гранаты. Подползти к плетню. Я с тремя иду вперед справа. Гранаты бросать точно по тому направлению, куда я дам пологий удар красной ракетой.

Приготовить гранаты — это значит: шелк — взвод, шелк — предохранитель, шелк — и капсюль на место.

И вот он, скрытый, готовый взорваться огонь, лежит возле груди, у самого сердца.

Проходит минута, другая, пять, десять. Ракеты нет. Наконец появляется сержант Ляпунов и приказывает:

— Разрядить гранаты. Дом брошен. Это бьется во дворе, у сарая, раненая лошадь. Быстро поднимайся. Берем влево. Слышите? Немцы где-то здесь, за горкой.

К сержанту подходит Мельчаков. Он мнется и правую руку, сжатую кулаком, держит как-то странно наотлет.

— Товарищ сержант, — сконфуженно говорит он, — у меня граната — не «бутылка», а «Ф-1», «лимонка». И вот — результат печальный.

— Какой результат? Что ты бормочешь?

— Она, товарищ сержант, стоит на боевом взводе.

Мгновенно, инстинктивно от Мельчакова все шарахаются.

— Химик! — отчаянным шопотом восклицает озадаченный сержант. — Так ты что... уже чеку выдернул?

— Да, товарищ командир. Я думал: сейчас будет ракета, и я ее тут же брошу.

— «Брошу, брошу!» — огрызается сержант. — Ну, теперь держи ее в кулаке и не разжимай руки хоть до рассвета.

Положение у Мельчакова незавидное. Он поторопился, и боек гранаты теперь держится только зажатой в ладони скобой. Вставить предохранитель, не зажигая огня, нельзя. Бросить гранату в лес, в болото нельзя тоже — будет сорвана вся разведка.

Бойцы на ходу шопотом Мельчакова ругают:

— Ты куда, парень, к людям жмешься? Ты иди стороной или боком.

— Куда ему боком? Пусть идет дорогой, где глаже, а то о корень зацепится да как брякнет.

— Не махай рукой, не на параде. Ты ее держи, гранату, двумя руками.

В конце концов у обиженного Мельчакова забирают винтовку и его с гранатой посылают вперед, головным дозорным.

Через несколько минут ядро разведки застает его сидящим на краю дороги.

— Ты что?

— У меня тут под ногой провод, — хмуро сообщает Мельчаков.

Разведка идет по проводу. Вдруг треск моторов раздается совсем рядом. Блеснул и потух огонь. Впереди, у колхозных сараев, шум, движение. Сержант, за ним вся разведка плашмя падают на землю и ползут прочь от дороги, на которой вот-вот, вероятно неподалеку, стоит сторожевое охранение.

Двести метров разведка ползет минут сорок. Потом долго лежит недвижимо, при-

слушиваясь к шуму, треску и звукам незнакомого языка.

Сержант дергает Мельчакова за пятку и показывает ему на заряженную ракетницу.

Мельчаков молча и понимающе кивает головой. Сержант отползает.

Опять одна, другая, долгие минуты. Вдруг красной змейкой, показывая направление, вспыхивает брошенная сержантом ракета.

Мельчаков вскакивает и что есть силы бросает свою гранату через крышу сарая.

Раздается гром, потом вой, затем оглушительный треск моторов сливается с треском немецких автоматов.

Разведчики открывают огонь.

Загорается соломенная крыша сарая. Светло. Видны враги. Так и есть — это мотоциклетная рота.

Но вот в бестолковый треск автоматов ввязываются тяжелые пулеметы.

Перерезав в нескольких местах провод, разведка отходит.

Пальба сзади не прекращается. Теперь она будет продолжаться до рассвета.

Темно. Далеко на том берегу проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и думает сейчас о своей разведке.

А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро. Несердито ругают они теперь длинноногого Мельчакова. Нетерпеливо ощупывают карманы с махоркой.

И, чтобы хоть за рекой, в шалаше, он дал им вдоволь накуриться, дружно и громко хвалят они своего молодого сержанта.

*Действующая армия
1941 г.*





СОДЕРЖАНИЕ



Автобиография	3
О Гайдаре. <i>Лев Кассиль</i>	6

ПОВЕСТИ

Школа	15
Дальние страны	111
Военная тайна	148
Голубая чашка	202
Судьба барабанщика	215
Тимур и его команда	265

РАССКАЗЫ

Р. В. С.	301
Пусть светит	321
Четвертый блиндаж	335
Дым в лесу	345
Чук и Гек	357

ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСИ

Берись за оружие, комсомольское племя!	373
Война и дети	375
Мост	377
У переправы	380
У переднего края	382
Ракеты и гранаты	384



К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.

✱

Для начальной школы.

*

Ответственный редактор *К. Пискунов.*
Художественный редактор *П. Суворов.*
Технический редактор *В. Артамонов.*
Корректоры *Е. Балабан* и *Р. Лишина.*

*

Подписано к печати 22/IX 1948 г.
48³/₄ п. л. (40,2 уч.-изд. л.). 37000 зн. в п. л.
А 08375.

*

Отпечатано в типографиях М-402, М-301
и М-118 с матриц Фабрики детской книги
Детгиза. Москва.

